

2019 – № 2

СИБИРСКИЙ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Барнаул – Иркутск – Кемерово – Новосибирск – Томск

СИБИРСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 2002 г. Выходит 4 раза в год

Сибирское отделение РАН
Институт филологии Сибирского отделения РАН
Алтайский государственный университет
Иркутский государственный университет
Кемеровский государственный университет
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный университет
Томский государственный педагогический университет
Томский государственный университет

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Д-р филол. наук, проф. И. В. Силантьев (ИФЛ СО РАН) – главный редактор; д-р филол. наук, доц. И. Е. Ким (ИФЛ СО РАН) – зам. главного редактора; канд. филол. наук, доц. Д. А. Катунин (ТГУ) – зам. главного редактора; д-р филол. наук, проф. А. А. Чувакин (АлтГУ) – зам. главного редактора; канд. филол. наук А. А. Озонова (ИФЛ СО РАН) – ответственный секретарь

Д-р филол. наук, проф. Л. А. Араева (КемГУ); д-р филол. наук, проф. Н. С. Болотнова (ТГПУ); д-р филол. наук, проф. Э. Вайда (Западно-Вашингтонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. И. Горбунова (ИГУ); д-р филол. наук, проф. В. З. Демьянков (ИЯ РАН); канд. филол. наук, проф. Е. А. Добренко (Университет Шеффилда, Великобритания); д-р филол. наук, проф. М. Я. Дымарский (РГПУ им. А. И. Герцена); д-р филол. наук, доц. О. Д. Журавель (ИИ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Ким (КемГУ); д-р филол. наук В. Л. Кляус (ИМЛИ РАН); д-р филол. наук, проф. А. В. Курьянович (ТГПУ); канд. филол. наук А. М. Лаврентьев (Лионский университет, Франция); д-р филол. наук, проф. М. Н. Липовецкий (Университет Колорадо в Боулдере, США); д-р филол. наук, проф. Э. Малэк (Лодзинский университет, Польша); д-р филол. наук, проф. Т. И. Печерская (НГПУ); д-р филол. наук, проф. Дж. Рудей-Уиллоуби (Университет Кентукки, США); д-р филол. наук, проф. Е. К. Скрибник (Мюнхенский университет, Германия); канд. ист. наук, доц. С. Г. Суляк (Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Республика Молдова); д-р филол. наук, проф. Т. А. Трипольская (НГПУ); д-р философии по антропологии, проф. С. А. Ушакин (Принстонский университет, США); д-р филол. наук, проф. Л. Харвилаhti (Университет Хельсинки, Финляндия); д-р филол. наук, проф. М. А. Черняк (РГПУ им. А. И. Герцена)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Д-р филол. наук, проф. Т. Е. Автухович (Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь); акад. РАН А. Е. Аникин (ИФЛ СО РАН); д-р филол. наук, проф. Т. Бакчиев (КИЦА, Кыргызская Республика); д-р филол. наук, проф. Т. А. Демешкина (ТГУ); д-р филол. наук, проф. Л. И. Журова (ИИ СО РАН); чл.-корр. РАН, проф. Н. В. Корниенко (ИМЛИ РАН); канд. филол. наук, доц. С. А. Мансков (АлтГУ); д-р филол. наук, проф. М. А. Осадчий (Гос. ИРЯ им. А. С. Пушкина); д-р филол. наук, проф. Л. Г. Панин (НГУ); д-р филол. наук, проф. С. Ж. Тажибаева (Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан); канд. филол. наук, доц. М. Б. Ташлыкова (ИГУ); канд. филол. наук, доц. О. Г. Щеглова (НГУ)

Институт филологии СО РАН, ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090
sibphilology@mail.ru
Официальный сайт журнала: <http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

СОДЕРЖАНИЕ

Фольклористика

- Кузнецова В. С.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Вавилонская башня и смешение языков: библейский сюжет в русской сибирской записи 9
- Кузьмина Е. Н.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Отражение архетипических моделей в «*loci communes*» героических сказаний народов Сибири 18
- Дайнеко Т. В., Леонова Н. В.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН; Новосибирск, НГК им. М. И. Глинки)
Белорусские календарные песни Сибири и Дальнего Востока: жанровый состав 27

Литературоведение

- Шатин Ю. В.** (Новосибирск, НГПУ; Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
Ехегі monimentum: от оды к исповеди. Изменение сюжетного кода 39
- Козлов А. Е.** (Новосибирск, НГПУ)
Семиотика шахмат в литературе XIX века: к интерпретации повести Н. Д. Ахшарумова «Игрок» 47
- Сузрюкова Е. Л.** (Новосибирск, Новосибирская православная духовная семинария)
«Плач Иосифа Прекрасного» в сюжете и семантической структуре рассказов А. П. Чехова «Тоска» и В. А. Никифорова-Волгина «Тревога» 59
- Гельфонд М. М.** (Нижний Новгород, ВШЭ)
О возможном источнике мандельштамовской эпитафии А. Белому 65
- Нисова М. В.** (Томск, ТГУ)
«Трущобы» петербургские и томские: от подражания до художественной рецепции 73
- Чавдарова Д.** (Шумен, Болгария, университет «Епископ Константин Преславски»)
Ното legends в романе Ивана Вазова «Под игом»: болгарский студент из России между Базаровым, Раскольниковым и Вертером 87
- Проскурина Е. Н.** (Новосибирск, ИФЛ СО РАН)
А. Платонов и В. Зазубрин: пересекающиеся параллели 98
- Жиличева Г. А.** (Новосибирск, НГПУ)
Чаплин в нарративе Ю. Олеши 111
- Шестакова Н. В., Плеханова И. И.** (Иркутск, ИГУ)
Виктор Зилов – плачущий демон или смеющийся трикстер? (О типологической идентификации героя) 124
- Иванов Д. И., Лакербай Д. Л.** (Сиань, Китай, Сианьский университет иностранных языков; Иваново, ИвГУ)
«За душой, как ни шарь, ни черта»: сюжет веры и его «программное» опустошение в поэзии И. Бродского 136

Языкознание

Валентинова О. И., Рыбаков М. А., Ширококов А. Н. (Москва, РУДН) Типы моделей и их объяснительные возможности (на примере моделирования систем вокализма некоторых тюркских языков Сибири)	148
Рыжикова Т. Р. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) Артикуляторно-акустические характеристики барабинско-татарской гласной фонемы <i>a</i> /ä~/ в сопоставительном аспекте	163
Сундужева Е. В. (Улан-Удэ, ИМБТ СО РАН) Акустические и образные характеристики смеха и их отражение в бурятском языке	179
Кувшинская Ю. М. (Москва, ВШЭ) Предикативное согласование со словами «ряд», «половина», «часть», «множество» в современном русском языке	189
Ильина Л. А. (Новосибирск, ИФЛ СО РАН) Полипредикативные эвиденциальные высказывания с дублированным указанием сенсорного источника информации в языках Северной Азии	216
Афанасьева Е. Н. (Мирный, МПТИ(ф) СВФУ) Вербализация образа человека в якутском языке	231
Курьянович А. В., Охолина И. Е. (Томск, ТГПУ) Концепт «флешмоб» в современной российской лингвокультуре: к вопросу формирования и специфики языкового воплощения	243
Соколова О. В. (Москва, ИЯз РАН) Особенности перевода авангардных окказионализмов (на материале «Футуристической кухни» Ф. Т. Маринетти)	254
Евпак Е. В. (Кемерово, КемГУ) Русский язык в письменной речи русских эмигрантов в славянских странах (на материале частной переписки)	267

Рецензии

Швагрукова Е. В. (Томск, ТПУ) Экзистенциальный опыт эшафота в романе Ф. М. Достоевского «Идиот». Рецензия на книгу: Новикова Е. Г. «Nous serons avec le Christ». Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: Моногр. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 244 с.	279
Дубровская С. А. (Саранск, МГУ им. Н. П. Огарёва) «Изучать значит сравнивать»: юбилей как повод к разговору о проблемах современного литературоведения и литературной критики. Рецензия на книгу: Noscere est comparare: Компаративистика в контексте исторической поэтики: К юбилею Игоря Шайтанова: Сб. ст. / Отв. ред. и авт. вступ. ст. О. И. Половинкина. М.: РГГУ, 2017. 496 с.	282

2019 – No. 2

SIBERIAN
JOURNAL
OF PHILOLOGY

Barnaul – Irkutsk – Kemerovo – Novosibirsk – Tomsk

SIBERIAN JOURNAL OF PHILOLOGY

Founded in 2002. Published quarterly.

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Altai State University
Irkutsk State University
Kemerovo State University
Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk State University
Tomsk State Pedagogical University
Tomsk State University

EDITORIAL BOARD

Igor V. Silantyev, Doctor of Philology, Prof., Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Editor-in-Chief*; Igor E. Kim, Doctor of Philology, Assistant Professor, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Dmitriy A. Katunin, Candidate of Philology, Assistant Professor, Tomsk State University, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Aleksey A. Chuvakin, Doctor of Philology, Prof., Altai State University, Barnaul, Russian Federation – *Deputy Editor-in-Chief*; Ayana A. Ozonova, Candidate of Philology, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation – *Executive Secretary*;

Ludmila A. Araeva, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Nina S. Bolotnova, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Mariya A. Chernyak, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Ludmila I. Gorbunova, Doctor of Philology, Prof., Irkutsk State University, Russian Federation; Valeriy Z. Demyankov, Doctor of Philology, Prof., Institute of Linguistics of the RAS, Moscow, Russian Federation; Evgeniy A. Dobrenko, Candidate of Philology, Prof., University of Sheffield, United Kingdom; Mikhail Y. Dymarskiy, Doctor of Philology, Prof., Herzen University, Saint-Petersburg, Russian Federation; Olga D. Zhuravel, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Lidiya G. Kim, Doctor of Philology, Prof., Kemerovo State University, Russian Federation; Vladimir L. Klyaus, Doctor of Philology, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Anna V. Kuryanovich, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State Pedagogical University, Russian Federation; Aleksey M. Lavrentyev, Candidate of Philology, Lumiere University Lyon 2, France; Eliza Malek, Doctor of Philology, Prof., University of Lodz, Poland; Mark N. Lipovetskiy, Doctor of Philology, Prof., University of Colorado Boulder, USA; Sergey A. Oushakine, PhD in Anthropology, Prof., Princeton University, USA; Tatyana I. Pecherskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Jeanmarie Rouhier-Willoughby, Doctor of Philology, Prof., University of Kentucky, USA; Elena K. Skribnik, Doctor of Philology, Prof., Ludwig Maximilian University of Munich, Germany; Sergey G. Sulyak, Candidate of History, Assistant Professor, Pridnestrovian State University, Moldova; Tatyana A. Tripolskaya, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State Pedagogical University, Russian Federation; Edward J. Vajda, PhD in Slavic Linguistics, Prof., Western Washington University, USA; Lauri Harvilahti, Doctor of Philology, Prof., University of Helsinki, Finland

EDITORIAL COUNCIL

Aleksandr E. Anikin, Academician of the RAS, Institute of Philology of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Tatyana E. Avtukhovich, Doctor of Philology, Prof., Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus; Talantaaly A. Bakchiev, Doctor of Philology, Prof., Korean Institute of Central Asia, Bishkek, Kyrgyz Republic; Tatyana A. Demeshkina, Doctor of Philology, Prof., Tomsk State University, Russian Federation; Ludmila I. Zhurova, Doctor of Philology, Institute of History of the SB of the RAS, Novosibirsk, Russian Federation; Natalya V. Kornienko, Doctor of Philology, Corresponding member of the RAS, A. M. Gorky Institute of World Literature of the RAS, Moscow, Russian Federation; Sergey A. Manskov, Candidate of Philology, Assistant Professor, Altai State University, Barnaul, Russian Federation; Mikhail A. Osadchiy, Doctor of Philology, Prof., Pushkin State Russian Language University, Moscow, Russian Federation; Leonid G. Panin, Doctor of Philology, Prof., Novosibirsk State University, Russian Federation; Olga G. Scheglova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Novosibirsk State University, Russian Federation; Saule Zh. Tazhibayeva, Doctor of Philology, Prof., L. N. Gumilyov Eurasian National University, Astana, Kazakhstan; Marina B. Tashlykova, Candidate of Philology, Assistant Professor, Irkutsk State University, Russian Federation

Institute of Philology
Nikolaeva St., 8, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
sibphilology@mail.ru
<http://www.philology.nsc.ru/journals/spj/index.php>

CONTENTS

Folklore

Kuznetsova V. S.	
The Tower of Babel and the confusion of languages: Biblical story in the Russian Siberian text	9
Kuzmina E. N.	
Reflection of archetypal models in “loci communes” of heroic epics of the peoples of Siberia	18
Dayneko T. V., Leonova N. V.	
Genres of Belarusian calendar songs of Siberia and the Far East	27

Literature

Shatin Yu. V.	
Exegi monumentum: from ode to confession. The change of plot code	39
Kozlov A. E.	
Semiotics of chess in the literature of the 19th century: to the interpretation of Nikolay Aksharumov “The Player”	47
Suzryukova E. L.	
“Lamentation of Joseph” in the plot and the semantic structure of short stories “The Grief” by Anton Chekhov and “The Anxiety” by Vassily Nikiforov-Volgin	59
Gelfond M. M.	
On a possible source of the Mandelstam’s epitaph to Andrei Bely	65
Nisova M. V.	
“Slums” of St. Petersburg and Tomsk: from imitation to artistic reception	73
Chavdarova D.	
Homo legens in the novel “Under the Yoke” by Ivan Vazov: a Bulgarian student who arrived from Russia, identified with Bazarov, Raskolnikov, and Werter	87
Proskurina E. N.	
A. Platonov and V. Zazubrin: intersecting parallels	98
Zhilicheva G. A.	
Chaplin in Yuri Olesha’s narrative	111
Shestakova N. V., Plekhanova I. I.	
Viktor Zilov: a crying daemon or a laughing trickster? (On typological identification of the character)	124
Ivanov D. I., Lakerbai D. L.	
“Not a penny to my name, however much I do”: the faith plot and his ‘routine’ devastation in J. Brodsky’s poetry	136

Linguistics

Valentinova O. I., Rybakov M. A., Shirobokov A. N.	
Model types and their explanatory possibilities: the case of modeling the vocal systems of some Turkic languages of Siberia	148
Ryzhikova T. R.	
Articulatory-acoustic characteristics of the Baraba-Tatar phoneme a /Λ~/ in a comparative aspect	163

Sundueva E. V.	Acoustic and mimic characteristics of laughter in the Buryat language	179
Kuvshinskaya Y. M.	Predicate agreement with the words “r’ad,” “polovina,” “chast’,” “mnozhestvo” in contemporary Russian	189
Ilyina L. A.	Poly-predicative evidential utterances involving double marking of sensory perception source of information in North Asian languages	216
Afanasyeva E. N.	The concept of human being in the Yakut language	231
Kuryanovich A. V., Oholina I. E.	Concept of “flash mob” in the modern Russian cultural linguistics: on the formation and specificity of language implementation	243
Sokolova O. V.	Features of the avant-garde occasionalism translation (a case study of “Futurist Cookbook” by F. T. Marinetti)	254
Evpak E. V.	The Russian language in written speech of Russian emigrants in Slavic countries (based on private correspondence)	267

Reviews

Shvagrskova E. V.	Existential experience of scaffold in the novel “The Idiot” by F. M. Dostoevsky. Book review: Novikova E. G. “Nous serons avec le Christ.” Roman F. M. Dostoevskogo “Idiot.” Monogr. Tomsk, TSU Publ. 2016, 244 p.	279
Dubrovskaya S. A.	“Studying is comparing”: an anniversary as a reason for discussing the problems of contemporary literary studies and literary criticism. Book review: Noscere est comparare: Comparative studies in the context of historical poetics: For the anniversary of Igor Shaytanov. Coll. works. editor-in-chief and author of the introductory word O. I. Polovinkina. Moscow, Russian State University for the Humanities, 2017, 496 p.	282

УДК 398.3
DOI 10.17223/18137083/67/1

В. С. Кузнецова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

Вавилонская башня и смешение языков: библейский сюжет в русской сибирской записи

Публикуется выявленный новый архивный текст народного «библейского» повествования о строительстве Вавилонской башни и причинах появления многообразия языков в мире – рассказ сибирского крестьянина-старожила, записанный П. А. Городцовым 19 июня 1907 г. в Тюменском уезде Тобольской губернии. Его сравнение с книжными источниками указывает, что основу повествования составил рассказ Палеи Толковой, дополненный подробностями и привязками к локальной сибирской традиции. Сравнение публикуемого текста с другими устными вариантами позволило установить общность в механизмах адаптации фольклорным сознанием книжного по происхождению сюжета и текста.

Ключевые слова: славянский фольклор, фольклорная Библия, легенды, Вавилонская башня, сибирские записи.

Среди повествований славянской фольклорной Библии известна группа текстов, в которых представлена содержащая символическое объяснение причин появления разнообразия языков в мире ветхозаветная история о попытке людей построить Вавилонскую башню: после потопа говорившие все на одном языке потомки Ноя поселились в долине Сеннаар и начали строительство города и башни высотой до небес; строительство было остановлено Богом, который смешал языки, отчего люди перестали понимать друг друга, а потому прекратили строительство и рассеялись по земле (Быт. 11: 1–9)¹. Варианты устных рассказов о Вавилонской башне, хотя и немногочисленные, отмечены в фиксациях разного времени и мест записи².

¹ О сюжете см.: [Левин, 1987].

² Варианты народных славянских повествований о событиях, связанных со строительством Вавилонской башни, см., например: [Чубинский, 1872, с. 191; Колчин, 1899, с. 59–60;

Кузнецова Вера Станиславовна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора русского языка в Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; vera_kuznetsova@mail.ru)

Перечень подобных текстов может быть дополнен повествованием о Вавилонской башне и смешении языков в русской сибирской записи. Рассказ сибирского крестьянина о строительстве Вавилонской башни выявлен нами среди фольклорных материалов П. А. Городцова, хранящихся в Москве, в собрании Российского государственного архива литературы и искусств (РГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, ед. хр. 175, л. 2–2 об)³. Рассказ под названием «Смешение языков» (см. Приложение) был записан П. А. Городцовым 19 июня 1907 г. в д. Артамоновой⁴ Тюменского уезда Тобольской губернии от крестьянина-старожила Дмитрия Никифоровича Плеханова, 79 лет. От этого рассказчика П. А. Городцовым в разное время было сделано немало записей, среди них – повествования о Соломоне, Иосифе Прекрасном и Моисее, духовные стихи (в том числе стих о жене Милостивой милосердной), легенды о сотворении мира и борьбе духов⁵, о ласточке (почему у ласточки хвост раздвоенный); некоторые из этих записей опубликованы, см.: [Городцов, 1909, с. 51–56; 2000, т. 1, с. 49–59; т. 2, с. 400–408; Кузнецова, 2007, с. 9–10; 2017, с. 41]. Легенда о смешении языков – еще одно повествование из репертуара этого интересного рассказчика.

Согласно рассказу Д. Н. Плеханова, люди принялись за возведение башни из опасения, что случится новый потоп:

Люди не могли забыть ужасного потопа и решили построить каменный столб до неба, чтобы на нем спастись в случае повторения потопа (л. 2).

В библейской легенде о Вавилонской башне причина, побудившая людей начать ее возведение, прямо не указана, напомним: *И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели расеемся по лицу всей земли* (Быт. 11: 4), однако тот же мотив, что и в указанном устном повествовании, – люди строят башню, чтобы спастись от нового потопа, – мы находим в версии библейской истории, изложенной в Толковой Палее⁶ [Палея 1406, стб. 228–229; Палея 1477, л. 65 (см. иллюстрацию); Порфирьев, 1877, с. 110]. Пример – фрагмент повествования о строительстве Вавилонской башни из текста Палеи Толковой по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г.:

<...> Помышляху, глаголюще друг к другу: яко древле нас человеки Бог потопом погуби, егда паки изволяться ему разневати потопом и погубит ны, и погубнем вси. И реша друг другу: придете сотворим // (стб. 229) пленъфы и испечем я огнем, да воду могут терпети, и созиждем столп до небесе, да убо потопа избывшие спасемся вси в нем... [Палея 1406, стб. 228–229]

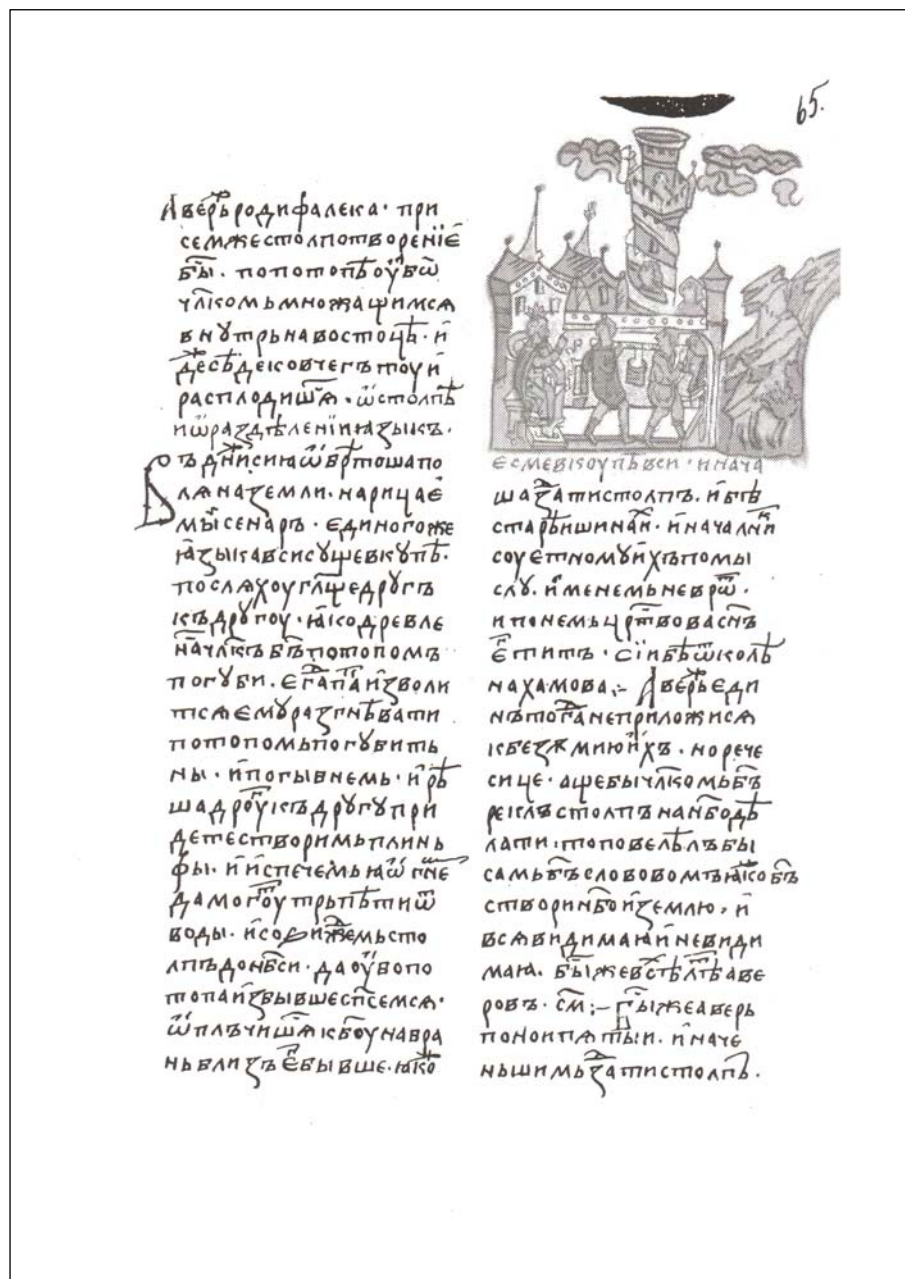
РДС, с. 506–507; Бадаланова, 1999, с. 7 (V); Ветхозаветные легенды..., 2002, с. 9; НБ, № 596; БНБ, № 47А, 47В, 47С, 48А, 48В, 49; Бадаланова Геллер, 2017, № 40].

³ Далее в тексте статьи ссылки на листы этой рукописи даются в круглых скобках после цитат.

⁴ Местом записи в рукописи названа д. Артамонова, но, возможно, здесь была допущена неточность, так как местом проживания Д. Н. Плеханова в других записях от этого рассказчика указано с. Плеханово того же уезда, а в д. Артамоновой (в 40 верстах от с. Плеханово) проживал другой рассказчик – Л. Л. Заякин, от которого П. А. Городцов также делал записи; о рассказчике см.: [Городцов, 1909, с. 50].

⁵ В исследовании и указателе сюжетов и мотивов восточнославянских дуалистических легенд о сотворении мира [Кузнецова, 1998] эти тексты имеют обозначение Тоб. 2 и Тоб. 3.

⁶ Палея (от греч. *Palaià* – ветхий) Толковая – сложная компиляция пересказа книг Ветхого Завета с полемическими и антииудейскими толкованиями – сложилась, как считают, в XIII в.; заменяла библейский кодекс, который появился на Руси в XV в. и все же не отменил в широких читательских кругах Палеи, где пересказ канонических текстов библейских книг соседствует с апокрифическими сказаниями, дополнениями и комментариями (см.: [Буланин, 1987; Творогов, 1987; Алексеев, 2008; Мильков, 2016]).



Лист 65 из Толковой Палеи 1477 г. с фрагментом рассказа о Вавилонской башне
(воспроизведение синодальной рукописи № 210. Изд. ОЛДП. СПб., 1892)
Sheet 65 from the Explanatory Palea of 1477 with a fragment of the story of the Tower of Babel
(reproduction of the Synodal Manuscript No. 210. OLDPE Edition. St. Petersburg, 1892)

Заметим, что и другие устные повествования о Вавилонской башне предлагают отличные от читающихся в тексте Библии, более конкретно сформулированные мотивы строительства башни. Одни из них основанием для строительства башни называют желание людей увидеть Бога, например: *Люди хотели Бога увидеть и стали думать, как до неба добраться. <...> И решили они построить*

башню. Ну, высокую, до неба [Ветхозаветные легенды..., 2002, с. 9]⁷; *хоцелі ж небо зробіть башню такую, вверх залезьці, достаць Бога, побачыць* [БНБ, № 47В]⁸; *строили башню, чтобы подняться наверх, до Дедушки Господа* [Бадаланова, 1999, с. 7 (V)]⁹; *Люди решили построить большую лестницу, чтобы добраться до Господа и стать такими же, как Господь, чтобы у них была такая же сила, как у него* [Бадаланова Геллер, 2017, № 40]¹⁰. Согласно другим рассказам, причиной строительства башни стало продиктованное любопытством желание людей достичь неба: *построить высокую башню от земли до неба, чтобы по ней хорошо было ходить на небо* [Колчин, 1899, с. 60]¹¹; *хоцелі на неба добрацца* [БНБ, № 48В]¹²; *хоцелі побачыць што там дзелаецца на небесах* [Там же, № 49]¹³.

Продолжается рассказ о строительстве Вавилонской башни в русской сибирской записи подробностью о радуге: посланный Богом ангел пытается успокоить людей и остановить строительство, указывая на радугу как на знамение – знак того, что потопа больше не будет. В библейском повествовании этот мотив известен, но приурочен, как в тексте Библии (Быт. 9: 8–17), так и в изложении Палея [Палея 1406, стб. 222–223], к другому ветхозаветному эпизоду – к событиям Всемирного потопа: радуга – знак заключения завета между Богом и Ноем, ср.:

И сказал Бог Ною и сынам его с ним: Вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. <...> Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. <...> Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею (Быт. 9: 8–13).

Рассказ о самом строительстве башни и смешении языков как в библейском изложении, так и в палейном передан в очень общей форме, скупо и неконкретно:

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; Сойдем же и смешаем там языки их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Быт. 11: 5–9).

Передавая этот эпизод, фольклорная версия библейской легенды в сибирской записи как бы стремится приблизить ветхозаветное повествование к реальности рассказчика и слушателя – дополняет рассказ конкретными, наглядными бытовыми подробностями и привязками к локальной территории, упоминаниями названий этносов, проживающих в данной местности:

Ангел разсердился и смешал языки всех людей и животных. Язык людей и животных смешался и разделился, люди и животные перестали по-

⁷ Зап. среди старообрядцев Кировской обл. (д. Архипята, 2000–2001 гг.).

⁸ Зап. Е. Боганева в 2003 г. в Сенкевичах Лунинецкого р-на Брестской обл. от рассказчицы 1941 г. р.

⁹ Зап. Ф. Бадаланова в 1994 г. в с. Крупник Санданского р-на, Болгария, рассказчица – баба Зона.

¹⁰ Зап. Ф. Бадаланова в 1984 г. в Бессарабии в с. Чийшия (Огородное) Болградского р-на Одесской обл., рассказчица – школьница Елена Даулджиева, 1970 г. р., местная уроженка, которая слышала легенду от бабушки.

¹¹ Зап. А. Колчин, учитель Старухинского училища Чернского уезда Тульской губ., не позднее 1892 г.

¹² Зап. Е. Боганева в 2006 г. в Минской обл. от рассказчицы 1925 г. р.

¹³ Зап. Е. Боганева в 2003 г. в Брестской обл. от рассказчика 1924 г. р.

нимать друг друга и стали говорить всяк по-своему: гуси – по-гусиному, утки – по-утиному, лошади – по-лошадиному, русские – по-русски, татары – по-татарски, остяки – по-остяцки... Люди и животные перестали понимать друг друга¹⁴, и продолжать работу на столбе оказалось невозможным: один просит воды, а ему подают огня, другой просит глины, а ему дают топор (л. 2 об.).

То же стремление «конкретизировать» библейское повествование бытовыми подробностями отмечаем в других записях народных рассказов о Вавилонской башне. Пример – мотив о Вавилонском смешении языков в записи с Волини (2000):

И Бог сам подумал, ну до чо́го ж, всё раўно ж вони нэ достроят до того, это даро́мный труд, як йих прыостановыты? И вот помэшал языки. Помэшал языки – той крычыть: «Давай воду!», – а той нэсэ хлеб. Крычыть, давай, значыть, кирпич, а вин нэсэ воду, нэ понимае [НБ, № 596];

или белорусский вариант (Витебская обл., зап. 1997 г. от рассказчицы 1903 г. р.):

...І кагда сталі строіць Вавілонскае столпотвореніе, вот тут Бог-такі і змешаў людзёў: нада кірпіч, а яны падаюць ваду, нада гліна, а яны падаюць кірпіч – так і разашлісь людзі, Вавілонскае столпотвореніе не пастроілі. А думалі столб пастроіць да самага неба, а ня вышла так. І вот сталі разныя языкі... [БНБ, № 47С]

Близкий вариант по мотиву «Бог смешал языки» находим также в южнославянском – болгарском рассказе о Вавилонской башне (зап. в 1994 г. в с. Крупник Санданского р-на, Болгария):

И взял да смешал языки... <...> Приходят они утром на работу, так не могут понять друг друга. Один ищет ведро, а другой ему несет мотыгу. Или что другое... Ничего, ни одного слова не могут понять... на греческом, на американском, на немецком, – ни слова не понимают. И перестали башню строить [Бадаланова, 1999, с. 7 (V)].

В представленном сибирском повествовании хорошо видно, как локальная фольклорная традиция стремится вписать себя в перечень народов, появившихся во времена возведения Вавилонского столпа, – стали все говорить по-своему, ...*русские – по-русски, татары – по-татарски, остяки – по-остяцки* (л. 2 об). Попытку вписать в библейское родословие связанные с сибирской локальной традицией народы находим и в другой русской сибирской записи – в рассказе о том, как разные народы произошли после Потопа от Ноя:

Немного погодя Ной выпустил всех птиц. Сыновья (Ноя. – В. К.) были женатые. Бог смешал их языки. И они не стали понимать друг друга. От породы Сима произошли русские. От Хама – якуты. От Иафета – юкагиры [ФРУ, № 68], ср.: (Быт. 10).

Подобное явление в повествованиях фольклорной Библии – попытки вписать в библейское родословие народы той или иной локализации – отмечаются и в других традициях. Пример – рассказ из Череповецкого уезда Новгородской губернии, записанный в 1899 г.:

¹⁴ Ср. иную версию мотива, почему люди и животные перестали понимать друг друга, разделение их языков она связывает с другими событиями: *Животные говорили в раю; их научили говорить Адам и Ева. По изгнании из рая животные не стали повиноваться людям и не стали говорить* [Колчин, 1899, с. 60].

От Иафета произошли мы русские и те люди, которых мы зовем братьями-славянами. От Сима – немцы, французы, или ханцузы, как их многие зовут, англичане или агличане, и другие разные люди. Потомство Хама – это турки и разные эфиопы [НБ, № 117 (по рукописи Арх. Российского этнографического музея, ф. 7, оп. 1, д. 805, л. 1, кор. В. Антипов)].

Таким образом, основу представленного повествования сибирского крестьянина Д. Н. Плеханова о строительстве Вавилонской башни и смешении языков составил рассказ Толковой Палеи, который оказался изложен сказителем свободно – с перенесением из другого эпизода библейской истории мотива радуги и введением для этого в рассказ нового персонажа – ангела. Книжная версия событий дополнена в устном рассказе конкретными, наглядными бытовыми подробностями и привязками к локальной территории, в том числе попыткой вписать в библейское родословие связанные с сибирской локальной традицией народы. Подобные явления в повествованиях фольклорной Библии о Вавилонской башне и смешении языков – стремление «конкретизировать» библейское повествование бытовыми подробностями и попытками вписать в библейское родословие народы той или иной локализации и таким способом приблизить библейские события к реальности рассказчика и слушателя – отмечаются, как мы видели, и в других традициях, славянских и не славянских¹⁵. Это указывает на общность механизмов адаптации, освоения фольклорным сознанием книжного по происхождению сюжета и текста.

Список литературы

- Алексеев А. А.* Апокрифы Толковой Палеи, переведенные с еврейских оригиналов // Труды отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 2008. Т. 58. С. 41–57.
- Бадаланова Ф.* Болгарская фольклорная Библия // Живая старина. 1999. № 2. С. 5–7.
- Бадаланова Геллер Ф. К.* Книга сушая в устах: фольклорная Библия бессарабских и таверических болгар. М.: Рус. фонд содействия образованию и науке, 2017. 864 с.
- БНБ – Беларуская «народная Біблія» ў сучасных запісах / Уступ. артыкул, уклад і камент. А. М. Боганевай. Минск: Беларус. дзярж. ўн-т культуры і мастацтваў, 2010. 166 с.
- Буланін Д. М.* Палея // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1987. С. 265.
- Ветхозаветные легенды старообрядцев Кировской области. Публ. А. Е. Ванякиной // Живая старина. 2002. № 3. С. 7–9.
- Городцов П. А.* Западносибирские легенды о творении мира и борьбе духов // Этнографическое обозрение. 1909. № 1, кн. 80. С. 50–62.
- Городцов П. А.* Были и небылицы Тавдинского края. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 2000. Т. 1–3.
- Колчин А.* Верования крестьян Тульской губернии // Этнографическое обозрение. 1899. № 3, кн. 42. С. 12–60.
- Кузнецова В. С.* Дуалистические легенды о сотворении мира в восточнославянской фольклорной традиции. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. 250 с.

¹⁵ О примерах адаптации книжного библейского повествования о Вавилонской башне к местным историко-культурным реалиям в повествовательном фольклоре тюркских народов см.: [Ойроткина, 2013, с. 27].

Кузнецова В. С. Легенды о спасении младенца Христа в русской фольклорной «Библии»: Спасение в печи (Русские сибирские записи на общерусском фоне) // Сибирский филологический журнал. 2007. № 4. С. 5–15.

Кузнецова В. С. Почему у ласточки хвост раздвоенный // Живая старина. 2017. № 3. С. 40–43.

Левин И. Вавилонская башня // Мифы народов мира: Энцикл. М.: Сов. энцикл., 1987. Т. 1. С. 206–207.

Мильков В. В. Картина мира в Палее Толковой // Вестн. славянских культур. 2016. Т. 41, № 3. С. 7–23.

НБ – «Народная Библия»: Восточнославянские этиологические легенды / Сост. и коммент. О. В. Беловой; Отв. ред. В. Я. Петрухин. М.: Индрик, 2004. 576 с.

Ойроткинова Н. Р. Легенды о Всемирном потопе и Вавилонской башне в фольклоре тюрков Южной Сибири // Сибирский филологический журнал. 2013. № 2. С. 22–28.

Палея 1406 – Палея Толковая по списку, сделанному в г. Коломне в 1406 г. Труд учеников Н. С. Тихонравова. Вып. 1. М.: Тип. и словолитие О. Гербека, 1892. 416 с.

Палея 1477 – Толковая Палея 1477 года. Воспроизведение синодальной рукописи № 210. СПб., 1892. 701 с. (Изд. ОЛДП).

Порфирьев В. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб.: Имп. Академия наук, 1877. 276 с.

РДС – Русский демонологический словарь / Авт.-сост. Т. А. Новичкова. СПб.: Петербургский писатель, 1995. 640 с.

Творогов О. В. Палея Толковая // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1987. Вып. 1. С. 285–288.

ФРУ – Фольклор Русского Устья / Отв. ред. С. Н. Азбелев, Н. А. Мещерский. Л.: Наука, 1986. 384 с.

Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. СПб.: Тип. В. Безобразова и комп., 1872. Т. 1. 468 с.

Приложение

Смешение языков

Записал П. А. Городцов со слов посказителя крест. Дмитрия Никифоровича Плеханова 19 июня 1907 г. в д. Артамоновой Тюменского уезда Тобольской губернии. Публ. по рукописи: РГАЛИ, ф. 1366, оп. 1, ед. хр. 175, л. 2–2 об. Смешение языков. Особенности орфографии сохраняются.

Животные, птицы и рыбы одарены разумом и даром слова так же, как и человек. Было время, когда животные и человек говорили одним и тем же языком и взаимно понимали друг друга. Смешение и разделение языков, как между людьми, так и между животными произошло вскоре после Ноева потопы чудесным образом, – *именно*¹⁶ таким. Когда потоп кончился, тогда Ной из своего ковчега выпустил всех животных и всех бывших с ним людей; и животные и люди скоро размножились и заполнили землю. Люди не могли забыть *ужасов*¹⁷ потопы и решили построить каменный столб от земли до неба затем, чтобы на нем

¹⁶ В рукописи слово надписано сверху как вставка.

¹⁷ В рукописи окончание слова карандашом переправлено на *ужасного*.

спастись в случае повторения потопа. Ангел слетел с неба и *говорит*¹⁸ людям: «Перестаньте, люди, не делайте каменного столба, другого потопа не будет. Вот вам знамение, радуга¹⁹ на небе, *в под //* (л. 2 об.) *тверждение моих слов*»²⁰. Но люди не послушались увещаний Ангела и на слова его не обращали никакого внимания и продолжали работать. Тогда Ангел разсердился и смешал языки всех людей и животных. Язык людей и животных смешался и разделился, люди и животные перестали понимать друг друга и стали говорить всяк по-своему: гуси – по-гусиному, утки – по-утиному, лошади – по-лошадиному, русские – по-русски, татары – по-татарски, остяки – по-остяцки и т. д. Люди и животные перестали понимать друг друга, и продолжать работу на столбе оказалось невозможным: – один просит воды, а ему подают огня, другой просит глины, а ему дают топор. Разошлись люди и животные в разные стороны, а столба так и не закончили. Так произошло смешение и разделение языков людей и животных.

РГАЛИ. Ф. 1366. Он. 1. Ед. хр. 175. Л. 2–2 об.

V. S. Kuznetsova

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, vera_kuznetsova@mail.ru*

The Tower of Babel and the confusion of languages: Biblical story in the Russian Siberian text

The paper analyses a group of folk “biblical” narrations about the construction of the Tower of Babel by considering how the folklore consciousness masters the plot and the text that are of book origin. The author presents a new found archival text of the oral biblical narrative about the construction of the Tower of Babel and the causes of the diversity of languages in the world, the story of an old Siberian peasant D. N. Plekhanov. The story was recorded by P. A. Gorodtsov on June 19, 1907, in the Tyumen district of the Tobolsk province. The comparison of this text with literary sources indicates that the basis for the oral narrative was the story of Explanatory Palea. The narrator supplements the book source with details and references to the local Siberian tradition, including an attempt to inscribe the peoples associated with the Siberian local tradition into the biblical genealogy. This technique is a way to bring biblical events to the reality of the narrator and the listener. The comparison of the published text with other oral versions of stories about the Tower of Babel made it possible to establish common traits of the mechanisms of the adaptation of book origin narrations by folklore consciousness.

Keywords: Slavic folklore, folk Bible, legends, Tower of Babel, Siberian Russian texts.

DOI 10.17223/18137083/67/1

References

Alekseev A. A. Apokrif Tolkovoy Palei, perevedennye s evreyskikh originalov [Apocrypha of the Explanatory Paleia, translated from Hebrew originals]. In: *Trudy otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of the Old Russian literature]. St. Petersburg, Nauka, 2008, vol. 58, pp. 41–57.

Badalanova F. Bolgarskaya fol'klornaya Bibliya [Bulgarian Folk Bible]. *Zhivaya starina*. 1999, no. 2, pp. 5–7.

Badalanova Geller F. K. *Kniga sushchaya v ustakh: fol'klornaya Bibliya bessarabskikh i tavrisheskikh bolgar* [The book is real in the mouth: the folk Bible of the Bessarabian and Taurian Bulgarians]. Moscow, Rus. fond sodeystviya obrazovaniyu i nauke, 2017, 864 p.

¹⁸ В рукописи слово зачеркнуто, сверху над ним карандашом: *сказал*.

¹⁹ В рукописи перед словом *радуга* зачеркнуто недописанное *на неб*.

²⁰ В рукописи эта часть фразы зачеркнута.

Belaruskaya "narodnaya Bibliya" v suchasnykh zapisakh [Belarusian "folk Bible" in modern texts]. A. M. Boganeva (Comp., comment.). Minsk, Belaruskii dzyarhaŭny ŭniv. kul'tury i mashtatstvaŭ, 2010, 166 p.

Bulanin D. M. Paleya [Paleia]. In: *Literaturnyy entsiklopedicheskiy slovar'* [Literary encyclopedic dictionary]. Moscow, Sov. entsikl., 1987, pp. 265.

Chubinskiy P. P. *Trudy etnograficheskoy statisticheskoy ekspeditsii v Zapadno-Russkiy kray, snaryazhennoy Imperatorskim Russkim Geograficheskim obshchestvom. Yugo-Zapadnyy otdel. Materialy i issledovaniya, sobrannye d. chl. P. P. Chubinskim* [Works of the ethnographic-statistical expedition to the Western Russian region, prepared by Emperor Russian Geographical Society. The South-Western Department. Materials and studies, collected by acad. P. P. Chubinskiy]. St. Petersburg, Tipografiya V. Bezobrazova i komp., 1872, vol. 1, 468 p.

Fol'klor Russkogo Ust'ya [Folklore from the Russian estuary region]. S. N. Azbelev, N. A. Meshcherskiy (Eds). Leningrad, Nauka, 1986, 384 p.

Gorodtsov P. A. Zapadnosibirskie legendy o tvorenii mira i bor'be dukhov [West Siberian legends about the creation of the world and the struggle of the spirits]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 1909, no. 1, bk 80, pp. 50–62.

Gorodtsov P. A. *Byli i nebylitsy Tavdinskogo kraya* [Stories-that-happened and stories-that-did not-happen from the Tavda region]. Tyumen', Yu. Mandrik, 2000, vol. 1–3.

Kolchin A. Verovaniya krest'yan Tul'skoy gubernii [Beliefs of the peasants from the Tula province]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 1899, no. 3, bk 42, pp. 12–60.

Kuznetsova V. S. *Dualisticheskie legendy o sotvorenii mira v vostochnoslavianskoy fol'klornoy traditsii* [Dualistic Legends about the Creation of the World in the East Slavic Folklore Tradition]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 1998, 250 p.

Kuznetsova V. S. Legendy o spasenii mladentsa Khrista v russkoy fol'klornoy "Biblii": Spasenie v pechi (Russkie sibirskie zapisi na obshcherusskom fone) [Legends about the rescue of the Infant Christ in the Russian Folk Bible: rescue in the oven (Russian Siberian texts in the context of the general Russian background)]. *Siberian Journal of Philology*. 2007, no. 4, pp. 5–15.

Kuznetsova V. S. Pochemu u lastochki khvost razdvoennyy [Why do swallows have a forked tail]. *Zhivaya starina*. 2017, no. 3, pp. 40–43.

Levin I. Vavilonskaya bashnya [Tower of Babel]. In: *Mify narodov mira. Entsiklopediya*. [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia]. Moscow, Sov. entsikl., 1987, vol. 1, pp. 206–207.

Mil'kov V. V. Kartina mira v Palee Tolkovoy [The world picture in Explanatory Paleia]. *Bulletin of Slavic Cultures*. 2016, vol. 41, no. 3, pp. 7–23.

"Narodnaya Bibliya": *Vostochnoslavianskie etnologicheskie legendy* ["Folk Bible": East-Slavic etiological legends]. O. V. Belova (Comp., pref., comment.), Ya. Petrukhin (Ed.). Moscow, Indrik, 2004, 576 p.

Oynotkinova N. R. Legendy o Vsemirnom potope i Vavilonskoy bashne v fol'klore tyurkov Yuzhnoy Sibiri [Legends of the Flood and the Tower of Babel in the folklore of the Turkic peoples of Southern Siberia]. *Siberian Journal of Philology*. 2013, no. 2, pp. 22–28.

Paleya Tolkovaya po spisku, sdellanomu v g. Kolomne v 1406 g. Trud uchenikov N. S. Tikhonravova [Paley Explanatory on the text made in Kolomna in 1406. Work of students of N. S. Tikhonravov]. Moscow, Tipografiya i slovolitie O. Gerbeka, 1892, iss. 1, 416 p.

Porfir'ev V. Ya. *Apokrificheskie skazaniya o vetkhovetnykh litsakh i sobyitiyakh po rukopisyam Solovetskoy biblioteki* [Apocryphal narratives about Old Testament persons and events on the manuscripts of the Solovetsky library]. St. Petersburg, Imp. Akademiya nauk, 1877, 276 p.

Tolkovaya Paleya 1477 goda. Vosproizvedenie sinodal'noy rukopisi № 210. [Explanatory Paley 1477 year. Reproduction of synodal manuscript no. 210]. St. Petersburg, OLDP Edition, 1892, 701 p.

Tvorogov O. V. Paleya Tolkovaya [Paley Explanatory]. In: *Slovar' knizhnikov i knizhnosti Drevney Rusi* [Thesaurus of scribes and early books writings of Old Russia]. Leningrad, Nauka, 1987, iss. 1, pp. 285–288.

Russkiy demonologicheskiy slovar' [Russian demonological dictionary]. T. A. Novichkova (Comp.). St. Petersburg, Peterburgskiy pisatel', 1995, 640 p.

Vetkhovetnye legendy staroobryadtsev Kirovskoy oblasti. Publikatsiya A. E. Vanyakinoy [Old Testament legends of the Old Believers of the Kirov Region. Publication of A. E. Vanyakina]. *Zhivaya starina*. 2002, no 3, pp. 7–9.

УДК 398.224 (=1.571–81)
DOI 10.17223/18137083/67/2

Е. Н. Кузьмина

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

Отражение архетипических моделей в «loci communes» героических сказаний народов Сибири

Впервые сделана попытка рассмотреть отражение архетипических моделей в произведениях героического эпоса народов Сибири, сохранявшегося у них до последнего времени. Эпическая традиция была устойчивой и стабильной во времени благодаря ее сакральности. В сюжетостроении сказаний большую роль играют типические или «общие» места, в которых отразились народные представления и черты многих эпох, прослеживающиеся в описаниях рождения богатырей, этикете, пиршестве, богатырских поединках и во многих других стереотипах эпоса.

Ключевые слова: героические сказания народов Сибири, стабильность эпической традиции, стереотипы эпоса, архетипические модели и представления.

Героические сказания народов Сибири относятся к устной повествовательной традиции. Они являются вершиной художественного народного слова, составляя отдельный пласт духовной жизни этносов. Возникновение эпоса и формирование поэтических закономерностей уходит в далекую древность и связано с определенными историческими условиями жизни этноса. Народы подошли к современности, находясь на различных ступенях своего исторического пути. Поэтому, видя связь эпоса с историей народа, исследователи XIX в. делили народы на «исторические» и «неисторические», что не являлось, по замечанию В. М. Гацака, сделанному вслед за Ю. Бромлеем, «строго научным» [Из лекций А. Н. Веселовского..., 1975, с. 298].

В статье сделана попытка рассмотреть некоторые архетипические модели, прослеживаемые в произведениях героического эпоса народов Сибири. Эпическая традиция относится к наиболее консервативному и стабильному во времени фольклорному явлению, отразившему в своем содержании устойчивые древние образы и представления. В сложении сказаний большое функциональное значение имеют «общие места» («loci communes»), которые в свою очередь построены на формульных выражениях.

Кузьмина Евгения Николаевна – доктор филологических наук, заведующая сектором фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; kuzmina.evgenia2010@yandex.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Е. Н. Кузьмина, 2019

В отечественном эпосоведении давно утвердилось мнение о стадийном развитии эпоса, согласно которому, например, бурятские сказания и русские былины относятся к разным стадиям эпосотворчества, представляя собой догосударственный и государственный эпос.

Героический эпос народов Сибири, сохранившийся вплоть до XXI в. у алтайцев, якутов, частично у шорцев и хакасов и угасший к середине XX столетия у бурят и тувинцев, отличался большим объемом и исполнялся часами или даже несколькими ночами подряд. Говоря о феномене сказительства, нужно иметь в виду, что оно протекало в условиях и в рамках коллективного творчества, в традициях устного исполнения фольклорных произведений. Устное исполнительство во многом ситуативно, зависит от разных факторов: настроение самого сказителя, наличие заинтересованной и включенной в процесс сказывания аудитории или отсутствие этой аудитории (когда идет специальная запись). А. Лорд отмечал, что момент создания произведения у устного поэта совпадает с исполнением, что «устное произведение не создается для исполнения, оно создается *в процессе* исполнения» (курсив автора. – Е. К.) [Лорд, 2018, с. 71]. Вдохновение сказителя побуждает его к импровизации, поэтическому настрою. Это очень важно, когда речь идет о больших монументальных произведениях, сказывание которых обычно было продолжительным по времени.

Акт сказывания интересен во многих аспектах. Его можно осмысливать в психологическом плане как особое состояние, экстаз, в культурологическом – как создание художественного продукта, в философском понимании – как феномен творчества. Н. А. Бердяев писал: «Человек не только призван к творчеству как действию в мире и на мир, но он сам есть творчество и без творчества не имеет лица» [Бердяев, 2003, с. 506]. В этом отношении фигура сибирского сказителя являет собой уникальное явление, обращенное к сложнейшему и в высшей степени художественному продукту духовной деятельности народа – героическому эпосу. Создавая и исполняя сказания, посвященные героическим поступкам и подвигам эпических персонажей, изложению их биографии, сказители оперировали сложившимся арсеналом поэтико-стилевых средств, ибо, как пишет А. Лорд, «устный поэт должен петь, не останавливаясь. Его творчество, по самой своей природе, предполагает быстрое сложение песни» и тут «на помощь приходит традиция», которая на протяжении длительного времени бытования эпоса выработала различные устойчивые обороты [Лорд, 2018, с. 84]. Это и есть формулы, которые М. Пэрри определил как «группу слов, регулярно встречающуюся в одних и тех же метрических условиях и служащую для выражения того или иного основного смысла» [Там же, с. 58].

Милмэн Пэрри, а затем его ученик и последователь Альберт Лорд обратили внимание на исполнительское искусство южнославянских сказителей, на механизм передачи ими эпических знаний и особенности живой устной фольклорной традиции. Начиная с лета 1933 г., а затем с июня 1934 по сентябрь 1935 г., т. е. свыше пятнадцати месяцев, М. Пэрри и А. Лорд со своими помощниками собрали «более 12 500 текстов, большую часть которых составили песни, записанные на бумаге, но наряду с ними было и много фонографических записей, занявших 3 500 двенадцатидюймовых алюминиевых дисков» [Там же, с. 17]. Как пишет сам А. Лорд, наблюдения за живой эпической традицией и некоторые материалы легли в основу сначала его докторской диссертации (1949), а затем переросли в книгу «Сказитель» (1959), которую он подготовил уже без трагически погибшего М. Пэрри, но согласно его исследовательской программе [Там же, с. 52].

Значение этого труда для сибиреведения трудно переоценить. Глубокие научные выводы и наблюдения об устной традиции, исполнительстве, эпической теме и формулах югославского героического эпоса М. Пэрри – А. Лорда очень близки к сказительской традиции народов Сибири, сохранявших до наших дней ее живое

бытование, и в полном объеме могут быть использованы в эпосоведческих исследованиях. Поэтому для подтверждения своих отдельных наблюдений, изложенных в этой статье, мы не раз будем прибегать к теории М. Пэрри – А. Лорда.

В нашем исследовании внутренней структуры сибирских героических сказаний, как мы заметили выше, формулы становятся основой для образования типических или «общих» мест, иначе называемых еще стереотипами эпоса, в которых содержатся основные, очень важные для сказителей мысли, выражающие, по сути, общенародные идеи, сформировавшиеся в пору сложения героического эпоса.

Героический эпос, являясь высшим поэтическим достижением, основанным на устойчивой традиции, которая обеспечила эпосу жизнестойкость, сохранность и стабильность во времени, образует ядро, представляющее наибольшую духовную ценность для этнической общности, создавшей и сберегшей на протяжении многих поколений традиции эпосотворчества.

Культура любого народа, считает Н. В. Исакова, имеет мощную природную базу, которая складывается в процессе взаимодействия человека с определенной природной средой. «Система ценностей этнической общности формировалась в течение многих столетий, проходила длительный путь отбора и отбраковки ненужного. В социальной памяти народа закрепилось общезначимое, целесообразное, оптимальное. Этот отбор целесообразного опыта происходил не только путем социального наследования – преемственности поколений, но и осуществлялся на биологическом уровне – через накопление благоприобретенных в процессе проживания в конкретной природной среде признаков» [Исакова, 2001, с. 103].

Развивая далее эту мысль, можно сказать, что наработанный адаптивный опыт, несомненно, отразился и в духовной сфере каждого народа, и, прежде всего, в произведениях устного поэтического слова, которые наиболее отзывчивы на все происходящие значительные события в жизни этноса. И только то, что действительно отвечало запросам людей, соответствовало всем условиям жизни народа, сохранялось и передавалось следующим поколениям, превращаясь тем самым в этнический культурный опыт.

В богатырских сказаниях сибирских народов главный действующий персонаж изображается как идеальный герой, образец для подражания, объект восхищения и воспевания. Все поступки и действия положительных персонажей эпоса направлены на реализацию основных идей произведений – создание семьи, защиту рода и родовой территории, борьбу со злом в любом проявлении, установление мира и равновесия в Среднем мире, где проживают эпические герои. Эти идеи составляют генеральную линию эпоса сибирских народов, воплощение которых реализуется в сложных сюжетных коллизиях произведений. Поэтому все предпринимаемые шаги и решения героев сказаний, связанные с достижением этих конечных целей, воспринимаются народом как норма.

Главные мысли эпоса сформулированы в выразительных поэтических фразах, отточенных временем и мастерством сказителей. Они превратились в клише, поэтические обороты, которые наиболее точно соответствуют созданию той или иной картины. Очень интересными, на наш взгляд, являются акценты, четко расставленные в сибирском эпосе. В структуре героических сказаний есть описания, посвященные изображению окружающего мира и среды богатыря. Эти описания, определенные нами как типические места, проиндексированы следующим образом: раздел I. «Эпический мир» содержит подразделы 1–8. Из них в разделах 2. «Земля богатырей и их противников» и 8. «Разорение земли и владений богатыря» заключен архаический мотив родной земли, тесно связанный с мотивом защиты земли.

Этот архетип получил в сказаниях свое устойчивое художественное воплощение в сочетании с понятиями *своя земля* и *чужая сторона*. Надо отметить, что

возникновение дихотомии «свой – чужой» уходит в глубину веков. История ее происхождения и эволюции связана с принципами «организации дочеловеческого, животного мира» [Степанов, 1997, с. 477]. Многие ученые обращали внимание на эту дихотомическую оппозицию в связи с изучением этнической концепции. Ю. С. Степанов исчерпывающе изложил позиции Л. Н. Гумилёва, Конрада Лоренца, Э. Бенвениста и собственные выводы относительно этимологии концепта «свой – чужие» [Степанов, 1997]. Он, как и все предыдущие исследователи, считает, что противопоставление «свой – чужие» «в разных видах пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения» [Там же, с. 472].

В героическом эпосе это мироощущение своего и чужого оформилось в «общее место» («*loci communes*») и стало стереотипом, активно используемым всеми сказителями. В нашем Указателе это место обозначено как I.2. Земля богатырей и их противников [Кузьмина, 2005, с. 8]. Описания содержат картины, увиденные глазами богатыря, отправившегося в далекий путь, его чувства от покидаемой им родной земли и народа и восприятие чужой стороны и чужого люда.

Любовь к родной земле и соблюдение ее границ у богатырей эпоса предельно обострены. В восприятии *алтайского* богатыря его земля – это *злато-серебряный Алтай*, прекрасные реки с девяностю протоками, горы подобны радуге («Очи-Бала»), земля же враждебного хана – это голая железная степь, железный тополь без коры, горы и реки черные («Маадай-Кара») [Кузьмина, 2005, алт. I.2.1, I.2.2, I.3.5]. Богатырь *бурятского* эпоса видит свою просторную землю, где привольно и лесам, и изюбрам, и соболям («Осоодор Мэргэн») [Там же, бур. I.2.7]. В богатырской поездке герой всегда ощущает, насколько чужая земля холодная, сильная, жестокая и неприветливая: *Трава на чужой земле, / На другую сторону склонившись, / Пожелтевшая виднеется. / Трава на своей земле / В эту сторону склонившись, / Зеленая виднеется* [Там же, бур. I.2.3]¹.

Инаковость чужой стороны, ее чуждость ощущается и *хакасскими* богатырями, они видят *край с иной землей, реку с иной водой* («Алтын Арыг») [Там же, хак. I.2.11]. Интересно, что только в хакасском эпосе упоминается *народ с иным обликом* («Ай-Хуучин») [Там же, хак. I.2.9, 10], т. е. богатырь, попадая в чужую землю, видит людей, которые, видимо, другие по виду и одежде. Приходится только догадываться, что они не такие, как привычный богатырю его родной народ. Уточняющих описаний в эпосе нет, просто это люди чужие для героя. Свой народ в хакасском эпосе наделяется эпитетами: *бесчисленный, красивый, прекраснотелый* («Алтын-Арыг») [Там же, хак. I.3.3, 14–16]. Кроме этих эпитетов, эпос не дает других признаков идентификации. У *шорцев* на своей земле *золотые горы с семьюдесятью перевалами, растущие деревья – чистое золото, растущие травы – чистый шелк* [Там же, шор. I.2.6]. Образно описывается в *якутском* эпосе родная земля, *где деревья, сваливаясь, не редуют, вода, испаряясь, не убывает, ежедневно восходит белое солнце, ежедневно сияет светлая луна* [Там же, як. I.2.4] в то время как чужая земля *сумеречная, подобна ненаваристой жидкой ухе, где луна и солнце щербатые* [Там же, як. I.2.5].

Итак, свойство фольклора давать однозначную оценку изображаемому (положительное – отрицательное, доброе – злое) проявляется и в оппозиции «свое – чужое». Во всем сибирском эпосе земля богатырей – это своя земля, она цветущая, изобильная, стада на ней тучные, народ радостный, счастливый. В описании земли их антиподов сказители единодушно прибегают к лаконичному изображению, без подробностей. Эпитеты чаще содержат отрицательную коннотацию. «Общие места» героического эпоса народов Сибири, содержащие категорию

¹ Список использованных языков: **алт.** – алтайский; **бур.** – бурятский; **хак.** – хакасский; **шор.** – шорский; **як.** – якутский.

«свой – чужой», включают в себя базовый, универсальный, устойчивый и четко различимый культурный архетип *родная земля*.

Профессор Амстердамского университета Т. ван Дейк, рассматривая «этнические модели ситуаций», пишет, что для них «характерно наличие особого, отличающего только эти модели структурного параметра – оппозиции “мы – они” [или “свой – чужой”]» [Ван Дейк, 1989, с. 183].

Оппозиция «свой – чужой» получила, – как пишет А. Б. Пеньковский, – «широкое и многостороннее отражение в мифологии, в ритуалах и обрядах, в народном искусстве, фольклоре и литературе у разных народов» [Пеньковский, 2004, с. 13]. Детально рассмотрев семантическую категорию чуждости в русском языке, он пришел к выводу о том, что одним из фундаментальных семиотических принципов с глубокой древности является членение универсума на два мира – «свой» и «чужой», противопоставление которых имеет множественную интерпретацию и реализуется в оппозициях типа «мы – они», «этот – тот», «здесь – там», «близкое – далекое». Типичной является также интерпретация основного (базового) противопоставления в аксиологическом, ценностном плане – в виде оппозиции «хороший – плохой», с резко отрицательной оценкой всего того, что принадлежит «чужому» миру [Пеньковский, 2004, с. 13].

Интересно развертывание в героическом эпосе темы личной сферы человека как социально-антропологического и языкового феномена. В связи с этим возникает закономерный интерес к теории Л. Леви-Брюля о пра-логическом мышлении и введенному им понятию *партиципации*, т. е. сопричастности, к которому и обратился И. Е. Ким, рассматривая вопрос личной сферы человека. Он считает, что в большинстве трудов лингвокультурологов понятия «свое – чужое» относятся к «сложной прагматической категории, реализованной в текстовых структурах, хотя и связанных со словоупотреблением» [Ким, 2009, с. 29–37].

Эпический мир – это своеобразный мир героев, богатырей, их помощников и антигероев, населенный зоо-антропоморфными персонажами, это мир замкнутый, в котором богатыри борются за продолжение рода, искореняют зло. Как пишет Л. Леви-Брюль, «в этом замкнутом мире, который имеет свою причинность, свое время, несколько отличные от наших, члены общества чувствуют себя связанными с другими существами или совокупностями существ, видимых и невидимых, которые живут с ними» [Леви-Брюль, 1994, с. 346].

Пра-логический характер первобытного мышления, о котором говорит Л. Леви-Брюль, оставил свой едва заметный след в сибирском эпосе. Черты партиципации можно увидеть в изображении пространства в эпическом мире, которое можно охарактеризовать словами Л. Леви-Брюля: «Пространство скорее чувствуется, чем осознается: направления его обременены качествами и свойствами. Каждая часть пространства сопричастна всему, что в ней обычно находится. Представление о времени, которое носит главным образом качественный характер, остается смутным...» [Там же, с. 345] Иллюстрацией этого положения Л. Леви-Брюля могут стать типические места сибирских сказаний, особенно те, которые содержат в своем сюжете архаические мотивы. Так, в «общем месте» П.А.7а пространство и время возникают в связи с богатырской ездой главного героя, причем эти категории выступают в тесном единстве. Алтайский эпос описывает следующим образом: *Шестьдесят гор переваливает, / Многие земли проезжает – / Семьдесят гор переваливает. / Конь под ним месячный путь / За полдня проходит, / Драгоценный конь годичный путь / За сутки проходит* [Кузьмина, 2005, алт. П.А.7а.2]. И далее: *Лето настало – / По плечам узнавая, едет. / Зима настала – По вороту узнавая, едет* [Там же, алт. П.А.7а.15]. В бурятском эпосе в западной стороне обычно живут злые чудовища-мангадхаи или хан чужеземной страны. В эпосе дается образное описание дальности этой земли: *Не долетит туда / Даже громадная птица тураг, / Не добежит туда / И быстроногий скакун* [Там же,

бур. II.A.7a.2]. Описание продолжительности времени аналогично алтайскому описанию: *По стрекоту пестрой сороки / Узнавал, что [наступила] зима, / По пению золотого соловья / Узнавал, что [наступило] лето* [Кузьмина, 2005, бур. II.A.7a.11]. Наряду с таким описанием есть типические места, свидетельствующие о более позднем исчислении времени и пространства: *Чтобы сражаться с мангадхаем / Расстояние восьмидесяти суток / За восемь суток проходит, – / Расстояние восьми суток / За восемь часов проходит* [Там же, бур. II.A.7a.5].

В сибирском эпосе, в котором явственно обнаруживаются древние воззрения, богатырь уже в зачине сказаний предстает одиноким. Такой он в якутском эпосе, в котором бытует в неоднократных вариантах сказание «Эр Соготох» («Муж Одинокый»), названное по имени богатыря. В эпосе бурят и алтайцев богатырь связывает свое происхождение с природными объектами. Так в *алтайском* сказании «Маадай-Кара» богатырь *Ай алтына арта туйкен / Ала тайга адам деген, / Кун алтына томро туйкен / Кирен тайга энем деген* 'Под луной дугой протянувшуюся / Пегую гору отцом называет, / Под солнцем [вдоль долины] стоящую / Бурую гору матерью называет' [Там же, алт. II.A.1.1]. *Бурятский* богатырь *Бад хара тайгаараа / Баабай хээни түрөө, / Батамай хара хушаараа / Ииби агжи түрөө* 'Великую черную тайгу / Отцом считая, родился, / Могучий черный кедровник / Матерью называя, родился' [Там же, бур. II.A.1.2]. *Хакаский* эпос в своем популярном сказании «Ай-Хуучин» говорит о рождении своей героини у лошадей: *Ала хула асхыр адагызар, / Ала хула ни ичелгизер* 'Пего-саврасый жеребец – твой отец, / Пего-саврасая кобылица – твоя мать' [Там же, хак. II.A.2.1]. Известно *долганское* сказание, в котором богатырь Аталами также рожден лошадей [Фольклор долган, 2000, с. 50–51, бл. 4].

Как видим, здесь мифологическое мышление не вычленяет человека из природы, он очень тесно связан с ней, и нет никаких противоречий в том, что человек как высшее живое существо ведет свое начало из горы, деревьев, животных. Но все же, несмотря на такую слитность с природой, эпический герой четко осознает границы своего местопребывания, наличие своего личного скота, охотничьих угодьев, местонахождение своих подданных, живущих «на северной» и «южной» сторонах, богатство и теплоту своего края. Здесь уместно привести слова Ю. М. Лотмана, известного литературоведа, одного из разработчиков структурно-семиотического метода изучения литературы и культуры, который считал, что «всякая культура начинается с разбиения мира на внутреннее (“свое”) пространство и внешнее (“их”)». Как это бинарное разбиение интерпретируется – зависит от типологии культуры. Однако само такое разбиение принадлежит к универсалиям» [Лотман, 1996, с. 175].

Небезынтересно отражение пищевого кода в таком «общем месте», как богатырская еда [Кузьмина, 2005, II.A.13]. В описаниях называется еда как «лучшие из лучших яства, крепкие из крепких напитки» [Там же, алт. II.A.13a.5, 6 и т. д.] или «вкусная, сытная пища, вкусные-сладкие яства» [Там же, алт. II.A.13a.10, 11 и т. д.] без уточнения, что собой представляет такая пища. Наряду с этим упоминается мясо змей и лягушек, суп из вшей и гнид [Там же, алт. II.A.13a.2], жирное конское мясо с жирным бульоном [Там же, алт. II.A.13a.3], алкогольные напитки кородьон, арадьан, арака [Там же, алт. II.A.13a.4, 14]. Экзотические для современного человека блюда, упоминаемые в эпосе, это прежде всего дань поэтике, которая допускает в сказаниях и гиперболу, и гротеск, и подчеркивание необычности происходящего, и, в конечном счете, художественный вымысел. Но при этом, зная исторический контекст изображаемого, можно допустить, что эпос сохранил реликтовые особенности пищевых пристрастий людей, возможно подмеченных когда-то и у кого-то (ср., например, кулинарные шедевры у современных китайцев, кухня которых включает блюда из лягушек, змей и насекомых).

Особого внимания заслуживают сцены поединков богатырей и их противников, которые составляют основное содержание эпоса. В них детально описываются начало поединка, вооружение, обращение воинов с оружием, произнесение заклинаний над луком и стрелами, физическое состояние вступивших в борьбу, реакция окружающего мира на битву богатырей, расправа с противником. Занимая центральное место в сюжете, эти описания предельно разработаны, каждый элемент в этих стереотипах продуман, описание предметов и картин боя соответствует реалиям.

С. Н. Азбелев, посвятивший ряд работ историзму былин, писал, что «героический эпос требует исследования в ином качестве – том, какое составляло его общественную функцию, ясно осознававшуюся исполнителями и слушателями былин: надо изучать их как сокровищницу народной исторической памяти» [Азбелев, 1982, с. 17]. При этом следует учитывать закономерности эпического творчества, которые обусловлены спецификой фольклора. Развиваясь на протяжении длительного времени, сюжеты и мотивы произведений героического эпоса, особенно претендующие на определенный историзм, наслаивались друг на друга, образуя весьма замысловатые сюжетные коллизии. «Былинный историзм, – отмечал С. Н. Азбелев, – лучше может быть уяснен, если в достаточной мере соотнести объекты изучения как с самой этой историей, так и с главными особенностями фольклорного творческого процесса» [Там же, с. 17]. Это сказано в отношении русских былин, по стадияльной классификации отнесенных к уже позднему государственному эпосу, в котором исторические события и реальные личности нашли свое художественное отражение. Порой эти события, о которых повествуется в былинах, происходили в разные исторические периоды, весьма удаленные друг от друга, но тем не менее они нашли отражение в одном сюжете. В отношении сибирского фольклора трудно говорить о непосредственном отражении исторических фактов, здесь очень сильно влияние мифологического контекста. И тем интереснее проследить отражение в сказаниях этого мифологического слоя и тех архетипических мотивов, которые законсервировались в стереотипах эпоса как наиболее устойчивых элементах эпического стиля.

Список литературы

- Азбелев С. Н.* Историзм былин и специфика фольклора. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1982. 327 с.
- Бердяев Н. А.* Дух и реальность. Москва: АСТ; Харьков: Фолио, 2003. 679 с.
- Ван Дейк Т. А.* Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ. / Сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова, В. В. Петрова. М.: Прогресс, 1989. 312 с.
- Из лекций А. Н. Веселовского по истории эпоса (Публикация В. М. Гацака) // Типология народного эпоса. М.: Наука, 1975. С. 287–319.
- Исакова Н. В.* Культура и человек в этническом пространстве: этнокультурологический подход к исследованию социальных процессов. Новосибирск: Изд-во МОУ ГЦРО, 2001.
- Ким И. Е.* Личная сфера человека: структура и языковое воплощение. Красноярск: Изд-во Сибир. федерального ун-та, 2009. 325 с.
- Кузьмина Е. Н.* Указатель типических мест героического эпоса народов Сибири (алтайцев, бурят, тувинцев, хакасов, шорцев, якутов): Экспериментальное изд. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 1383 с.
- Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с. (Психология: Классические труды).

Лорд А. Б. Сказитель / Подгот. изд., пер. с англ. и коммент. Ю. А. Клейнера, Г. А. Левинтона. 2-е изд., испр. и доп. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2018. 552 с.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 464 с.

Пеньковский А. Б. Очерки по русской семантике. М.: Языки славянской культуры, 2004. 464 с.

Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.

Фольклор долган / Сост. П. Е. Ефремов. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000. 448 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 19).

E. N. Kuzmina

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, kuzmina.evgenia2010@yandex.ru*

Reflection of archetypal models in “loci communes” of heroic epics of the peoples of Siberia

The paper attempts to study the reflection of archetypal models in heroic epos of the peoples of Siberia, which until recently have preserved this unique folklore genre. Due to its sacredness, the epic tradition was sustainable and stable over time. In fact, these are stereotypes that include formula expressions and poetic set phrases. These stylistic means constituted the poetic fund of the narrators of epics, used in the process of narration. In order not to lose the thread of the narrative, performed in front of the listeners, the narrators would use ready-made stereotypes. This fact is described in detail in the formula theory elaborated by Milman Parry and Albert B. Lord, which is fundamental and significant for epic scholars. While being developed and polished in the epic-performing practice, stereotypes became the basis for plotting the tales. Since a stable compositional structure of epic texts and a certain chain of episodes with a known set of motifs was developed, stereotypes became those “building blocks” that were used from legend to legend. In their content, typical phrases reflect the views of their creators, features of many epochs that affect descriptions of the birth of warriors, etiquette, feasts, heroic battles and many other stereotypes of the epic.

Keywords: heroic epics of the peoples of Siberia, the stability of the epic tradition, the stereotypes of the epos, archetypal models and representations.

DOI 10.17223/18137083/67/2

References

Azbelev S. N. *Istorizm bylin i specifika folklor* [Historicism of bylinas and the specificity of folklore]. Leningrad, Nauka. Leningr. otd., 1982, 327 p.

Berdyayev N. A. *Dukh i real'nost'* [Spirit and reality]. Moscow, AST, Khar'kov, Folio, 2003, 679 p.

Folklor dolgan [Folklore of Dolgans]. P. E. Efremov (Comp.). Novosibirsk, Inst. of Archeology and Ethnography of the SB RAS Publ., 2000, 448 p. (Monuments of Folklore of the Peoples of Siberia and the Far East; Vol. 19).

Isakova N. V. *Kul'tura i chelovek v etnicheskom prostranstve: etnokul'turologicheskiy podkhod k issledovaniyu sotsial'nykh protsessov* [Culture and human in the ethnic space. The ethno-culturological approach to the study of social processes]. Novosibirsk, MOU GTSRO Publ., 2001.

Iz lektsiy A. N. Veselovskogo po istorii eposa (Publikatsiya V. M. Gatsaka) [From the lectures of A. N. Veselovsky on the history of epos (Publication of V. M. Gatsak)]. In: *Tipologiya narodnogo eposa* [Typology of folk epos]. Moscow, Nauka, 1975, pp. 287–319.

Kim I. E. *Lichnaya sfera cheloveka: struktura i yazykovoye voploshcheniye* [Personal sphere of a human: the structure and language embodiment]. Krasnoyarsk, SFU Publ., 2009, 325 p.

Kuz'mina E. N. *Ukazatel' tipicheskikh mest geroicheskogo eposa narodov Sibiri (altaytsev, buryat, tuvintsev, khakasov, shortsev, yakutov): Eksperimental'noye izd.* [Index of common places of heroic epos of the peoples of Siberia: Altaians, Buryats, Tuvans, Khakasses, Shors, Yakuts. Experimental edition]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 2005, 1383 p.

Lévy-Bruhl L. *Sverkh'yestestvennoye v pervobytnom myshlenii* [The supernatural in the primitive mind]. Moscow, Pedagogika-Press, 1994, 608 p. (Psikhologiya: Klassicheskiye Trudy [Psychology: Classical works]).

Lord Albert Bates. *Skazitel'* [The singer of tales]. Yu. A. Kleyner, G. A. Levinton (Prep. of ed., transl. from English, comm.) 2nd ed., rev. and enl. St. Petersburg, European Univ. in St. Petersburg Publ., 2018, 552 p.

Lotman Yu. M. *Vnutri myslyashih mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – istoriya* [Inside the cogitating univesces. Human – semiosphere – history]. Moscow, LRC Publ. House, 1996, 464 p.

Pen'kovskiy A. B. *Ocherki po russkoy semantikesemantike* [Essays on Russian semantics]. Moscow, LRC Publ. House, 2004, 464 p.

Stepanov Yu. S. *Konstanty. Slovar russkoj kultury. Opyt issledovaniya* [Constants. Dictionary of Russian culture. First effort of research]. Moscow, LRC Publ. House, 1997, 824 p.

Van Dijk T. A. *Yazyk. Poznaniye. Kommunikatsiya: Per. s angl.* [Language. Cognition. Communication: transl. from English]. V. V. Petrova (Comp.), V. I. Gerasimov (Ed.), Yu. N. Karaulov, V. V. Petrov (Intr. art.). Moscow, Progress, 1989, 312 p.

УДК 398, 1.571, 161.3, 784.4
DOI 10.17223/18137083/67/3

Т. В. Дайнеко¹, Н. В. Леонова²

¹ *Институт филологии СО РАН, Новосибирск*

² *Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки*

Белорусские календарные песни Сибири и Дальнего Востока: жанровый состав

Статья посвящена характеристике репертуара белорусских календарных песен сибирского бытования. Каждый из сезонов годового круга (зимний, весенний и летне-осенний) рассматривается в этом аспекте последовательно, по обрядово-этнографическим комплексам. Наряду с научной терминологией приводятся имеющиеся в источниках этнографические, народные обозначения песенных жанров, указаны их отличительные текстовые признаки-маркеры. Авторы приходят к выводу, что песенный репертуар праздничных комплексов каждого из календарных сезонов имеет иерархическую организацию, куда входят собственно обрядовые песни и песни различных жанров, приуроченные к обряду или к сезону. Кроме того, во время календарных праздников звучит большое количество песен обиходного репертуара. Календарный песенный цикл предстает в качестве основы белорусской фольклорной традиции как в метрополии, так и в сибирском регионе.

Ключевые слова: традиционная культура Сибири, календарный фольклор белорусов-переселенцев, песенные жанры.

Коллекция зафиксированных на территории Сибири и Дальнего Востока белорусских календарных обрядов и песен, представленная в доступных авторам статьи источниках (печатных и рукописных изданиях, а также аудио-, видео- и фотоматериалах), весьма репрезентативна. Это отражено в таких параметрах, как количество образцов (более 300), географический охват областей и краев сибирского региона, разнообразие исходных локальных белорусских традиций (витебских, могилёвских, черниговских, гродненских, минских и пр.). Сибирский белорусский материал целесообразно рассматривать не только суммарно, как це-

Дайнеко Татьяна Владимировна – младший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; tan-dai@mail.ru)

Леонова Наталья Владимировна – кандидат искусствоведения, и. о. профессора кафедры этномузыкознания Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки (ул. Советская, 31, Новосибирск, 630099, Россия; nleonova53@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Т. В. Дайнеко, Н. В. Леонова, 2019

лостную коллекцию образцов календарно-обрядового фольклора, но также и с учетом особенностей субрегиональных и, уже – локальных (то есть свойственных отдельным районам или даже населенным пунктам) песенных комплексов. В настоящей статье субрегионы обозначаются в соответствии с современным административным делением – Новосибирская, Омская, Тюменская, Кемеровская области, Красноярский, Алтайский, Хабаровский, Приморский края. О сибирской географии белорусских народных песен см. также: [Леонова, 2004].

Данная работа посвящена характеристике репертуара календарных песен сибирских белорусов, который в каждом из сезонных и обрядовых циклов годового круга отличается жанровой многосоставностью. Первоначальное структурирование песенного репертуара зимнего календарно-обрядового комплекса сибирских белорусов, на примере его центрального цикла – святочного, было предложено в статье, опубликованной в 2013 г. [Дайнеко, 2013]. В настоящем исследовании эти положения уточняются и получают развитие на материале других обрядовых циклов.

Весь песенный комплекс каждого сезонного цикла можно разделить на несколько частей:

- первую и основную часть составляют собственно обрядовые песни, сопровождающие ритуальные действия и непосредственно к ним относящиеся;
- во вторую часть входят образцы разных жанров, приуроченные к обряду;
- в третьей части представлены различные по жанровой принадлежности образцы, приуроченные к календарному сезону.

Важно подчеркнуть, что во вторую и третью части наряду с песнями фольклорных жанров входят и фольклоризованные православные песнопения – главным образом, кондаки и тропари. Особенности включения православных песнопений в фольклорные традиции разных народов сибирского региона посвящена диссертация Е. И. Исмагиловой [Жимулёва, 2008] и ряд статей (см., например: [Леонова, Жимулева, 2002]).

Полный годовой круг в фольклоре белорусов-переселенцев Сибири состоит из трех календарных сезонов (зимнего, весеннего и летне-осеннего), в которых выделяется ряд обрядово-этнографических комплексов.

Зимний сезон

К части **обрядовых** здесь относятся песни, исполняющиеся во время святочного комплекса. Главное место занимают поздравительные обходные песни – *колядки, щедровки, песни-«посевания»*. Они имеют разные народные обозначения, чаще всего описательные, в которых указан адресат песни, комментируется обрядовая ситуация и прочие обстоятельства. Например, в источниках находим такие ремарки исполнителей¹: «Эта калёдная песня. Калида, вот, перед Рождеством бывает, перед Новым годом старым, перед Крещением. Вот пели хадили по улице, собраўшись. Калида» (д. Атирка Тарского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, Маг-3/1971, № 18)²; «ета шчэдры» (с. Петропавловка Маслянинского р-на Ново-

¹ Здесь и далее при цитировании комментариев исполнителей и строк песен по возможности отражаются некоторые лексические и фонетические особенности речи сибирских белорусов – аканье, особое, на белорусский лад, произношение буквы «в» (ў), ненормативные ударения и т. д.

² В статье даны ссылки на неопубликованные материалы, хранящиеся в фольклорных архивах Омского и Красноярского педагогических университетов (ОмГПУ и КГПУ, ранее – институтов), Государственном архиве Новосибирской области (ГАО), Архиве Сибирского культурного центра (СКЦ, Омск), а также Полевые материалы (ПМ) В. Ф. Похабова и Т. В. Дайнеко. Копии аудиоматериалов хранятся в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. В статье ссылки

сибирской обл. [Дайнеко, 2018, с. 131]); «вечерам пад Новый год пають» (д. Малиновка Болотнинского р-на Новосибирской обл.; ГАНО, ф. 2163, оп. 2, № 252, В-33); «эта мужики хадили» (с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл.; ПМ Похабова, МК, А-11); «пели, когда колядовали под Новый год. В окно кричали: “Петь вам?” – “Пойте коляду!” – “Тады поём эту песню!”» (д. Ивановка Бирилюсского р-на Красноярского края [Пришла Коляда..., 1995, с. 27]); «девки пели... пають [той семье,] у каго девачка» (с. Анучино Анучинского р-на Приморского края [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 116, № 25]); обходить дворы с пением песен – это «христославить» или «славить» – «у нас ето [так] называли» (с. Колбаса Кыштовского р-на Новосибирской обл. [Дайнеко, 2016б, с. 65]), «под Новый год посевали» (с. Камышинка Кыштовского р-на Новосибирской обл. [Дайнеко, 2016а, с. 87]).

Припевы обходных поздравительных песен хорошо узнаваемы при всем их разнообразии и являются однозначными маркерами жанровой принадлежности образцов. Припевы бывают традиционными фольклорными и христианизированными: «Калида», «Ой, каляды, святые вечары», «Коляды, святые вечарочки», «Святой вечер», «Святой вечар добрым людям», «Бог яму дав вумную жану, доля яго», «Раю развился, Христос народився, на яво дваре», «Радуйся Бог, усе святых радуйтиса», «Славэн вэльмы, як Бог на нэби да й над намы». В песнях-«посеваниях» такими идентификаторами жанра являются не припевы, а строка текста – «Сею-сею (-вею), посеваю», которая может быть в начале или конце песни.

В рассматриваемую часть репертуара зимних белорусских песен сибирского бытования входят также песни, *сопровождающие обрядовые игры святочного периода «Коза» и «Женитьбы Терёшки»*. Вождение ряженой «козы» с пением соответствующих песен происходило в то же время, что и колядование: поют в «Ражжаство, утром рана прыходють мужики, приводят казу» (с. Анучино Анучинского р-на Приморского края [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 115, № 7]). Эта игра находится в общем русле восточнославянского календарного фольклора Сибири (есть и репертуарные совпадения, например, у русских и белорусов) и распространена по всем очагам расселения белорусов в регионе. Напротив, обрядовая игра «Женитьба Терёшки» является именно белорусским фольклорным феноменом. В Сибири песни из этой игры в основном зафиксированы собирателями в одном из субрегионов – в разных районах Омской области (Арх. ОмГПУ, МАГ-17/1979, № 1; МАГ-1/1996, № 21, 22, 27, 28, 41; и др.); также см. об этом: [Мясникова, 2015].

К обрядовой части относятся и *подблюдные песни*, исполняемые во время ритуала гадания, однако в наших материалах белорусской сибирской традиции они представлены единичными образцами (с. Новомалиновка Нижнеомского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-11/1981, № 12, 13) да и в метрополии не имеют широкого распространения.

Сюда же следует отнести и *речевые приговоры*, используемые для «общения» с потусторонними силами и погодными явлениями. Например, приговор морозу записан в Омской области (д. Михайловка Седельниковского р-на; Арх. ОмГПУ, МАГ-2/1980, № 42); две версии, зафиксированные в Приморье, см. в: [Фетисова и др., 2004, с. 74–75].

Приуроченными к зимним обрядам в первую очередь следует считать рождественские *тропарь* «Рождество твое, Христе Боже наш...» и менее распространенный *кондак* «Дева днесь Пресущественного рождает...» в их фольклоризо-

даны только на шифры исходных архивов; полная информация будет опубликована во второй части «белорусского» тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». О принципах подготовки и научном потенциале первой части издания «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока» см.: [Леонова, 2014].

ванных версиях³. В святочный период некоторые особо набожные хозяева запрещали петь колядки в своем дворе, и в таком случае колядовщики исполняли им православные песнопения и христославия.

Кроме того, к обрядовой ситуации колядования могли быть приурочены и *песни других жанров*. В сборнике «Карагод широкий» опубликованы два образца со схожим вербальным текстом «Через поля, поля чыстыя» [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 14–16, № 3, 4]. В комментариях их жанровая принадлежность обозначена как «колядка», об этом же в описательном ключе говорят и исполнители: «Мы у хати пьём. “Можна у вас спеть?” – “Пожалуйста”. Мы сыпём и нам принясут миску зерна, ти гречки...» [Там же, с. 115]. Однако по содержанию вербального текста (о встрече Богородицы с тремя ангелами) и музыкальному его воплощению песня представляет собой духовный стих, в данном случае выполняющий функцию колядки. В этом же сборнике находим четырехстрочную колядку, которую «как частушку пають» [Там же, с. 115, № 13], т. е. напев неприуроченного жанра частушки приспосабливается носителями традиции к обрядовым нуждам.

К *сезонно приуроченным* можно отнести *вечёрошние песни*, которые звучали во время молодежных святочных посиделок. Информанты обычно не называли такие песни вечёрошними, говоря лишь о месте и времени их исполнения. В жанровом отношении они могли быть лирическими, хороводными или плясовыми.

Весенний сезон

Масленичная неделя занимает в годовом календарном круге промежуточное положение: с одной стороны, она завершает зимний сезон, с другой – открывает весенний. Мы относим праздник Масленицы к весеннему периоду вслед за учеными, занимающимися метропольной белорусской календарной традицией [Можейко, 1984, с. 23 и далее].

В связи с пограничным положением Масленицы весь весенний период в белорусской календарной традиции сибирского бытования логично делится на две части. Первая из них – **ранняя весна** – носит переходный характер и имеет временные границы от Масленицы (подвижная дата) до Благовещенья (7 апреля⁴), на середину этого периода выпадает еще один общезначимый для сибирских белорусов весенний праздник – Сороки (22 марта).

Обрядовую песенную часть ранней весны составляют:

– *масленичные песни*;

– *«гукальные» весенние песни*, с помощью которых призывали, закликали весну;

– *благовещенские песни*.

В каждом из субрегионов Сибири и Дальнего Востока обрядовые компоненты Масленицы отличаются гораздо большей сохранностью, чем песенная составляющая этого праздничного периода. Тем не менее в суммарной белорусской коллекции имеется более двадцати масленичных песен. В комментариях исполнителей «масленками», «маслянскими», «масленицей» могли называться не только обрядовые песни, но и приуроченные к обряду, например, хороводные (о них ниже).

Характерной особенностью песен ранневесеннего периода были гуканья / гиканья / гэканья – обрядовые возгласы-призывы («У!», «Гу!», «Гэ!»), которые интонировались напряженным тембром, звонко, крепко, в высоком регистре. Обращает на себя внимание структурная особенность: в песнях с гуканьем, как прави-

³ Слово «тропарь» не используется самими информантами. Они говорят: «пели “Рождество”», «петь “Богородицу”» и т. п.

⁴ Здесь и далее в статье даты указаны по новому стилю.

ло, нет припевов. В масленичных песнях такие возгласы могли как встречаться – например: «Гэ! – так гикали шшэ» (с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл.; ПМ Похабова, МК, А-14), так и отсутствовать. В то же время эти возгласы являлись главной отличительной чертой «гукальных» весенних песен. «Гукать весну» начинали на Масленицу и продолжали до Благовещенья. Эти возгласы более характерны для песен ранневесеннего периода, но нередко звучали поздней весной и летом. Так, в коллекции есть весенняя песня с гуканьем, которую, по ремарке исполнительницы, «пели на Пасху», «весной пеют» (с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл.; ПМ Похабова, МК, А-15).

Диапазон народной терминологии для обозначения весенних обрядовых песен шире. Помимо кратких – «весна», «весенняя», «веснущая», «весняная» – встречаются и достаточно развернутые формулировки. Зачастую в них содержится указание на действие (глагол), определяется место этого действия, а также половозрастной состав его исполнителей: «то вясну гукають» (с. Преображенка Ачинского р-на Красноярского края; ПМ Похабова, МК, В-15), «эта вясной пають», «пают, завут весну» (с. Анучино Анучинского р-на Приморского края [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 117, № 36, 37]); «весну погукаем» (д. Барлак Мошковского р-на Новосибирской обл.; ГАНО, ф. 2163, оп. 2, № 313, А-12); «на вулицы выйдуть и пають, весну встречають» (д. Ивановка Бирилюсского р-на Красноярского края; Арх. КГПУ, 166-3/1989); «весну кликали в апреле. На улице. Залезут девки на пулю (забор. – Т. Д., Н. Л.), на сено и весну кликают, поют. На Благовещенье поют, весну кликают» (с. Орловка Бирилюсского р-на Красноярского края; Арх. КГПУ, 26-5/1989).

Приуроченными к обрядам ранневесеннего периода могли быть песни различных жанров, среди которых особое место занимают *хороводы*. Хотя хороводный сезон начинался во второй половине весны, после Пасхи, многие ранневесенние песни имеют хороводную форму. Хороводы водили на масленичной неделе, в том числе в ее кульминационный день, когда разводили костер. В отдельных локальных традициях к Масленице могли быть приурочены строго определенные хороводные песни: например, в с. Харитоновка Шкотовского района Приморского края, где проживают потомки черниговских переселенцев, «информанты единодушно называли масленичную песню “Сы горы солнце сыкатилося”, которая в других местах (расселения белорусов в Приморье. – Т. Д., Н. Л.) не имела столь жесткой временной закреплённости, а исполнялась на протяжении всего послепасхального периода» [Фетисова, 2002, с. 86].

Песни этого жанра могли быть приурочены и к Благовещенью. В благовещенских песнях встречаются характерные для хороводов припевы: «ой, ли, ой, люли», «лёлюшки, лёли», «лёлюшки-палёлюшки» и другие (например: «Што й у нас завтра Благовешчання, / Ой, ли, вой, люли, Благовешчання» – д. Ивановка Бирилюсского р-на Красноярского края; Арх. КГПУ, 166-4/1989). Исполнители нередко указывают, что песню надо было исполнять «в кругу», обыгрывая действиями сюжет: «Пели в кругу. Пару выбяруть, посярод поставять, парня и деўку. Ну вот ён уже куплет пракайт, праходим круг, так и другую пару выбирайт. Да яще каторые дружат, да стыдят-то их нарочно» (Там же).

Кроме того, в разные моменты праздников, – как правило, после совершения обрядовых действий – могли исполняться любые распространенные в данной традиции песни (например, лирические), частушки, инструментальные наигрыши и т. д. Так, на масленичной неделе во время традиционного катания на лошадях по деревне «спивали пра Маслинаю, а то такую... (то есть не обрядовую масленскую, а обычную, обиходную. – Т. Д., Н. Л.) песню завядуть... и гармошка играя» (с. Соколовка Чугуевского р-на Приморского края) [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 11].

Период **поздней весны** насыщен событийными вехами – Великий пост от Прощеного воскресенья и до Пасхи, пасхальная неделя, Радоница, день святого Егория (6 мая) и Вознесение.

Обрядовые песни этого времени представлены поздравительными обходными песнями пасхального песенно-этнографического комплекса – *волочебными*: «Группа людей ходила по дворам, пела волочебные песни. Это не колядки. Главное, чтобы дали яйцо» (с. Ирбейское Красноярского края); «На Пасху ходили волочебники. Тогда и мужики ходили, и женщины – все» (с. Фаначет Тасеевского р-на Красноярского края); «Веселились, пели, плясали. По улицам ходили волочебные люди» (пос. Красный Маяк Канского р-на Красноярского края) [Великий пост..., 2013, с. 165].

В доступной нам сводной коллекции белорусских календарных песен сибирского бытования в комментариях исполнителей наряду с определением *волочѣбная / волочебная* встречается и иное: «вот [зайдут – неразборчиво] в хату. Тады ужа падаю́т и кормю́т. Эта хрыстовская [песня]» (д. Александровка Колосовского р-на Омской обл.; Арх. СКЦ, № 7). Иногда описывается обрядовая ситуация, а жанр самой песни никак не обозначается: «Патом: Христос васькрес! Христос васькрес! Ну и приглашаю́т или в хату – вина ка́ждому даю́т выпить помаленьку, а если пад ва́кно, то всяко там – яйчки, деньги» (с. Атирка Тарского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-17/1980, А-12); «А взрослые у нас – Пасху ходили пели. На второй день Пасхи всё ходили вечерами под окошком» (с. Колбаса Кыштовского р-на Новосибирской обл. [Дайнеко, 2016б, с. 67]); «Христославцы по домам ходили, славили Христа, кто чѣ даст, кто колбасы, кто стряпаное» (д. Ивановка Ишимского р-на Тюменской обл. [Традиционный фольклор..., 2013, с. 9]). Волочебным песням одного из сибирских субрегионов, и в том числе связанной с этим жанром народной терминологии, посвящена работа омского филолога-фольклориста С. А. Мясниковой [2017].

Волочебные песни представляют собой пример компромиссного сосуществования древней обрядовой традиции (обход дворов), связанной с продуцирующей магией, и православной культуры. Тексты волочебных песен часто опираются на библейские источники, в них упоминаются различные святые и одновременно раскрывается, в чем именно каждый святой может помочь земледельцам. Христианское же начало наиболее ярко проявляется в текстах припевов, например: «Христос васькрос, сын Божя» (д. Александровка Колосовского р-на Омской обл.; Арх. СКЦ, № 4); «Христос, сын Божий, васькрос» (с. Новоягодное Знаменского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-1/96, № 36). Наряду с этим встречаются волочебные песни с припевами дохристианского периода: «Зелѣна ёлка, зелѣна», «Сад зялёный, вишнёвый».

К обрядовым относятся и *егорьевские песни*; в сибирской коллекции они представлены единичными образцами (например, с. Васисс Тарского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-9/1980, № 6).

Приуроченные к обряду жанры. В пасхальный период обязательным элементом был *тропарь «Христос васькросе»*, который в каждой из локальных традиций имел свои особенности напева – мелодические, темповые и пр. Например, носители традиции дают такое описание: «На Пасху мы пели “Христос васькросе”. Дома. И на улицу выйдем другой раз, на лавочке сядем и поём. Мы и на кладбище ходим когда на родительский день – поём. Его ж не всегда поют. До Вознесения он поѣтся. А после Вознесения уже поѣтся “Богородица”» (с. Камышинка Маслянинского р-на Новосибирской обл.) [Дайнеко, 2016а, с. 88].

Хороводные песни в весенний период могут быть приурочены к обряду. Так, отличительной чертой локальной традиции с. Прямское Маслянинского района Новосибирской области, где проживают потомки переселенцев из Черниговской губернии, были хороводы («караводы», «карагоды»), которые прямчане обяза-

тельно пели и водили на Радоницу в непосредственной близости от кладбища – за его воротами. Развитость и хорошая сохранность обрядов и песен радоницкого комплекса вплоть до настоящего времени свидетельствует о том, что он, безусловно, является центральным для данной локальной традиции, выделяя ее из ряда таковых в сибирском регионе. Однако по прошествии пасхального периода радоницкие хороводы в с. Пряmsком теряли свою обрядовую функцию и становились сезонно приуроченным жанром – их «играли» вплоть до Троицы; более того, «на точкѣ» (т. е. во время летних развлекательных собраний) они могли исполняться и без хореографического компонента. У потомков черниговских переселенцев Приморья также зафиксирована развитая пасхально-радоницкая обрядность с большим количеством хороводных песен (г. Артѣм, сѣла Васильевка, Ястребовка, Сергеевка, Владимиро-Александровское Партизанского р-на, сѣла Многоудобное, Шкотово Шкотовского р-на, с. Соколовка Чугуевского р-на Приморского края [Семѣнова, Семѣнов, 2003, № 53–110]).

На Радоницу и на Вознесение исполнялись особые хороводные песни, сопровождающие «вождение стрелы» или «закапывание стрелы» [Там же, с. 33]. Они имеют собственные текстовые маркеры – упоминание стрелы («Ты лети, стрела», «Ай, иди, стрела», «Як пушу стрелу» и др.). Основным типом движения в таких хороводах, как правило, было шествие шеренгами, но могли быть и орнаментальные варианты вождения [Там же].

Летне-осенний сезон

Летне-осенний период распадается на две части: собственно лето и позднее лето и осень.

Обрядовыми песнями первой части – **лета** – являются *троицкие* (а также *русальские*, *грянные*), *купальские* и *петровские*. Последние две жанровые разновидности исследователи часто объединяют в одну – купальско-петровскую, поскольку одни и те же песни могли исполняться и в день Ивана Купала (7 июля), и в Петров день (12 июля).

В общей суммарной коллекции календарных белорусских песен сибирского бытования присутствуют совсем немного образцов обрядовых песен троичской недели (около десяти). В данном случае мы снова видим ситуацию, когда обрядовый компонент сохраняется гораздо лучше песенного. Повсеместно в Сибири проводились обряды, связанные с культом растительности. Каждое обрядовое действие, по словам информантов, сопровождалось специальными песнями. Однако в последнее десятилетие даже самые пожилые исполнительницы могли спеть лишь отдельные образцы этого жанра. Например, песня «Подруженьки-голубушки», которую фиксировали во второй половине 1980-х гг. в с. Колбаса Кыштовского района Новосибирской области (ГАНО, ф. 2163, оп. 2, № 104, В-9), была записана вновь во время фольклорно-этнографической экспедиции в 2016 г., но уже от других носителей традиции (ПМ Дайнеко, Кыштовский р-н Новосибирской обл., 2016).

Купальский обрядовый комплекс имел прежде большое значение в годовом круге, так как этот праздник отмечали в дни летнего солнцеворота (25 июня по старому стилю). В некоторых субрегиональных белорусских традициях (Приморский край, Омская обл.) сохранялись и купальские обряды, и сопровождающие их песни. В других же субрегиональных и локальных традициях уже в 1980-е гг. празднование этого дня не включало ритуальные практики, а сводилось к развлечениям, обычно детским: «Только знали, что Иван Купала. Бегали ребятишки, обливались водой, и всё» (с. Колбаса Кыштовского р-на Новосибирской обл.) [Дайнеко, 2016б, с. 68].

В народной терминологии иногда отражены не только названия песен, но и место их исполнения – на улице: «вот и вся купалкина песня», «эта купалка, вечером штобы все были на дворе» (д. Ларионовка Знаменского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/96, № 2, 35).

Жанровое разнообразие летнего периода могло быть дополнено *православными песнопениями*, которые были связаны с обрядовыми ситуациями вызывания дождя. Например, в с. Колбаса Кыштовского района Новосибирской области с этой целью производился «обход с иконой Богородицы берега реки и полей, нуждающихся во влаге: “Старухи собираются, на речку сходят, поют – “Богородицу” ету пели и ещё какие-то пели. ...Идут с речки, где рожь посеяна – на рожь сходят с етой иконой”» [Дайнеко, 2016б, с. 69].

Приуроченными к обрядам – троицким и купальским – в первую половину лета были прежде всего *хороводные песни*: «особенно на Троицу водили хороводы», «на Троицу всё пели хороводские песни» (с. Колбаса Кыштовского р-на Новосибирской обл. [Там же, с. 68]; «водили хороводы. У нас хороводы не только на Троицу водили, но и всегда в праздники» (с. Ивановка Бирилюсского р-на Красноярского края [Семик и Троица..., 2012, с. 83]). Сами хороводы могли быть сложными в хореографическом отношении, например, «когда шли к реке, могли завести орнаментальный хоровод, с выбиранием пары и переходом с нею в конец шеренги: “вот через пару всё переходили, переходили – один через одного, и так до самой до речки туда, у край деревни сходили, пели”» (с. Колбаса Кыштовского р-на Новосибирской обл. [Дайнеко, 2016б, с. 68]).

Как и во время других праздников, сугубо развлекательные ситуации всеобщего веселья позволяли исполнять образцы необрядового фольклора разных жанров – «лирические, шуточные песни, наигрыши под пляску и пение частушек» [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 94].

Вторая часть рассматриваемого сезона охватывает **позднее лето и осень**. Это был очень важный и ответственный период в жизни крестьян, насыщенный полевыми работами. С главной из них, а именно со сбором урожая злаков, были связаны *обрядовые песни* этого времени – *жнивные* и *дожиночные*. Они предназначались для сольного или ансамблевого исполнения: «...от мы жнём и паём, и жнём, и песни ётгы паём. А их можна и так петь [вне работы]. И па аднаму можна, и несколько, ище й лучше. На поле ж, видите, я одна жну. У меня горе – я паю, и паю, и жну, и паю» (с. Харитоновка Шкотовского р-на Приморского края [Там же]). Специальными обрядами древнего происхождения, которые призваны были обеспечить удачную жатву и хороший урожай, отмечались крайние точки жнивных работ: их начало – зажинки и окончание – дожинки, обжинки. Песни, сопровождающие жатвенные обряды, обозначаются носителями традиции чаще всего описательным образом: «як начинали жать рожь», «на поле, как жали рожь. Пасля Пятра», «тоже як жали», «эта жнива», «как рожь дажинали», «эта дажавши с поля ишли, эту песню пели. Как рожь убрали» (д. Ларионовка Знаменского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-3/96, № 24, 25, 26, 41, 19, 21 соответственно), «как кончают жать» (с. Атирка Тарского р-на Омской обл.; Арх. ОмГПУ, МАГ-16/1980, № 9). Наряду с песнями обрядовые действия (вязание первого и последнего снопа, завивание «бороды», катание жней по земле, по полю и пр.) могли сопровождаться особыми *речевыми приговорами*.

Приуроченными к сезону можно назвать *прополочные, покосные, косецкие* и другие песни, которые сопровождали различные полевые работы. Их пели во время самого крестьянского труда: «Полим и паём во весь голос... Рядышком идём, траву рвём и паём» (с. Васильевка Партизанского р-на Приморского края [Семёнова, Семёнов, 2003, с. 94]), а также по пути на работу и с работы или во время отдыха. В жанровом отношении это были чаще всего лирические песни.

То же можно сказать и об *осенних* или «*восеньских*» *песнях*, которые исполнялись как во время полевых работ, так и по завершении земледельческого цикла.

Выводы

Как показало рассмотрение всех сезонных циклов белорусского календаря сибирского бытования, песенный репертуар праздничных и обрядовых комплексов имеет иерархическую организацию. В зимний, весенний и летне-осенний сезонные циклы кроме обрядовых входят и другие жанры – приуроченные (к обряду или сезону) и неприуроченные. В каждом сезонном цикле указанные части репертуара образуют разные в жанровом и количественном отношении конфигурации: варьирует как состав жанровых групп, так и число образцов разных жанров. Кроме того, во время календарных праздников звучит большое количество песен обиходного репертуара. О сложности систематизации и классификации календарных песен годового круга ввиду их многосоставности пишет белорусский этномузыколог З. Я. Можейко. Она объясняет это тем, что «в живой народно-песенной практике календарный цикл включает как песни собственно календарные... так и необрядовые песни лирического и эпического характера, условно приурочиваемые к тому или иному временному периоду либо нескольким различным периодам» [Можейко, 1985, с. 14].

Количественный состав обрядовых и приуроченных к обрядам песен в масштабах всего годового календарного круга неоднороден. Во всех субрегиональных традициях зафиксировано большое число зимних обходных песен (колядок, щедровок), в некоторых – песен купальского обрядового комплекса или радоницких хороводов. Заметно меньше записано весенних песен-закличек, масленичных, жнивных и др. Наконец, мы располагаем небольшим количеством образцов таких жанров, как троицкие, егорьевские песни. Тем не менее в суммарной коллекции представлены все традиционные песенные жанры белорусского календаря. Наиболее богатыми по числу песен и сложно организованными в жанровом отношении являются центральные песенно-обрядовые циклы противопоставленных в календаре сезонов, зимнего и летнего – Святки и Купала.

Во всех календарных сезонах в обрядовые комплексы включены православные песнопения. Эти жанры могут быть приурочены к определенным обрядовым ситуациям, но могут исполняться и в другие, необрядовые календарно приуроченные периоды, которые обычно предшествуют крупным праздничным циклам (например, Святкам). Речь идет прежде всего о православных постах. В постовые периоды, направленные на очищение тела и спасение души, музыка не исчезала из народного быта, но певческий репертуар был особым. В первую очередь исполнялись православные песнопения; но также во время постов могли звучать и образцы фольклорных жанров: духовные стихи, некоторые волочебные, баллады и другие. К сожалению, полный репертуар постовых песен не зафиксирован собирателями. В силу этого обстоятельства установить пропорции православных песнопений и песен фольклорных жанров, звучащих во время постовых периодов, в настоящее время не представляется возможным. Можно лишь констатировать безусловную значимость постов для годового календарного круга, а также подчеркнуть ритмичность чередования в календаре постов и насыщенных обрядовыми практиками праздников – своеобразных «вдохов» и «выдохов» традиционного уклада жизни.

Список литературы

- Великий пост и Пасха в народной культуре Приенисейской Сибири: Фольклорно-этнографические материалы. Семантика обрядовых действий / Сост. Н. А. Новосёлова. Красноярск: Класс Плюс, 2013. 256 с.
- Дайнеко Т. В. Зимние календарные песни белорусов Сибири и Дальнего Востока: проблемы изучения // Вестн. музыкальной науки. 2013. № 2. С. 55–60.
- Дайнеко Т. В. Календарные обряды и песни села Камышинка (материалы экспедиции 2016 г.) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2016а. № 2, вып. 31. С. 85–91.
- Дайнеко Т. В. Фольклорные традиции села Колбаса: основные вехи народного календаря (по воспоминаниям Евы Ивановны Павлюковой) // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2016б. № 2, вып. 31. С. 63–70.
- Дайнеко Т. В. Записки из Петропавловки: по результатам экспедиции 2016 г. в Маслянинский район Новосибирской области // Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2018. № 2, вып. 36. 128–136.
- Жимулева (Исмаилова) Е. И. Православная и фольклорная певческие традиции: проблемы взаимодействия: Дис. ... канд. искусствоведения. Новосибирск, 2008.
- Леонова Н. В. Сибирская география белорусских народных песен // Народная культура Сибири: Материалы XIII науч. семинара Сибирского регионального вузовского центра по фольклору. Омск, 2004. С. 46–49.
- Леонова Н. В. Том «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Часть первая»: принципы подготовки и научный потенциал издания // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 28–29 лістапада 2013 г., г. Мінск: У 2 ч. Ч. 2 / Уклад. Н. С. Бункевіч [і інш.]; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Мінск: Права і эканоміка, 2014. С. 279–283.
- Леонова Н. В., Жимулева (Исмаилова) Е. И. Народное рождественское христославление (на материале сибирской традиции) // Сибирский музыкальный альманах, 2001 / НГК им. М. И. Глинки. Новосибирск, 2002. С. 46–53.
- Можейко З. Я. Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт системно-типологического исследования. Минск: Наука и техника, 1985. 247 с.
- Мясникова С. А. «Тярёшка тярэжила, на печі не влэжила...» (материалы фольклорного архива ОмГПУ о святочном обряде «Женитьба Терёшки» белорусов Омского Прииртышья) // Народная культура Сибири: Материалы XXIII науч.-практ. семинара регионального вузовского центра по фольклору. Омск: Изд-во Омск. гос. пед. ун-та, 2015. С. 175–182.
- Мясникова С. А. «Волочобнички волочилися...» – волочобные песни белорусских переселенцев Омского Прииртышья // Сибирский филологический журнал. 2017. № 1. С. 13–22.
- Пришла Коляда накануне Рождества / Сост. Н. А. Новоселова, С. В. Соколова. Красноярск: Кн. изд-во, 1995. 256 с.
- Семёнова И. В., Семёнов О. В. Карагод широкий: Календарно-обрядовые песни переселенцев Суражского, Новозыбковского, Стародубского уездов Черниговской губернии в Приморье. Владивосток, 2003.
- Семик и Троица в народной культуре Приенисейской Сибири: Фольклорно-этнографические материалы. Семантика обрядовых действий / Сост. Н. А. Новосёлова. Красноярск: ГЦНТ: Класс Плюс, 2012. 212 с.
- Традиционный фольклор Тюменской области: репертуарный сборник / Авт.-сост. Л. В. Дёмина. Тюмень: Титул, 2013. 164 с.
- Фетисова Л. Е. Белорусские традиции в народно-бытовой культуре Приморья. Владивосток, 2002.

Фетисова Л. Е., Ермак Г. Г., Сердюк М. Б. Традиционный восточнославянский фольклор на юге Дальнего Востока России (вторая половина XIX – начало XX в.): Адаптационный аспект. Владивосток: Дальнаука, 2004. 192 с.

T. V. Dayneko¹, N. V. Leonova²

¹ Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk
Russian Federation, tan-dai@mail.ru

² Glinka Novosibirsk State Conservatoire, Novosibirsk, Russian Federation, nleonova53@mail.ru

Genres of Belarusian calendar songs of Siberia and the Far East

The paper continues the publication of the results of a comprehensive study of the calendar folk-ethnographic cycle of Belarusian-settlers of Siberia and the Far East. This study is related to the preparation of the second part of the volume of Belarusian folklore to be published in the series "Monuments of folklore of the peoples of Siberia and the Far East." The main attention is paid to the characteristics of the repertoire of Belarusian calendar songs of the Siberian region. The entire annual calendar cycle of the Belarusian folklore is divided into three seasons – winter, spring and summer-autumn, each consisting of several ritual and ethnographic complexes. The song repertoire of holiday complexes has a hierarchical organization, including the actual ritual songs and songs of various genres, dedicated to the rite or season. For example, the ritual songs of the Christmastide (The Christmas – New Year – Epiphany, the central holiday complex of the winter season) include complimentary roundabout songs: carols, generousities, sowing songs, as well as songs accompanying the ritual games "The Goat" and "The Marriage of Tereshka." The folklore versions of Orthodox troparii are dedicated to the rites. The songs performed during evening parties for young people – vechoroshniye songs, dance songs, lyrics are seasonally timed. In addition, during the calendar holidays, a large number of songs from the everyday repertoire are played. Along with the scientific terminology, the ethnographic and folk designations of song genres available in the sources are given, and their distinctive textual markers are indicated.

Keywords: traditional culture of Siberia, calendar folklore, Belarusian-settlers, song genres.

DOI 10.17223/18137083/67/3

References

Dayneko T. V. Zimnie kalendarnye pesni belorusov Sibiri i Dal'nego Vostoka: problemy izucheniya [Winter calendar songs of Byelorussians from Siberia and the Far East: problems of studying]. *Journal of musical science*. 2013, no. 2, pp. 55–60.

Dayneko T. V. Fol'klornyye traditsii sela Kolbasa: osnovnyye vekhi narodnogo kalendarya (po vospominaniyam Evy Ivanovny Pavlyukovoy) [Folk traditions of the village of Kolbasa: folk calendar major stages (according to Eva Ivanovna Pavlyukova's memories)]. *Yazyki i fol'klor korennykh narodov Sibiri*. 2016, no. 2(31), pp. 63–70.

Dayneko T. V. Kalendarnye obryady i pesni sela Kamyshinka (materialy ekspeditsii 2016 g.) [Calendar rituals and songs of Kamyshinka village (fieldwork materials of 2016)]. *Yazyki i fol'klor korennykh narodov Sibiri*. 2016, no. 2(31), pp. 85–91.

Dayneko T. V. Zapiski iz Petropavlovki: po rezul'tatam ekspeditsii 2016 g. v Maslyaninskiy rayon Novosibirskoy oblasti [Notes from Petropavlovka: according to the results of the expedition in 2016 to Maslyaninsky district of Novosibirsk region]. *Yazyki i fol'klor korennykh narodov Sibiri*. 2018, no. 2(36), pp. 128–136.

Fetisova L. E. *Belorusskie traditsii v narodno-bytovoy kul'ture Primor'ya* [The Byelorussian traditions in the national and household culture of Primorye]. Vladivostok, 2002.

Fetisova L. E., Ermak G. G., Serdyuk M. B. *Traditsionnyy vostochno-slavianskiy fol'klor na yuge Dal'nego Vostoka Rossii (vtoraya polovina XIX – nachalo XX v.): Adaptatsionnyy aspekt* [Traditional East Slavic folklore in the south of the Far East of Russia (the second half of 19th – the beginning of the 20th century): Adaptation Aspect]. Vladivostok, Dal'nauka, 2004, 192 p.

Leonova N. V. Sibirskaya geografiya belorusskikh narodnykh pesen [Siberian geography of Byelorussian folk songs]. *Narodnaya kul'tura Sibiri: Materialy XIII nauch. seminarov Sibirskogo regional'nogo vuzovskogo tsentra po fol'kloru* [Folk culture of Siberia: Materials of the 13th sci. seminar of the Siberian Regional Univ. Center on Folklore]. Omsk, 2004, pp. 46–49.

Leonova N. V. Tom “Fol'klor belorusov Sibiri i Dal'nego Vostoka. Chast' pervaya”: printsipy podgotovki i nauchnyy potentsial izdaniya [Volume “Folklore of the Belarusians of Siberia and the Far East. Part First”: the principles of preparation and scientific potential of the publication]. In: *Traditsyi i suchasny stan kul'tury i mastatstva: Materyyaly Mizhnar. navuk.-prakt. kanf., listapada 2013 g., g. Minsk: U 2 ch. Ch. 2* [Traditions and present state of culture and art: Materials of intern. sci. conf., Nov. 28–29, 2013, Minsk]. N. S. Bunkevich (Comp.), A. I. Lakotka (Ed.). Tsentr dasledavannyaŭ belaruskay kul'tury, movy i litaratury NAN Belarusi. Minsk, Prava i ekanomika, 2014, pp. 279–283.

Leonova N. V., Zhimuleva (Ismagilova) E. I. Narodnoye rozhdestvenskoye khristosslavleniye (na materiale sibirskoy traditsii) [Folk Christmas chant (on the material of the Siberian tradition)]. In: *Sibirskiy muzykal'nyy al'manakh, 2001*. NGK im. M. I. Glinki. Novosibirsk, 2002, pp. 46–53.

Mozheyko Z. Ya. *Kalendarno-pesennaya kul'tura Belorussii: Opyt sistemnotipologicheskogo issledovaniya* [Calendar-song culture of Belarus: Experience of a system and typological research]. Minsk, Nauka i tekhnika, 1985, 247 p.

Myasnikova S. A. “Tyarëshka tyarëzhila, na pechi ne vlëzhila...” (materialy fol'klornogo arkhiva OmGPU o svyatochnom obryade “Zhenit'ba Terëshki” belorusov Omskogo Priirtysh'ya) [“Tyarëshka tyarëzhila, na pechi ne vlezhila...” (materials of the Omsk State Pedagogical University's folklore archive about the ritual game “The Marriage of Tereshki” by the Byelorussians of Omsk Irtysh)]. In: *Narodnaya kul'tura Sibiri: Materialy XXIII nauch.-prakt. seminarov regional'nogo vuzovskogo tsentra po fol'kloru*. Omsk, OGPU Publ., 2015, pp. 175–182.

Myasnikova S. A. “Volochebnichki volochilisa...” – volochebnye pesni belorusskikh pereselentsev Omskogo Priirtysh'ya [“The valicenti trailed...” – volochine songs of the Omsk Irtysh region Belarusians]. *Siberian Journal of Philology*. 2017, no. 1, pp. 13–22.

Prishla Kolyada nakanune Rozhdestva... [Kolyada has Come on the Eve of Christmas]. N. A. Novoselova, S. V. Sokolova (Comps). Krasnoyarsk, Kn. izd., 1995, 256 p.

Semenova I. V., Semenov O. V. *Karagod shirokiy: Kalendarno-obryadovye pesni pereselentsev Surazhskogo, Novozybkovskogo, Starodubskogo uezdov Chernigovskoy gubernii v Primor'e* [Wide Karagod: Calendar-ritual songs by Settlers from Surazhsky, Novozybkovsky, Starodubtzevsky counties of the Chernigov province in Primorye]. Vladivostok, 2003.

Semik i Troitsa v narodnoy kul'ture Prieniseyskoy Sibiri: Fol'klorno-etnograficheskie materialy. Semantika obryadovykh deystviy [Semik and Trinity in the national culture of Priyeniseysky siberia: folklore and ethnographic materials. Semantics of ceremonial actions]. N. A. Novoselova (Comp.). Krasnoyarsk, GTSNT, Klass Plyus, 2012, 212 p.

Traditsionnyy fol'klor Tyumenskoy oblasti: repertuarniy sbornik [The traditional folklore of the Tyumen region: a repertoire collection]. L. V. Demina (Comp.). Tyumen', Titul, 2013, 164 p.

Velikiy post i Paskha v narodnoy kul'ture Priyeniseyskoy Sibiri: Fol'klorno-etnograficheskie materialy. Semantika obryadovykh deystviy [Lent and Easter in the national culture of Priyeniseysky Siberia: The folklore and ethnographic materials. Semantics of ceremonial actions]. N. A. Novoselova (Comp.). Krasnoyarsk, Klass Plyus, 2013, 256 p.

Zhimuleva (Ismagilova) E. I. *Pravoslavnaya i fol'klornaya pevcheskiye traditsii: problemy vzaimodeystviya* [Orthodox and folklore singing traditions: problems of interaction]. Cand. art. sci. diss. Novosibirsk, 2008, 398 p.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82.161.1
DOI 10.17223/18137083/67/4

Ю. В. Шатин

*Новосибирский государственный педагогический университет
Институт филологии СО РАН, Новосибирск*

Exegi monumentum: от оды к исповеди. Изменение сюжетного кода

Рассматривается изменение принципов организации сюжета в процессе эволюции оды Горация Exegi monumentum в русской поэзии. Автор выделяет роль Пушкина, создавшего в стихотворении «Я памятник себе воздвиг...» благодаря принципу трансреминисцентности новые принципы построения текста, прежде всего за счет новой иерархии смыслов, связанной с изменением числа стоп в заключительных стихах катренов. Принципы изменения сюжетного кода, открытые Пушкиным, были творчески переосмыслены крупнейшими поэтами XX в. – В. В. Маяковским и В. С. Высоцким, благодаря чему, по выражению Гегеля, горацянская ода приобрела новый вид художественно завершенного и единого внутри себя целого.

Ключевые слова: горацянская ода, сюжетный код, иерархия смыслов.

В своих лекциях по эстетике Гегель выделил две составляющие одического жанра, ведущего между собою непрерывную борьбу: «...восхищающая поэта мощь содержания и субъективная свобода, прорывающаяся в ее борьбе с предметом, который стремится подчинить ее себе. Натиск этого противоречия по преимуществу и делает неизбежным размах и смелость языка и образов, кажущаяся неправильность внутреннего строения и протекания, отступления, пробелы, незапные переходы и т. п., и свидетельством внутренней поэтической высоты художника оказывается то мастерство, с каким ему удастся разрешить этот раскол и создать художественно завершенное и единое внутри себя самого целое, которое, будучи его произведением, возвышает его над величию его предмета» [Гегель, 1971, с. 522].

Шатин Юрий Васильевич – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методике обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллюйская, 28, Новосибирск, 630125, Россия; shatin08@rambler.ru); главный научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Ю. В. Шатин, 2019

Действительно, ни в одном из известных лирических жанров невозможно обнаружить подобного сюжетного напряжения между законченностью архитектурной формы и композиционной динамикой создаваемого мира. Такая двойственность оды не прошла для нее даром. Как в европейской, так и в русской поэзии она подверглась агрессии сразу с двух сторон – со стороны архитектоники, желавшей сделать из нее величественную пирамиду с жесткой структурой, сохраняющей свою неизменность на века, и со стороны риторики, все время пытающейся растворить ее художественный смысл в текучем незавершенном дискурсе.

Подобную двойственность можно наблюдать и в такой разновидности жанра, как горацянская ода, где отчетливо сталкиваются два разнородных мотива – остановившегося мгновенья памяти, запечатленной в памятнике, и динамической рефлексии по утраченному времени, которая и определяет ход поэтической мысли. Эти два вида памяти, о которой в свое время писал А. Бергсон, неразрывны в оде, при том что направлены в разные стороны. Назначение памятника – напомнить массам о величии поэта, назначение поэтической памяти – закрепить поэтическую рефлексию в определенном пространственно-временном континууме, адресованном знатокам и подлинным ценителям.

Именно горацянская ода наиболее значимо воплотила целую судьбу жанра, сохранившегося в поэтическом репертуаре до наших дней и одновременно подвергшегося кардинальной деконструкции. Из всего круга одических мотивов и сюжетов мотив памятника / памяти, заданный более двух тысяч лет назад в оде Горация «К Мельпомене», оказался более всего устойчивым, чтобы выдержать указанную борьбу архитектуры и риторики. Одним из значимых моментов противостояния архитектуре стал факт отказа горацянской оды по мере ее вхождения в поэзию нового времени от традиционного маркера жанра – одической децимы (*ababccdeed*) и придание тексту более свободных композиционных форм. Противостояние же риторике выразилось в сознательном отказе от обилия тропов – прежде всего метафор и гипербола – и замене их прямыми номинациями, содержащими оценку поэта своей деятельности и трудов.

Генезис горацянской оды во многом обусловил ее эволюцию в русской лирике, причем такая эволюция происходила в двух разных направлениях. Первое направление восходило к Державину и связывалось с последовательной заменой мифологических имен новыми географическими и автобиографическими координатами, второе в полной мере проявилось в стихотворении Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» и заключалось в отказе от ритмического единообразия стиха и установлении особой иерархии смыслов посредством смены стихотворного размера в заключительных строках каждого из катренов.

В новаторской статье «Опять о “Памятнике”» А. И. Журавлёва и В. Н. Некрасов выдвинули весьма плодотворную гипотезу о трансреминисцентности пушкинского стихотворения, указав, что «реминисцентность тут не качество уже, а тема» [Журавлёва, Некрасов, 1997, с. 62]. Частично пафос работы двух авторов направлен против концепции М. О. Гершензона и В. В. Вересаева, считавших пушкинское стихотворение гротескной пародией на державинский текст. Сто лет тому назад в книге «Мудрость Пушкина» Гершензон прямо утверждал: «Весь “Памятник” – как бы один подавленный вздох. И этот пленительный кумир оказался безобразным скелетом; вот кости лица скалятся дьявольской насмешкой, он издевается над ожиданиями. В юности Пушкин без сомнения мечтал о славе, теперь, обретя, он ужаснулся ей» [Гершензон, 1919, с. 52].

Исследователи, говорящие о пародийных элементах пушкинского «Памятника», безусловно, правы. Вместе с тем пародийность и эпиграмматичность стихотворения – условие необходимое, но явно недостаточное для понимания текста. У Пушкина «высокая риторика оживлена и доказана эпиграммой, риторика оста-

ется обязанной эпиграмме. Здесь, как и вообще в русской поэзии, риторика-то была изначально. И риторика словно бы перестает быть риторикой, претворяясь в своего рода лирику, лирическую автореминисцентность. Так же как, очевидно, и в эпическую [Журавлёва, Некрасов, 1997, с. 71]. Пушкинское стихотворение с точки зрения сюжета представляет цепь метаморфоз, обусловленных риторическими трансформациями. Благодаря таким трансформациям оно может быть прочитано и как мифологический эпос о застывшем памятнике, и как метонимия, связанная с судьбой Александрийского столпа, и как синекдоха, отсылающая к другим каменноостровским стихам 1836 г., и, конечно, как пародия, призывающая не оспаривать банальные клише будущего глупца.

Подлинным новаторством, связанным с деконструкцией горацианской оды, становится у Пушкина сам стихотворный размер. Как известно, античный стих не знал рифмы. Вот почему первый интерпретатор Горация в русской поэзии М. В. Ломоносов обратился к белому стиху. Но уже Державин в своем «Памятнике» стал использовать рифму. Действительно, рифма как один из конструктивных факторов стиха повышает значимость последнего слова в сравнении с остальными. Часто, но не всегда. Огромное число рифмованных строк автоматизирует рифму. Рожденная для противостояния риторическому началу, она сама делается заложницей риторики и, в конечном итоге, поглощается ею.

Но повышение семантической значимости слова может достигаться не только и не столько рифмой. Гораздо более значимой оказывается регулярная замена размера в сильных местах текста. Чем меньше стоп в стихе и чем меньше слов с уменьшенной стопностью, тем более значимым становится и удельный вес выделенного стиха и каждого слова в нем. Этот закон ритмического построения прекрасно знал и использовал Пушкин в своем стихотворении.

Так, в тексте «Я памятник себе воздвиг...», где преобладающей формой является шестистопный ямб, наиболее значимыми оказываются стихи, написанные «укороченным» четырехстопным ямбом¹.

- 1 Александрийского столпа
- 2 Жив будет хоть один пиит
- 3 И милость к падшим призывал
- 4 И не оспоривой глупца

На первый взгляд, заключительный стих третьего катрена противоречит выделенному смыслу остальных четырех. Однако это не так. Четырехстопный ямб, усиленный enjambement, оказывается скрытой цитатой:

И гордый внук славян и финн, и ныне дикий
Тунгуз, и друг степей калмык.

Диким тунгузом назвал себя в одном из писем к Пушкину ссыльный В. К. Кюхельбекер. Так возникает образ опального друга, подкрепленный строкой четвертого катрена «И милость к падшим призывал».

Своим стихотворением Пушкин прервал державинскую традицию, деконструировал ее, введя в горацианскую оду принцип иерархии смыслов отдельно взятого стиха и отдельно взятого слова, где значимость достигается не общеязыковой семантикой употребления, но местоположением в архитектонике текста. Такая архитектоника изначально противостояла теоантропургическому смыслу материального памятника, смыслу, который, по выражению автора философии общего дела, означает «восстание и обращение к небу живущего (понесшего утрату) и восстановление в виде памятника умершего» [Фёдоров, 1982, с. 521].

¹ Здесь и далее стихотворение А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» цитируется по [Пушкин, 1959].

Начиная с оды «К Мельпомене» Горация, теоантропургическому принципу задавался иной, выраженной синекдохой

Non omnis moriar, multaque pars mei
Vitabit Libitin (Horatius. Ad Melponemen. Carm. III, 30).

При этом само выражение оставшейся части может пониматься как в религиозном, так и в экзистенциальном смысле. Русская традиция развела указанную двусмысленность на два противоположных сюжетных кода, один – для Ломоносова и Державина, другой – для Пушкина.

Не вовсе я умру, но смерть составит
Велику часть мою, как жизнь скончаю [Ломоносов, 1986, с. 179];

Так! – весь я не умру, но часть меня большая.
От тлена убежав, по смерти будет жить [Державин, 1957, с. 233];

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит [Пушкин, 1959, с. 460].

У Пушкина происходит замена синекдохи метонимией, теперь акцент делается не на сам жанр оды, побеждающий архитектуру ценой союза с риторикой, но на исповедальное начало – «душа в заветной лире». Посредством смены сюжетного кода Пушкин превращает овеществленную жанровую модель оды в новый модус поэтического бытия. Знак жанра теперь указывает на смысл целого. Гегелевская антитеза архитектуры и риторики уходит на второй план, заменяясь противоположной, где смерть означает конец тленного существования, а бессмертие актуализуется через мотив личной свободы. У Ломоносова и Державина материальная вертикаль восставшего памятника заменяется изображающим словом, у Пушкина изображающее слово вводит иной сюжетный код. Ода сохраняет жанровый архетип, но ставит его на службу новому художественному образованию.

Именно изменением сюжетного кода Пушкин открывает дорогу XX столетию. Как известно, принцип иерархии смыслов стихового слова и смены риторических стратегий почти автоматически был повторен в «Памятнике» В. Я. Брюсова. Механистичность брюсовского творения смутила многих современников и вызвала нелицеприятные отзывы. Так, Г. А. Шенгели прямо заявляет, что «чем более стихотворение является созданным в результате подлинного воодушевления, тем более оно стройно и логично, ибо внутренние законы психической жизни не знают погрешностей, Рассудок же неминуемо вносит дисгармонию в строй стихотворения, ибо чужд “духу музыки”, рождающему напевные строки» [Шенгели, 1918, с. 23]. Рискнем, однако, утверждать, что оценки современников Брюсова были не совсем объективны, а опыт его далеко не безнадёжен. Создавая свой «Памятник», Брюсов действовал прежде всего как филолог, чем как поэт. В итоге он вскрыл поэтологическую и жанровую технологию пушкинского текста, превратив свое творение в метатекст, отсылающий к уже созданному Пушкиным художественному языку. Метатекст «Памятника» Брюсова обнажил важную для XX в. антиномию. Приняв сюжетный код исповедального типа, следовало решить: направлена ли эта исповедь на коллективное дело, в котором растворяется личность поэта, либо она есть акт индивидуальной свободы, распространяемый не только на автобиографию, но и включающий посмертную судьбу поэта. Два противоположных ответа на этот вопрос легко обнаружить, если обратиться к мотиву памятника / памяти в творчестве двух выдающихся поэтов прошлого столетия – Владимира Маяковского и Владимира Высоцкого.

Во вступлении к поэме «Во весь голос» Маяковский окончательно деконструирует означаемое горацианской оды, сохраняя лишь означающие внешние признаки жанра, отмеченные еще Гегелем.

Мне наплевать
на бронзы многопудье,
Мне наплевать
на мраморную слизь.
Сочтемся славою –
ведь мы свои же люди, –
Пускай нам
общим памятником будет
Построенный
в боях
социализм [Маяковский, 1987, с. 428].

Все, что роднит оду с архитектурой на уровне означающих, наделяется отрицательными коннотатами (многопудье бронзы, мраморная слизь), а сама риторика направляется, как означаемое, на уничтожение имени творца во имя общего дела («как безымянные на штурмах мёрли наши»). В своем интересном диссертационном исследовании С. В. Жиликов справедливо заметил: «“Я” поэта кооперируется с “мы”; личные заслуги творца репрезентируются для презентации коллективных заслуг перед историей; образ материального памятника умалется, и, наоборот, создается идеологический, воплощаемый в новом общественном строе» [Жиликов, 2011, с. 18].

Вместе с тем сделанный акцент на «мы» вовсе не исключает мощного слоя рефлексии, который теперь получает новый мотив – двойной жертвенности, не известный для прежних сюжетных кодов горацанской оды. «Обе жертвы – самораспятие и самоотречение: “вылизывал / чахоткины плевки // шершавым языком плаката” – это риторические фигуры, призванные подтвердить трагический статус творца, что чуждо природному наиву. Жизнетворчество ценой жертвы собственного “я” и запечатление жизни как исполнения собственного призвания – самые радикальные расхождения в мироощущении и в поэтике революционного и органического примитива» [Плеханова, 2013, с. 80].

Языковая структура Вступления к поэме «Во весь голос» глубока и многослойна, постоянная игра на несовпадении «я» и «мы», о которой пишут исследователи, приводит к модификации материальных элементов памятника и замене их мифопоэтическими элементами телесного дискурса самого поэта. «В поэме “Во весь голос” на первый план выходит индивидуальная телесность, транслируемая через прямое лирическое высказывание “о времени и о себе”. В поэме наблюдается смещение акцентов, объединение коллективного тела с индивидуальным происходит на основе последнего. Эпический дискурс замещается индивидуально – лирическим, манифестирующим уникальность человеческой и поэтической личности В. В. Маяковского [Комаров, 2014, с. 23].

Принесение имени в жертву «ЦКК грядущих лет», мощное рефлексивное поле, распредмечивание бронзы и мрамора, замена его живым телом – вот основные параметры парадокса Маяковского, благодаря которым совершается жанровая деконструкция горацанской оды.

Во второй половине XX в. архетекст горацанской оды продолжал движение по просторам отечественной словесности. Хорошо известны тексты, репрезентирующие и модифицирующие этот жанр (Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Бродский и др.). В этом контексте «Памятник» В. Высоцкого представляет особый интерес, поскольку наиболее плотно вступает в творческий диалог как с текстом Пушкина, так и со Вступлением Маяковского.

Весьма важно, что Высоцкий отчетливо воспроизвел принцип иерархии слов стихового слова за счет усечения числа иктов в значимых строках и одновременно резко сместил семантику метра, избрав вместо привычного для этого

жанра ямба анапестический размер. Архитектоника «Памятника» состоит из четырех равных периодов, включающих по двадцать стихов. Каждый период разбивается в свою очередь на три строфы, первые две из которых представляют секстины, знакомые, например, по «Тушеношам», с рифмовкой АВс/АВс, а третья состоит из двух катренов с перекрестной рифмовкой. Однако если говорить о самом значительном метрическом событии текста, то оно разворачивается на месте столкновения геометрический упорядоченной строфы трехстопного анапеста с одностопным анапестом в четных стихах заключительных строф, замыкающих каждый из четырех периодов [Высоцкий, 1988]².

Курсивный характер одностопного анапеста, который занимает всего 10 % текста, проявляется прежде всего в том, что с его помощью обозначаются основные сюжетные узлы стихотворения. Сводка таких курсивов как бы напоминает рентгеновский снимок текста.

1-й период	2-й период	3-й период	4-й период
Нате, смерьте!	В пасти палец	Все там будем	И сломало
После смерти	Опасались	В уши людям	Из металла
На спор вбили	Тут же, в ванной	Нате, смерьте!	Шито – крыто
Распрямили	Деревянный	После смерти	Из гранита

При четкой архитектонике стиха с его регулярно повторяющимися метрическими кодами композиция сюжета оказывается двухчастной, причем граница частей, как можно было предположить заранее, приходится на точку золотого сечения. Граница между десятым и одиннадцатым стихом из указанных шестнадцати возвращает к первому метрическому курсиву и задает тем самым новый импульс в развитии сюжета («нате, смерьте!»). К сказанному нужно добавить высокую частотность союза «но»: «Но с тех пор, как считаюсь покойным»; «Но в привычные рамки я всажен»; «Но поверхность на пленке лоснилась»; «Но по снятию маски посмертной»; «Но и падая, вылез из кожи»; «Но торчат мои острые скулы». Метрическая антитеза вместе с лексической оказываются важным моментом в изменении сюжетного кода стихотворения, демонстрирующего один из важнейших принципов поэтики Высоцкого, связанный с демистификацией основных концептов традиционной культуры.

Таким образом, поэтическая мифология концепта памятника проходит у Ломоносова и Державина первую стадию освобождения от господства архитектуры посредством упора на изображающее слово, у Пушкина само изображающее слово благодаря трансминисценции заменяется образом поэта, открытого исповедальному началу; третья стадия, заданная Маяковским и развиваемая Высоцким, связывается с разрушением самого памятника и выходом в свободное пространство. У Пушкина ожившие статуи Командора, Золотого петушка или Медного всадника уносят героя в объятия смерти, а средством возвращения к жизни становится сам принцип поэтической свободы. У Высоцкого сюжетный код совершает обратное движение: сначала живое превращается в мертвое («Живо маску посмертную сняли»; «Оказаться всех мертвых мертвей»; «И могильною скукой сквозило») для того, чтобы через активный жест поэта снова вернуться из мертвого в живое («Из разодранных рупоров всё же / Прохрипел я: “похоже живой”») ценой уничтожения памятника.

Жанр оды непременно требовал одического пространства – «огромного скопления народа» и одического времени – момента, когда «саван сдернут» и памятник появляется перед одуроченной толпой во всем своем ложном великолепии.

² Далее стихотворение В. Высоцкого «Памятник» цитируется по этому изданию.

Высоцкий соблюдает оба условия – прежде чем совершить свой экстатический выход.

Не сумел я, как было угодно –
Шито – крыто.
Я, напротив, ушел всенародно
Из гранита [Высоцкий, 1988, с. 286].

Семантика горацанской оды имплицитно содержит в себе противоречие, способное обернуться иронией. В отличие от многих образцов жанра, ирония Высоцкого спрятана в системе антитез, начиная от глобальной – живое vs мертвое, и кончая более конкретными: «Крепко сбитый литой монумент» vs «Мой отчаяньем сорванный голос» vs «Современные средства науки / Превратили в приятный фальцет» vs «И торчат мои острые скулы»; «Падая, вылез из кожи». Именно благодаря указанным антитезам Высоцкий и создает, говоря языком Гегеля, «художественно завершенное и единое внутри себя целое».

Список литературы

- Высоцкий В. С. Памятник // Высоцкий В. С. Избр. М., 1988.
Гегель Г. Эстетика: В 4 т. Т. 3. М., 1971.
Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919.
Державин Г. Р. Памятник // Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957.
Жиляков С. В. Жанровая традиция стихотворения – «Памятник» – в русской поэзии XVIII–XX вв.: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Елец, 2011.
Журавлёва А. И., Некрасов В. Н. Опять о «Памятнике» // *Ars interpretandi*: Сб. ст. к 75-летию проф. Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 1997. С. 61–72.
Комаров К. М. Текстуализация телесности в послереволюционных поэмах В. В. Маяковского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2014.
Ломоносов М. В. «Я знак бессмертия себе воздвигнул...» // Ломоносов М. В. Избр. произведения. Л., 1986.
Маяковский В. В. Вступление к поэме «Во весь голос» // Маяковский В. В. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1987.
Плеханова И. И. Жизнетворческий потенциал примитива // *Вестн. Томск. гос. ун-та*. 2013. № 2(22). С. 76–91.
Пушкин А. С. «Я памятник себе воздвиг...» // Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М., 1959.
Фёдоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
Шенгели Г. А. Два «Памятника». Сравнительный разбор стихотворений Пушкина и Брюсова. Прг., 1918.

Yu. V. Shatin

*Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, shatin08@rambler.ru*

Exegi monumentum: from ode to confession. The change of plot code

The paper is devoted to the change in the plot organizing principles in during the evolution of the ode of Horace “Ad Melpomene.” According to “Aesthetics” of Hegel, every ode involves the struggle of the power of the content and the subjective freedom of the poet. Overcoming this split

provides the creation of a “complete and united whole.” Thus, the duality of the ode is the contradiction between the architectonics stability and rhetoric mobility. Such a split can be observed in such a variety of genre as the ode of Horace “Ad Melpomene.”

It is supposed that the evolution of ode of Horace in Russian poetry had two trends. The first trend was connected with Derzhavin’s ode and included the substitution of ancient mythology by modern geographical and autobiographical symbols. The second trend was connected with Pushkin’s poem “I have built myself a monument” which was organized as a special hierarchy of senses by the change of the verse metre in last lines of each stanza. At the same time, Pushkin used the method of transreminiscence (term by A. I. Zhuravleva and V. N. Nekrasov), which transformed the rhetoric of the poem into the lyric confession. Pushkin substituted a synecdoche by a metonymy and created a new code of the plot, with the motive of immortality being actualized through personal freedom.

The creation of a new plot code by Pushkin led to the evolution of this genre in the XX century. The main contribution to this evolution is considered to be made by Vladimir Mayakovsky “At the top of my voice. First prelude to the poem” and Vladimir Vysotsky “A monument.” While maintaining the confession as the global sign of genre, both poets solved the problem of immortality differently. In “At the top of my voice,” one may observe that “the turn from futurism to primitivism was viewed as a natural development of avant-garde principles as an evolution from constructing the expression of forms to the strategy of life-building” (I. Plehanova). In that period, the immortality was understood by Mayakovsky as a sacrifice of personal “I” for collective “We.” Vysotsky understood the immortality as the destruction of a monument and ecstatic emergence of a revived poet. It is worth noting that both poets used the principle of the hierarchy of meanings invented by Pushkin.

Keywords: Ode of Horace, code of plot, hierarchy of senses.

DOI 10.17223/18137083/67/4

References

- Derzhavin G. R. Pamyatnik [A monument]. In: Derzhavin G. R. *Stikhotvoreniya* [Poems]. Leningrad, 1957.
- Fedorov N. F. *Sochineniya* [Works]. Moscow, 1982.
- Gershenzon M. O. *Mudrost' Pushkina* [Pushkin’s wisdom]. Moscow, 1919.
- Hegel G. *Estetika: V 4 t. T. 3* [Aesthetics: in 4 vols. Vol. 3]. Moscow, 1971.
- Komarov K. M. *Tekstualizatsiya telesnosti v poslerevolutsionnykh poemakh V. V. Mayakovskogo* [Textualization in post-revolutionary poems of V. V. Mayakovsky]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Ekaterinburg, 2013.
- Lomonosov M. V. “Ya znak bessmertiya sebe vozdvignul...” [I’ve built myself a sign of immortality]. In: Lomonosov M. V. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Leningrad, 1986.
- Mayakovskiy V. V. Vstupleniye k poeme “Vo ves’ golos” [At the top of my voice. First prelude to the poem]. Mayakovskiy V. V. *Sochineniya: V 2 t. T. 2* [Works: in 2 vols. Vol. 2]. Moscow, 1987.
- Plekhanova I. I. Zhiznetvorcheskiy potentsial primitiva [Creative potential of life in the primitive art]. *Tomsk State Univ. Journal of Philology*. 2013, no. 2(22), pp. 76–91.
- Pushkin A. S. “Ya pamyatnik sebe vozdvig...” [I’ve built myself a monument]. In: Pushkin A. S. *Sobraniye soshineniy: V 10 t. T. 2* [Collected works: in 10 vols. Vol. 2]. Moscow, 1959.
- Shengeli G. A. *Dva pamyatnika. Sravnitel'nyy razbor stikhotvoreniy Pushkina i Bryusova* [Two monuments. Comparative analysis of poems of Pushkin and Brusov]. Petrograd, 1918.
- Vysotskiy V. S. Pamyatnik [A monument]. In: Vysotskiy V. S. *Izbrannoe* [Selected poems]. Moscow, 1988.
- Zhilyakov S. V. *Zhanrovaya traditsiya stikhotvoreniya – “Pamyatnik” – v russkoy poezii XVIII–XX vv.* [Tradition of genre of verse “A monument” in the 18–20th centuries]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Elets, 2011.
- Zhuravleva A. I., Nekrasov V. N. Opyat’ o “Pamyatnike” [Again about “A monument”]. In: *Ars interpretandi: Sb. st. k 75-letiyu prof. Yu. N. Chumakova* [Ars interpretandi: Collection of works to 75th anniversary of Yu. N. Chumakov]. Novosibirsk, 1997, pp. 61–72.

УДК 821.161.1+82.0
DOI 10.17223/18137083/67/5

А. Е. Козлов

Новосибирский государственный педагогический университет

**Семиотика шахмат в литературе XIX века:
к интерпретации повести Н. Д. Ахшарумова «Игрок»**

На материале западноевропейской и русской литературы первой половины XIX в. рассматривается формирование семиотики шахмат. Эта семиотика находит свое отражение в специальной литературе и периодике; в литературном быту; в сюжетосложении повествовательной прозы. Последний аспект особенно интересен, поскольку позволяет судить о формировании читательской субкультуры, состоящей из шахматистов-любителей и профессионалов. Обзор, предпринятый в первой части статьи, предполагает выход к интерпретации повести Н. Д. Ахшарумова «Игрок». В частности, рассматриваются три уровня сюжетной организации произведения: уровень аллюзий и реминисценций, составляющих «немецкий фон» повести и аккумулирующих наиболее общие сюжетные ситуации; отражение эстетической программы Ахшарумова как читателя и критика в диалогах и монологах персонажей; игра с литературной и шахматной традициями.

Ключевые слова: русская литература XIX в., фабула и сюжет, классика и беллетристика, вторичность и альтернативность, семиотика шахмат, Николай Ахшарумов.

Являясь моделирующей знаковой системой, шахматная игра подразумевает сложную кодировку: с одной стороны, каждая новая партия реплицирует некогда существовавшую (тем самым, отражая совокупный, так называемый культурный опыт человечества) и, с другой – подразумевает бесконечную вариативность [Лотман, 1970; 2012; Николаева, 1995]. Социальная детерминированность игры определяет подвижность номинаций фигур (например, инд. – *ghora*; англ. – *knight*; франц. – *le cavalier*; нем. – *Der Springer*; рус. – *конь*), однако «онтологическая конвенция» игры, предполагающая наличие устойчивых правил, традиционно не изменяется. Более того, в ряде случаев канонические партии, подобно современным QR-кодам, могли «зашифровать» в себе событие из эмпирической действительности: так, ключевые битвы войны 1812 г. неоднократно представлялись современниками в виде шахматных композиций (например, «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» и пр.).

Козлов Алексей Евгеньевич – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллюйская, 28, Новосибирск, 630126, Россия; alexey-kozlov@rambler.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© А. Е. Козлов, 2019

Соотнесение шахмат с другими знаковыми системами предполагает выявление устойчивых оппозиций [Меднис, 2011; Шатин, 2015]. Так, сравнивая карты и шахматы, следует отметить азарт/расчет, предсказуемость/непредсказуемость. Не менее продуктивным является сравнение шахматной игры и литературы: шахматный игрок, как и автор произведения, выбирает среди многочисленных вариантов один из существующих, как бы создавая его и одновременно реплицируя. Заметим, что в романе Новалиса «Гейнрих фон Офтердинген» (1800), композиция которого предполагает монтаж аллюзий и реминисценций, шахматы представляют собой одну из возможных моделей действительности (в том числе, моделей текста Новалиса):

В корзинке лежала каменная доска с черными и белыми квадратами и рядом множество фигур из алебаstra и из черного мрамора.

– Это шахматы, – сказал София, – все войны сведены к этой доске и к этим фигурам. Это памятник старого смутного времени [Новалис, 2003, с. 256].

В ряде случаев беллетристика Нового времени подчинялась задачам популярного изложения правил шахматной игры. Такой принцип нашел отражение в эпистолярном романе младшего современника Гёте – В. Гейнзе «Анастасия, или Игра в шахматы» (1803). Мелодраматическая интрига, в силу своей тривиальности, становится второстепенной, уступая место интриге другого уровня, связанной с изучением основ игры в шахматы. Следует отметить: в то время, как роман Гейнзе и собственно имя автора не сохранились в культурной памяти, комбинация, названная «мат Анастасии», вошла в классические учебники по теории шахмат. Таким образом, в так называемой шахматной литературе беллетристический сюжет выполняет сугубо утилитарные функции и зачастую уходит на второй план, становится второстепенным. В ряде случаев забвению подвергается текст и имя его создателя, но парадоксальным образом сохраняется его ядро – описание шахматной партии.

Подобная судьба постигла повесть Н. Д. Ахшарумова «Игрок» (1858). После публикации произведение заняло свою нишу среди элитарной, хотя и не многочисленной читательской субкультуры – любителей шахматной игры. Партия, составленная по мотивам повести Ахшарумова мастером А. Д. Петровым, стала классической и входит во многие учебники игр¹.

Отчасти новаторство повести объясняется тем, что в русской литературе до появления «Игрока», несмотря на интерес большинства писателей к шахматной игре, практически не было полноценных эпических произведений, ориентированных на описание шахматного мира. Исключение составляют многочисленные анекдоты, которые публиковались обычно в журналах «Иллюстрация» и «Отечественные записки» (раздел «Смесь»). Как правило, эти анекдоты не были оригинальными и приводились по французскому изданию «Palamede», вошедшему в круг чтения российских интеллектуалов еще в 30-е гг. XIX столетия (среди подписчиков газеты был, например, А. С. Пушкин). В то же время часть подобных историй «поставляли» профессиональные шахматисты. Так, А. Д. Петров в своем «истинном анекдоте» рассказывает о бригадире Котельникове, якобы проигравшем чёрту в шахматы. Знаменательно, что в конце произведения читателю предлагается шахматная задача, предполагающая решение в 24 хода. Не менее примечательным, хотя и не особо известным стал литературный опыт Я. Эйхенбаума, представившего в своей поэме «Гакраб» описание шахматной игры и существующих в ней комбинаций (1840; переведена на русский язык в 1847 г.)².

¹ См. Приложение.

² См. предисловие Б. Эйхенбаума «Отрывки из родословной» в кн.: [Эйхенбаум, 2011].

Заметим, что для современников Ахшарумова шахматные поединки наделяются новым смыслом. Во-первых, все большую популярность приобретают поединки «по переписке», состоящие в ведении шахматной партии на расстоянии. Шахматные клубы разных стран (например, Лондона и Парижа) обменивались письмами, состоящими из описания ходов. Эти комбинации публиковались в национальных периодических изданиях, а в ряде случаев переводились и сопровождались комментарием. Во-вторых, игра в шахматы выходит из разряда игр, о чем свидетельствует появление множества шахматных теорий. Как писал по этому поводу В. В. Дудышкин:

Всем изучавшим шахматную игру известны необыкновенные усовершенствования ее теории, сделанные в течение последних десятилетий. Может быть, некоторым из наших читателей покажется странным, как игре приписывается теория, похожая на весьма трудную и сложную науку. Но стоит только подумать, что успех в шахматах нисколько не зависит от случая, что выиграть в них можно единственно от хорошего, а проиграть от дурного употребления своих шашек; малейшая ошибка, хотя в первых ходах (предполагая, что впоследствии сделаны с обеих сторон возможно лучшие ходы) должна непременно вести к положениям, невыгодным для позволившего себе ошибку. Отсюда явствует возможность математически рассчитывать самые отдаленные последствия всякого удара, верного или ошибочного, следует также, что проигрыш или выигрыш между хорошими игроками почти всегда зависит от первых ударов, слабых или верных, – другими словами, от теоретического знания начала игр [Дудышкин, 1843, с. 18].

Наконец, в 1853 г. было открыто первое в Российской империи Санкт-Петербургское общество любителей шахматной игры. Членами клуба были не только знаменитые для своего времени шахматисты (К. Яниш, А. Петров), но и общественные деятели (например, Д. и С. Урусовы, Н. Кушелев-Безбородко), а также писатели. Активным членом клуба был и Николай Дмитриевич Ахшарумов.

В образовании этого общества можно увидеть своеобразную альтернативу литературным и политическим кружкам. Состав Общества говорит о том, что оно стало своеобразной площадкой для встречи писателей «разных партий» – беллетристического отдела «Современника» (И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. И. Панаев), «Отечественных записок» (Я. Полонский, Н. Ахшарумов), а также общественных деятелей. Вступление в подобное общество, помимо общих интересов, могло быть мотивировано поиском новых влиятельных связей (как, например, членство в Английском клубе). Тот факт, что за обществом был установлен секретный полицейский надзор, показывает, что власть рассматривала это объединение как возможную политическую силу. При этом кажется довольно показательным, что за время существования общества не было издано ни одного совместного шахматного альманаха. Таким образом, общее увлечение не предполагало выхода за пределы клуба.

Участники шахматных поединков не только общались, но и участвовали в турнирах. Упомянутый А. Д. Петров, прозванный «русским Филлидором», дал в обществе несколько игр. Уже в конце своей шахматной карьеры (Петров по малообъяснимым причинам прекратил игру в начале 60-х гг.) он завершил партию с Ахшарумовым ничьей. История шахматного общества, равно как и история (до конца не проясненных) личных отношений Ахшарумова и Петрова, заслуживает особого внимания при обращении к повести «Игрок».

В отличие от дебютной повести «Двойник» и большинства других его произведений с фантастическим колоритом [Козлов, 2017], Ахшарумов намеренно вы-

водит действие за пределы российского пространства. В сущности, зачин его повести представляет «перекодировку» характерных зачинов «натуральной школы»:

В одном из больших городов мелкопоместной Германии, останавливающим внимание удивленного путешественника своими историческими, архитектурными и промышленными достопримечательностями, в славном городе Х* – существенно отличных от других подобных ему городов разными особенностями, о которых можно найти подробный отчет во всех географических лексиконах и карманных путеводителях, – лет двадцать назад, или немного более жил человек по имени Гейнрих Миллер. Он был... как бы это выразить, чтобы не было дико для русского уха? Он был игрок, но не то, что у нас разумеют обыкновенно под этим названием, то есть не картежник и не бильярдист – нет, он бы, может статься, даже обиделся, если б вы его приняли за такого; и хотя, я не знаю, было ли бы это основательно с его стороны или нет, но дело в том, что он принадлежал к числу таких специалистов игры, которые между собою никогда не называют себя *игроками*, а просто *любителями* и занятие свое считают не пустою забавою, а чем-то вроде науки особого рода, имеющей свою историю и свою довольно обширную литературу. Короче сказать, он был *любитель* шахматной игры, и не какой-нибудь новичок, который удивится, если вы ему станете говорить о шотландском Гамбите, или об итальянской Рокаде, или о славе Макдоннеля, Лабурдонне, Къезерицкого, Стаунтона и т. д., а один из сильнейших бойцов, имя которого известно было в целой Европе между людьми, специально посвятившими себя шахматной игре, а партии печатались на трех языках, в шести или семи журналах, специально выходивших по этой части в Германии, Англии и Франции. Все это может показаться странным для тех, кто не знает, до какой степени доведен специализм у наших соседей на Западе, где всякое дело, требующее искусства, каковы бы ни были его значение, цель и полезная или вредная сторона, разработано донельзя и доведено до возможной степени совершенства [Ахшарумов, 1858, № 121, с. 1–2]³ (здесь и далее по статье курсив наш. – А. К.).

Исходя из приведенной цитаты можно утверждать, что с первых страниц произведения задается система литературных оппозиций. Во-первых, несмотря на немецкий колорит, усиленный именами главных героев: Гейнрих («Гейнрих фон Офтердинген»), Луиза и Вальтер («Коварство и Любовь»), Вертер («Страдания юного Вертера»), – текст адресован русскому читателю. На протяжении произведения эта оппозиция многократно будет усиливаться, благодаря чему история из жизни обычной бюргерской семьи определенным образом резонирует с нравами и обычаями в Российской империи. Во-вторых, текст дифференцирует виды игры, при этом речь идет не только о типологическом разделении (шахматы, карты, бильярд), но и о качественном (сравнивается игра дилетанта и профессионала). Вторая система оппозиций, в сущности, тесно связана с целевой аудиторией – данное произведение адресовано любителям шахматной игры, для которых ряд имен собственных и перечисление партий не представляет затруднений в дешифрации (так, в тексте упоминается эпоха Филидора, книги Яниша и поэма «Газдрабад», соотносимая с «Гакрабом»). Далее повествователь называет шахматную игру мистерией, в которой «все остальные вопросы жизни семейной, гражданской и политической остаются... также чужды в эту минуту, как если б, их вовсе не существовало» (с. 3).

³ Далее в статье цитируется журнальная редакция с указанием номера страниц в круглых скобках.

Главный герой – Гейнрих Миллер находит свое призвание в игре в шахматы, тем самым он выпадает из иерархий немецкого общества – он не может быть бюргером, торговцем или учителем. Шахматная игра становится для него единственным средством заработка⁴.

Повесть начинается с поражения – Миллер проигрывает одну игру за другой и, наконец, теряет практически все заработанные им деньги. Эта катастрофа осложняется коллизией иного рода – жена Луиза изменяет Гейнриху и он уличает ее в неверности. На протяжении повести этот мелодраматический конфликт будет усиливаться, а в конце получит разрешение: благодаря новым шахматным комбинациям Миллер одерживает победу, Луиза, раскаявшись, становится преданной ему женой. Помирившись со всеми и обучив нескольких учеников открытым шахматным комбинациям, Миллер умирает. Такая филистерская концовка исчерпывает собой мелодраматический конфликт произведения.

Параллельно в повести развивается и второй сюжет, в котором Миллер становится частью шахматного мира, буквально воспринимая шахматные фигуры как живых людей и занимая место короля на шахматной доске. Следует оговориться, что такая позиция не является метафорической в сюжете: Миллер буквально участвует в шахматной партии, шахматный скороход (конь) вызывает на дуэль друга Гейнриха г-на Штральмана, а туры (ладьи), офицеры (слоны) и пехотинцы (пешки) устраивают настоящий разгром в трактире г-на Вертера (ср. с гл. XXIV и XXV романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»). Более того, становясь «фигурой» на шахматной доске, Миллер подчиняется воле двух игроков – шейха Аль-Мансура и безымянного брамина⁵. Отчасти это соотносимо с ролью автора и героя – во всяком случае, этот сюжет получит развитие в повести Ахшарумова «Натурщица» [Козлов, 2017].

Сыграв несколько партий и получив доступ к книгам королевской библиотеки, Миллер овладевает тайнами шахматного мастерства, прочитывая древнюю рукопись, написанную на санскрите. Фактически он ворует идеи у своих гениальных предшественников, и этот плагиат и позволяет ему вернуться в большую игру. Тем не менее, отыгрывая свое состояние у бывшего любовника жены, Миллер («внутри был суд») великодушно возвращает ему деньги.

В двух этих коллизиях можно видеть своеобразную перекодировку ключевых сюжетов русской литературы – сюжета о Бедной Лизе (здесь Луизе: «Вспомни о своей бедной Луизе, Гейнрих»), наделенной любящим сердцем, и рациональном игроке, сошедшем с ума [Топоров, 2006; Николаева, 2007; Печерская, Никанорова, 2010]. Неслучайно безумие Гейнриха – вариации пушкинского Германа – начинается с появления «пиковой дамы» шахматной игры – черной королевы, а в его приключениях ключевую роль будут играть конь, офицер и королева (три загадочных элемента). Наконец, в тексте буквально эксплицирован мотив безумия –

⁴ В биографии литературного героя можно увидеть отражение жизненного пути постоянного соперника Петрова А. Гофмана, бывшего, по замечанию М. С. Когана, одним из первых «шахматистов, для которых шахматы являются профессией и единственным средством к существованию»: «А. Гофман не имел определенных занятий. Одно время он служил в различных коммерческих предприятиях, затем давал уроки немецкого языка. Однако преподавание не приносило не только материального благополучия, но заставляло его семью жить впроголодь. Поэтому Гофман выступает в варшавском клубе как преподаватель шахматной игры. Почти целые дни он проводил в шахматном клубе или кофейнях, где предлагал играть варшавским любителям на небольшую ставку. Выигрыш двух-трех золотых давал возможность нуждающемуся шахматисту накормить семью. Однако, зная силу Гофмана, варшавские любители требовали от него вперед ладью или коня, что приводило иногда к проигрышу им партии» [Коган, 1927, с. 69].

⁵ С именем Аль-Мансура связано вхождение горских племен в состав Российской империи. Вполне возможно, Ахшарумов начинает здесь развивать мифологию рода, которая получит итоговое воплощение в его повести «Ванзамия».

пытаясь рационально осмыслить игру, Гейнрих практически сходит с ума (развязка «Пиковой дамы» или «Блаженства безумия»), но в конце произведения выздоравливает.

В сущности, возвращаясь к пушкинской фабуле, Ахшарумов предпринимает попытку изменить ее, обратившись к семиотике шахматной игры. В отличие от игры в карты, шахматы должны были маркировать сферу деятельности элиты, что усиливается в тексте противопоставлением азарта (возможного только в картах) и расчета.

Как и в дебютной повести «Двойник», многое в «Игроке» строится на цитатах из западноевропейской литературы. Кроме упомянутого романа Гейнзе, по-видимому, опорными стала для Ахшарумова «Легенда об арабском звездочете» В. Ирвинга (использованная Пушкиным в «Золотом петушке»), басня «Шахматы» П. С. Бобрищева-Пушкина (идея равенства всех фигур в шахматной игре), «Игра в шах и мат» Ф. Глинки (любовная интрига на фоне шахматной баталии). Одна из очевидных аллюзий тесно связана с именем главного героя. Ахшарумов как бы возвращается к незаконченному роману Новалиса: история Гейнриха Миллера, со всем ее нарочито неправдоподобным колоритом, становится своеобразной вариацией на начатую ранее тему. Заметим, что Новалис, как и другие его современники, свободно комбинирует фантастическое, аллегорическое с идиллически-бытовым. Ахшарумов, по всей видимости неудовлетворенный современной ему литературой, мог спустя пятьдесят лет последовать по этому же пути. В этом автору помогают многочисленные риторические фигуры эпохи романтизма. Шахматный игрок (как художник в критике 30-х гг. XIX в.) провозглашается гением, а его игра – вершиной деятельности.

Истинный любитель шахматной игры, сядя за шахматную доску, должен забыть все мелкие интересы, всю пеструю обстановку личной жизни и, создав себе чисто отвлеченный, чисто разумный мир деятельности, независимый от внешнего случая, в нем искать единственного высокого наслаждения... <...> Всякое подчинение этой игры каким бы то ни было побочным самолюбивым мстительным или корыстолюбивым видам есть рабство, унизительное для ее высокого смысла и гибельное для ее чистого постепенного развития... (с. 35)

Шахматный король с той минуты, как на него возложен будет этот высокий титул, должен отречься от всяких других радостей и интересов ежедневной жизни и жертвовать ими всегда и во всяком случае, не задумываясь ни на минуту высокому интересу шахматной игры (с. 47).

В своем исследовании С. Ю. Лаврова определила основные дискурсивные смыслы игры, представленные в повести Ахшарумова [Лаврова, 2016]. Однако, на наш взгляд, исследователь не упоминает еще об одном – в данном случае ключевом аспекте. Речь идет о шахматной игре как метафоре искусства.

Понять и расшифровать эту параллель можно, обратившись к тексту произведения. Следует учитывать, что «Игрок» появляется вслед за своеобразным манифестом Ахшарумова «О порабощении искусства» (1858). Основным содержанием статьи Ахшарумова было утверждение о том, что с развитием цивилизации и эволюцией культуры искусство неизбежно деградирует, подчиняясь идеям времени и становясь все более несвободным [Володина, 2018].

Знаменательно, что в сюжете «Игрока» шахматные фигуры подобным образом рассуждают об упадке игры. Ахшарумов приводит развернутый диалог Черной и Белой шахматных королей, рассуждающих об утраченной поэзии шахмат.

По одной стороне человек весь как есть, с душою и телом стоит на коленях перед фактом, обожая его непреложность, стоит *увязший по пояс*

в грязь и тину мелочной ежедневной жизни, подробности которой с такой фотографической точностью суются на первый план, что даже становится гадко [Ахшарумов, 1858, № 7, с. 293].

В ней давно уже властвует неограниченно так называемая «реальная школа», школа, которая не признает свободного искусства, всеми силами стараясь *закабалить его в услужение разным целям, потребностям и нуждам общественной пользы* [Там же, с. 294].

Поэзия нашей игры сохнет и вянет с часа на час под *гнетом педантских теорий*. То, что еще не очень давно было делом творческого вдохновения, теперь становится вялым книжным искусством (с. 40).

С тех пор, как вошла в моду их глупая отвлеченная номенклатура, нам не остается ничего более делать, как сидеть сложа руки, потому что им не нужно более нас, не нужно живой *воплощенной идеи; они довольствуются одними знаками, и, разумеется, для заученных ходов не нужно ничего более... одна мертвая буква живет в душе современников* (с. 41).

Как следует из приведенных примеров, диалоги шахматных фигур как бы продолжают мысли, высказанные в критической статье Ахшарумова. Однако меняются дискурсивные условия высказывания: вместо монологического утверждения существующего порядка вещей, характерного для статьи, Ахшарумов через форму художественного произведения показывает двойственность позиции, обнаруживающейся в диалоге фигур.

Статья «О порабощении искусства» – не единственный «документ эпохи», который использует Ахшарумов. Очевидно, что при описании древнего кодекса Ахшарумов перефразировал некоторые позиции учебных пособий и – что особенно важно – существующего кодекса Петербургского общества (публикация повести совпала по времени с появлением нового устава, пришедшего на смену действующему).

Глава 4. Отделение 21. Пар. 1342. Особа, по выбору королевы удостоенная высоким титулом шахматного короля, должна постоянно иметь в виду то бесконечное расстояние, которое существует между благородным шахматным увеселением и другими *мелкими, праздными и низкими забавами*, как то: *шашками, триктраком, карточной игрою, игрою в кости, в домино, в лото, в рулетку, в бильярд и другими*, тому подобными, созданными для людей, *душою погруженных в грубую чувственность* и не способных возвыситься до той творческой силы воображения, которая к душе истинного любителя шахматной игры создает свой особый мир поэтических вымыслов... (с. 432)

Кроме игр в шахматы, в помещении Общества дозволяются: *шашки, военная игра, бильярд*; все же *так называемые азартные игры, а равно игра в карты, совершенно воспрещаются*, и нарушители исключаются из Общества, без баллотировки, о чем доводится до сведения Общества [Устав Санкт-петербургского общества..., 1854].

Вероятно, Ахшарумов при написании повести исходил из многочисленных формул и идиом, по-своему пародируя их. Например, в перечисленных выше правилах отражена позиция И. А. Бутримова:

Сия столь умная и благородная игра *не имеет нужды, чтобы за выигрыши ее получали и обратно за проигрыши платили деньги*: могущий ценить ее по достоинству, особливо полюбивший сие прекрасное произведение ума изобретательного и глубокомысленного, знает, сколь дорого одно удо-

вольствие, которое получает выигрывающий; и в сем смысле цена игры возвышается по мере трудностей в преодолении соперника и превосходства его в искусстве оспаривать победу [Бутримов, 1821, с. 84].

А потому шахматный король должен довольствоваться неистощимым богатством и разнообразием наслаждения, соединенного с непосредственным проявлением шахматной идеи, отнюдь не стараясь *усилить это наслаждение какими-нибудь побочными, корыстолюбивыми или самолюбивыми целями* (с. 432).

Пар. 1346 Он (Король) никогда *не должен играть от скуки или от нечего делать*, потому что такая игра унижительна для высокого достоинства шахматной идеи (Там же).

Романтически возвышая шахматную игру, превращая ее в своем тексте в своеобразный эталон искусства и творчества, Ахшарумов неслучайно обращается к цитатам и идиомам, характерным для шахматного круга. В этом отношении одним из ключевых эпизодов текста становится суд, который вершится над Гейнрихом в шахматном мире. Знаменательно, что формулировки суда практически буквально повторяют мысли Б. Франклина, высказанные им в эссе «Этика и шахматы»:

Первая и главнейшая особенность, отличающая идею шахматной игры от большого числа других, по наружности близких и родственных с нею, но в сущности незримо от нее удаленных идей, есть неоспоримо тот высокий, истинно-рыцарский дух благородства и прямоты, который не может ужиться с разными низкими примесями и страстями, входящими в состав ежедневных занятий и развлечений человека (с. 460).

Такой подвиг имеет бесчисленные и самые благодетельные результаты для его ума, характера и сердца: он очищает сердце, приучая его находить себе отраду в том, что не связано ни малейшим образом с грубыми материальными интересами жизни; он развивает ум в правильной, ясных и точных условиях определенной борьбе с другим, равносильным умом, он укрепляет волю, давая ей точку опоры вне сферы слепого и пестрого случая, в самой себе или, лучше сказать, в законе разумной необходимости, с которым она должна находиться в согласии (с. 462).

Суммируя наблюдения над «Игроком» Ахшарумова, можно констатировать соединение взаимоисключающих стратегий: с одной стороны, борьба с «реальным и рациональным искусством», с другой же – торжество разума над стихией игры. Как и герой Одоевского в повести «Сильфида», разочарованный Миллер восклицает: «Черт ли мне в здравом рассудке, когда без него на земле так весело» (с. 168), в то же время «излечение Гейнриха» определяется сознательным отказом игрока от игры, победой этики (Гейнрих возвращает выигранные деньги отчаявшемуся сопернику) над эстетикой, или же – что не менее важно – их «примирением». В сущности, финальный жест Гейнриха, возвращающего бывшему любовнику жены свое состояние, демонстрирует пушкинскую максиму: «Гений и злодейство – две вещи несовместные».

Конечно, здесь неизбежно возникает вопрос о прагматике повести, точнее, о ее адресате. Нагромождение приемов, использованных в произведении, показывает довольно очевидное тяготение текста к сфере развлекательной литературы⁶. В то

⁶ Так, прием искусственно введенного двоимирия имеет непосредственное отношение к детской литературе (неслучайно вся история Миллера укладывается в классическую схему «Потеря – поиски – обретение», в полной мере соответствуя сказке А. Погорельского

же время серьезность избранной темы – не подразумеваемая, а реальная измена жены мужу, отказ отца от собственного ребенка, наконец, состояние героя, близкое к сумасшествию, – позволяет представить несколько иного адресата. Подобная диспропорция наблюдается и в позднем полемическом тексте Ахшарумова – «Граждане леса».

Как отмечалось ранее, читатель должен был быть хорошо знаком с историей шахмат и шахматной игрой, он должен был распознать многочисленные намеки, соотносить фрагменты текста с известными ему пособиями и, наконец, вспомнить о деятельности Петербургского шахматного общества и биографии его участников. Повесть должна была стать чем-то большим, чем серия анекдотов на заданную тему, написанных специально для смеси толстого журнала, – неслучайно она публиковалась в беллетристическом отделе наряду с другими серьезными художественными текстами. И ее читатель довольно очевиден: создавая свое произведение из условных романтических сюжетных схем и риторических клише прошлого, Ахшарумов всеми силами поэтизировал шахматную игру: неслучайно в дальнейшем его повесть входит в круг чтения профессиональных шахматистов. Гипотетически «идеальным читателем» его повести был именно А. Д. Петров, обладающий незаурядным шахматным талантом и посредственным беллетристическим даром. Именно Петров и люди этого «гроссмейстерского» круга могли безошибочно дешифровать многочисленные шахматные аллюзии, рассыпанные в тексте. И реакция Петрова – сочинение оригинальной партии по мотивам романа – свидетельствует о том, что на коммуникативном уровне адресат понял сообщение адресанта, а на дискурсивном еще и продолжил его, став соавтором и расширив границы исходного произведения. Таким образом, не став вехой и событием в русской литературе, повесть сыграла свою роль в формировании литературной репутации Ахшарумова в ином литературном поле – русскоязычной шахматной аудитории⁷.

В заключение имеет смысл обратиться к писательской рефлексии, предполагающей выход на уровень автора [Киселева, 2017]. Шахматист Гейнрих – непризнанный гений игры – находит цитаты некогда иггранных шахматных партий. Этого героя не ждет посмертная слава; однако конечная цель его жизни сводится к примирению на внутреннем суде. Знаменательно, что после смерти Гейнриха остается «толстая тетрадь, исписанная рукой покойника. Бедняк не имел средств купить весь “Гандбук фон-дер-Лаза” и переписал от доски до доски экземпляр, занятый у приятеля» (с. 480).

Несмотря на условность такой аналогии, это очень точно отражает Ахшарумовское мировоззрение и понимание своей роли. Он также «цитирует» существующие тексты и также усложняет их содержание. Он также «переписывает» целые страницы имеющихся текстов. Подобно Гейнриху, он одержим идеей свободного искусства.

Предпочтения Гейнриха в игре – он всегда играет черными – возвращает нас к раннему псевдониму писателя – *Чернов*. В сущности, играть черными – значит всегда быть вторым, всегда отставать на один ход, идти по следам.

Таким образом, отношения двух знаковых систем – шахмат и эстетики словесного творчества – взаимообусловлены. Принцип работы писателя-беллетриста и шахматиста-любителя схож: оперируя существующими моделями, приемами,

«Черная курица, или Подземные жители»: в «Игроке» Черная королева также выступает в роли дарительницы и также расплачивается за нарушение запрета).

⁷ В статье не рассматривается типологическое соответствие повести Н. Д. Ахшарумова и романа Ф. М. Достоевского, поскольку в факте совпадения названий мы усматриваем стратегию издателя Ф. Т. Стелловского. Взаимосвязь повести и романа «Защита Лужина» отмечена Н. А. Карповым [Карпов, 2017] и в комментарии к собранию сочинений В. Набокова.

стилями, беллетрист создает вольную вариацию на уже существующую тему. Зачастую такие тексты составляют архив культурной памяти, но иногда входят в довольно узкие читательские субкультуры – пример повести «русского Гейнзе» кажется здесь довольно показательным. В литературе модернизма эти отношения значительно усложняются: шахматная игра, как правило, организует серию литературных мотивов, реплицируется не шахматная партия, а литературная аллюзия.

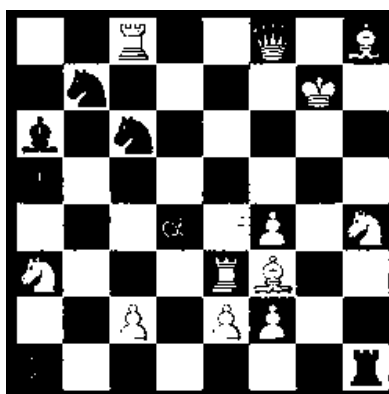
В завершение отметим, что семиотика шахматной игры (в отличие от семиотики карточных игр) не до конца осмыслена в отечественном литературоведении; ее разработка составляет возможную перспективу начатого здесь исследования.

Список литературы

- Ахшарумов Н. Д.* Игрок // Отечественные записки. 1858. Т. 121, № 11-12.
Ахшарумов Н. Д. О порабощении искусства // Отечественные записки. 1858. № 7.
Бутримов И. А. О шахматной игре. СПб., 1821.
Володина Н. В. Критерий пользы в оценке искусства русской литературной критикой 1860-х гг. // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2018. Т. 172, № 20(1). С. 93–107.
Дудышкин В. Правила шахматной игры: В 3 ч. СПб., 1843.
Карпов Н. А. Романтические контексты Набокова. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2017.
Киселева Л. Н. Роман как возможная/идеальная модель автобиографии // Семиотика поведения и литературные стратегии: Лотмановские чтения – XXII. М., 2017. С. 240–255.
Коган М. С. История шахматной игры в России. М.: Прибой, 1927.
Козлов А. Е. «Ахшарумовские вариации» в русской литературе: «В мрачном замке Набокова» // Сюжетология и сюжетография. 2017. № 2. С. 82–90.
Лаврова С. Ю. Метафора шахматной игры как знаковый компонент фантазийного дискурса (на материале романа Н. Д. Ахшарумова «Игрок») // Вестн. Череповец. гос. ун-та. 2016. № 5(74). С. 89–91.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
Лотман Ю. М. О типологическом изучении литературы // Лотман Ю. М. О русской литературе. М.: Искусство, 2012. С. 766–764.
Меднис Н. Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Языки славянской культуры, 2011.
Николаева Е. Г. Элементы кода повести Пушкина «Пиковая дама» в творчестве Достоевского: Дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2007.
Николаева Т. М. «Срединная проза» и парадигма социализированных оппозиций // Вторая проза. Русская проза 20–30-х годов XX века. Trento: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 1995. С. 123–139.
Новалис. Генрих фон Офтердинген. М.: Наука, 2003.
Печерская Т. И., Никанорова Е. К. Сюжеты и мотивы русской классической литературы. Новосибирск, 2010.
Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: опыт прочтения. М., 2006.
Устав Санкт-петербургского общества любителей шахматной игры. СПб., 1854.
Шатин Ю. В. Границы текста как семиотическое понятие // Русская литература в зеркале семиотики. М.: Языки славянской культуры, 2015.
Эйхенбаум Я. Гакраб (Битва). Поэма о шахматной игре. М., 2011.

А. Д. Петров

посвящается Н. Д. Ахиарумову,
автору фантастической повести «Игрок»



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Кр (б) h6 / К (ч) e5 | 7. Ф (б) d7 / К (ч) d6 |
| 2. Л (б) e4 / Кр (ч) d5 | 8. Л (б) e5 / Кр (ч) d4 |
| 3. Л (б) e5 / Кр (ч) d4 | 9. c3 (б) / C: c 3 |
| 4. Л (б) e4 / Кр (ч) d5 | 10. К (б) b5 / C (ч): b5 |
| 5. Ф (б) f7 / Кр (ч) d6 | 11. Ф (б) a7 / Л (ч): a7 |
| 6. Ф (б) e7 / Кр (ч) d5 | 12. Л (б) h5 / Л (ч) g7. |
| | 13. К (б) f5 / К (ч): f5 |

A. E. Kozlov

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
alexey-kozlov@rambler.ru

**Semiotics of chess in the literature of the 19th century:
to the interpretation of Nikolay Aksharumov “The Player”**

The paper is devoted to the investigation of the semiotics of chess-game in the literature and culture of the 1st part of the 19th century. The formation of the semiotics of chess is considered in European and Russian literature. It can be stated that the semiotics of chess is reflected in 1) special literature and periodicals; 2) literary mode of life (chess as QR-code of the 19th century); 3) the plot of the narrative prose. The last aspect is of particular interest since it allows one to judge the formation of a reader's subculture, consisting of amateur chess-makers and professionals. This principle was reflected in the epistolary novel of Goethe's younger contemporary, W. Heinze, in his novel “Anastasia und das Schachspiel” (1803). Melodramatic intrigue, by virtue of its triviality, becomes secondary, giving way to the intrigue of another level related to the study of the fundamentals of chess.

The second part of the paper is devoted to the investigation of the plot and narration features of the novel “The Player” (“Igrok,” 1858) of Nikolai Dmitrievich Aksharumov. In particular, three levels of the plot organization of “The Player” are considered. Firstly, the level of allusions and reminiscences composing the “German” background of the story and accumulating the most common plot situations is analyzed. Secondly, the reflection of the aesthetic program of esthetics

is considered. Thirdly, the system of references forming the “closest circle” of reading is studied. In conclusion, the hypothesis is made that the category of “ideal reader” was more closely matched by a real person – chess-master A. D. Petrov.

Keywords: Russian literature of the 19th century, story and plot, classics and fiction, secondariness and alternative, semiotics of chess, Nikolay Aksharumov.

DOI 10.17223/18137083/67/5

References

- Akhsharumov N. D. Igrok [Player]. *Otechestvennyye zapiski*. 1858, vol. 121, no. 11-12.
- Akhsharumov N. D. O poraboshchenii iskusstva [About the enslavement of art]. *Otechestvennyye zapiski*. 1858, no. 7.
- Butrimov I. A. *O shakhmatnoy igre* [About a chess game]. St. Petersburg, 1821.
- Dudyshkin V. *Pravila shakhmatnoy igry: V 3 ch.* [The rules of a chess game: in 3 pts]. St. Petersburg, 1843.
- Eykhenbaum Ya. *Gakrab (Bitva). Poema o shakhmatnoy igre* [Gakrab (Battle). A poem about a chess game]. Moscow, 2011.
- Karpov N. A. *Romanticheskie konteksty Nabokova* [The romantic context of the Nabokov prose]. St. Petersburg, SPbU Publ., 2017.
- Kiseleva L. N. Roman kak vozmozhnaya/ideal'naya model' avtobiografii [Novel as potential model of fiction/idealistic autobiography]. In: *Semiotika povedeniya i literaturnyye strategii: Lotmanovskiy chteniya – XXII* [Semiotics of behavior and literary strategies: Lotman readings – 22]. Moscow, 2017, pp. 240–255.
- Kozlov A. E. “Akhsharumovskiy variatsii” v russkoy literature: “V mrachnom zamke Nabokova” [“Akhsharum variations” in Russian literature: “In the dark castle of Nabokov”]. In: *Syuzhetologiya i syuzhetografiya*. 2017, no. 2, pp. 82–90.
- Lavrova S. Yu. Metafora shakhmatnoy igry kak znakovyy komponent fantazijnogo diskursa (na materiale romana N. D. Aksharumova “Igrok”) [Metaphor of chess-game as sign component of fantastic discourse (on the material of novel “The player” of N. D. Aksharumov)]. *Cherepovets State Univ. Bulletin*. 2016, no. 5(74), pp. 89–91.
- Lotman Y. M. *O tipologicheskom izuchenii literatury* [On typological investigation of literature]. In: Lotman Yu. M. *O russkoy literature* [About Russian literature]. St. Petersburg, Iskustvo, 2012, pp. 766–764.
- Lotman Y. M. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [Structure of the artistic text]. Moscow, Iskustvo, 1970.
- Mednis N. E. *Poetika i semiotika russkoy literatury* [Poetics and semiotics of the Russian literature]. Moscow, LRC Publ. House, 2011.
- Nikolaeva E. G. *Elementy koda povesti Pushkina “Pikovaya dama” v tvorchestve Dostoevskogo* [Elements of the code of Pushkin's novel The Queen of Spades in the works of Dostoevsky]. Cand. philol. sci. diss. Tomsk, 2007.
- Nikolaeva T. M. “Sredinnaya proza” i paradigma sotsializirovannykh oppozitsiy [“Middle prose” and paradigm of social oppositions]. In: *Vtoraya proza. Russkaya proza 20–30-kh godov XX veka* [Second Prose. Russian prose of the 20–30s of the 20th century]. Trento, Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche, 1995, pp. 123–139.
- Novalis. *Genrikh fon Ofterdingen*. Moscow, Nauka, 2003.
- Pecherskaya T. I., Nikanorova E. K. *Syuzhety i motivy russkoy klassicheskoy literatury* [Plots and motifs of the Russian classic literature]. Novosibirsk, 2010.
- Shatin Yu. V. Granitsy teksta kak semioticheskoe ponyatie [Borders as semiotic concepts]. In: *Russkaya literatura v zerkale semiotiki* [Russian literature in semiotics mirror]. Moscow, LRC Publ. House, 2015.
- Toporov V. N. “Bednaya Liza” Karamzina: opyt prochleniya [“Poor Liza” by Karamzin: experience of reading]. Moscow, 2006.
- Volodina N. V. *Kriteriy pol'zy v otsenke iskusstva russkoy literaturnoy kritikoy 1860-kh gg.* [The criterion of usefulness in the evaluation of art in the Russian literary criticism of the 1860s]. *Izvestia. Ural Federal Univ. Journal. Ser. 2. Humanities and Arts*. 2018, vol. 172, no. 20(1), pp. 93–107.

Е. Л. Сузрюкова

Новосибирская православная духовная семинария

**«Плач Иосифа Прекрасного»
в сюжете и семантической структуре рассказов
А. П. Чехова «Тоска»
и В. А. Никифорова-Волгина «Тревога»**

Исследуется влияние «Плача Иосифа Прекрасного» – фольклорного произведения, относящегося к жанру духовных стихов, – на сюжет и семантику рассказов А. П. Чехова «Тоска» и В. А. Никифорова-Волгина «Тревога». В чеховском рассказе первая строка из «Плача» цитируется в эпиграфе, задавая эмоциональную тональность, тему и в свернутом виде указывая на сюжет произведения. Кроме того, в статье анализируются библейские образы, присутствующие (прямо или косвенно) в рассказе А. П. Чехова, а также выявляются литературные связи между названными текстами А. П. Чехова и В. А. Никифорова-Волгина. В рассказе «Тревога» фрагменты из «Плача» цитируются непосредственно в тексте. Здесь скорбная тема, звучащая в духовном стихе, соотносится с переживаниями тех, кто оказался живущим после революции в стране, именовавшейся прежде Россией, но кто любит Россию ушедшую и не отрекается от ее духовных ценностей.

Ключевые слова: «Плач Иосифа Прекрасного», А. Чехов, В. Никифоров-Волгин, библейские образы, духовные стихи.

«Плач Иосифа Прекрасного» – духовный стих, созданный на основе ветхозаветной истории одного из сыновей Иакова. Как пишет Э. Н. Столярова, это произведение народной культуры относится к наиболее известным текстам данного жанра и наиболее часто исполняемым. «Получивший развернутую поэтическую обработку, достаточно вариативный стих, содержит, помимо плача, подробную историю Иосифа, предательство его братьями, злключения в Египте» [Столярова, 2016, с. 141]. ««Плач Иосифа Прекрасного» строится как монолог-причитание» [Селиванов, 1991, с. 21].

Особенностью рассматриваемого нами жанра является не только поэтическая форма, но также тесная связь «с мировосприятием, менталитетом русского человека, глубинными слоями его веры» [Мельникова, Скубко, 2014, с. 36]. Таким

Сузрюкова Елена Леонидовна – кандидат филологических наук, преподаватель Новосибирской православной духовной семинарии Новосибирской епархии Русской православной церкви (ул. Военный городок, 127, Обь, 633103, Россия; npds@yandex.ru)

свойством менталитета русского народа, сопрягаемым с обозначенной нами спецификой духовного стиха, Н. О. Лосский называет религиозность [Лосский, 1991, с. 240]. Явственно проступает эта черта духовного стиха в рассказе «Тревога» В. А. Никифорова-Волгина, где цитируется 12 строк из «Плача».

Неслучайно обращается к названному жанру В. А. Никифоров-Волгин (1901–1941) – русский писатель с православным мировоззрением, после 1917 г. ставший эмигрантом, так как Нарва, где он тогда жил, отошла к Эстонии. После установления там советской власти писатель был расстрелян за то, что в его книгах увидели «антисоветское содержание». Его произведения говорят о ценностях ушедшей России и о бедах, постигших страну вслед за случившейся революцией. Как отмечает А. Л. Топорков, именно «для писателей-эмигрантов духовные стихи приобрели особую привлекательность как органическая часть той православной жизни, среди которой прошло их детство и которая последовательно уничтожалась новыми властями» [Топорков, 2015, с. 25].

В чеховском же рассказе первая строка из «Плача Иосифа Прекрасного» вынесена в эпиграф¹, а в основном тексте фрагменты «Плача» отсутствуют. Сюжетно здесь наиболее значимой оказывается коммуникативная проблема, сопряженная как с отсутствием адресата, которому оставшийся без сына Иона мог бы излить свое горе, так и с «беспомощностью человека в выражении своих чувств» [Степанов, 2005, с. 191]. В то же время единственная строка эпиграфа в свернутом виде содержит фабулу рассказа.

Библейский контекст в рассказе тоже есть. Он проявляется прежде всего в эпиграфе и в имени главного героя – Ионы. Трехдневное нахождение в чреве кита – во тьме – древнего пророка проецируется благодаря имени персонажа на переживания русского извозчика XIX в., пребывающего в иной тьме – печали по умершему сыну: «Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...» [Чехов, 1976, с. 329]. Как пророк Иона был скрыт в чреве кита, так тоска извозчика спрятана в нем, но рвется наружу². При этом если библейский Иона сам находился в морской глубине, чеховский персонаж парадоксальным образом вмещает море (на водную стихию в приведенной цитате указывают слова «вылейся», «залила») тоски, способное заполнить весь мир, в себя.

Кроме того, эпиграф задает смысловую тональность восприятия текста, создает ощутимую параллель между эмоциональным состоянием Иосифа и Ионы³ (отметим также звуковое соответствие начальных звуков этих имен, фонетическое сходство между ними). Вместе с тем в эпиграфе звучит голос Иосифа из духовного стиха, который произносит жалобу от имени сына. Таким образом возникает смысловая «перекличка» между эпиграфом – словом сына – и основным текстом,

¹ В двенадцатитомном собрании сочинений А. П. Чехова есть неточность в примечании к рассказу «Тоска»: в качестве источника эпиграфа там указываются «слова из Псалтири» [Чехов, 1985, с. 80], а не «Плач Иосифа Прекрасного».

² Примечательно, что проблема невысказанного слова есть и в библейской книге пророка Ионы, которая «отличается по жанру от других пророческих книг Ветхого Завета» [Православная энциклопедия, 2010, с. 378], содержащих «прежде всего слова самих пророков. Повествование в этих книгах может либо отсутствовать, либо быть фоном для пророчеств. <...> Книга пророка Ионы – это в первую очередь повествование, где Иона произносит ряд небольших реплик, а также псалом...» [Там же]. Таким образом, немногословность чеховского Ионы напоминает речевую неактивность одноименного библейского персонажа.

³ Фольклорный жанр плача претворяется в рассказе в «интереснейшее литературное явление “слезного анекдота” – по аналогии со “слезной комедией” XVIII в.» [Тюпа, 1989, с. 14].

где, несмотря на все трудности, слово отца все-таки произносится. В ответ на плач раздается ответное рыдание. Диалог – вербальный и невербальный – между сыном и отцом оказывается совершившимся, пусть и на метафорическом уровне. Ответ на реплику уже умершего сына в контексте рассказа – отсылка к христианской картине мира, в которой личность бессмертна⁴, а значит, тоска по ушедшему может быть преодолена. Недаром для христиан пребывание Ионы во чреве кита стало прообразом трехдневного погребения и воскресения Иисуса Христа⁵. Итак, эпиграф, несмотря на драматичную окрашенность, имплицитно подразумевает разрешение сложившейся ситуации в положительном ключе (тоска персонажа когда-нибудь уйдет).

Еще одно наблюдение, касающееся рассказа «Тоска». Умерший сын извозчика Кузьма носил отчество Ионыч, как и доктор Старцев из одноименного чеховского рассказа. Помимо того что в прозе Чехова мы видим двух Ионычей, разница – даже исключительно номинативная – между ними очевидна. Кузьма остается для читателя прежде всего сыном главного персонажа (именно слово «сын» определяет его статус в тексте), а Старцев (фамилия, указывающая на принадлежность героя к «отцам», мудрецам, а в контексте христианства – еще и духовным людям, приблизившимся по состоянию своей души к Богу) становится Ионычем, т. е. сыном некоего Ионы. Вместо внутренней зрелости – ниспадение в состояние духовно мертвого человека. Для обоих персонажей – Кузьмы и Дмитрия Старцева – есть новозаветный прообраз – это Петр, бывший Симон Ионин (Ин. 21: 15), ставший верховным апостолом, оставивший отца и пошедший за Христом. Но если в судьбе первого из названных чеховских героев еще можно усмотреть смысловые параллели с Петром (Кузьма ведь тоже оставляет своего отца), то во втором случае превращение только в Ионыча, т. е. сына Ионы без приобретения своего имени, как это было с Петром, соотносимо лишь с отказом от апостольства, от высокой миссии, а в конечном счете – от себя самого.

Итак, в рассказах Чехова «Тоска» и Никифорова-Волгина «Тревога» мы выявили семантические параллели: оба текста содержат цитирование «Плача Иосифа Прекрасного», в заглавие каждого из упомянутых здесь рассказов вынесено обозначение психологического состояния субъекта (что является особенностью субъективного повествования Чехова⁶ и тяготением В. А. Никифорова-Волгина к очерковости [Исаков, 1992, с. 337]), близкого по тональности жанру плача. Кроме того, есть совпадение во времени действия: это вечер (у Чехова – зимний, у Никифорова-Волгина – осенний), повторяются ситуация смерти, тема отношений отца и сына, имя сына – Кузьма. Очевидно, автор рассказа «Тоска» ориентировался в какой-то мере на сюжетную ситуацию, темы и образы «Тоски» А. П. Чехова⁷.

⁴ А. Л. Топорков отмечает, что в стихе об Иосифе Прекрасном содержится «тема “самосхоронения”, погребения заживо как залога будущего воскресения и обретения новой личности» [Топорков, 2015, с. 29].

⁵ «Иона оказался единственным из малых пророков, чей образ и события жизни получают в Евангелиях прообразовательное истолкование» [Православная энциклопедия, 2010, с. 384].

⁶ Как замечает, к примеру, С. В. Тихомиров, внешний мир в произведениях А. П. Чехова «почти целиком втянут в сознание героя, пропущен через него» [Тихомиров, 1986, с. 17].

⁷ Не только о хорошем знании произведений А. П. Чехова, но и о том, что В. А. Никифоров-Волгин действительно опирается на художественные особенности изображения действительности своего литературного предшественника, говорит, к примеру, созданная им галерея обывателей в рассказе «Глухое затишье», выведение которой предваряется такой фразой: «...тихая древняя Нарва сохранила облик прежней русской провинции, и по-прежнему витают тени гоголевской и чеховской России» [Никифоров-Волгин, 2013, с. 241].

В отличие от чеховского рассказа, в «Тревоге» стихи из «Плача» цитируются не в эпиграфе, а в основном тексте произведения. Они представлены в качестве «любимой песни покойного Аввакума» [Никифоров-Волгин, 2013, с. 276], старообрядца⁸ (несомненно, здесь имеется смысловая параллель с протопопом Аввакумом), о котором грустит православный священник. Форма архаичного глагола «повем» вводит в текст тему старины⁹, а сам Аввакум назван тут отмершей «ветвью на древе русского благочестия» [Там же]. Покойный прежде «хорошо пел... по-старорусски» [Там же]; «Он видом своим благочестным, поступью и речью тоску будил по ушедшей Русской земле» [Там же]. В числе любимых песен Аввакума был «Плач Иосифа Прекрасного», который в рассказе исполняет уже лишь о. Сергей. Поскольку названная песня поется от первого лица, в тексте возникает целый ряд исполнителей этого произведения: Иосиф, Аввакум, о. Сергей. Ветхозаветное прошлое, русская старина, с которой ассоциируется для о. Сергия Аввакум (представитель традиций ушедшей дореволюционной России), и настоящее послереволюционной России в лице православного священника – вот три эпохи, «высвечивающиеся» через тех, кто соотносен с «Плачем» в рассказе писателя.

Тревогу в одноименном тексте испытывает о. Сергей, и это его эмоциональное состояние дважды подчеркивается фразой: «А не в последнюю ли годину мы приобщаем мир Кровью Христовой?» [Там же, с. 277–278]. Настоящее оказывается соотношенным с прошлым, так как стоит на пороге небытия, подобно тому как прошло время Ветхого Завета, как исчезли люди, принадлежащие к тому же типу, что и Аввакум. Апокалиптическая тема звучит в размышлениях священника: «Посмотрю в окно на спящую землю нашу и плачу, что она и деяния рук наших обречены на погибель!.. Все превратится в первозданную тьму, над которой никогда больше не прогремит голос Творца – да будет свет!..» [Там же, с. 277]. Если в «Плаче Иосифа Прекрасного» разлука с родной землей имеет буквальное значение, то в рассказе Никифорова-Волгина она приобретает переносный смысл: прошлое, старая Россия, уходит и «первозданная тьма» грозит поглотить ее. Получается, что сюжет рассказа может быть прочитан как плач сына о матери-России¹⁰, что также соотносимо с причитаниями Иосифа в духовном стихе.

В чеховском рассказе «Плач» – выражение личной скорби отца об ушедшем навсегда из этого мира сыне, а в «Тревоге» Никифорова-Волгина скорбь о потерянной России приобретает размеры вселенской трагедии, чреватой гибелью целого мира. В этом рассказе «Плач», помимо излияния тоски, представляет собой и голос из прошлого, причем оборванный, так как песня остается незавершенной.

Изображаемое в рассказах писателей XIX и XX вв. можно рассматривать в русле причинно-следственных связей: логическим продолжением разобщенности людей, одиночества среди других («Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски...» [Чехов, 1976, с. 329]), равнодушия друг к другу становится разрыв с прошлым, способность на убийство близкого человека, чувство безысходности, ощущение надвигающейся катастрофы. Весь этот комплекс смыслов присутст-

⁸ Именно в старообрядческой среде, «упорно сохраняющей “древнее благочестие”» [Селиванов, 1991, с. 4], складывается довольно обширный комплекс духовных стихов. «Плач Иосифа Прекрасного», впрочем, к ним не относится.

⁹ Некогда «духовные стихи не отделялись собирателями от былин и назывались “старины”» [Православная энциклопедия, 2007, с. 424].

¹⁰ Неслучайно, видимо, дано разбиение духовного стиха в тексте на две части, вторая из которых начинается именно обращением к матери: «Увиждь, мати Иосифа...» [Никифоров-Волгин, 2013, с. 275]. Адресат плача-причитания здесь акцентирован, а в сюжете связан именно с ушедшей Россией.

вует уже в «Плаче Иосифа Прекрасного», ведь Иосиф был предан родными братьями, которые не пожалели ни его, ни их общего отца Иакова.

Смерть в «Тоске» сына Ионы – нарушение естественного порядка вещей (умер не старый, а молодой). В «Тревоге» же Никифорова-Волгина сын совершает отцеубийство, и тут уже совершено преступление духовно-нравственного закона, разорваны нормальные отношения между разными поколениями.

Но оба обсуждаемые рассказа все же лишены безысходности. Иона сумел выразить свое горе в слове, адресат был им найден, хотя и необычный. В тексте Никифорова-Волгина мотивы тревоги и обреченности все же сменяются мотивом единения рассказчика с о. Сергием, молящимся Богу о милости. Надежду на духовно-нравственное возрождение России внушает в рассказе «Тревога» просьба о благословении, обращенная арестованным Кузьмой к священнику. Неслучайно ситуация покинутости, оставленности, заданная в сюжете духовного стиха об Иосифе, преходяща.

Список литературы

- Исаков С. Забытый писатель // В. А. Никифоров-Волгин. Дорожный посох. М.: Сов. Россия, 1992. С. 330–339.
- Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М.: Политиздат, 1991. 368 с.
- Мельникова А. К., Скубко. Н. К. Особенности возникновения и бытования жанра духовного стиха // Церковь и искусство: Материалы X Междунар. науч.-образовательных Знаменских чтений. Курск: Изд-во Курск. ун-та, 2014. С. 30–36.
- Никифоров-Волгин В. А. Ключи заветные от радости. М.: Даръ, 2013. 432 с.
- Православная энциклопедия / Под ред. Патр. Моск. и Всея Руси Алексия II. Т. 16: Дор – Евангелическая церковь союза. М.: Церк.-науч. центр «Православная энциклопедия», 2007. 752 с.; Т. 25: Иоанна деяния – Иосиф. М.: Церк.-науч. центр «Православная энциклопедия», 2010. 752 с.
- Селиванов Ф. М. Народно-христианская поэзия // Стихи духовные. М.: Сов. Россия, 1991. 336 с.
- Степанов А. Д. Проблемы коммуникации у Чехова. М.: Языки славянской культуры, 2005. 400 с.
- Стихи духовные / Сост. Ф. М. Селиванов. М.: Сов. Россия, 1991. 336 с.
- Столярова Э. Н. Духовные стихи – поэтическое отражение народной веры // Новая наука: Теоретический и практический взгляд. 2016. № 8. С. 138–145.
- Тихомиров С. В. Природа в сознании героев А. П. Чехова // Вестн. Моск. гос. ун-та. Сер. 9. Филология. 1986. № 4–6. С. 17–22.
- Топорков А. Л. Духовные стихи в русской литературе первой трети XIX века // Русская литература. 2015. № 1. С. 5–29.
- Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М.: Высш. шк., 1989. 135 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1976. Т. 4.
- Чехов А. П. Собрание сочинений: В 12 т. М.: Правда, 1985. Т. 4.

E. L. Suzryukova

Novosibirsk Orthodox Theological Seminary, Ob, Russian Federation, npds@yandex.ru

“Lamentation of Joseph” in the plot and the semantic structure of short stories “The Grief” by Anton Chekhov and “The Anxiety” by Vassily Nikiforov-Volgin

The paper studies the influence of “The Lamentation of Joseph”, the folklore poem of an ecclesiastic genre, on the plot and the semantics of short stories “The Grief” by Anton Chekhov and

“The Anxiety” by Vassily Nikiforov-Volgin. In Chekhov’s short story, the first line of the Lamentation is cited in the epigraph, thus setting the emotional tonality and the overall theme of the story. Also, this line reveals several biblical images and motifs: Joseph and Jonah, father and son. In response to the lamentation of Joseph-the-son, the main poem presents the answer to it and the wailing of Jonah-the-father. This dialogue, verbal and nonverbal, between the son and the father turns out to be real, albeit at a metaphorical level. In the short story by Nikiforov-Volgin, the poems from “The Lamentation of Joseph (Yosef)” are presented as a favorite song of Avvakum, an Old Believer killed by his son. Father Sergiy, an Orthodox priest, remembers the diseased and recites pieces from the ecclesiastic poem. Also, the paper reveals the semantic parallels between the stories of the two authors. “The Grief” shows the personal fathers sorrow for his son while “The Anxiety” presents the mourning over lost Russia as an immense tragedy that can destroy the whole world.

The short stories of the 19–20th centuries can be regarded within the framework of cause-and-effect links: breaking with the past, the ability to kill a loved one, the hopelessness and the premonition of a catastrophe to come are the logical result of spiritual segregation, loneliness among others and indifference to others.

Keywords: “Lamentation of Joseph”, A. Chekhov, V. Nikiforov-Volgin, biblical images, ecclesiastic poem.

DOI 10.17223/18137083/67/6

References

- Chekhov A. P. *Polnoye sobraniye sochineniy: V 30 t. Sochineniya: V 18 t.* [Complete works: in 30 vols. Writings: in 18 vols]. Moscow, Nauka, 1976, vol. 4.
- Chekhov A. P. *Sobraniye sochineniy: V 12 t.* [Collected works: in 12 vols]. Moscow, Pravda, 1985, vol. 4.
- Isakov S. Zabytyy pisatel’ [The forgotten writer]. In: V. A. Nikiforov-Volgin. *Dorozhnyy posokh* [Walking staff]. Moscow, Sov. Rossiya, 1992, pp. 330–339.
- Losskiy N. O. *Usloviya absolyutnogo dobra* [The conditions of the absolute good]. Moscow, Politizdat, 1991, 368 p.
- Mel’nikova A. K., Skubko. N. K. Osobennosti vozniknoveniya i bytovaniya zhanra dukhovnogo stikha [Features of the origin and existence of the genre of spiritual verse]. In: *Tserkov’ i iskusstvo: Materialy X Mezhdunar. nauch.-obrazovatel’nykh Znamenskikh chteniy* [Church and Art: Materials of the 10th Intern. sci. educational Znamensky readings]. Kursk, KSU Publ., 2014, pp. 30–36.
- Nikiforov-Volgin V. A. *Klyuchi zavetnyye ot radosti* [Cherished keys to gladness]. Moscow, Dar”, 2013, 432 p.
- Pravoslavnaya entsiklopediya. Pod red. Patr. Mosk. i Vseya Rusi Aleksiya II* [Orthodox Encyclopedia. Ed. by Patriarch of Moscow and all Rus’ Alexy II]. T. 16: *Dor – Evangelicheskaya tserkov’ soyuza* [Vol. 16: Dor – Evangelical Church of the Union]. Moscow, Tserk.-nauch. tsentr “Pravoslavnaya entsiklopediya”, 2007, 752 p.; T. 25: *Ioanna deyaniya – Iosif* [Vol. 25: John’s acts – Joseph]. Moscow, Tserk.-nauchn. tsentr “Pravoslavnaya entsiklopediya”, 2010, 752 p.
- Selivanov F. M. Narodno-khristianskaya poeziya [Folk-Christian poetry]. In: *Stikhi dukhovnye* [Ecclesiastic poems]. Moscow, Sov. Rossiya, 1991, 336 p.
- Stepanov A. D. *Problemy kommunikatsii u Chekhova* [The problems of communication in Chekhov]. Moscow, LRC Publ. House, 2005, 400 p.
- Stikhi dukhovnyye* [Ecclesiastic poem]. F. M. Selivanov (Comp.). Moscow, Sov. Rossiya, 1991, 336 p.
- Stolyarova E. N. Dukhovnyye stikhi – poeticheskoye otrazheniye narodnoy very [Ecclesiastic poems – poetic reflection of people’s faith]. In: *Novaya nauka: Teoreticheskiy i prakticheskiy vzglyad* [New science: Theoretical and practical view]. Ufa, 2016, no. 8, pp. 138–145.
- Tikhomirov S. V. Priroda v soznanii geroyev A. P. Chekhova [Nature in the Consciousness of the Heroes of A. P. Chekhov]. *Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology.* 1986, no. 4–6, pp. 17–22.
- Toporkov A. L. Dukhovnyye stikhi v russkoy literature pervoy treti XIX veka [Ecclesiastic poem in Russian literature of first third of 20th century]. *Russkaya literatura.* 2015, no. 1, pp. 5–29.
- Tyupa V. I. *Khudozhestvennost’ chekhovskogo rasskaza* [Artistry of Chekhov’s short story]. Moscow, Vyssh. shk., 1989, 135 p.

УДК 82-7
DOI 10.17223/18137083/67/7

М. М. Гельфонд

Высшая школа экономики, Нижний Новгород

**О возможном источнике
мандельштамовской эпитафии А. Белому**

Статья посвящена рассмотрению стихотворения П. А. Вяземского из цикла «Хандра с проблесками» как одного из возможных претекстов стихотворения О. Э. Мандельштама «Откуда привезли? Кого? Который умер?», включенного в цикл-реквием памяти Андрея Белого. Произведения Мандельштама и Вяземского анализируются как в контексте конкретных литературных ситуаций (отклик Мандельштама на смерть Белого соотносится со стихотворением Вяземского с эпиграфом из Дмитриева), так и в контексте жанровой динамики. Показано, какую роль играют категории смерти, безвестности и забвения в художественном мире двух авторов и как это соотносится с типологией лирического сознания, характерной для поэзии XIX и XX вв.

Ключевые слова: П. А. Вяземский, И. И. Дмитриев, О. Э. Мандельштам, А. Белый, эпитафия, диалог, реминисценция.

В состав «несобранного» цикла, посвященного памяти Андрея Белого и носившего в домашнем обиходе Мандельштамов название «Реквием», входит следующее стихотворение:

< V >

Откуда привезли? Кого? Который умер?
Где <...> ? Мне что-то невдомек.
Скажите, говорят, какой-то гоголь умер.
Не гоголь, так себе, писатель-гоголёк.

Тот самый, что тогда невянтицу устроил,
Чего-то шустрился, довольно уж легок,
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил,
Затеял кавардак, перекрутил снежок.

Гельфонд Мария Марковна – кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и межкультурной коммуникации, академический руководитель образовательной программы «Филология» Высшей школы экономики – Нижний Новгород (ул. Большая Печерская, 25/12, Нижний Новгород, 603005, Россия; mgelfond@hse.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© М. М. Гельфонд, 2019

Молчит, как устрица, на полтора аршина
К нему не подойти – почетный караул.
Тут что-то кроется, должно быть, есть причина.
<...> напутал и уснул.

Январь 1934

[Мандельштам, 1991, т. 1, с. 207–208]

Традиционно оно рассматривается в общем контексте «беловского» цикла [Марголина, 1991; Полякова, 1997; Лекманов, 2008; Свасьян, 2008; Спивак, 2013; Минц, 2015], особая сложность интерпретации которого связана с тем, что стихотворения, включенные в него, «сохранились по большей части в позднейших списках Н. Я. Мандельштам и людей из окружения поэта» [Спивак, 2013, с. 382]. До конца не прояснен таким образом и точный состав цикла, и последовательность расположения в нем стихотворений, и окончательный выбор редакций и вариантов. Не сохранился и единственный автограф рассматриваемого стихотворения: по воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, оно было последним в цикле и не имело конца. «После обыска, – писала вдова поэта, – я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн – он, не замеченный обыскивающими, остался на полу» [Мандельштам, 1990, с. 322]. В его утрате, точнее в сознательном уничтожении, Н. Я. Мандельштам обвинила Э. Г. Герштейн. По словам последней, речь с большой долей вероятности шла о черновике другого стихотворения: «Черновик представлял собой клочок бумаги приблизительно в одну шестнадцатую листа, на котором рукой Мандельштама мелко-мелко были записаны, несколько раз поправлены, затем вынесены два стиха над зачеркнутым целиком текстом. Стихи, вероятно, предназначались для срединных строф стихотворения “Меня преследуют две-три случайных фразы”. Несколько раз перечеркнутый текст с трудом поддавался прочтению, но запомнившееся мне обилие сложных слов, характерных для философской лирики Мандельштама, не позволяет признать в этом черновике запись пропавшего стихотворения “Откуда привезли? Кого? Который умер?” – как об этом неверно сообщает Надежда Мандельштам» [Герштейн, 2002, с. 68]. О сожжении части архива Мандельштамов Э. Г. Герштейн говорит в другом месте своих мемуаров, вновь вспоминая об утраченном тексте и отрицая свою непосредственную вину в гибели автографа [Там же, с. 77].

Стихотворение сохранилось в записи Н. Я. Мандельштам, сделанной в 1950-х гг. по памяти с двумя пропусками. По свидетельству И. М. Семенко, «Н. Я. Мандельштам согласилась с условным предположением, что на месте первого пропуска (“Где <...?>”) могло быть: “Где будут хоронить?” [Жизнь и творчество..., 1990, с. 137], предположений относительно второго пропуска нет, и в примечании Н. Я. Мандельштам говорится: «Слова утеряны» [Там же, с. 82]. «Мандельштам все же определил ему место, – пишет его вдова, – оно последнее в цикле – и сказал: “Будем печатать, доделаю”. Ему не пришлось ни доделывать, ни печатать» [Мандельштам, 1990, с. 322].

Каким бы ни был точный текст завершающего стихотворения цикла, очевидно, что все оно строится «на голосах из толпы» [Сурат, 2009, с. 42] – это многоголосая реакция на ситуацию «смерти поэта», своего рода коллективный эпилог мандельштамовского «реквиема», который снижает и опрощает ситуацию, последовательно переводя ее в другой языковой регистр: «Не гоголь, так себе, писатель-гоголек». Об этой же полифонии стихотворения пишет и Э. Г. Герштейн, утверждая, что в нем «спародирована бессмысленная разговорная речь любопытствующих обывателей» [Герштейн, 2002, с. 68].

Среди источников, подтекстов и параллелей этого мандельштамовского стихотворения исследователи называли фрагмент из книги «Гоголь в письмах и воспоминаниях» [Черашняя, 1992, с. 109], неоднократно отразившийся у Мандельштам

ма «грибоедовский» эпизод из пушкинского «Путешествия в Арзрум» [Сурат, 2009, с. 42], фрагмент из дневника цензора А. В. Никитенко, процитированный В. В. Вересаевым в книге «Пушкин в жизни» [Сурат, 2009, с. 43]. Нельзя, конечно, исключить и непосредственного воздействия реальной ситуации – разговоров, которые Мандельштам, по всей вероятности, слышал на похоронах Андрея Белого [Смерть Андрея Белого..., 2013, с. 376–396]. «Слышу голоса прохожих: “Хоронят Андрея Белого. – Кого? – Андрея Белого – писателя” – передают друг другу мальчишки» [Там же, с. 440]. 10 января, в день похорон, Мандельштам был на Новодевичьем кладбище, стоял в почетном карауле, и в суматохе ему даже упала на спину крышка гроба [Смерть Андрея Белого..., 2013, с. 392; Нерлер, 2016]. И все же рискуем предположить, что у этого стихотворения Мандельштама есть еще один литературный источник, прежде остававшийся незамеченным. Это одно из предсмертных стихотворений П. А. Вяземского, входящее в цикл «Хандра с проблесками»:

Что выехал в Ростов

Дмитриев

«Такой-то умер». Что ж? Он жил да был и умер.
Да, умер! Вот и всё. Всем жребий нам таков.
Из книги бытия один был вырван номер.
И в книгу внесено, что «выехал в Ростов».
Мы все попутчики в Ростов. Один поране,
Другой так попоздней, но всем ночлег один:
Есть подорожная у каждого в кармане,
И похороны всем – последствие крестин.
А после? Вот вопрос. Как знать, зачем пришли мы?
Зачем уходим мы? На всем лежит покров,
И думают себе земные пилигримы:
А что-то скажет нам загадочный Ростов?

1876 (?)

[Вяземский, 1986, с. 414]

Первое, что бросается здесь в глаза, – поразительная близость ритмико-синтаксического и интонационного рисунка двух стихотворений. Торжественность шестистопного ямба – традиционного метра «Памятника» – за счет синтаксического членения первой строки оборачивается своей противоположностью: разделяющий ее на две части вопрос словно бы обесценивает саму категорию смерти. Причем если в стихотворении Мандельштама вопрос «Кого?» снижает именно ситуацию смерти поэта, то в стихотворении Вяземского вопрос «Что ж?» обесценивает любую смерть. Замыкающее первую строку слово «умер» усиливается у Мандельштама тавтологической рифмой; у Вяземского – снижается канцелярским «номер» и рифмой, граничащей с каламбурной. Важнейшая интенция обоих произведений связана с тем, что смерть теряет статус события – она либо становится предметом досужих обсуждений, либо в принципе перестает быть значимой. В случае Мандельштама снижение регистра происходит за счет столкновения разных голосов из толпы; в случае Вяземского – за счет собственно авторского обесценивания предмета речи.

При всем сходстве ритма, интонации, лексики, композиции нельзя не отметить и различных обертонов темы. Присмотримся вначале к стихотворению П. А. Вяземского. Осмысление феномена смерти связано в нем с несоразмерностью категории смерти для себя и других. Масштабность итогового события для самого человека опровергается его незначительностью и обыденностью с точки зрения других. Высокий образ «книги бытия» контрастирует с записью в книге актов, где имя и судьба низводятся до канцелярской формулы «такой-то умер». Чужая –

и притом безличная – речь цитируется в стихотворении Вяземского дважды. Первая его строфа словно бы опоясана двумя формулами смерти – бюрократическим штампом и народной репликой. История второй из этих формул «выехал в Ростов» представляется особенной значимой.

Эпиграф к стихотворению взят из «Эпитафии» (1803) И. И. Дмитриева – поэта, не просто любимого П. А. Вяземским, но и увековеченного им в «Известиях о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева»:

Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах.

Вот жребий наш каков!

Живи, живи, умри – и только что в газетах

Осталось: выехал в Ростов

[Дмитриев, 1986, с. 238].

Не вызывает сомнения, что Вяземскому была хорошо известна и история приведенной Иваном Дмитриевым словесной формулы «выехал в Ростов». В речи москвичей она возникла во время моровой язвы или чумы 1771 г. Как пишет граф Е. А. Салиас, «все меры против распространения моровой язвы не вели ни к чему, и *чумового покойника хоронили тайком* (курсив в цитатах здесь и далее наш. – М. Г.), в огороде или в подвале, и в случае огласки клялись и божились, что у них в доме покойника никогда не бывало и что исчезнувшее лицо выехало из Москвы. При этом большею частью ссылались на одну из застав, где пропуск из столицы был свободен, по дороге на город Ростов. Всякий раз, когда обыватели заявляли об исчезнувшем лице, что он выехал в Ростов, начальство знало, *что человек этот умер и где-нибудь тайком похоронен*. И выражение “выехал в Ростов” осталось навеки в языке, сохранив свой особый подразумеваемый смысл» [Салиас, 1895, с. 16].

Современные словари указывают, что этот подразумеваемый смысл – жизнь и смерть неизвестного, незаметного человека [Серов, 2005]. Но Вяземский трактовал его несколько иначе. «У нас, – писал он, – государственные люди, полководцы, писатели, художники переходят молчаливо и как бы украдкой поприще действия своего и, по большей части в жизни сопровождаемые равнодушием, по кончине награждаются одним забвением. Смерть их похитила, и из частной их жизни молва ничего не завещает нам ни поучительного, ни занимательного, и ни один голос не раздастся для сохранения их памяти. На холодной и неблагоприятной почве остывают и изглаживаются все следы бытия человека знаменитого при жизни, но который по смерти оставляет нам, как известный бригадир, разве только одно предание в газетах, что *он выехал в Ростов*» [Вяземский, 1982, с. 56]. Далее Вяземский пишет о Суворове, Ломоносове и самом Иване Дмитриеве; очевидно, что акцент здесь делается не на безвестности, а на скором забвении подлинно великих людей – забвении, которому автор как литератор и мемуарист пытается в меру своих сил противостоять.

Могло ли привлечь внимание Мандельштама это стихотворение Вяземского? Сложно ответить на такой вопрос однозначно. С одной стороны, Вяземский почти не упоминается в прозе и эссеистике Мандельштама – в отличие, например, от Батюшкова, Боратынского или Языкова. Единственный, кажется, раз Мандельштам называет Вяземского в статье «Буря и натиск» как одного из вероятных предшественников Владислава Ходасевича: «Его младшая линия – стихи второстепенных поэтов пушкинской и послепушкинской поры – домашние поэты-любители, вроде графини Ростопчиной, Вяземского и т. д.» [Мандельштам, 1991, т. 2, с. 345]. Но «Буря и натиск» – статья, написанная в 1922–1923 гг.; десятилетием позже, в 1932 г. Мандельштам собирал по букинистам издания русских поэтов и заново пересматривал русскую поэзию XIX в. [Михайлов, Нерлер, 1990, с. 524]. Это отозвалось в «Стихах о русской поэзии», которые «даже при беглом прочте-

нии производят впечатление текста, целиком сотканного из мотивов, аллюзий, параллелей, относящихся к истории русской поэзии» [Гаспаров, 1993, с. 125].

Присутствие в этом цикле не названного, но цитируемого Вяземского вполне ощутимо. Так, строка о «дубовой коре», как показал Б. М. Гаспаров, восходит к письму Пушкина Вяземскому от 5 ноября 1830 г. [Там же, с. 138]; более того, именно в этом письме Пушкин иронически приводит строку из переложения И. И. Дмитриевым оды Горация: «Что у ней за сердце? *твердою дубовою корою*, тройным булатом грудь ее вооружена как у Горациева мореплавателя» [Там же, с. 138]. Образ поэтических поколений отразился и в посмертной характеристике, данной Языкову П. А. Вяземским: «Пушкин был отец твой крестный, а Державин прадед твой» [Там же, с. 160]. Неоднократно высказывалось предположение и о том, что непосредственное воздействие Вяземского испытало и более раннее стихотворение Мандельштама «Я пью за военные астры...» (1931), в котором трансформировалось послание П. А. Вяземского «Я пью за здоровье немногих...» [Баевский, 2007]. Значимы подтексты Вяземского и в «Ламарке» (1932) [Гаспаров, 1993, с. 209–210], где Мандельштам «в сущности точно следуя за образной канвой стихотворения Вяземского, придает тем же образам диаметрально противоположную символическую ценность» [Там же, с. 210].

Не менее важен был для Мандельштама и цитируемый Вяземским Иван Дмитриев – поэт, структура стихотворения которого «Други! Время скоротечно...» была зеркально воссоздана в мандельштамовском «Кому зима – арак и пуниш голубоглазый...» [Магомедова, 1991]. Тем более вероятно, что Мандельштам отозвался на поэтическое обращение Вяземского к Дмитриеву в той ситуации, которая и сама тяготела к подобному поэтическому диалогу. Прощавшийся с жизнью Вяземский находил в формуле давно умершего Дмитриева парадоксальное утешение; прощавшийся с Белым Мандельштам отпевал не только его, но и самого себя. «Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: “Чего ты сам себя хоронишь?” – а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит [Мандельштам, 1990, с. 321].

Самоутешение, которое Вяземский в какой-то степени находил и в словах Дмитриева, и в цитируемом им слове толпы, и в канцелярской формуле, основывалось на всеобщей обязательности смерти, ее неотменимости и соответственно – личной необходимости примириться с ней. В восприятии Мандельштама – в том случае, если он знал об истории приведенной Вяземским словесной формулы, – смысл ее мог и должен был быть иным: это чумная, «оптовая», постыдная, скрытая от чужих глаз смерть. Множественные подтексты из пушкинского «Пира во время чумы» в лирике Мандельштама сгущаются в первой половине 30-х гг. [Магомедова, 2001]; и здесь нельзя исключить своеобразной контаминации пушкинского текста с отстоявшейся в формулировке Дмитриева и Вяземского московской холерой 1771 г. Успокоительное для Вяземского обесценивание смерти могло оказаться для Мандельштама пророческим. «Утрата имени, смерть в безвестности» [Сурат, 2009, с. 43], соединение с миллионами, «убитых задешево», – это и есть новая формула смерти.

Вяземский утешал себя тем, что он умрет как все, в силу всеобщего жребия и неотвратимости законов земного бытия. Мандельштам, в отличие от своего предшественника, не искал в этом утешения. Он знал, отпевая Андрея Белого, что его собственная смерть, как и смерть старшего поэта, станет предметом досужих толков, что имя его растворится в словах толпы (и в этом смысле последнее стихотворение «беловского цикла» – непосредственный предшественник позднейшей автоэпитафии «Это какая улица?»). Эпитафия неизвестному человеку, к которой тяготело стихотворение Вяземского, оборачивается у Мандельштама эпита-

фией поэту – но поэт так же безвестен, как все остальные, его ожидает та же всеобщая судьба. Самоутешение вытесняется знанием своей – и всеобщей судьбы. Так резонанс двух текстов – вне зависимости от того, насколько сознательным было обращение Мандельштама к Вяземскому, – ставит перед читателем вопрос о самой категории смерти в лирическом сознании поэтов XIX и XX вв., о соотношении личного и внеличностного, исключительного и особенного, памяти и забвения.

Список литературы

- Баевский В. С.* Три сюжета о Мандельштаме // *Знамя*. 2007. № 2. С. 132–138.
- Вяземский П. А.* Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева // *Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2: Литературно-критические статьи / Сост., подгот. текста и коммент. М. И. Гиллельсона. С. 56.*
- Вяземский П. А.* Стихотворения / Вступ. ст. Л. Я. Гинзбург; сост., подгот. текста и примеч. К. А. Кумпан. Л.: Сов. писатель, 1986. (Б-ка поэта. Большая серия).
- Гаспаров Б. М.* Сон о русской поэзии (Мандельштам. Стихи о русской поэзии. 1–2) // *Гаспаров Б. М. Литературные лейтмотивы. Очерки русской литературы XX века. М.: Наука, 1993.*
- Герштейн Э. Г.* Мемуары. М.: Захаров, 2002.
- Дмитриев И. И.* Сочинения / Сост. и коммент. А. М. Пескова, И. З. Сурат; вступ. ст. А. М. Пескова. М.: Правда, 1986.
- Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. «Новые стихи». Комментарии. Исследования. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1990.
- Лекманов О. А.* Хлестаков(ы) русской поэзии // *Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения / Сост. М. Л. Спивак. М., 2008. С. 342–348.*
- Магомедова Д. М.* О Мандельштаме и И. Дмитриеве: проблема внутреннего и внешнего адресата стихотворения // *Слово и судьба: Осип Мандельштам. М., 1991. С. 408–413.*
- Магомедова Д. М.* Мотив «пира» в поэзии О. Э. Мандельштама // *Смерть и бессмертие поэта: Материалы междунар. науч. конф., посвященной 60-летию со дня гибели О. Э. Мандельштама, Москва, 28–29 декабря 1998 г. М., 2001. С. 134–143.*
- Мандельштам Н. Я.* Вторая книга: Воспоминания / Подгот. текста, предисл., примеч. М. К. Поливанова. М.: Моск. рабочий, 1990.
- Мандельштам О. Э.* Собрание сочинений: В 4 т. / Под ред. Г. П. Струве, Б. А. Филиппова. М.: Терра – Terra, 1991.
- Марголина С. О.* Мандельштам и А. Белый: полемика и преемственность // *Russian Literature. Amsterdam. 1991. № 4 (15 Nov.). С. 431–454.*
- Миц Б. А.* Несобранный цикл О. Мандельштама памяти Андрея Белого (проблемы композиции и жанра) // *Изв. Саратов. ун-та. Новая серия. Сер. Филология. Журналистика. 2015. Т. 15, вып. 4. С. 90–98.*
- Михайлов А. Д., Нерлер П. М.* Комментарии // *Мандельштам О. Э. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1990.*
- Нерлер П. М.* В Москве (ноябрь 1930 – май 1934) // *Новый мир. 2016. № 3.*
- Полякова С. В.* «Беловский субстрат» в стихотворениях Мандельштама, посвященных памяти Андрея Белого; Мандельштам о творчестве Андрея Белого // *Полякова С. В. «Олейников и об Олейникове» и другие работы по русской литературе. СПб., 1997. С. 270–286.*
- Салиас Е. А.* Собрание сочинений: В 33 т. Т. 13. М., 1895.
- Свасьян К.* Андрей Белый и Осип Мандельштам // «Сохрани мою речь...»: записки Мандельштамовского общества. Вып. 4: В 2 ч. М., 2008. Ч. 2. С. 304–319.

Серов В. В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: 2005.

Смерть Андрея Белого (1800–1934). Документы. Некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. М. Спивак, Е. Наседкина. М.: НЛЮ, 2013.

Спивак М. Л. Осип Мандельштам [На смерть Андрея Белого] / Подгот. текста, коммент., послесл. // Смерть Андрея Белого (1800–1934). Документы. Некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. М. Спивак, Е. Наседкина. М.: НЛЮ, 2013. С. 376–396.

Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. М.: ИМЛИ РАН, 2009.

Черашняя Д. И. Этюды о Мандельштаме. Ижевск, 1992.

M. M. Gelfond

High School of Economics, Nizhny Novgorod, Russian Federation, mgelfond@hse.ru

On a possible source of the Mandelstam's epitaph to Andrei Bely

The paper considers one of the possible sources of Osip Mandelstam's poem "Where was he taken from? Who? Who died?" included in the lyrical cycle in honor of Andrei Bely. The lack of the autograph and final version of the author complicates interpretation and poses some questions to be solved by researchers. One of them is the question of possible literary sources of the text. Traditionally, some memories of Pushkin's and Gogol's funeral and the episode of "Journey to Erzurum" by Pushkin related to the Griboyedov's fortune were regarded as possible pretexts and parallels to Mandelstam's poem. The research conducted allows extending this list and introducing a poem by Piotr Vyazemsky "So-and-so died. Well? He there lived and died" from the lyrical cycle "The Melancholy with glimpses." The poems of Vyazemsky and Mandelstam are written in the same verse and are close in lexical, syntactic and compositional aspects. Of particular interest is the verbal formula "departed for Rostov," quoted by Vyazemsky in the epigraph, and the text of the poem. This formula refers to death in obscurity and goes back to cholera in Moscow in 1771 in the poem of Ivan Dmitriev. Mandelstam's general interest to the Russian poetry of Pushkin's era, particularly to Vyazemsky and Ivan Dmitriev, and to the plot of the "Feast during the plague" suggests that Mandelstam consciously projects the situation of Vyazemsky approaching to Dmitriev on his own appeal to Andrei Bely.

Keywords: P. Vyazemskiy, I. Dmitriev, O. Mandelshtam, A. Bely, epitaph, dialog, reminiscence.

DOI 10.17223/18137083/67/7

References

Bayevskiy V. S. Tri syuzheta o Mandel'shtame [Three stories about Mandelshtam]. *Znamya*. 2007, no. 2, pp. 132–138.

Cherashnyaya D. I. *Etyudy o Mandel'shtame* [Essays on Mandelstam]. Izhevsk, 1992.

Dmitriyev I. I. *Sochineniya* [Works]. A. M. Peskov, I. Z. Surat (Comps., comm.); A. M. Peskov (Intr. art.). Moscow, Pravda, 1986.

Gasparov B. M. Son o russkoy poezii (Mandel'shtam. Stikhi o russkoy poezii. 1–2) [Dream about Russian poetry (Osip Mandelstam. Poems about Russian poetry. 1–2)]. In: Gasparov B. M. *Literaturnyye leytmotivy. Ocherki russkoy literatury XX veka*. [Literary leitmotifs. Essays on Russian literature of the 20th century]. Moscow, Nauka, 1993.

Gershteyn E. G. *Memuary* [Memoirs]. Moscow, Zakharov, 2002.

Lekmanov O. A. Khlestakov(y) russkoy poezii [Khlestakov(s) of Russian poetry]. In: *Andrey Belyy v izmenyayushchemsya mire: k 125-letiyu so dnya rozhdeniya* [Andrei Bely in a changing world: in honor of the 125th anniversary of the birth]. M. L. Spivak (Comp.). Moscow, 2008, pp. 342–348.

Magomedova D. M. O. Mandel'shtam i I. Dmitriyev: problema vnutrennego i vneshnego adresata stikhotvoreniya [O. Mandelstam and I. Dmitriev: the problem of internal and external

addressee of the poem]. In: *Slovo i sud'ba: Osip Mandel'shtam* [Word and life: Osip Mandelstam]. Moscow, 1991, pp. 408–413.

Magomedova D. M. Motiv “pira” v poezii O. E. Mandel'shtama [The motive of the “feast” in the poetry of Mandelstam]. In: *Smert' I bessmertnye poeta: Materialy mezhdunar. nauch. konf., posvyashchennoy 60-letiyu so dnya gibeli O. E. Mandel'shtama, Moskva, 28–29 dekabrya 1998 g.* (Moskva, 28–29 dekabrya 1998 g). [Death and the immortality of the poet. Materials of the international scientific conference devoted to the 60th anniversary since the death of Mandelstam]. Moscow, 2001, pp. 134–143.

Mandel'shtam N. Ya. *Vtoraya kniga: Vospominaniya* [The second book: Memories]. M. K. Polivanova (prep. of the text, foreword, notes). Moscow, Moskovskiy rabochiy, 1990.

Mandel'shtam O. E. *Sobraniye sochineniy: V 4 t.* [Collected works: in 4 vols]. G. P. Struve, B. A. Filippova (Eds). Moscow, Terra – Terra, 1991.

Margolina S. O. Mandel'shtam i A. Belyy: polemika i preymstvennost' [Mandelstam and A. White: controversy and continuity]. *Russian Literature. Amsterdam*. 1991, no. 4 (15 Nov.). pp. 431–454.

Mikhaylov A. D., Nerler P. M. Kommentarii [Comments]. In: Mandel'shtam O. E. *Sobr. soch.: V 2 t. T. 1* [Collected works: in 2 vols. Vol. 1]. Moscow, 1990.

Mints B. A. Nesobrannyy tsikl O. Mandel'shtama pamyati Andrey Belogo (problemy kompozitsii i zhanra) [Uncollected cycle of Osip Mandelstam memory of Andrei Bely (the problem of composition and genre)]. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism*. 2015, vol. 15, iss. 4, pp. 90–98.

Nerler P. M. V Moskve (noyabr' 1930 – may 1934) [In Moscow (November 1930 – may 1934)]. *Novyy mir*. 2016, no. 3.

Polyakova S. V. “Belovskiy substrat” v stikhotvoreniyakh Mandel'shtama, posvyashchennykh pamyati Andrey Belogo; Mandel'shtam o tvorchestve Andrey Belogo [“Belovskiy substrate” in Mandelstam's poems dedicated to the memory of Andrei Bely; Mandelstam on the works of Andrei Bely]. In: Polyakova S. V. *“Oleynikov i ob Oleynikove” i drugiye raboty po russkoy literature* [“Oleynikov and about Oleynikov” and other works on Russian literature]. St. Petersburg, 1997, pp. 270–286.

Salias E. A. *Sobraniye sochineniy: V 33 t. T. 13* [Collected works: in 33 vols. Vol. 13]. Moscow, 1895.

Serov V. V. *Entsiklopedicheskiy slovar' krylatykh slov i vyrazheniy* [Encyclopedic dictionary of winged words and expressions]. Moscow, 2005.

Smert' Andrey Belogo (1800–1934). Dokumenty. Nekrologi, pis'ma, dnevnik, posvyashcheniya, portrety [The death of Andrei Bely (1800–1934) Documents. Obituaries, letters, diaries, dedications, and portraits]. M. Spivak, E. Nasedkina (Comps). Moscow, NLO, 2013.

Spivak M. L. Osip Mandel'shtam (Na smert' Andrey Belogo). Podgot. teksta, komment., poslesl. [Osip Mandelstam (To the death of Andrei Bely). Preparation of text, comments, afterword]. In: *Smert' Andrey Belogo (1800–1934). Dokumenty. Nekrologi, pis'ma, dnevnik, posvyashcheniya, portrety* [The death of Andrei Bely (1800–1934) Documents. Obituaries, letters, diaries, dedications, and portraits]. M. Spivak, E. Nasedkina (Comps). Moscow, NLO, 2013, pp. 376–396.

Surat I. Z. *Mandel'shtam i Pushkin* [Mandelstam and Pushkin]. Moscow, IMLI RAN, 2009.

Svas'yan K. Andrey Bely i Osip Mandel'shtam [Andrei Bely, and Osip Mandelstam]. In: *“Sokhrani moyu rech'...”: zapiski Mandel'shtamovskogo obshchestva. Vyp. 4: V 2 ch.* [“Save my speech...”: notes of Mandelstam society. Iss. 4: in 2 pts]. Moscow, 2008, pt 2, pp. 304–319.

Vyazemskiy P. A. Izvestiye o zhizni i stikhotvoreniyakh Ivana Ivanovicha Dmitriyeva [The news about the life and poems of Ivan Ivanovich Dmitriev]. In: Vyazemskiy P. A. *Soch.: V 2 t. T. 2: Literaturnokriticheskiye stat'i* [Works in 3 vols. Vol. 2: Literary and critical articles]. M. I. Gillelson (Comp.). Moscow, Khudozh. lit., 1982.

Vyazemskiy P. A. *Stikhotvoreniya* [Poems]. Introd. art. by L. Ya. Ginzburg; ed., prep. of the text and notes by K. A. Kumpan. Leningrad, Sov. pisatel', 1986 (Biblioteka poeta. Bol'shaya seriya [Library of the poet. A large series]).

Zhizn' i tvorchestvo O. E. Mandel'shtama. Vospominaniya. Materialy k biografii. “Novyye stikhi”. Kommentarii. Issledovaniya [The life and work of Mandelstam. Memories. The materials for the biography. “New poems”. Comments. Research]. Voronezh, Voronezh Univ. Publ., 1990.

УДК 82-311.4
DOI 10.17223/18137083/67/8

М. В. Нисова

Томский государственный университет

**«Трущобы» петербургские и томские:
от подражания до художественной рецепции***

Рассматриваются типы художественного взаимодействия двух произведений, объединенных темой «трущоб»: это роман Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» и В. Курицына «Томские трущобы». Проводится сопоставительный анализ произведений, выявляются сходство и различия романов, определяются особенности их художественного взаимодействия. Делается вывод о том, что провинциальный сибирский автор, опираясь на модель романа Вс. Крестовского, осваивал местный материал, выстраивал свой собственный сюжет, в результате вышедший за рамки первоначальной концепции трущоб.

Ключевые слова: В. Курицын, Вс. Крестовский, художественное взаимодействие, авантюрный роман.

Литературный процесс в дореволюционной Сибири имел свои особенности, обусловленные особым положением региона в составе России. Значительная географическая отдаленность от столиц, уголовная ссылка, малочисленное население, рассеянное на огромной территории – все это определило низкий темп формирования социально-культурной среды, развития гражданского общества. Немногочисленные литературные силы Сибири вынуждены были группироваться в основном вокруг местных органов периодической печати, которые в этих условиях стали базой развития литературного и литературно-критического процессов. В сибирской периодике сотрудничали многие писатели и поэты, которые апробировали новые жанры на страницах газет и журналов. Однако сибирских авторов нередко упрекали в «подражательности» и «вторичности», и эта тенденция сохранилась вплоть до начала XX в., когда на страницах газеты «Сибирские отголоски» начали печататься первые главы нового романа – «Томские трущобы», подписанные «говорящим» псевдонимом Не-Крестовский [1990].

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-312-00094/18.

Нисова Мария Викторовна – аспирант филологического факультета Томского государственного университета (просп. Ленина, 66, Томск, 634050, Россия; newspaper_2401@mail.ru)

И название, и подпись автора немедленно вовлекали читателя в своеобразную литературную игру, заставляя вспомнить нашумевший роман Вс. Крестовского «Петербургские трущобы». Современные же исследователи задаются вопросом о том, был ли роман сибиряка простым подражанием модному столичному автору или же речь идет о более сложных формах влияния, своеобразной литературной рецепции, которая связала эти произведения.

Целью настоящей статьи является определение типов художественного взаимодействия двух романов российских писателей – Всеволода Крестовского «Петербургские трущобы» (опубликован впервые в журнале «Отечественные записки», 1864–1866) и Владимира Курицына (Не-Крестовского) «Томские трущобы» (напечатан в газете «Сибирские отголоски», 1905–1907). Основной метод исследования – сопоставительный анализ, результаты которого позволят решить вопрос о специфике рецептивного освоения романских достижений «большой» русской литературы в провинции.

Прежде чем перейти к сопоставлению романов о «трущобах», необходимо отметить, что вопрос о «вторичности» литературных произведений сибирских авторов был обусловлен, в том числе такой своеобразной чертой российской провинции, как «диахронность» ее развития. Как писал К. В. Анисимов, уже сам «концепт “провинции” и “провинциальности” (встречающийся, кстати, далеко не в каждой стране) порождается исторически сложившейся сверхцентрализованностью Российского государства. <...> В результате возникает ситуация, когда друг другу противостоят не два равноправных полюса, но единственный центр и “задавленная” им окраина. Диалог между неравными полюсами обычно приводит к тому, что противостоящие стороны оказываются на разных временных стадиях развития: с центром связываются понятия “современности”, “моды”, “новизны”; с провинцией – “косности” и “архаики”. Культура провинции, следовательно, оказывается в условиях очень противоречивого диахронического развития. С одной стороны, у нее есть собственная, присущая любому историческому процессу, стадийность, с другой стороны, перед ней постоянно присутствует “раздражающий” коррелят в виду, как правило, опережающего стадийного развития центра» [Анисимов, 1998, с. 12]. В рассматриваемой ситуации авантюрный роман Не-Крестовского, будучи новаторским для местного литературного процесса, неизбежно был «архаичным» и «вторичным» с точки зрения «центра».

Для отечественного литературоведения разговор о «вторичном», чужом, а то и прямо заимствованном не является чем-то новым, особенно сегодня, в период постмодернизма. В многочисленных работах (см., например: [Феоклистова, 1999; Голова, 2006; Константинова, 2006; Рощина, 2010]) анализируются все аспекты художественного взаимодействия, от плагиата до едва уловимых импульсов влияния одного автора на другого. Так, например, Г. Е. Гун выделяет типы художественных взаимодействий по двум основаниям. Первая типология основана на направленности взаимодействия: художник испытывает влияние извне или оказывает влияние на других; вторая типология носит внутривидовой и межвидовой характер [Гун, 2011, с. 104]. Ю. Б. Борев подразделяет художественные взаимодействия на десять типов: новаторское продолжение традиций, отталкивание, заимствование, влияние, подражание, пародирование, эпигонство, соревнование, концентрация, растворение творчества крупного художника в последующем художественном процессе без утраты самостоятельного художественного и эстетического значения его произведений [Борев, 1981, с. 399].

Анализируя художественное воздействие романа Вс. Крестовского на сибирского автора начала XX в., мы исходили из гипотезы о том, что В. Курицын, сознательно заявляя в названии своего произведения тему «трущоб», стремился придать своему роману узнаваемые черты и тем самым повысить его востребованность у неприятельного массового читателя. Однако развитие сюжета, на-

сыщение его местным материалом изменило первоначальную концепцию В. Курицына, что позволяет говорить о более сложных формах воздействия литературного образца на творчество провинциального писателя.

Два романа о «трущобах»

Прежде чем перейти к сопоставительному анализу произведений, необходимо дать им краткую характеристику и обозначить основные сюжетные линии романов.

Действие романа Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» происходит в северной столице России во второй трети XIX в. У каждого из супругов Шадурских, Татьяны Львовны и Николая, рождаются внебрачные дети – Мария Поветина и Иван Вересов. Мать новорожденной девочки, двадцатипятилетняя княжна Анна Чечевинская, которую соблазнил Шадурский, скрывает беременность и рождает втайне от своей матери. Затем всеми покинутая, без средств к существованию она оказывается в трущобах Петербурга, где спустя двадцать лет встретится с собственной дочерью Машей Поветиной. Она, в свою очередь, была воспитана богобоязненными стариками Поветиными, затем стала содержанкой молодого князя Владимира Шадурского, но очень быстро надоела ему и была вынуждена искать приюта на петербургских улицах. Именно там она встретила со сводным братом Иваном, которого воспитали у майора Спицы без родительской ласки. Его отец, управляющий финансами семьи Шадурских, Морденко, всю жизнь воплощал план мести Шадурским – скупал векселя, чем довел семью до полного банкротства. Чистый душой Иван Вересов заканчивает жизнь самоубийством, узнав о смерти Маши Поветиной, которая умерла в публичном доме от чахотки.

Роман «Томские трущобы» начал публиковаться в томской газете «Сибирские отголоски» в 1905 г., затем до 1907 г. там же вышли еще две части этого романа под заголовками «Человек в маске» и «В погоне за миллионами» (не окончен). Все эти произведения связаны общим сюжетом и общими героями, что дает возможность говорить о них как о едином романе.

События «Томских трущоб» разворачиваются на томских улицах начала XX в., в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица – местные уголовные авторитеты Сенька Козырь, Федька Беспалый, грабитель и убийца Филька Кривой, бывшая «этуаль» Екатерина Михайловна, карточный шулер Станислав Гудович и его сестра полька Ядвига Казимировна, сыщик Залетный, местный предприниматель Сергей Загорский, золотопромышленники Беркович, Бесшумных и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске совершаются разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников. Часть героев оказываются втянутыми в преступления, среди них местный уголовный авторитет Александр Пройди-Свет, которого, по слухам, убил сам Человек в маске. Горячо его любившая Екатерина Михайловна решает отомстить за смерть сердечного друга. Вместе с Сенькой Козырем она разрабатывает план, в результате чего оказывается убитым атаман банды «Мертвая голова», в котором Екатерина Михайловна внезапно узнает Александра Пройди-Света. Жажда быстрого заработка приводит компанию золотопромышленников, пытавшихся разгадать тайну «Золотого ключа», к трагической гибели.

Выбор жанра: продолжение традиции

Произведения обоих авторов могут быть отнесены к жанру авантюрного романа-фельетона о социально неблагополучном обществе, который приобрел большую популярность в середине XIX в., когда мир отверженных стал все больше

привлекать внимание как зарубежного, так и российского читателя. Одним из первых крупных произведений этого жанра стал роман «Парижские тайны» Эжена Сю, который принес своему автору «шумный успех и верную прибыль»: он «оказался подлинным общественным событием», способствующим распространению демократических и социальных идей [Зенкин, 1989, с. 10]. Вслед за ним стали появляться «Лондонские тайны» (П. Феваль), «Лиссабонские тайны» (К. Каштелу-Бранку), «Марсельские тайны» (Э. Золя), «Новые парижские тайны» (Л. Мале), «Лионские тайны» (Ж. де ла Ир) и др.

В России тема «тайн» трансформировалась в тему «трущоб»: под влиянием произведения Э. Сю в 1860-х гг. были написаны «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского¹, в 1893 г. вышел в свет роман «Ростовские трущобы» Алексея Свирского, а в начале XX в. в Сибири появились свои, «Томские трущобы» Не-Крестовского (В. Курицына). Таким образом, роман В. Курицына изначально оказался частью давней литературной традиции, зародившейся в европейском художественном пространстве и дошедшей до глубокой российской провинции как с «унаследованными правилами», так и определенными модификациями [Матвеев, 2014, с. 235].

В. Курицын обозначил свое вхождение в эту традицию одновременно двумя «вехами»: названием и выбором псевдонима. Однако определением жанра как «уголовного романа-хроники» сибирский автор заявил о своем следовании и другой традиции – романа детективного, криминального, черты которого, действительно, явственно прослеживаются в «Томских трущобах». Эта двойственность, с самого начала проявившаяся в новом романе, во многом определила его специфику. Однако целый ряд общих черт свидетельствуют о том, что оба романа – и Вс. Крестовского, и В. Курицына – были характерными представителями жанра авантюрного романа-фельетона и сибирский автор сознательно использовал художественные достижения своего предшественника в выстраивании своего сюжета.

Тем не менее целый ряд общих черт позволяет говорить о несомненном сходстве романов, о сильном художественном влиянии Вс. Крестовского на первоначальный замысел произведения В. Курицына.

Авантюрный сюжет как основа романов

Первым общим элементом «Петербургских трущоб» и «Томских трущоб» является авантюрный сюжет с элементами тайны, образующий основу исследуемых произведений. Они выстроены на таких параметрах авантюрного времени, как «внезапность» и «случайность» (М. М. Бахтин), потому что оно действует там, где заканчивается нормальная череда событий и сменяется нестандартной чистой случайностью.

В романе Вс. Крестовского судьбы героев переплетаются неожиданным образом, настоящие имена персонажей зачастую остаются неизвестными вплоть до последних глав произведения. На протяжении всех «Петербургских трущоб» автор помещает героев в рискованные проблематичные положения, из которых они выбираются на глазах у читателя. Произведение наполнено убийствами, ограблениями, обманами, коварством. Молодой князь Шадурский обольщает Анну Чечевинскую; княгиня фон Шпильце ему же помогает обманом обольстить Бероеву; служанка Наташа, напоив больную княгиню Чечевинскую опиумом, крадет у нее из шкатулки большую часть денег и бежит в Финляндию с поддельными паспортами. Отбиваясь от Шадурского, Юлия Бероева вонзает ему в горло

¹ Заметим, что сериал, снятый на основе этого романа, был назван «Петербургские тайны» (к/ст «Останкино», 1994).

серебряную вилку: князь ранен, Бероева арестована, младенец продан нищим, у которых умирает в страшных мучениях. Однако главным сюжетобразующим элементом всего романа является тайна, связанная с внебрачными детьми Шадурских: Маша Поветина и Иван Вересов, выросшие в разных семьях, внезапно встречаются, но только в финальных главах узнают о родственных связях. Именно этот сюжет держит читателя в постоянном напряжении из-за непредсказуемости событий, создает ощущение действия роковых сил на судьбы героев.

Как и в произведении Вс. Крестовского, в «Томских трущобах» присутствуют внезапные переплетения судеб и роковые совпадения в жизни героев. Но в этом романе больший акцент сделан на детективную составляющую, поэтому мотивы узнаваемости встречаются реже, а внезапные встречи, внебрачные дети вовсе отсутствуют. Произведение наполнено риском, авантюрой, напряженным ожиданием потому, что Курицын описывает будни криминальных авторитетов дореволюционного Томска, преступления, подлоги, кражи, убийства. Одни мошенники грабят дом купца, другие пытаются узнать тайну Золотого Ключа, третьи – крадут несгораемую шкатулку у очередной мошенницы, красавицы панны Ядвиги. Однако за всеми этими мелкими преступлениями читатель постоянно чувствует присутствие главной тайны: Человека в маске, имя которого остается неизвестным вплоть до последней страницы романа. Это существование «основной тайны», которая проходит красной нитью как в одном, так и в другом романе, позволяет говорить об их типологическом сходстве, общем следовании традициям авантюрного романа.

Еще одним элементом, который был характерен для авантюрного романа и присутствовал в обоих произведениях, можно назвать затрагивание табуированных, откровенных сцен. Это не было индивидуальным авторским стилем, здесь можно говорить о типологической традиции авантюрных произведений. Так, автор «Петербургских трущоб» описывает откровенные сцены, в частности, когда генеральша фон Шпильце заманивает к себе Юлию Бероеву, поит особым напитком, заставляющим Юлию отдаться князю Владимиру Шадурскому. Герои произведения В. В. Курицына также нередко оказываются в «пикантных» ситуациях:

Девушка, в порыве охватившего ее чувства, была прекрасна. Пеньюар ее сполз с плечи и обнажил молодую, трепетно поднимавшуюся грудь. Вся она была воплощением безумной страсти [Не-Крестовский, 1990, с. 36].

Таким образом, на уровне романного сюжета можно говорить о следовании и Вс. Крестовского, и В. Курицына традициям авантюрного романа; в этом отношении воздействие столичного автора на своего «сибирского последователя» проявилось в выборе жанра и «привязки» места действия к определенным, узнаваемым географическим объектам: Петербургу в первом случае и к Томску – во втором.

Нарративная стратегия: роман-фельетон

Романы Вс. Крестовского и В. Курицына, как и многие художественные произведения русской дореволюционной литературы, впервые увидели свет на страницах периодических изданий. Однако сходство романов заключалось не столько в способе их публикации, сколько в том, что они были задуманы как романы-фельетоны, использовали особенности периодической печати для выстраивания структуры и сюжетных ходов. Н. Т. Пахсарьян подчеркивает: «...чтобы роман стал “фельетоном”, недостаточно просто разделить повествование на фрагменты и отдать в печать, требуется определенная нарративная стратегия, создающая

определенный ритм повествования и ритм романной интриги» [Пахсарьян, 2004, с. 13].

Эта специфика была более заметна в романе «Томские трущобы», поскольку он печатался в газете, то есть органе периодики меньшего объема – но большей по сравнению с ежемесячным журналом периодичности. Однако она была характерна и для «Петербургских трущоб»: главы произведений были небольшого объема, они могли быть автономным рассказом внутри основного повествования, в то же время содержали развязку одной и завязку другой главы. Названия глав не столько объясняли содержание, сколько подогревали читательский интерес: «Томский Шерлок Холмс в опасности» [Не-Крестовский, 1990, с. 57], «Путь приближается к концу» [Там же, с. 191]; «Ближайшие последствия покражи» [Крестовский, 2017, с. 76], «Фабрика темных бумажек» [Там же, с. 625]. С этой же целью главы, как правило, обрывались «на самом интересном месте», заставляя ждать следующего номера газеты, чтобы узнать развязку напряженного момента, конфликтной ситуации. В. Курицын мастерски «подогревал» интерес читателя. Например, глава 22 «На волосок от гибели» заканчивалась так:

Около садовой решетки он остановился, пораженный одной догадкой.

– Черт побери! Как это ранее не пришло мне в голову?! [Не-Крестовский, 1908, № 198]

Соответственно предполагалось, что следующая глава начнется с объяснения этой неожиданной догадки романного персонажа.

Выбор формы романа-фельетона не был случайностью для обоих авторов: они рассчитывали на массовую аудиторию, которая в первую очередь заинтересовалась бы и авантурным сюжетом, и заявленными тайнами «трущоб». Массовый читатель благодаря литературе такого рода приобретал привычку к чтению периодической печати, становился не просто случайным – а постоянным потребителем информации, публикуемой в газетах и журналах. Для воспитания такого рода «привычки» именно роман-фельетон, с его постоянными отсылками к предыдущим событиям, с обещанием продолжений и разгадок тайн, подходил как нельзя лучше. В этом отношении и Вс. Крестовский, и Не-Крестовский также являлись подтверждениями наблюдений, сделанных в отношении зарубежного романа-фельетона: исследователи этого жанра утверждали, что «более популярного, более распространенного, более влиятельного в социальном отношении жанра в литературе не существует. Какой-нибудь романист-фельетонист, нынче забытый, имел в свое время в десять, в сто раз больше читателей, чем Флобер. Какой-нибудь усердный фельетонист читается в предместьях и местечках, в которые никогда не проникал Анатоль Франс» [Серж, 1927, с. 42].

«Документальность» в романах о «трущобах»

Одной из общих черт романов Крестовского и Не-Крестовского является сочетание вымысла с реальными жизненными фактами. В этом отношении сибирский автор прямо следовал примеру Вс. Крестовского, который явно выдуманную историю князей Чечевинских и Шадурских развернул на фоне реальной топографии и социально-бытовой жизни Санкт-Петербурга 60-х гг. XIX столетия. В романе «Петербургские трущобы» были описаны существующие петербургские улицы, дома, общественные заведения. Писателем раскрывались злободневные темы, волновавшие публику в те годы: рост революционного движения (арест по политическим мотивам Бероева); критика поклонения иностранцам (тема иезуита Вильмена); скептическое отношение к филантропии (рассказ о филантропках из высшего света); сатирическое обличение больничных порядков (глава «В больнице»), нравов и быта тюрьмы (четвертая часть «Заклученники»).

В. Курицын также описал положение дел в Томске, весьма близкое к действительности: в повествовании использовались реально существующие названия улиц – Магистратская и Обруб, Аптекарский переулок, Межениновка, заведений – гостиница «Европа», цирк, ипподром. Город Томск в конце XIX – начале XX в. был опасным местом, где постоянно грабили и убивали людей, подкидывали младенцев, устраивали поджоги и погромы: страницы томской дореволюционной периодики предоставляют любому желающему возможность самостоятельно убедиться в том, что томские будни были наполнены насилием и уголовщиной. Благодаря В. Курицыну читатели получали возможность заглянуть в этот закрытый «параллельный мир» криминала, с которым обыватели были постоянно вынуждены существовать бок о бок, практически не имея возможности от него защититься.

Кроме того, во второй части романа – «Человек в маске» – В. Курицын, окрепший, «набивший руку», вышел за пределы Томска, значительно расширив топос повествования. Его герои едут на Алтай, в Барнаул, Минусинск, Иркутск, затем в Москву и Санкт-Петербург. Из трущоб читатель перемещается в тайгу, знакомится со спецификой приисковой жизни, что добавляет произведению местного колорита. Автор нередко делает ремарки, задерживаясь на обрисовке социально-культурной обстановки Сибири:

Хлебопашеством усинцы занимались мало. Главным источником их доходов являлось пчеловодство и охота. Население состояло преимущественно из раскольников, ревностно сохраняющих устои старины. Раскольники и были, собственно, первыми насельниками этого глухого таежного уголка. Их топоры отвоевали у дремучей тайги место для заселья, проложили дороги.

Открытие золотых приисков в южной части Минусинского округа значительно подняло благосостояние села.

Но наряду с этим, близость приисков внесла деморализующее начало в патриархальный уклад сельской жизни.

Молодежь стала баловаться. Появились такие потребности и вкусы, о которых раньше в этой таежной глуши и не слыхивали [Не-Крестовский, 1909, № 171].

Своеобразным доказательством документальности произведений, свидетельством хорошего знакомства авторов с предметом изображения стало активное использование арго. Это было способом погружения в мир преступности, в жизнь трущобного мира, создания так называемого эффекта присутствия. Лингвистическая составляющая становится фактором доверия к тексту, к автору, к описываемым событиям, что было особенно необходимым вследствие неподготовленности читателя к сценам петербургских и томских трущоб.

Язык «Петербургских трущоб» неоднократно становился предметом исследования и критики. Так, Н. Н. Шарандина акцентирует внимание на том, что цель арго в «Петербургских трущобах» – дать речевую, профессиональную и социальную характеристики персонажей, выделяет арго профессий, каторжников, ссыльных, нищих, местное, мошенников, тюремное, арго сект [Шарандина, 2000, с. 231]. Г. В. Сафьянникова выделила 250 жаргонизмов, использованных Вс. Крестовским [Сафьянникова, 2017, с. 148].

Н. В. Серебренников, обращая внимание на резкие оценки сибирских областников романа Вс. Крестовского, предполагал, что «Потанина и Ядринцева, пробывших много лет в заключении, могла раздражать нарочитость уголовного сленга в “Петербургских трущобах”». Они также обратили внимание на то, что к слову «жиган» Крестовский дал ошибочное примечание: «сибирское прозвание каторжников». По мнению исследователя, именно эта деталь послужила основа-

нием для того, чтобы областники решили: Крестовский «погрешил в художественном отношении», «картина с гордым “дядей жиганом” оказалась лживою из-за неверно понятого слова» [Серебренников, 2003, с. 130].

Автор «Томских трущоб» также заботился о том, чтобы создать впечатление знатока арг. Как и Крестовский, в своем романе он расшифровывает значения употребляемых слов уголовного мира. Арготическая лексика «Томских трущоб» могла бы стать материалом для лингвистического анализа, так как отражает состояние периферийного жаргона, в частности приискового, не распространенного в европейской части страны:

Поясняем нашим читателям, незнакомым с приисковой терминологией, что «нижниками» называются рабочие, несущие самый тяжелый род труда – работу внизу шурфа, часто по колено в воде [Не-Крестовский, 1909, № 197].

Акцент на «документальности», свойственный обоим авторам, стал еще одним фактором, позволявшим читателям безошибочно уловить воздействие Вс. Крестовского на сибирского последователя. В. Курицын подчеркивал свое стремление вслед за столичным мэтром переместить героев в мир узнаваемых «трущоб», подчеркнуть «реальность» изображаемых событий использованием особой лексики.

«Социальный роман» против детектива

Все вышеперечисленные элементы подражательности, сознательно обозначенные В. Курицыным, при ближайшем рассмотрении оказывались лишь «приманками», которые служили для привлечения читательского внимания. Дальнейшее повествование и развитие сюжета свидетельствовали о том, что Курицын все дальше отходил от первоначальной концепции трущоб, выстраивал собственный романский мир, в котором были максимально усилены элементы уголовного и детективного романа и минимально проявлены черты романа социального.

Исследователи подчеркивают, что уже Вс. Крестовский, следуя традиции европейского авантюрного романа («Парижские тайны» Эжена Сю), определял свое произведение как «книгу о сытых и голодных». Тем самым он обозначил постановку социальных задач, вышел за рамки бульварного криминального романа. Вс. Крестовский, начиная с предисловия, берет на себя функцию морализаторскую, его цель – исследовать духовные искания и идейную борьбу униженного и оскорбленного человека. Автор обвиняет общество в том, что оно не развивает положительные стороны личности, качества характера, а подавляет их, извращая человеческую природу. Зачастую Вс. Крестовский несколько поэтизирует существование простого человека, утверждает его достоинство, его впечатляет добродетель падшей женщины, усердный труд бедняка, честность мелкого лавочника:

Это наше, это продукт нашего общества, эти отверженные женщины всецело принадлежат тебе, наше общество, и тебе же обязаны своим положением, возмущающим всяку душу живую! Так смотри же на них и поучайся, если можешь, но не клейми своим презрением, не клейми проклятием отвержения, потому что на это, по совести, ты не имеешь законного права [Крестовский, 2017, с. 820].

В. Курицын же на протяжении всех «Томских трущоб» не претендует на решение социальных задач. В его произведении акцент на авантюрном сюжете становится столь сильным, что затмевает идею социальной несправедливости и вытекающий из нее конфликт между личностью и обществом. В. Курицын погружает читателя на социальное «дно» и оставляет его наедине с информацией

для размышления: он не проговаривает прямо, но предлагает читателю самостоятельно сделать вывод о том, чем могут закончиться жажда легкой наживы, аферы и кутежи. Большинство его героев не пытается заработать честным трудом, а использует легкие и зачастую противозаконные пути заработка, затем получая возмездие за содеянное. Самый умный и ловкий его герой, Загорский (он же Человек в маске) – убит; Иван Кочеров, главный действующий персонаж первой части романа – приговорен к смертной казни; не избежали наказания и другие действующие лица романа:

Легкомысленному любителю приключений не удалось, однако, избежать законной кары. Он был задержан в Ново-Николаевске. Филька Кривой и Сергей были присуждены к каторге на разные сроки [Не-Крестовский, 1909, № 33].

Описав криминальный Томск в первой части произведения, В. Курицын усиливает и развивает детективную сторону романа во второй, где центральным становится процесс поиска и разоблачения преступника, дешифровка знаков и кодов: сыщик-любитель Залетный не верит в мистическое происхождение Человека в маске, пытается обличить таинственного главаря банды «Черная голова», постоянно подвергаясь опасности и получая конверты с изображением черепа. Преследование и опасность добавляют сюжету динамики и интриги, характерной для детектива:

Осторожно, не боясь уже быть замеченным в темноте наступающей ночи, Залетный вылез из бочки и пополз по направлению к флигелю. Два или три раза он останавливался, задерживая дыхание.

Душа его переживала тот сложный момент страха и безумного риска, который знаком только людям, становившимся лицом к лицу со смертельной опасностью [Не-Крестовский, 1908, № 179].

Герои нередко меняют внешний вид, выдают себя за других персонажей. Эффектным является визит фиктивного английского сэра Джонсона, которого изображает Артемий Залетный. Он же переодевается для преследования атамана – Человека в маске:

Залетный заперся в своей комнате и принялся совершать туалет, готовясь к новой экспедиции. Он надел парик, бороду, загримировал лицо, короче говоря, совершил полную метаморфозу своей внешности [Там же, № 203].

Вообще мистификация играет большую роль в «Томских трущобах», и главная линия здесь связана с Человеком в маске. Автор намеренно окружает его нераскрытыми тайнами: он появляется и исчезает внезапно, мотивы его поступков не раскрываются, а объяснение сокрытия маской лица дается, как правило, в форме сверхъестественных версий:

Потому, может... что обличие у него нелюдское... Вы, вот, смеетесь, а мне порой сдается, чертов он крестник, не иначе! [Не-Крестовский, 1909, № 106]

Подчеркнем, что детективная линия присутствует и у Вс. Крестовского, но в «Петербургских трущобах» она представляет собой скорее ряд разрозненных сюжетов, детали которых постепенно открываются читателю. Автор в данном случае сконцентрирован на решении социальных задач, детективный сюжет является второстепенным и служит прежде всего фоном для построения общей картины.

«Красота – мое богатство»: ценности «трущоб»

В сложном, многолинейном сюжете «Петербургских трущоб» постоянным мотивом является борьба героев, волей случая оказавшихся в проблемной ситуации, с социальной и экзистенциальной несправедливостью. Читатель, осведомленный о подоплеке происходящих событий, сопереживает героям положительным (Маша Поветина, Иван Вересов, Бероева и др.) и разделяет авторское возмущение поступками отрицательных персонажей. Красной нитью в романе проходит мысль о том, что главная ценность человеческой личности – нравственные устои, уверенность в собственной правоте, что помогает в самых сложных, трагических ситуациях.

В романе же Не-Крестовского положительных персонажей нет: ни одно действующее лицо «Томских трущоб» не вызывает особых симпатий. Крайне редко они поступают, руководствуясь добродетелью, принципами порядочности и честности, стремятся к справедливости. Исключительны проявление положительных качеств характера: пожалуй, во всем романе можно выделить только один эпизод, когда Сенька Козырь спасает деревенскую шестнадцатилетнюю девочку Олю, состоящую в публичном доме и подготовленную на насильное выданье за старика Берковича:

В душе беглого каторжанина, закоренелого преступника, смутно зашевелилось чувство сострадания. Так в остроге можно наблюдать сцену, когда арестант, хладнокровно отправлявший к праотцам не одного человека, всаживал нож в бок своему товарищу за изувеченного котенка, любимца камеры... [Не-Крестовский, 1909, № 106]

Герои Курицына, оказавшиеся перед нравственным выбором, идут по пути наименьшего сопротивления – и редко сожалеют об этом после. Единичны случаи, когда персонажи «Томских трущоб» размышляют о содеянном:

Теперь, когда было все кончено, он понял, как глупо и безрассудно они погубили человека. В уме выплывала пугающая мысль о неизбежной ответственности [Не-Крестовский, 1908, № 156].

Отдельного внимания заслуживает факт отсутствия убедительной любовной линии в «Томских трущобах». Это соответствует канонам не авантюрного, а детективного произведения: в романе не должно быть любовной линии, все силы в таком произведении направлены на то, чтобы отдать преступника в руки правосудия (подробнее см.: [Булычева, 2013, с. 35]). Все сюжеты, связанные с любовными увлечениями героев «Томских трущоб», быстро заканчиваются, причем в основном трагически: «этуаль» Екатерина Михайловна хочет отомстить Человеку в маске за убийство своего возлюбленного Александра Пройди-света, не подозревая, что это один и тот же человек, – и, убив главного злодея, сходит с ума; цыганка Зара, сообщница Человека в маске, любит Сеньку Козыря, но не соглашается с ним бежать, оправдываясь страшной тайной, связывающей ее с таинственным преступником, и т. д. В большинстве случаев отношения в романе носят «утилитарный», практический характер. Одна из центральных фигур, панна Ядвига, встречается с золотопромышленником ради капитала; она любит Загорского, но, повинаясь его требованиям, становится содержанкой богачей. В свою очередь Загорский ухаживает за Ниной, надеясь завладеть капиталом ее семьи. Любовь носит своеобразную форму:

...Проводив Сергея, девушка не могла уже больше спать. Несмотря на оригинальную форму их сожительства, допускавшую частые измены любовнику, она была привязана к нему всей душой.

– Смотри же, пиши мне с дороги, а то я буду очень скучать [Не-Крестовский, 1909, № 33].

Вообще ценности героев сводятся в основном к деньгам. «Капитал – сила», – говорит золотопромышленник Бесшумных, потирая руки. «Красота – мое богатство», – подчеркивает панна Ядвига, внешность которой является приманкой для зажиточных игроков в игорном доме Загорского.

В романном пространстве «Петербургских трущоб» автор активно отстаивает главные человеческие ценности своих героев, он детально разбирается во внутреннем мире персонажей, обстоятельствах, приведших к той или иной жизни, поступку. Произведение наполнено подробным ремарками автора о героях с несколько морализаторской интонацией. Неудивителен тот факт, что в романе «о сытых и голодных» зачастую первые – обеспеченные представители светского общества (Шадурские, баронесса фон Шпильце, Морденко) – оказываются отрицательными персонажами. Описывая мошенников, падших женщин и воров, автор говорит словно в оправдательном тоне, осуждая несправедливое, эгоистичное и равнодушное общество. Все светлое и человеческое связано с народом, темное и жестокое – с верхушкой общества. Это соответствует романным традициям мировой литературы («Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Парижские тайны» Э. Сю и др.).

В свою очередь, В. Курицын, беря на себя функцию провожатого в криминальный мир, не делает морально-нравственных ремарок, касающихся преступления и наказания. Его присутствие в тексте заметно только тогда, когда он от третьего лица кратко напоминает читателю о контексте той или иной событийной линии, характере персонажа. Например: «Напоминаем нашим читателям, каким путем сыщик пришел к окончательному выводу» [Не-Крестовский, 1908, № 190]; «В предыдущих главах романа нами были описаны два аналогичные по обстановке случая смерти от неизвестных причин. В обоих случаях жертвами являлись молодые девушки» [Не-Крестовский, 1909, № 14].

Можно констатировать, что в ценностном аспекте В. Курицын даже в первой части своего романа, наиболее близко соотносящейся с «Петербургскими трущобами», не шел вслед за своим предшественником. Его «трущобы» – мир наживы, бездуховный, беспринципный, жестокий мир преступников, готовых в любой момент предать друг друга ради денег. Наказания за проступки персонажей воспринимаются читателями как неизбежные и справедливые; единичные проявления доброты, сопереживания, любви заканчиваются в романе трагически.

Выводы

Таким образом, сопоставительный анализ романов Вс. Крестовского и Не-Крестовского позволяет сделать следующие выводы.

«Томские трущобы» и «Петербургские трущобы» имеют общие черты, обусловленные типологическим сходством и использованием авантюрного сюжета (традиция авантюрного романа), способом публикации (определившей форму романа-фельетона), опорой на местный материал, использованием авторами жаргонной лексики. Сибирский автор явно подражал своему предшественнику, выбирая для своего романа определенный жанр, авторский псевдоним и собственно название, связанное с «трущобами». В. Курицын перенес в первую часть «Томских трущоб» существующие в романе-предшественнике элементы художественной системы (сюжетная схема, характеристики героев и др.), поместив их в новый контекст.

Однако уже на уровне жанрового определения В. Курицын заявил об отходе от традиции «Петербургских трущоб»: это не остросоциальный исторический роман, не «роман о сытых и голодных», а уголовный роман-хроника с элементами

детектива. И это различие все больше смещается в сторону детектива и даже приключенческого романа (сюжет о поисках Золотого Ключа, схватка разбойников с казаками и т. д.). Влияние «литературного образца» становится минимальным, оно «растворяется» в новом сюжете, становится только одним из многочисленных влияний других авторов. Во второй, а особенно в третьей части романа явственно прослеживается стивенсовская традиция (курицыновский «клуб обреченным Ваалу» вызывает прямые ассоциации с «Клубом самоубийц» Стивенсона); несомненно, знакомство Курицына с творчеством Конан Дойла обусловило появление в романе «томского Шерлока Холмса» и т. д.

Таким образом, в отношении романа Курицына можно говорить скорее о процессах рецептивного освоения романских достижений общероссийской и мировой литературы в провинции, чем об обычном подражании сибирского автора столичному. Использование модели «Петербургских трущоб» дало Курицыну возможность первоначального освоения местного материала, вовлечения читателя в «литературную игру», – чтобы затем, оттолкнувшись от «трущобного» сюжета, выйти на новый уровень художественной рецепции, выстроить повествование, в котором органично сочетались элементы детектива, приключенческого и авантюрного романов. Конечно, это привело к обеднению социальной стороны произведения, к отказу от утверждения нравственных ценностей, – что частично компенсировалось повышением авантюрной динамики романа.

Первоначальная исследовательская гипотеза, таким образом, подтвердилась. Действительно, на первом этапе В. Курицын сознательно акцентировал в своем произведении традицию, заложенную Вс. Крестовским, который, в свою очередь, ориентировался на европейскую концепцию «романа о тайнах». Однако первоначальная концепция была изменена, и продолжение романа В. Курицына означало отход как от «социального романа», так и от воздействия столичного автора. Именно поэтому мы можем говорить в отношении исследуемых романов о такой более сложной форме художественного взаимодействия, как рецепция.

Список литературы

- Аверкиев Д. В.* Всякому по плечу // Эпоха. 1865. № 2.
- Анисимов К. В.* Круг идей и эволюция сибирской прозы начала XX века: Дис. ... канд. филол. наук. Томск: ТГУ, 1998. 178 с.
- Борев Ю. Б.* Эстетика. М.: Политиздат, 1981. 399 с.
- Булычева В. П.* Структурно-композиционные особенности детективного жанра // Актуальные вопросы филологических наук: Материалы II Междунар. науч. конф., Чита, июль 2013 г. Чита: Молодой ученый, 2013. С. 32–38. URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/80/4068/> (дата обращения 17.10.2018).
- Голова К. В.* Рецепция творчества Э. Т. А. Гофмана в русской литературе первой трети XIX века: Дис. ... канд. филол. наук. Магнитогорск, 2006. 199 с.
- Гун Г. Е.* Процессы взаимодействия в художественной культуре // Вестн. Магнитогор. гос. тех. ун-та. 2011. № 3. С. 103–105.
- Зенкин С. Н.* Мечты и мифы Э. Сю // Сю Э. Парижские тайны. Т. 1. М., 1989. С. 9–10.
- Константинова Н. В.* «Гоголевский текст» в ранних произведениях Ф. М. Достоевского: Дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2006. 230 с.
- Крестовский В. В.* Петербургские трущобы. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-Книга, 2017. 1213 с. (Полное издание в одном томе).
- Матвеев И. А.* Восприятие английского социально-криминального романа в русской литературе 1830–1900-х годов: Дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2014. 281 с.

Не-Крестовский В. Томские трущобы // Сибирские отголоски. 1908. № 156. С. 2; № 179. С. 2; № 190. С. 2; № 198. С. 2; № 203. С. 2; 1909. № 14. С. 2; № 33. С. 2; № 106. С. 2; № 171. С. 2; № 197. С. 2.

Не-Крестовский [В. Курицын]. Томские трущобы. Томск: Красное знамя, 1990. 215 с.

Пахсарьян Н. Т. Читатель и писатель во французском романе-фельетоне XIX века // Филология в системе современного университетского образования: Материалы межвуз. науч. конф., 22–23 июня 2004 г. М., 2004. Вып. 7. С. 12–17.

Рощина О. С., Фарафонова О. А. Пушкинский текст в лирике А. А. Фета // Текст и тексты: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. Т. И. Печерской. Новосибирск, 2010. С. 74–87.

Сафьянникова Г. В. Фразеологические выражения в романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 6(72). С. 147–149.

Серебренников Н. В. Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и Вс. В. Крестовский // Вестн. Том. гос. ун-та. 2003. № 277. С. 129–132.

Серж В. Современный французский фельетон // Фельетон: Сб. ст. / Под ред. Ю. Тынянова, Б. Казанского. Л.: Academia, 1927. 42 с.

Феокистова В. М. Иноязычные заимствования в русском литературном языке 70–90-х годов XX века: Дис. ... канд. филол. наук. Тверь, 1999. 227 с.

Шарандина Н. Н. Арготическая лексика в функциональном аспекте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2000.

M. V. Nisova

*Tomsk State University
Tomsk, Russian Federation, newspaper_2401@mail.ru*

“Slums” of St. Petersburg and Tomsk: from imitation to artistic reception

Modern literary criticism is actively studying the types of artistic interaction: repulsion, borrowing, influence, imitation, parody, and others. The paper examines these phenomena in the works of Vs. Krestovsky “The Slums of St. Petersburg” (published for the first time in the journal “Otechestvennye zapiski” (1864–1866)) and V. Kuritsyn “The Slums of Tomsk” (published in the newspaper “Sibirskiye otgoloski” (1905–1907)). Considering Kuritsyn’s novel, one can find the processes of receptive mastering of new achievements of all-Russian and world literature rather than the usual imitation of the capital city writer’s style by the Siberian author. Using “The Slums of St. Petersburg” as a model, Kuritsyn could master the local material at first and involve the reader to the “literary game” so that to reach later a new level of artistic reception and compose a narrative combining the elements of a detective and adventure novel. It resulted in the impoverishment of the social aspect of the work and rejection of the moral value establishment, partially compensated by an increase in the adventurous dynamics of the novel. Thus, the original research hypothesis was confirmed. At first, V. Kuritsyn consciously emphasized in his work the tradition of Vs. Krestovsky, who was guided by the European concept of a “mystery novel.” However, the original concept was changed, and the novel revealed a departure from both the “social novel” and the influence of Vs. Krestovsky. That is why we can consider a more complex form of artistic interaction, such as a reception, in the novels under study.

Keywords: V. Kuritsyn, Vs. Krestovsky, artistic interaction, adventurous romance.

DOI 10.17223/18137083/67/8

References

- Anisimov K. V. *Krug idey i evolyutsiya sibirskoy prozy nachala XX veka* [Circle of ideas and the evolution of Siberian prose beginning of the 20th century]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Tomsk, TSU, 1998, 178 p.
- Averkiyev D. V. Vsyakomu po plechu [Everybody can do it]. *Epokha*. 1865, no. 2.
- Borev Yu. B. *Estetika* [Aesthetics]. Moscow, Politizdat, 1981, 399 p.
- Bulycheva V. P. Strukturno-kompozitsionnyye osobennosti detektivnogo zhanra [Structural and compositional features of a detective genre]. In: *Aktual'nyye voprosy filologicheskikh nauk: Materialy II Mezhdunar. nauch. konf., Chita, iyul' 2013 g.* [Actual problems of philological sciences: Proc. of the 2nd intern. scientific conf., Chita, July 2013]. Chita, Molodoy uchenyy, 2013, pp. 32–38. URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/80/4068/> (accessed 17.10.2018).
- Feoklistova V. M. *Inoyazychnyye zaimstvovaniya v russkom literaturnom yazyke 70–90-kh godov XX veka* [Foreign borrowings in the Russian literary language of 70–90-ies of the XX century]. Cand. philol. sci. diss., Tver', 1999, 227 p.
- Golova K. V. *Retseptsiya tvorchestva E. T. A. Gofmana v russkoy literature pervoy trety XIX veka* [Reception of E. T. A. Hoffmann in Russian literature of the first third of the 19th century]. Cand. philol. sci. diss., Magnitogorsk, 2006, 199 p.
- Gun G. E. Protsepy vzaimodeystviya v khudozhestvennoy kul'ture [The processes of interaction in the artistic culture]. *Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical Univ.* 2011, no. 3, pp. 103–105.
- Konstantinova N. V. *“Gogolevskiy tekst” v rannikh proizvedeniyakh F. M. Dostoyevskogo* [“Gogol text” in the early works of F. M. Dostoevsky]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 2006, 230 p.
- Krestovskiy V. V. *Peterburgskiy trushchoby. Polnoye izdaniye v odnom tome* [Petersburg slums. Full edition in one volume]. Moscow, Al'fa-Kniga, 2017, 1213 p.
- Matveenko I. A. *Vospriyatie angliyskogo sotsial'no-kriminal'nogo romana v russkoy literature 1830–1900-kh godov* [The perception of the English social crime novel in Russian literature of the 1830–1900s]. Dr. philol. sci. diss. Tomsk, 2014, 281 p.
- Ne-Krestovskiy V. Tomskiy trushchoby [Tomsk slums]. *Sibirskiy otgoloski*. 1908, no. 156, p. 2; no. 179, p. 2; no. 190, p. 2; no. 198, p. 2; no. 203, p. 2; 1909, no. 14, p. 2; no. 33, p. 2; no. 106, p. 2; no. 171, p. 2; no. 197, p. 2.
- Ne-Krestovskiy (V. Kuritsyn). *Tomskiy trushchoby* [Tomsk slums]. Tomsk, Krasnoye znamya, 1990, 215 p.
- Pakhsar'yan N. T. Chitatel' i pisatel' vo frantsuzskom romane-fel'yeton XIX veka [Reader and writer in the 19th-century feuilleton French novel]. In: *Filologiya v sisteme sovremennogo universitetskogo obrazovaniya: Materialy mezhvuz. nauch. konf., 22–23 iyunya 2004 g.* [Philology in the system of modern university education: Materials intercollege. scientific Conf., June 22–23, 2004]. Moscow, 2004, iss. 7, pp. 12–17.
- Roshchina O. S., Farafonova O. A. Pushkinskiy tekst v lirike A. A. Feta [Pushkin text in the lyrics of A.A. Feta]. In: *Tekst i teksty: Mezhvuz. sb. nauch. tr.* [Texts and Texts: Interuniversity Collection of Scientific Works]. T. I. Pecherskaya (Ed.). Novosibirsk, 2010, pp. 74–87.
- Saf'yannikova G. V. Frazheologicheskiye vyrazheniya v romane V. V. Krestovskogo “Peterburgskiy trushchoby” [Phraseological expressions in the novel by V. V. Krestovsky “Petersburg Slums”]. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2017, no. 6(72), pp. 147–149.
- Serebrennikov N. V. G. N. Potanin, N. M. Yadrintsev i Vs. V. Krestovskiy [G. N. Potanin, N. M. Yadrintsev and Vs. V. Krestovsky]. *Tomsk State Univ. Journal*. 2003, no. 277, pp. 129–132.
- Serzh V. Sovremennyy frantsuzskiy fel'yeton [Modern French feuilleton]. In: *Fel'yeton: Sb. st.* [Feuilleton: coll. of art.]. Yu. Tynyanov, B. Kazanskiy (Eds). Leningrad, Academia, 1927, p. 42.
- Sharandina N. N. *Argoticheskaya leksika v funktsional'nom aspekte* [The argotic vocabulary in a functional aspect]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Tambov, 2000.
- Zenkin S. N. Mechty i mify E. Syu [Dreams and Myths of E. Sue]. In: Syu E. *Parizhskiy tayny. T. I* [Mysteries of Paris. Vol. 1]. Moscow, 1989, pp. 9–10.

УДК 821.162
DOI 10.17223/18137083/67/9

Д. Чавдарова

Университет «Епископ Константин Преславски», Шумен, Болгария

**Номо legends в романе Ивана Вазова «Под игом»:
болгарский студент из России
между Базаровым, Раскольниковым и Вертером**

Рассматривается образ читающего героя (homo legends) в романе классика болгарской литературы Ивана Вазова «Под игом». Наблюдения над цитированием идей русских нигилистов героем Кандовым (приехавшим из России в родной город студентом) и над самоидентификацией этого героя с Раскольниковым и Вертером раскрывают видение автора о чуждости идей социализма и нигилизма, а также о чуждости определенных литературных моделей болгарскому обществу и болгарской ментальности. Интерпретация Вазова приводит также к выводу о созвучии его идей европейским идеям о библиотеке как лабиринте, о чтении как хаосе и сумбуре мышления.

Ключевые слова: Вазов, болгарская литература, homo legends, идентификация, чтение, Базаров, Раскольников, Вертер.

Историки и литературоведы, исследователи болгаро-русских культурных связей, указывают на роль болгарских интеллигентов, выпускников русских университетов в XIX столетии, в развитии болгарской культуры. М. Смолянинова упоминает число этих выпускников – около семисот – и подчеркивает их вклад в дело просвещения народа и освобождения Болгарии [Смолянинова, 2017]. Широкоую картину роли русских университетов в обучении болгарской интеллигенции создает болгарский историк и культуролог Н. Генчев [1991].

В этом контексте выделяется образ приехавшего из России студента Кандова в романе Ивана Вазова «Под игом» (1888), в котором представлен особый взгляд на этот социокультурный тип. Сущность Кандова и его место в болгарской действительности накануне Апрельского восстания 1876 г. писатель раскрывает изображением чтения этого героя и его идентификации с литературными персонажа-

Чавдарова Дечка Дечева – доктор филологических наук, профессор университета «Епископ Константин Преславски», Шумен, Болгария (ул. Университетска, 115, Шумен, 9700, Болгария; d.tchavdarova@gmail.com)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Д. Д. Чавдарова, 2019

ми – другими словами, созданием особого типа homo legens¹. По мнению теоретика литературы Н. Георгиева, в романе Вазова изображен первый ярко выраженный homo legens в болгарской литературе [Георгиев, 2006, с. 258]. Спецификой своего восприятия действительности через литературу Кандов отличается от других героев романа, которые тоже изображены как читатели разных книг².

Первое знакомство читателя с Кандовым создает противоречивое представление о нем. Портрет его в речи повествователя является знаком романтической природы, обособляющей этого героя в среде болгарской интеллигенции (изображение чтения персонажа в следующих фрагментах текста раскроет литературный источник его мировосприятия):

Високият ален фес зле хармонираше с мургавото му бледно лице, покрито с някаква тъга и съсредоточеност, с някаква меланхолия, която се отразяваше в мечтателния му поглед. Познаваше се, че тоз момък криеше в душата си някаква мисъл и мъка, която не можеше да победи, нито да сподели с другите (Вазов, 1977б, с. 213);

Высокий красный фес не шел к его смуглому лицу, сосредоточенному, отмеченному печатью какой-то тоски, омрачавшей его мечтательный взгляд. Этот юноша, очевидно, таил в душе какие-то неотвязные думы и неизбывные горести, которыми не мог делиться с другими людьми (Вазов, 1977а, с. 242³).

Странность Кандова, его чуждость болгарской среде раскрывается и комментарием его идей в речи персонажей:

– Що за птица е негова милост? <...>. – Кандов, русски студент. – Знам, но що за човек е? – Философ, дипломат, социалист, нихилист... и дявол знае още какво... С една реч, болен е тука... И Соколов тури пръст на челото си (Вазов, 1977б, с. 212);

– *Что он за птица, этот господин?* – Кандов, студент одного русского университета. – *Это я знаю, но что он за человек?* – Философ, дипломат, социалист, нигилист... и черт знает что еще... Одним словом, у него тут не в порядке... И Соколов положил палец ко лбу (Вазов, 1977а, с. 241⁴).

Это представление выражено также в диалоге Кандова с другими интеллигентами города Бяла Черква⁵. Он провозглашает идеи социальной справедливости, позаимствованные из французских и русских книг, причем, как тургеневский Базаров, навязывает своим собеседникам, болгарским патриотам, «правильные», «нужные» книги:

Четете господа, Герцена, Бакунина и Ласалья... Оставете се от тоя узко-животински патриотизъм и дигнете знамето на съвременното разумно човечество и на трезвата наука... Тогава аз съм с вас... (Вазов, 1977б, с. 82);

¹ Эту проблему на материале русской литературы XIX в. мы рассматриваем в книге: Homo legens в русской литературе XIX века. Шумен: Аксиос, 1997.

² Цв. Раковски, который извлекает из текста романа представление о читательском горизонте героев, упоминает Святое Писание, народные песни, революционную поэзию, Мартина Задеку, Фенелона, Вольтера, Раковского, Блыскова, Хомякова, Державина, «Многострадальную Геновеву» (под таким заглавием в Болгарии в XIX в. в любительском театре ставили драматизацию новеллы Йохана Кристофа фон Шмида «Геновева», переведенную с сербского языка) [Раковски, 2001].

³ Пер. М. Клягиной-Кондратьевой и В. Володина.

⁴ Пер. М. Клягиной-Кондратьевой и В. Володина.

⁵ Бяла черква – старое название родного города Вазова Сопот, калька турецкого названия Акче клисе.

Читайте, господа, Герцена, Бакунина, Лассаля... Откажитесь от этого узкого обывательского патриотизма и поднимите знамя современного разумного человечества и трезвой науки... Тогда я буду с вами (Вазов, 1977а, с. 96⁶).

Интересно, что при попытке предъявить туркам свои претензии об ограничении его человеческих прав и нарушении законности Кандов сталкивается с невозможностью перевода (болгарин, к которому Кандов обращается с просьбой перевести его возражения против произвола турецкой власти, отвечает: «Таких слов на турецком нет»)⁷. Это одно из проявлений «разноязычия» изображенного мира в романе Вазова, на которое обращает внимание С. Ангелова-Дамянова [Ангелова-Дамянова, 2004]. Болгарские оппоненты Кандова понимают, о чем идет речь, но не принимают его идей. Один из героев, Недкович, обращается к Кандову со словами:

Но слушайте, господин Кандов, ваши начала и аз ги уважавам, но няма работа тука. Нам трябва преди всичко политическа свобода, сиречь сами да бъдем стопани на земята и съдбините си (Вазов, 1977б, с. 82);

Позвольте, господин Кандов, – возразил ему Недкович, – ваши взгляды уважаю и я, но здесь они неприминимы. Нам прежде всего нужна политическая свобода, иначе говоря, мы сначала должны стать хозяевами своей земли и своей судьбы (Вазов, 1977а, с. 95–96).

Реплика главного героя романа – учителя и революционера Огнянова – доразвивает мысль о беспочвенности книжных идей Кандова:

Идеите, които вие изразихте... доказват вашата начетеност само, но дяволски красноречиво говорят за незнанието ви на българския въпрос. Под такова едно знаме само вие един ще се намерите. Народът няма да го разбере (Вазов, 1977б, с. 82);

Высказанные вами взгляды, – горячо возразил Огнянов, – говорят лишь о вашей начитанности, но они же весьма красноречиво свидетельствуют о том, что вы не понимаете болгарского вопроса! Под вашим знаменем окажется только вы один: народ вас не поймет (Вазов, 1977а, с. 96⁸).

Таким образом Вазов до основоположника социализма в Болгарии Димитра Благоева ставит вопрос «Что это социализм и имеет ли он у нас почву?» [Благоев, 1981]. Чтение персонажа Вазова создает представление о том интеллектуальном «багаже», который привозили болгарские студенты из России, – это прежде всего идеи революционеров демократов, нигилистов и анархистов. В сознании Кандова книги, содержащие подобные идеи, функционируют как «учительницы жизни»⁹. К идеям нигилизма в читательской памяти Кандова Вазов отсылает снова через роман Тургенева «Отцы и дети», но уже на уровне дискурса нигилизма. Кандова связывает с Базаровым язык вульгарного материализма в трактовке темы любви – чтобы победить в себе любовь к Раде, любимой главного героя Огнянова, Кандов успокаивает себя следующими рассуждениями:

⁶ Пер. М. Клягиной-Кондратьевой и В. Володина.

⁷ Н. Георгиев оценивает эту точку зрения Вазова как содержащую отрицательный стереотип турка (который, следовательно, не совсем соответствует реальности) [Георгиев, 2018].

⁸ Пер. М. Клягиной-Кондратьевой и В. Володина.

⁹ Г. Димитров вспоминает, что образцом житейского поведения для него был роман Чернышевского «Что делать?».

Какво е тя?.. Един скелет, облечен с мръсно, сурово месо... Едно безконечно купиче от кокали, мръвки, кръв, жили, влакна, нерви, съдове, жлези, тъкани, хрущали... (Вазов, 1977б, с. 306);

Что она такое? Скелет, обложенный противным сырым мясом... Большая куча костей, мускулов, крови, жил, волокон, нервов, сосудов, желез, тканей, суставов... (Вазов, 1977а, с. 348–349¹⁰)

Ети идеи вулгарного материализма вхоят в противоречие с романтической натурой героя, закодированной в его портрете.

Изображая круг чтения героя, Вазов «вкладывает» в «багаж» из книг, приведенный им из России, и русский текст другого типа, близкого к славянофильским идеям – стихотворение «Москва, Москва!» В. Соллогуба (болгарские литературоведы не раскрывают источника данной цитаты):

Ах, Москва, Москва, Москва!
Золотая голова!
Ах, Москва, Москва, Москва!
Золотая голова,
Белокаменная...
(Вазов, 1977б, с. 295)

Ето смешение текстов и идей свидетельствует о несформировавшемся характере героя, о хаотичности его чтения. Обращение Кандова к стихотворению о Москве мотивировано желанием бегства от неразделенной любви в другой край, далеко от возлюбленной. Ето бегство сродни романтическому, но в данном случае значима замена желанного пространства: вместо Ориента или Юга¹¹ – Север. На семантическом уровне в чтении стихотворения о Москве на русском языке закодирована и идентификация героя с русским, осмысление русской любви к России как «своей», что также подсказывает его чуждость болгарской среде:

Вдали тебя я обездолен,
Москва, родимая моя,
где блещет в лесу колоколен
Величье русского края! Ах, Москва...
(Вазов, 1977б, с. 296; выделено нами. – Д. Ч.)

Для раскрытия сущности Кандова – его «литературности» – значимо, что бегство не реализуется в сюжете и герой уезжает вместо Москвы в городок Клисуру, за своей возлюбленной.

Особой функцией наделено чтение Кандовым романа Достоевского «Преступление и наказание». Вазов приписывает своему герою идентификацию с Раскольниковым (в то время как идентификация с героем Тургенева не присутствует в сознании Кандова). Образ Раскольникова всплывает в памяти Кандова в связи с его замыслом убить предателя Стефчова (загоревшись патриотической идеей):

Кандов си спомни за Разколникова: и геройт на Достоевски също бе замислил убийството на лихварката за благо на човечеството, и той беше тъй симпатичен и трогателен! <...> Разколников му се изпречваше като един светъл и ободрителен образец, като идеал. Той даже прегърна и начина на Разколникова, по който бе убита бабичката: щеше да приише извътре

¹⁰ Пер. М. Клягиной-Кондратьевой, В. Володина и М. Слонима.

¹¹ В отличие от Кандова, реальный болгарский интеллигент Константин Миладинов – фольклорист и поэт, – который был студентом в Москве, пишет стихотворение «Тъга за Юг» («Тоска по Югу»).

на дългото си палто, под мишницата, една връв, така щото да може да провеси брадвата за желязото ѝ (Вазов, 1977б, с. 294).

Кандов вспомнил о Раскольникове. Герой Достоевского тоже задумал убить ростовицу на благо человечеству, и какое это вызывало сочувствие, как это волновало душу! <...> Раскольников казался ему светлым, вдохновляющим примером для подражания, идеалом. Юноша даже решил убить Стефчова тем способом, каким Раскольников убил старуху: он пришьет веревку одним концом к подкладке своего пальто, под мышкой, и к ней привяжет топор... (Вазов, 1977а, с. 335¹²)

Как видно, даже сменив свой идейный выбор, Кандов остается во власти идей нигилизма. По мнению одного из исследователей, герой Вазова рассуждает при помощи категорий Раскольникова – «ничтожество», «жалкое существо» (см.: [Стаматов, 2003, с. 43], хотя, как уже было сказано, эти категории из дискурса Базарова о любви. Таким образом, в образе героя болгарский патриот сочетается с Базаровым и Раскольниковым. М. Наг, открывающий тургеневское в романе Вазова, приходит к выводу, что этот роман – анти-«Преступление и наказание» [Наг, 1970]. Для нас важнее вопросы: реализуется ли какая-нибудь из литературных моделей в житейской практике героя? окажется ли Кандов Инсаровым (примкнув к патриотам), Базаровым (в своем отношении к любви) или Раскольниковым (восприняв идею об убийстве подлого человека)?

Описание внутреннего монолога Кандова содержит представление о реализации адмиративной идентификации, при которой отождествление с литературным героем повышает в сознании субъекта идентификации его собственный статус, принятую им житейскую роль. Х. Р. Яусс употребляет этот термин (*admiring identification*) в своем исследовании идентификации реального читателя с литературным героем [Jauss, 1982]. Идентификация персонажа литературного произведения с героем другого литературного произведения семиотически сложнее, поскольку она переломляется через сознание третьего субъекта – автора текста Б, отсылающего к тексту А. Важно отметить, что самоидентификация Кандова с Раскольниковым является межтекстовой связью, которая не охватывает ни целого текста романа, ни целостной структуры характера, – герой Вазова слишком далек от философских идей, чьим носителем является герой Достоевского. Изображая идентификацию такого типа, Вазов осмысливает как чуждые болгарскому характеру не только упомянутые идеи, но и данный тип восприятия жизни сквозь призму литературы. Литературностью своего поведения Кандов противопоставлен другим героям, умирающим за свободу Болгарии, чей жест органичен, нелитературен (несмотря на роль болгарской революционной поэзии в их житейской практике). В речи повествователя, оценивающей жест Кандова, подсказана непрактичность героя, литературность его мышления:

За щастие или за нещастие това се отложи и Кандовият план рухна като една кула от картони (Вазов, 1977б, с. 294);

К счастью или к несчастью, казнь предателя была отложена и план Кандова рухнул, как картонный домик (Вазов, 1977а, с. 335¹³).

Чуждость Кандова болгарской действительности раскрыта и интерпретацией его неразделенной любви к Раде через отсылку к «Страданиям молодого Вертера» Гете. Кандов идентифицирует себя также с Вертером, а наложение двух идентификаций – с Раскольниковым и Вертером – дополняет представление о несложившемся характере, о следовании за разными литературными образцами и различными идеями в поисках собственной идентичности:

¹² Пер. Я. Слонима.

¹³ Пер. Я. Слонима.

Болен си, болен си, Кандов! Болен си, братко мой, търси си лек на главата, бай¹⁴ Вертере (Вазов, 1977б, с. 308);

Ты болен, Кандов, болен! – безнадежно пробормотал он. – Да, ты болен, братец, и надо тебе полечиться, мой милый Вертер! (Вазов, 1977а, с. 350¹⁵)

Симптоматично, что внутренний монолог героя содержит и дистанцирующую от литературной модели самоиронию, а двуязычное обращение «бай Вертере»¹⁶ выдает и иронию автора, сталкивающую Европу с Ориентом. «Больной» любовью герой идет к доктору Соколову за советом, представляя свою проблему как проблему героя задуманного им произведения. По этому поводу И. Пелева пишет: «...то, что Кандов врет о своем намерении стать писателем не так важно; важнее что приходит ему в голову соврать» [Пелева, 1994, с. 157]. Продолжим: еще важнее в какую языковую форму герой облекает свою выдумку. Передача содержания якобы планируемого романа раскрывает близость Кандова к сентименталистской/романтической литературной модели:

Главният герой е твърде влюбен, лудешки, безумно, безнадежно в една личност, която се обича с другиги; а тая страст ще го доведе до самоубийство... (Вазов, 1977б, с. 309);

Главный герой влюблен, страстно, безумно, до самозабвения и притом безнадежно влюблен в одну особу, которая любит другого; и эта страсть может довести его до самоубийства... (Вазов, 1977а, с. 352¹⁷)

В данном случае Вазов использует прием так называемой структурной, или quasi цитаты, по терминологии польского теоретика Д. Данек дискурсом вульгарного материализма в речи героя является еще одним знаком сумбура [Danek, 1972]. Парадоксальное сочетание сентименталистского дискурса с его мышлением (Кандову присущи и жесты романтического героя, также отличающие его от тургеневского Базарова – вызов Огнянова на дуэль¹⁸, которая не осуществляется из-за вести о начавшемся восстании).

В диалоге между Кандовым и доктором идентификация «больного» с Вертером Гете приписана также доктору, что говорит о присутствии этого произведения в круге чтения и этого персонажа:

– Има една немска повест, която бях чел някога във Вена – каза докторът, като се почеса над ухото, за да си науми; там се разправя за подобна една любов. – Гьотевиет Вертер? – попита живо студентът (Вазов, 1977б, с. 309);

– *Есть одна немецкая повесть... я ее читал когда-то в Вене, – сказал доктор, почесывая за ухом и стараясь что-то вспомнить, – там описана любовь такого рода... – Гетевский «Вертер»? – с живостью спросил студент* (Вазов, 1977а, с. 352¹⁹).

Реплика доктора не только раскрывает источник цитаты, но и подсказывает, что произведение Гете еще не вошло в болгарскую культуру, не нашло своего перевода как в буквальном, так и в переносном смысле понятия (первый перевод

¹⁴ Бай (тур.) – уважительное обращение к мужчине.

¹⁵ Пер. Я. Слонима.

¹⁶ В переводе разноязычие потеряно: вместо «бай Вертере» употреблено выражение «мой милый Вертер».

¹⁷ Пер. Я. Слонима.

¹⁸ Вспомним, что Базаров относится иронически к дуэли, хотя он вынужден принять вызов Павла Петровича.

¹⁹ Пер. Я. Слонима.

появляется в Болгарии в 1882 г.²⁰). В последовавшем диалоге доктор подчеркивает чуждость данного литературного феномена (и вертеризма, завладевшего Европой) болгарской ментальности и, таким образом, утверждает определенный автостереотип болгарина:

– От каква народност е героят ви?

– Българин.

– Българин? Че българите май не страдат от карасевда. Техните сърца са обвити с биволска кожа. Вие знаете що е карасевда? *Amour désespéré*!

– Да, отчаяна любов.

– Обаче аз не знам някой българин да е умрял от голяма любов... Един момък се обеси по-преди, но то беше, че фалира евреинът, та загуби (Вазов, 1977б, с. 310);

– *Какой национальности ваш герой?*

– Българин.

– *Българин? Странно. Болгары не страдают присухой. Их сердца покрыты буйволовой кожей... Вы знаете, что такое «присуха»? Amour désespéré.*

– *Да, безнадежная любовь, – глухо пробормотал студент.*

– *Мне, однако, не приходилось слышать, чтобы какой-нибудь болгарин умер от непомерной любви... Один парень, правда, повесился на днях, но лишь потому, что из-за банкротства одного еврея он потерял* (Вазов, 1977а, с. 352²¹).

Исследовательница меланхолии в болгарской литературе 40–50-х гг. XIX в. указывает на примеры из болгарской действительности, которые могли бы опровергнуть подобное мнение, так как подчеркивает, что «эти конкретные случаи не инспирированы литературными моделями» [Алексиева, 2005]. В упомянутый период явление «вертеризм», охватившее всю Европу, в Болгарии оказалось бы невозможным по объективным причинам. Важнее, однако, то, что Вазов подсказывает чуждость этого явления болгарской ментальности, даже при условии чтения романа Гете. (В своем рассказе «Балканские Ромео и Юлия» Вазов выражает ту же точку зрения на невозможность самоубийства от любви в болгарской среде, которую приписывает своему герою Соколову.) Само восприятие романа Гете со стороны доктора, воплощенное в комментариях повествователя и в речи героя, говорит о том, что произведение не оказало на него того воздействия, какое оказало на европейскую публику: Вазовский доктор не только не склонен идентифицировать себя с героем Гете, но даже пытается вспомнить в каком именно произведении герой кончает с собой из-за любви. Интересно многоязычие в назывании «отчаянной любви» (на турецком²², французском, болгарском), которое означает специфику языковых картин мира, неперебиваемость определенных слов одного языка на другой (явление, привлекательное для этнолингвистов и лингвокультурологов). Сталкиваясь в изображенном диалоге двух читателей романа Гете, Вазов сопоставляет не только два разных характера, но и два типа *homo legens*.

Образ героя как читающего человека получает свои законченные очертания в описании его библиотеки, содержащем иронию автора. По отношению книг на столе Кандова, которые видят посетители дома героя, можно употребить слово «багаж» уже в его прямом значении:

²⁰ Это перевод Б. Горанова, опубликованный в вестнике «Български глас» – информация из книги: *Лилов А.* Увод в общата теория на превода. София, 1981. С. 175.

²¹ Пер. Я. Слонима.

²² Передача турецкого слова *карасевда* как «присуха» также приводит к потере представления о разноязычии, хотя подсказывает наличие специфически русского концепта несчастной любви.

В стаята му царуваше безредица: джамаданът разтворен, вещи разхвърляни... На масата лежаха куп руски книги. По надписите на подвързията гостите познаха, че те бяха социалистическо-анархистически издания, печатани в Лондон и Женева. Най-горната обаче беше един роман: «Преступление и наказание» от Достоевски. Стоеше и един друг разтворен роман на масата: «Страдания молодого Вертера». Там имаше редове и цели страници отбележени с червен молив... Тия съчинения показваха коначите, що бе направил Кандовият дух в тъжната пустиня на душевното блуждение (Вазов, 1977б, с. 314).

В комнате был беспорядок: чемодан раскрыт, вещи разбросаны... На столе громоздились русские книги. По заглавиям на переплетах гости узнали, что это были книги социалистического и анархического направления, изданные в Лондоне и Женеве. Поверх их, однако, лежал роман Достоевского «Преступление и наказание». На столе валялась и другая раскрытая книга – роман «Страдания молодого Вертера». Отдельные строки и даже целые страницы были отчеркнуты красным карандашом. Эти произведения говорили о том, какие воздушные замки²³ строил дух Кандова в унылой пустыне душевных блужданий... (Вазов, 1977а, с. 357²⁴)

Ирония Вазова в цитированном фрагменте направлена как на определенные чужие тексты, так и на чтение героя, свидетельствующее о хаотичности, о блуждании в мире книг. Подобное описание библиотеки героя создает образ лабиринта и содержит оппозицию органика – книжность, литературность²⁵. Симптоматично, что заглавие романа Достоевского на русском языке, что говорит о рецепции русской литературы болгарскими интеллигентами XIX в. без перевода (впрочем, это явление характерно и для болгарской культуры XX столетия). Что касается рецепции произведения Гете в болгарской культуре, упомянутый в тексте заголовок на русском языке свидетельствует о роли русской культуры как культуры-посредника в болгаро-русском культурном диалоге (для сравнения напомним, что доктор прочитал «Страдания молодого Вертера» в Вене).

В изображенном мире романа Кандов, несмотря на самоидентификацию с Раскольниковым и Вертером, не превращается в Раскольникова (не убивает), не следует и за Вертером (не совершает самоубийства от любви), а примыкает к патристическому движению (хотя и не умирает на баррикаде как другие герои-революционеры). В концепции Вазова жизнь таким образом вытесняет литературу, а свое – чужое. Имея в виду сближение Кандова с героем Тургенева, можем добавить, что в сюжете романа тождественность Вазовского героя как с Базаровым, так и Инсаровым²⁶ также подрывается.

Образ читающего героя в романе Вазова «Под игом» не только создает представление о роли чужих литературных моделей (особенно русской литературы) в житейской практике болгарского интеллигента XIX в., но ставит и такие про-

²³ Заменяя турецкое слово *конак* (название административного здания или дома богатого человека в Османской империи) выражением «воздушные замки», переводчики дополнительно подчеркивают литературность образа героя, иллюзорность его мышления.

²⁴ Пер. Я. Слонима.

²⁵ Соотношение литература – естественность можем проследить в истории русской литературы XIX в. Ярче всего идея о библиотеке-лабиринте и о потерянной идентичности выражена в творчестве Чехова. Созвучными с этой русской интерпретацией являются образ Библиотеки у Борхеса в «Вавилонской библиотеке» («La biblioteca de Babel», 1941) и у М. Фриша в «Штиллере» («Stiller», 1954). Интерпретация Вазова вписывается в этот контекст.

²⁶ Тургеневский сюжет романа «Накануне» интерпретирует кино: в фильме Н. Коробова «Юлия Вревская» (1977) изображена любовь Вревской к болгарскому студенту в России Карабелову, который вступает в русскую армию во время Русско-турецкой войны.

блемы культурного диалога, как близость / чуждость чужой литературы / культуры национальной ментальности, выборочность в восприятии чужой литературы, литературность жизни и преодоление этой литературности.

Неожиданный и парадоксальный взгляд на читающего героя Вазова предлагает теоретик литературы Н. Георгиев в своей статье, в которой вводит понятие «ненаписанной» / «недописанной» литературы. Исследователь ставит вопрос: какой роман написал бы в конце XIX в. «писатель с биографией Кандова – учившийся в России, увлеченный новыми радикальными идеями, порывистый и не на последнем месте читатель и почитатель Достоевского?» [Георгиев, 2006, с. 258]. Литературовед предугадывает возражения с точки зрения рецепции: «болгарская литература в это время на уровне Гоголя и Писемского, время болгарского романа, тем более психологического, не наступило...» [Там же]. (Подобные возражения подкрепляет хотя бы такой факт: читателем Достоевского является, например, писатель Любен Каравелов (1834–1879), которому, однако, ближе комизм Гоголя в его изображении болгарской действительности второй половины XIX в.) Тем не менее Н. Георгиев видит смысл в постановке своего вопроса, учитывая не только закономерности, но и случайности в литературном процессе. По поводу возникновения рецептивного контекста, благоприятствующего появлению романа типа произведений Достоевского в болгарской литературе, отметим, что такой контекст создается лишь в 20-е гг. XX в., когда появляются писатели, вдохновленные русскими идеями, – так, например, Г. Райчева (1882–1947) называли «болгарским Достоевским». Об особой усвоенности Достоевского в болгарской культуре можно говорить по отношению современной болгарской литературы. Исследовательница этой проблемы М. Горчева открывает у болгарских авторов нашего времени осмысление Достоевского как «иконы» [Горчева, 2014, с. 225], как «защиты и контрудара против медийного окружения симулякров», как специфической «панацеи» [Там же, с. 226]. Все же история рецепции Достоевского не только на уровне переводов и литературной критики, а и с учетом читателя, как реального, так и *lector in fabula* (по У. Эко), остается неисследованной и провокирующей литературоведа проблемой. Что касается появления в болгарской литературе романа, подобного «Страданиям молодого Вертера» (к чему наводит на мысль комментарий Кандова о романе, который он якобы пишет), можно сказать, что такой роман остается «ненаписанным». Первый любовный роман в болгарской литературе создает тоже Вазов, но автор следует скорее за моделью «Анны Карениной» (см.: [Чавдарова, 2015]).

Список литературы

Алексиева А. Симптоматиката на меланхолично в българската поезия от 40-те – 50-те години на 19 век // Литературна мисъл. 2005. № 2. URL: https://litenet.bg/publish14/a_aleksieva/melancholy.htm (дата обращения 05.01.2019).

Ангелова-Дамянова С. Езикът на разделението или разделението на езиките // Български език и литература. 2004. № 1. URL: <https://litenet.bg/publish8/sangelovadamianova/ezikyt.htm> (дата обращения 27.12.2007).

Благоев Д. Що е социализъм и има ли той почва у нас? 1981.

Генчев Н. Българска възрожденска интелигенция. София: Св. Климент Охридски, 1991.

Георгиев Н. Ориентът, Турция и тревогите на някои български литературоведи // Георгиев Н. Избр.: В 3 т. Т. 2: Литературни похождения. Авторы, творби, анализи. София: Изток-Запад, 2018. С. 571–580.

Георгиев Н. История на недописаната и ненаписаната литература // Георгиев Н. Тревожно литературознание. София: Просвета, 2006. С. 250–258.

Горчева М. У одесской лестницы: русский канон в цитатной стратегии популярной русской литературы // Политическая лингвистика. 2014. № 1(47). С. 222–229.

Наг М. Стил и структура на «Под игото» от Иван Вазов или как е «стъкмен» романът «Под игото» // Литературна мисъл. 1970. № 4. С. 17–28.

Пелева И. Идеологът на нацията. Пловдив: Изд-во на Пловдив. ун-т «Паисий Хилендарски», 1994.

Ракъовски Цв. Йовковите герои четат знаци, а Вазовите герои – книги // Български език и литература. 2001. № 1: URL: <https://liternet.bg/publish4/crakiovski/jovkov.htm/> (дата обращения 05.01.2019).

Смолянинова М. Болгария и московские славянофилы XIX века // България и Русия (XVIII–XXI век). Пътища и кръстопътища / Отв. ред. Р. Дамянова, И. Калиганов. София: БАН и РАН, 2017. С. 81–108.

Стаматов Г. «Под игото» – из живота на българите между романтичното и еснафството // Български език и литература. 2003. № 4. С. 39–46. URL: <http://liternet.bg/publish10/gstamatoV/vazov.htm> (дата обращения 05.01.2015).

Чавдарова Д. «Казаларската царица» – «Анна Каренина» по български? // LiterNet, 28.01.2015, № 2(183). URL: https://liternet.bg/publish22/d_chavdarova/vazov.htm (дата обращения 05.01.2015).

Danek D. O polemice literackiej w powieści. Warszawa: PIW, 1972.

Jauss H. R. Interaction patterns of identifications with the hero // Jauss H. R. Aesthetic Experience and Literary Hermeneutics / Transl. by M. Shaw. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 1982.

Список источников

Вазов Ив. Под игом // Вазов Ив. Избр.: В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1977а.

Вазов Ив. Под игото // Вазов Ив. Събр. съч.: В 22 т. Т. 13. София: Български писател, 1977б.

D. Chavdarova

University «Bishop Konstantin Preslavski»
Szumen, Bulgaria, d.chavdarova@gmail.com

Homo legens in the novel “Under the Yoke” by Ivan Vazov: a Bulgarian student who arrived from Russia, identified with Bazarov, Raskolnikov, and Werter

The paper considers the image of homo legens in the novel “Under the Yoke” by Bulgarian literary classic Ivan Vazov. The consideration of quoting the ideas of Russian nihilists by the character Kandov (a student who arrived from Russia), and the self-identification of that character with Raskolnikov and Werter, reveals the author’s viewpoint of the alien nature of nihilist and socialist ideas, as well as certain literary patterns, to Bulgarian society and Bulgarian mentality. Vazov’s interpretation leads to the conclusion that his ideas are in consonance with the European ideas regarding Library as labyrinth and reading as chaos and confusion of thought.

Keywords: I. Vazov, Bulgarian literature, homo legens, identification, reading, Bazarov, Raskolnikov, Werter.

DOI 10.17223/18137083/67/9

References

- Aleksiyeva A. Simptomatikata na melankholnoto v balgarskata poyeziya ot 40-te – 50-te godini na 19 vek [Symptomatology of the melancholy in Bulgarian poetry of the 19th-century 40s and 50s]. In: *Literaturna misal*. 2005, no. 2. URL: https://litenet.bg/publish14/a_aleksieva/melancholy.htm (accessed 05.01.2019).
- Angelova-Damyanova S. Ezik”t na razdeleniyeto ili razdeleniyeto na ezitsite [Language of division or division of languages]. *Balgarski ezik i literatura*. 2004, no. 1. URL: <https://litenet.bg/publish8/sangelovadamianova/ezikyt.htm> (accessed 27.12.2007).
- Blagoyev D. *Shcho e sotsializ”m i ima li toy pochva u nas?* 1981.
- Chavdarova D. “Kazalarskata tsaritsa” – “Anna Karenina” po b”lgarski? [“The Kazalar queen” – “Anna Karenina” Bulgarian way?]. *LiterNet*. 28.01.2015, no. 2(183). URL: https://litenet.bg/publish22/d_chavdarova/vazov.htm (accessed 05.01.2015).
- Danek D. *O polemice literackiej w powieści* [Of literary polemics in the novel]. Warsaw, PIW, 1972.
- Genchev N. *Balgarskata vazrozhdenska inteligentsiya* [Bulgarian Revival intelligentsia]. Sofia, Sv. Kliment Ohridski, 1991.
- Georgiev N. Orientat, Turtsiya i trevogite na nyakoi balgarski literaturovedi [The Orient, Turkey, and the anxieties of some Bulgarian literary scholars]. In: Georgiev N. *Izbrano v 3 t. T. 2. Literaturni pokhozhdeniya. Avtori, tvorbi, analizi* [Literary adventures. Authors, works, analyses]. Sofia, Iztok-Zapad, 2018, pp. 571–580.
- Georgiev N. Istoriya na nedopisanata i nenapisanata literatura [History of unfinished and unwritten literature]. In: N. Georgiev. *Trevozno literaturoznanie* [Anxious literary science]. Sofia, Prosveta, 2006, pp. 250–258.
- Gorcheva M. U odesskoy lestnitsy: russkiy kanon v tsitatnoy strategii populyarnoy bolgarskoy literatury [By the Odessa staircase: Russian canon in the citing strategy of popular Russian literature]. *Political linguistics*. 2014, no. 1(47), pp. 222–229.
- Jauss H. R. Interaction Patterns of Identifications with the Hero. In: H. R. Jauss. *Aesthetic experience and literary hermeneutics*. Transl. by M. Shaw. Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1982.
- Nag M. Stil i struktura na “Pod igoto” ot Ivan Vazov ili kak e “stakmen” romanat “Pod igoto” [Style and structure in “Under the yoke” by Ivan Vazov, or how is “Under the yoke” made up]. *Literaturna misal*. 1970, no. 4, pp. 17–28.
- Peleva I. *Ideologat na natsiyata* [The ideologist of the nation]. Plovdiv, Izd. na Plovdiv. Univ. “Paisiy Khilendarski”, 1994.
- Rakyovski Ts. Yovkovite geroi chetat znasi, a Vazovite – knigi [Yovkov’s characters read signs, and Vazov’s characters – books]. *Balgarski ezik i literatura*. 2001, no. 1: URL: <https://litenet.bg/publish4/crakiovski/jovkov.htm> (accessed 05.01.2019).
- Smolyaninova M. Bolgariya i moskovskie slavyanofily XIX veka [Bulgaria and the Moscow slavophiles of the 19th century]. In: *Balgariya i Rusiya (XVIII–XXI vek). Patishta i krastopatishta* [Bulgaria and Russia (18th–19th century). Roads and crossroads]. R. Damyanova, I. Kaliganov (Eds). Sofia, BAN i RAN, 2017, pp. 81–108.
- Stamatov G. “Pod igoto” – iz zhivota na balgarite mezhdu romantichnoto i esnafstvoto [“Under the yoke” – about the life of Bulgarians between the romantic and the philistine]. *Balgarski ezik i literatura*. 2003, No. 4. URL: <http://litenet.bg/publish10/gstamatov/vazov.htm> (accessed 05.01.2019).

List of sources

- Vazov I. Pod igoto [Under the yoke]. In: Ivan Vazov. *Sabrani sacheniya v 22 t. T. 13* [Complete works: in 22 vols. Vol. 13]. Sofia, Balgarski pisatel, 1977.
- Vazov I. Pod igom [Under the yoke]. In: Ivan Vazov. *Izbrannoe v 2 t. T. 2* [Selected works: in 2 vols. Vol. 2]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1977.

Е. Н. Проскурина

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

А. Платонов и В. Зазубрин: пересекающиеся параллели

Показаны общие черты творческого поведения А. Платонова и В. Зазубрина, при кардинальной разности художественного языка писателей. Каждый из них старался сохранить свой собственный творческий почерк, свое отношение к революционной реальности, которое во многом расходилось с формирующейся идеологической максимой. К анализу привлечены эпизоды романа А. Платонова «Чевенгур», романов В. Зазубрина «Два мира» и «Горы», а также его повести «Щепка» и очерка «Неезженными дорогами», где обнаружены сюжетно-мотивные переклички. Ранее в платоноведении выдвигалась точка зрения, согласно которой одним из источников романа «Чевенгур» мог быть очерк Зазубрина. Однако выявленные пересечения в названных произведениях относятся, скорее, к метадиалогу, чем к творческой рецепции, поскольку в литературе 1920-х гг. сюжетно-мотивное пространство было во многом единым, что связано с постреволюционной исторической ситуацией в стране. Кроме того, на основе эпистолярия проанализированы отношения Зазубрина и Платонова с Горьким, который являлся для каждого из них высшим авторитетом. Из проведенного анализа сделан неожиданный вывод: насколько активным было участие Горького в судьбе Зазубрина, настолько же осторожно он проявил себя по отношению к Платонову. Возможно, Зазубрин был понятнее Горькому как писатель, с его главной темой борьбы «двух миров». Платонов же для Горького оказался слишком загадочным автором, с неопределенной идеологической позицией, непривычной поэтикой. В итоге в оценке Горького первенство, как это ни парадоксально, принадлежит Зазубрину, а не Платонову.

Ключевые слова: А. Платонов, В. Зазубрин, М. Горький, «красный террор» в литературе, творческое поведение, метадиалог, сюжет, мотив.

Сравнение творчества А. Платонова (1899–1951) и В. Зазубрина (1895–1937) уже становилось предметом литературоведческого анализа. Впервые имена этих двух писателей поставлены рядом в статье Б. Соколова «Андрей Платонов и Владимир Зазубрин: утопия и реальность» [Соколов, 1995]. В ней автор делает предположение, что одним из источников романа «Чевенгур» мог быть очерк В. Зазубрина «Неезженными дорогами», опубликованный в третьем номере журнала «Сибирские огни» за 1926 г. По свидетельству исследователя, в июне того же го-

Проскурина Елена Николаевна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник сектора литературоведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; proskurina_elena@mail.ru)

да, еще до выхода журнала, фрагменты очерка, посвященные г. Кузнецку, публиковались в петроградской (ленинградской) «Красной газете». Этот факт важен для нас тем, что представляет редкий случай публикационного пересечения Зазубрина и Платонова: годом позже в приложении к «Красной газете» был опубликован рассказ А. Платонова «Песчаная учительница» [Платонов, 1927]. Еще один такой случай – публикация романа Зазубрина «Горы» в журнале «Новый мир» в 1933 г. (№ 6–9); Платонов в «Новом мире» опубликовал отрывок из романа «Чевенгур» «Приключение» [1928а] и очерк «Че-Че-О» [1928б]. Других фактов не прямых пересечений их издательских траекторий не обнаружено. Однако знакомство Платонова с «Красной газетой» делает вероятным предположение Б. Соколова, что писатель вполне мог читать в ней фрагменты зазубринского очерка, время публикации которых совпало с началом его работы над «Чевенгуром» (1926–1928).

В главах о г. Кузнецке речь идет о расправе красными партизанами под предводительством некоего Рогова с местными жителями. В статье Соколова подразумевается соотнесенность сделанных «пером бесстрастного протоколиста» записей Зазубрина со сценой расстрела «буржуев» в «Чевенгуре»: «Буржуев и “полубуржуев” в Чевенгуре, где в результате для коммунизма остается лишь одиннадцать жителей, Чепурный уничтожает точно так же, как у Зазубрина Рогов – население Кузнецка, а в храме поселяет ревком» [Соколов, 1995, с. 143]. Однако сюжетное пересечение одновременно показывает разницу творческого почерка двух писателей. «Протокольные» записи Зазубрина мало отличаются от его художественного письма – столь же жесткого, избыливающего натуралистическими подробностями и деталями. Герой кузнецких глав очерка Рогов – бывший подрядчик по постройке церквей, в Первую мировую войну стал подпрапорщиком и георгиевским кавалером, а в революцию – красным революционером, сжигавшим «огнем и мечом» церкви, села, опустошавшим города.

Я медленно иду по рубчатым, черно-рыжим чугунным плитам. Мне кажется, что я иду по запекшейся, заржавевшей крови. Сюда в 19-м году роговцы согнали «буржуев, попов и прочих паразитов» и здесь «казнили» их четвертованием, жгли. Здесь, в алтаре, на престоле, была разложена и изнасилована толстая купчиха Акулова. Изнасиловав Акулову, роговцы воткнули ей в живот зажженную рублевую свечу.

Потом собор, заваленный трупами убитых и недобитых купцов и попов, зажгли. От собора остались стены... [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 126];

Из четырех тысяч жителей Кузнецка две тысячи легли на его улицах. Погибли они не в бою. Их, безоружных, просто выводили из домов, тут же у ворот раздевали и зарубали шашками. Особо «именитых» и «лиц духовного звания» убивали в соборе.

<...>

Рубились люди, так сказать, по «классовому признаку».

Именно: руки мягкие – руби, на пальце кольцо или следы от него – руби, комиссар – руби.

<...>

Казнимых Рогов всегда мучил – отрубал у живых руки, ноги, отрезал половые органы, жег живьем.

Но, несмотря на всю прямолинейную примитивность «классового подхода» к людям, в голове у этого «революционера» царила невообразимая путаница. ... При соединении с регулярными (белыми. – Е. П.) войсками он начал истреблять наших командиров и комиссаров. Мотивы, конечно, были самые простые: комиссар, значит, начальник, начальник, значит, насильственный – руби. <...> В этой войне он был побежден и трусливо кончил са-

моубийством. Штаб его был захвачен и уничтожен одной из дивизий Красной Армии [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 130–131].

Показательно единство сюжетной основы в приведенном эпизоде очерка Зазубрина и сцене расстрела «буржуев» в «Чевенгуре». И все же трудно сказать определенно о непосредственном влиянии Зазубрина на Платонова при создании этой сцены. Тот же Г. Рогов оказался прообразом главного героя романа В. Шишкова «Ватага» Степана Зыкова (подробно см.: [Шишкин, 1985; Булдаков, 2013]). Как пишет В. Булдаков, «Феномен Зыкова-Рогова не был единичным: в том же Кузнецком уезде действовали и другие “красные” банды. Другим масштабным аналогом роговской резни была так называемая амурская трагедия. Весной 1920 г. в Николаевске-на-Амуре красные партизаны под руководством 23-летнего анархо-коммуниста Якова Тряпицына расстреляли несколько сотен пленных японцев. Затем развернулось планомерное уничтожение жителей города, которых разделили на пять категорий по “этноклассовому” принципу. Город был сожжен, в ходе десятидневной резни погибло до 2,5 тыс. человек (называли и большие цифры)» [Булдаков, 2013, с. 117]. На «“воронежском” материале» тема «борьбы с контрреволюцией» подробно исследована в монографии О. Алейникова [Алейников, 2013, с. 89–178]. Повторяемость подобного рода эпизодов в литературе объяснима самой исторической реальностью революционного времени¹. «Гражданская война словно срывала с людей человеческую оболочку, обнажая звериное нутро. Это и отразили художественные произведения 1920-х гг.» [Булдаков, 2013, с. 117]. Однако изображение поведения платоновских новых чевенгурцев в момент расстрела не имеет аналогов в литературе. В нем нет и намека на ту ненависть к врагам – классовым, политическим, которая исходит со страниц зазубринского текста. Уничтожение «буржуев» в «Чевенгуре» мотивировано самими героями исключительно социальной необходимостью:

Пробыв председателем ревкома месяца два, Чепурный замучился – буржуазия живет, коммунизма нет, а в будущее ведет, как говорилось в губернских циркулярах, ряд последовательно-наступательных переходных ступеней, в которых Чепурный чувством подозревал обман масс. <...> Чепурный захотел отмучиться и вызвал председателя чрезвычайки Пиюсю.

– Очисти мне город от гнетущего элемента! – приказал Чепурный.

– Можно, – послушался Пиюся. Он собрался перебить в Чевенгуре всех жителей, с чем облегченно согласился Чепурный.

– Ты понимаешь – *это будет добрей!*.. Иначе, брат, весь народ помрет на переходных ступенях [Платонов, 1991, с. 227–228] (курсив наш. – Е. П.).

При этом Чепурный пытается не только морально, но и научно оправдать свое решение:

И потом, буржуи теперь все равно не люди: я читал, что человек как родился от обезьяны, так ее и убил. Вот ты и вспомни: раз есть пролетариат, то к чему ж буржуазия? Это прямо некрасиво! [Там же, с. 228]

На этом, однако, поиск обоснований «подворно и явочным порядком истребить буржуазию» [Там же] не заканчивается. Главный теоретик в Чевенгуре Прокофий Дванов, пытаясь снять с себя и своих товарищей вину, создает письменный приказ, в котором оправдывает расстрел «буржуев» обещанием второго пришествия:

¹ Один из последних примеров – роман К. И. Пылаева «В плену на родине», созданный в 1919 г. и опубликованный лишь в 2017. Как и роман В. Зазубрина, документальное повествование К. Пылаева переполнено сценами зверств, совершаемых в Перми колчаковцами.

Советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, обору-дованное звездами и светилами на предмет организации там вечного блаженства [Платонов, 1991, с. 229].

И даже время расстрела – ночь со среды на четверг – Прокофий выбирает так, чтобы жертвы могли «тише подготовиться» к смерти в постный день.

Из всех расстреливающих лишь один Пиюся выполняет приговор с готовностью. Но и он перед казнью просит «одного чекиста» зачитать поминальную книжку, найденную при осмотре «узелков и сундучков», с которыми «буржуи» пришли на расправу. Не согласен он и с советом чекиста «кончить» жен буржуев: «Зачем, голова? Главный член у них отрублен!» [Там же, с. 231] При исполнении приговора чекисты неожиданно для себя испытывают сострадание к своим жертвам, стараясь облегчить им муки умирания:

Чекисты ударили из нагана по безгласным, причастившимся вчера буржуям... Раненый купец Щапов лежал на земле с оскудевшим телом и просил наклонившегося чекиста:

– Милый человек, дай мне подышать – не мучай меня. Позови мне женщину проститься! Либо дай поскорее руку – не уходи далеко, мне жутко одному.

Чекист хотел дать ему свою руку:

– Подержись – ты теперь свое отзвонил!

Щапов не дождался руки и ухватил себе в помощь лопух, чтобы поручить ему свою недожитую жизнь... Чекист понял и заволновался: с пуль внутри буржуи, как и пролетариат, хотели товарищества, а без пули – любили одно имущество [Там же, с. 231–232].

Таким образом, «уничтожение буржуев и “полубуржуев” в Чевенгуре» происходит отнюдь не точно так же, как в очерке Зазубрина, а совсем по-иному. Сам акт расстрела в романе Платонова окружен множеством оговорок, смягчающих ужасающие по своей сути натуралистические подробности. Авторское сострадание ко всем героям, безотносительно к их классовой принадлежности, вносит в платоновский «Чевенгур» лирическую интонацию, формирует особую, отмеченную сердечностью и теплотой, атмосферу, уникальную для всего корпуса произведений о революции и Гражданской войне в русской литературе. Особенно отчетлив этот контраст на фоне произведений Зазубрина, с их «прямым» изображением событий, экспрессивным напором, «золаизмом», как определил художественный почерк писателя М. Горький в письме, посвященном анализу рассказа «Общежитие» (см.: [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 262]). Для подчеркивания этого контраста приведем сцену из романа «Два мира»:

Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.

– Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.

<...>

Почти все село собралось на площадь. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами...

– Что, боитесь, каналы? – заорал Орлов на толпу. – Видно совесть у вас совсем чиста. На колени, прохвосты, все на колени, сию же минуту!

<...>

Бледных, с запекшимися, перекошенными губами, поставили у каменной церковной ограды. Их было сорок девять. <...> Черные дыры винтовок двумя рядами, покачиваясь, щупали головы и груди приговоренных.

<...>

– Товарищи большевики, смирна-а-а, равнение на пули, на тот свет карьером ма-а-арш!

Шашка, тонко свистнув, сверкнула. Черные круглые дыры винтовок, все два ряда, желтыми огоньками загорелись, стукнули. Полоса белых камней, на стене из белого камня, рассыпалась, рухнула на землю. Расстрелянные подпрыгнули. Упали навзничь.

– Молодец, корнет, молодец, тонный парень, тонняга, корнет. Ха-ха-ха! На тот свет карьером... Ха-Ха-Ха!...

Залп опрокинул толпу на землю. Женщины судорожно бились, рыдали. Старики, старухи молились. Мужики стонали. Молодежь сжимала кулаки, кусала губы.

<...>

Серая пыль площади. Белые пятна. Живые, полуголые. Свист. Железные прутья. Кровавые рубцы. Кровь. Красное мясо... Мертвых было сорок девять. Окровавленных шестьдесят. Но были выпороты все. Уничтожены, растоптаны... [Зазубрин, 1988, с. 28–33]

Расправам чекистов над побежденными белогвардейцами посвящена повесть В. Зазубрина «Щепка» (1922–1923). Исполненные натурализма картины предсмертного существования жертв «красного террора», сцены расстрелов отпугнули как московскую «Красную новь», так и новониколаевские «Сибирские огни». Промолчал и иркутский чекист Я. Берман, на отзыв которому Зазубрин послал «Щепку», помня о его активном вмешательстве в работу над «Двумя мирами» (см.: [Яранцев, 2012, с. 79]), получившим высокий статус «первого советского романа».

При кардинальной разнице художественного языка, можно, однако, обнаружить ряд мотивных перекличек в «Чевенгуре» и очерке «Неезженными дорогами», а также других произведениях Зазубрина начала 1920-х гг. Так, в очерке главный герой-убийца Рогов до революции был подрядчиком на постройке церквей; у Платонова главный чекист Пиюся в мирное время «двадцать лет работал каменным кладчиком» [Платонов, 1991, с. 228]. Сцена расстрела чевенгурцев на соборной площади соотносится как с эпизодом казни роговцами «буржуев, попов и прочих паразитов» у стен собора г. Кузнецка, так и с расстрелом белыми офицерами мирных жителей села Медвежье у каменной церковной ограды в романе «Два мира». В этой сцене проведенный перед казнью молебен перекликается с зачитыванием семейной поминальной книжки перед расстрелом «буржуев» в «Чевенгуре». Однако «белый» молебен служит у Зазубрина в знак благодарения за победу «над бандами красных»; у Платонова чекисты, сами того не осознавая, служат панихиду по своим будущим жертвам и молятся о здравии их родных:

Буржуи принесли с собой узелки и сундучки – с мылом, полотенцами, бельем, белыми пышками и семейной поминальной книжкой. Пиюся все это просмотрел у каждого, обратив пристальное внимание на поминальную книжку.

– Прочти, – попросил он одного чекиста.

Тот прочитал:

«О упокоении рабов божьих: Евдокии, Марфы, Фирса, Поликарпа, Василия, Константина, Макария и всех сродственников».

О здравии – Агриппины, Марии, Косьмы, Игнатия, Петра, Иоанна, Анастасии со чадами и всех сродственников и болящего Андрея».

– Со чадами? – переспросил Пиюся.

С ними! – подтвердил чекист [Там же, с. 230].

Объединяет оба эпизода и мотив «того света», куда отправляют своих жертв герои-палачи. Но в романе Зазубрина он встроен в иронически-издевательский контекст, тогда как в романе Платонова – в сочувственно-оправдательный. В финале «Чевенгура» коммуна гибнет в столкновении с внезапно появившимся отрядом загадочного противника, в очерке «Неезженными дорогами» роговцы побеждены отрядами Красной армии. Внешне схожи и завершения судеб главных героев: Рогов кончает жизнь самоубийством, Саша Дванов исчезает в озере Мутево. Однако, если самоубийство Рогова – знак трусости («трусливо кончил самоубийством», – пишет Зазубрин), то уход Саши – продолжение жизни, новый этап поиска истины. В этой связи в названии романа «Чевенгур» можно распознать анаграмму словосочетания «вечен круг» с редукцией последней буквы «г». На наш взгляд, Платонов умело скрыл в нем – через соотнесение с топонимами Воронежской губернии (например, Богучар), политическими аббревиатурами своего времени и др. – мистериальный код сюжета своего произведения. О множестве кругов в романе, о движении по кругам его героев довольно много сказано и написано в платоноведении. Также на сегодняшний день существует большое количество интерпретаций названия романа. Как верно отметил А. Варламов, «о расшифровке этого топонима можно написать целую книгу» [Варламов, 2011, с. 153]. Мы предлагаем в эту копилку еще один вариант.

Переключка с жизненной позицией коммунаров и финалом «Чевенгура» слышна в истории алтайских коммун, изложенной героем романа Зазубрина «Горы»:

...Иные беднота организовывали без принуки. Понятия только у них никакого не было. Они думали, што зайдут в кумыну, и все будет, и работать никому не надо. Лежи с бабой и жуй пайку. <...> В осьмнадцатом годе беглые от голоду из Петрограду рабочие первый почин сделали. Ничего у них не вышло, никакого согласия и распорядку не было. Один пашет, трое пузо на солнце греют, пятеро ложками котел меряют. Держались, покудова деньжонки да разное барахлишко разматывали, потом разошлись, и тех хрестьяне поимали и сдали белым на расстрел [Зазубрин, 1990, с. 228–229].

В групповой портретной характеристике чевенгурских «имущих людей» отмечена такая деталь: их жилье «спокон века... пахло воском» [Платонов, 1991, с. 227]. В рассказе Зазубрина «Общежитие» (1923) в описании экспроприированного дома купчихи Обкладовой говорится, что он, кроме прочего, пропах ладаном. Воск и ладан – неотъемлемая часть традиционного уклада русской жизни, с ее церковными обрядами, молитвами, домашними иконами, восковыми свечами. Разрушение этой традиции символизировано в очерке Зазубрина разрушенными церквями, осквернением святынь; в «Чевенгуре» – расположением в опустошенном храме ревкома.

Вероятнее всего, в перечисленных переключках мы имеем дело с метадисалогом, а не с рецепцией. Однако нельзя не отметить общих черт в творческом поведении двух писателей. При этом мы не располагаем свидетельствами их личного знакомства, хотя с 1933 г. Зазубрин переезжает в Москву на постоянное место жительства, под покровительство М. Горького, с которым вел переписку с 1928 г. (переписка Платонова с Горьким началась годом позже). Но, как показывает обстоятельное биографическое исследование В. Яранцева «Зазубрин. Человек, который написал “Щепку”», в короткий столичный период жизни он общался в основном с писателями-сибиряками, принадлежавшими к кругу журнала «Сибирские огни». Работа в созданном Горьким журнале «Колхозник» контактов с известными писателями не принесла. «Несмотря на призывы Зазубрина, мэтры в “Колхозник” не шли. Причиной явилось, прежде всего, направление, заданное

“Колхознику” Горьким, – это был журнал не чисто литературный, а “литературно-политический” и вдобавок “научно-популярный”. Так что “литература” отходила на второй план перед “политикой” и “наукой”. ...Даже проза, неизменно открывавшая содержание очередного номера, хронически страдала тенденциозностью» [Яранцев, 2012, с. 584].

Начиная свой творческий путь романом «Два мира», Зазубрин ставил своей задачей «дать красноармейской массе просто и понятно написанную вещь о борьбе двух миров и использовать агитационную мощь художественного слова» [Зазубрин, 1988, с. 5]. Хотя в незавершенных второй и третьей частях романа возникает интонация неуверенности в вопросе необходимости кровавой жертвы ради успеха революции, воспроизведенная в дневниковом дискурсе главного героя-колчаковца Барановского в период его «красного» плена:

Борьба продолжается. Но я не верю в победу белых, не верю в силу и правду красных. Вся эта борьба мне представляется каким-то кровавым хаосом. Люди в безумном ослеплении истребляют друг друга. <...>

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови.

Что толку, что в крови? Хорошо, утопят в крови своих врагов, но и сами захлебнутся в ней, в зверей превратятся. Пожар в крови – это чепуха. Надо в сознании. А разве люди придут к сознанию через трупы и кровь? Никогда. Не согласен. Да, сдавался я красным, думал, найду в них людей, хотел честно работать, а теперь вижу, что самое честное, самое лучшее дело – это быть нейтральным. Пусть другие звери перегрызают друг другу глотки, человек должен остаться в стороне... [Там же, с. 304]

Исповедальный дневник «классового врага», его пацифистская, общегуманистическая направленность, проявившая сочувственное отношение автора к герою – жертве «красного террора» уже в дебютном произведении, вступали в противоречие с установкой на идеологическую чистоту и бескомпромиссность советской литературы, что, вероятнее всего, остановило работу Зазубрина над его продолжением.

Наивысшего градуса сомнения Зазубрина достигают в повести «Щепка», созданной вслед за «Двумя мирами». В ее чекистском сюжете писатель кардинально меняет угол зрения, пытаясь осмыслить проблему «красного террора» не на уровне внешних событий, а изнутри сознания рефлексирующего героя-палача Срубова. Ужасы чекистских застенков, участие в расстрелах и одновременно с этим предпринимаемые попытки оправдать террористическую политику новой власти сводят его с ума. При этом в письме к Ф. Березовскому Зазубрин убеждал адресата:

Надеюсь, Вы верите, что я искренне хотел написать вещь революционную, полезную революции. Если не вышло, то не от злого умысла. Буду еще работать [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 358].

Здесь невольно возникает параллель с попыткой А. Платонова оправдать замысел «Чевенгура» в письме М. Горькому:

Глубокоуважаемый Алексей Максимович... прошу прочитать мою рукопись. Ее не печатают... говорят, что революция в романе изображена неправильно, что все произведение поймут даже как контрреволюционное. Я же работал совсем с другими чувствами... Обращаюсь к Вам с просьбой прочитать рукопись и, если будет Ваше согласие, сказать, что автор прав

и в романе содержится честная попытка изобразить начало коммунистического общества [Платонов, 2013, с. 264].

Объединяет обоих писателей их творческое бесстрашие, неспособность исказить своего собственного «сокровенного человека» в самых сложных обстоятельствах – жизненных и литературных. Для Платонова это период второй половины 1920-х – середины 1930-х гг., когда были созданы его главные произведения, для Зазубрина – начало 1920-х гг., время активного участия в журнале «Сибирские огни», где ему удалось опубликовать не только главы из второй и третьей части «Двух миров», но и идеологически «подсудные» «Бледную правду» и «Общежитие». Последний рассказ подвергся особенно ярким нападкам критики и цензуры (см.: [Проскурина, 2018]). Самое жесткое произведение писателя – повесть «Щепка», как и главные произведения Платонова, так и не была издана при его жизни.

Отдельная страница выдвинутой проблемы – отношения Платонова и Зазубрина с Горьким. И тот и другой обращались к нему как высшему авторитету с просьбой помочь устроить свою литературную судьбу. У Платонова это было связано с изданием романа «Чевенгур», а позже – с постановкой пьесы «Высокое напряжение» и публикацией рассказа «Мусорный ветер»; у Зазубрина – с устройством в Москве после его вытеснения из журнала «Сибирские огни» в 1928 г. Кроме того, оба писателя обращались к Горькому и в оценке их литературного таланта, исповедовались ему в своих благих намерениях быть правоверными советскими литераторами. При этом реакция Горького на их просьбы была разной. Насколько осторожно он проявил себя в оценке творчества Платонова и участия в его судьбе, несмотря на их теплую первую встречу, произошедшую на квартире Горького в 1928 г. (см.: [Платонов, 2011]), настолько же горячо погрузился в жизненные и творческие обстоятельства Зазубрина. Возможно, на такое его отношение оказал влияние статус Зазубрина как автора «первого советского романа», высоко оцененного Лениным². Достаточно сказать, что во втором, зазубринском томе «Литературного наследия Сибири» опубликованы 86 писем, составивших переписку Зазубрина и Горького. В томе писем Платонова насчитывается всего 14. Из них лишь четыре письма принадлежат Горькому: два касаются романа «Чевенгур», одно – пьесы «Высокое напряжение» и одно – рассказа «Мусорный ветер». Остальной корпус – письма Платонова (в их числе только одно осталось не отосланным), на которые он ответа не получил. Среди исследователей есть точка зрения, что до Горького, возможно, не все платоновские письма доходили из-за слежки за его перепиской сотрудничающим с НКВД секретарем П. Крючковым³.

Для Зазубрина Горький стал и «крестным отцом» московского периода жизни, и чуть ли не членом семьи, что связано с участием в судьбе его больного туберкулезом сына Игоря. В 1928 г., когда Зазубрин был отстранен от руководства журналом «Сибирские огни» и Союзом сибирских писателей, именно Горький пригласил его в Москву, обеспечив работу в Госиздате, журнале «Колхозник», а также над изданием «Истории Гражданской войны». А в 1930 г., когда начался процесс над главным оппонентом Зазубрина А. Курсом, Горький даже пишет Сталину с просьбой восстановить Зазубрина в партии, рекомендуя его как «очень талантливого» и «честного» человека⁴. Хотя в личной переписке Горький не раз

² «Конечно, это не роман, но хорошая книга, нужная книга и страшная книга» (см.: [Яновский, 1988, с. 329]).

³ Сложные отношения Платонова и Горького представлены в работе: [Малыгина, 2018].

⁴ «Теперь, когда Сырцов, Курс и Ко обнаружили истинную свою сущность, следовало бы восстановить в партии Зазубрина, ведь это они травили его, они же испортили хороший журнал “Сибирские огни”, высадив из него талантливых людей. Зазубрин – очень талант-

ругает Зазубрина за плохое, «грязное» письмо. В первую очередь это касается рассказа «Общежитие». Не понравилась ему и пьеса «Подкоп» – последнее произведение Зазубрина, посвященное созданию Института экспериментальной медицины. В ней он словно пытается заковать собственную судьбу, выстраивая сюжетную линию главного героя-новатора, осужденного за «вредительство», по оптимистической модели признания его лечебного метода. Наказание же ждет истинных «врагов» – противников героя, приверженцев прежних, устоявшихся способов лечения. В одном из писем 1935 г. Зазубрин пишет Горькому:

Я люблю Вас, Алексей Максимович, как только может любить человек, всеми отвергнутый. Ваше имя для меня, как боевое знамя, за которое я буду драться до конца жизни. Я докажу, что Вы не ошиблись, когда выдвигали меня как писателя и защищали как гражданина [Литературное наследство Сибири, 1972, с. 332].

Воспоминание Платонова о первой встрече с Горьким, написанное в 1937 г. и предназначавшееся, как предполагают исследователи, для альманаха «Год XX», посвященного памяти писателя (см.: [Корниенко, 2011, с. 698]), наполнено схожим чувством:

Меня интересовал лишь тот человек, который был сейчас передо мной – Горький. В детстве я видел дешевые конфеты, завернутые в бумажки с изображением Максима Горького; под его изображением обычно была напечатана какая-либо фраза, лозунг из сочинений писателя, например – «Пусть сильнее грянет буря!» – или что-то другое. Я всматривался тогда в лицо писателя на конфетной бумажке, читал его мысли и размышлял о нем. Никогда я не надеялся увидеть Горького в действительности и беседовать с ним. Прошли годы. Теперь я видел Горького и даже рассуждал с ним, и он был для меня все таким же, прежним и неизменным, идеальным высшим человеком, каким запечатлелся когда-то в моем детском воображении. И смотря сейчас на Горького, я чувствовал себя счастливым, словно моя жизнь возвратилась обратно в детство – в свое лучшее время, в то время, когда образуется на всю жизнь ум и сердце, я чувствовал себя легко, словно без труда исполнилось невыполнимое желание [Платонов, 2011, с. 547].

В той первой встрече детские впечатления Платонова соединены с благоговейным отношением к Горькому и надеждой на его помощь в схожей с зазубринской ситуации «всеми отвергнутого» человека. Однако его отчаянные попытки найти поддержку у Горького ожидаемого результата не возымели⁵. Хотя не исключено косвенное участие Горького в литературной судьбе Платонова. Например, он мог поспособствовать его включению в группу писателей, командированных в Среднюю Азию. Литературным итогом этой поездки стал рассказ «Такыр».

ливый человек. И – честный» (М. Горький – И. В. Сталину // Документы XX века. URL: <http://doc20vek.ru/node/1575> (дата обращения 30.11.2018)).

⁵ Можно лишь в очередной раз поразиться душевной щедрости Платонова, написавшего уже упомянутые воспоминания о первой встрече с Горьким и статью «Пушкин и Горький», где он видит первого советского классика продолжателем пушкинской традиции, очень деликатно, немногословно и при этом чрезвычайно пронзительно намекая на «долгий, многолетний конфликт» в его душе, чем «объясняет его некоторые литературные неудачи, а иногда и политические ошибки» [Платонов, 2011, с. 110]: «Горькому пришлось жить и действовать на шве двух принципиально отличных эпох, быть поэтическим провозвестником эпохи коммунизма, душить врага, проникающего в сердце народа и в собственную душу, и быть поэтому самому часто окровавленным. Иначе это была бы шуточная битва, а мы знаем, какие “шутники” наши противники» [Там же, с. 316].

На наш взгляд, одна из причин «больших надежд» Горького на Зазубрина кроется в его несомненном организаторском таланте как собирателя литературных сил Сибири, ключевой фигуры журнала «Сибирские огни», номера которого с самых первых пересылались Горькому на Капри. С участием Зазубрина он связывал реализацию своих издательских инициатив, в первую очередь неоправдавшийся успех журнала «Колхозник». Большая часть их московской переписки тематически определяется редактированием номеров, поиском новых авторов для журнала. В отличие от Зазубрина, Платонов – писатель-одиночка, со своим собственным художественным методом, как он признавался в ответе на анкету журнала «На литературном посту». Из сказанного можно сделать тот вывод, что Зазубрин был более, чем Платонов, понятен Горькому как писатель, с его главной темой борьбы «двух миров», соответствующей расстановкой художественных образов, идейной определенностью, усилившейся в московский период творчества. Главным произведением этого времени стал для него роман «Горы», активно обсуждаемый в переписке с Горьким в процессе создания.

Судя по немногочисленным ответам Горького на письма Платонова, касающимся оценки его произведений, Платонов для него – слишком загадочный автор, с неопределенной идеологической позицией, непривычной поэтикой. Наверняка не последнюю роль сыграло здесь и критическое отношение Сталина к творчеству Платонова. Известна его разгромная оценка рассказа «Усомнившийся Макар» и очерка «Впрок». В письме 1934 г. к Л. Мехлис, принимавшему участие во многих его издательских проектах, Горький очень кратко характеризует Платонова: «Ан. Платонов – даровитый человек, испорченный влиянием Пильняка и сотрудничеством с ним» (см.: [Платонов, 2013, с. 404])⁶. В данном случае речь идет об очерке «Че-Че-О», написанном Платоновым совместно с Пильняком еще в 1928 г.⁷ Любопытно, что звание «подпильничника» закрепилось за Платоновым после рапповской критики очерка. Приведенная характеристика – неутешительный итог длящегося несколько лет внимания Горького к творчеству Платонова, начатого сборником «Епифанские шлюзы» (1927), который он высоко оценил и даже рекомендовал к прочтению разным лицам. В целом же приведенные оценки: Зазубрина как «очень талантливого» и Платонова как «даровитого», но испорченного чужим влиянием, – показывают разницу в восприятии Горьким двух писателей, несопоставимых по степени дарования, где первенство, как это ни парадоксально, принадлежит Зазубрину, а не Платонову.

⁶ Любопытна переписка данной Горьким характеристики Платонова с характеристикой осведомителя ОГПУ, сообщившего в секретный отдел 10 декабря 1930 г.: «...когда он только начал писать, на него сразу же обратил внимание Пильняк, помог ему овладеть грамотой. Приобрел этим влияние на него и, конечно, немало напортил» (см.: [Малыгина, 2009, с. 521]).

⁷ Известно сложное отношение Горького к творчеству Пильняка. Горячо поддержав его в начале творческого пути, он резко меняет отношение к Пильняку после размолвки, произошедшей в 1921 г. А после публикации «Повести непогашенной луны» так отзывается о ней в письме А. П. Чапыгину от 17 июня 1926 г.: «Прочитал скандальный рассказ Пильняка “Повесть непогашенной луны” – каково заглавие? Этот господин мне противен, хотя в начале его писательства я его весьма похваливал. Но теперь он пишет так, как будто мелкий сыщик: хочет донести, а – кому? – не решает. И доносит одновременно направо, налево. Очень скверно. И – каким уродливым языком все это доносится!» [Горький, 1955, с. 470]. Хотя в разгар травли писателя в печати в 1929 г., связанной с публикацией в Берлине повести «Красное дерево», Горький неожиданно выступает в защиту Б. Пильняка: «У нас образовалась дурацкая привычка – втаскивать людей на колокольню славы и через некоторое время сбрасывать их оттуда в прах, в грязь. Нужно помнить, что мы все еще не настолько богаты своими людьми, способными помочь нам в нашем трудном и великодушном деле» (см.: [Горький и его эпоха, 1989, с. 5–9]).

Список литературы

- Алейников О. Ю. Андрей Платонов и его роман «Чевенгур». Воронеж: Наука-Юнипресс, 2013. 222 с.
- Булдаков В. П. Гражданская война и проза 1920-х годов // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2013. № 5. С. 113–122.
- Варламов А. Андрей Платонов. М.: Мол. гвардия, 2011. 544 с.
- Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 1. М.: Наука, 1989. 282 с.
- Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 30. М.: Гослитиздат, 1955. 803 с.
- Зазубрин В. Два мира. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1988. 335 с.
- Зазубрин В. Горы // Зазубрин В. Общежитие. Новосиб. кн. изд-во, 1990. 414 с.
- Корниенко Н. Комментарии // Платонов А. Фабрика литературы. М.: Время, 2011. С. 657–715.
- Литературное наследство Сибири: Т. 2. Новосибирск, 1972. 444 с.
- Малыгина Н. «Быть человеком – редкость и праздник» // Платонов А. Усомнившийся Макар: Рассказы 1920-х годов; Стихотворения. М.: Время, 2009. С. 494–544.
- Малыгина Н. Андрей Платонов и литературная Москва: А. К. Воронский, А. М. Горький, Б. А. Пильняк, Б. Л. Пастернак, Артем Веселый, С. Ф. Буданцев, В. С. Гроссман. СПб.: Нестор-История, 2018. 590 с.
- Платонов А. Песчаная учительница // Литературные среды. 1927. № 21. С. 6–7 (Прил. к «Красной газете»; № 221).
- Платонов А. Приключение // Новый мир. 1928а. № 6. С. 136–141.
- Платонов А. Че-Че-О // Новый мир. 1928б. № 12. С. 249–258.
- Платонов А. Чевенгур. М.: Высш. шк., 1991. С. 23–398.
- Платонов А. Первое свидание с А. М. Горьким // Платонов А. Фабрика литературы. М.: Время, 2011. С. 547–552.
- Платонов А. «...Я прожил жизнь». Письма [1920–1950 гг.]. М.: Астрель, 2013. 685 с.
- Проскурина Е. Н. «Общежитие» В. Зазубрина как «неудавшийся» рассказ (на материале критических оценок современников и партцензуры // Сибирский филологический форум. 2018. № 4. С. 4–18.
- Соколов Б. Андрей Платонов и Владимир Зазубрин: утопия и реальность // «Страна философов» Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 2. М.: Наследие, 1995. С. 141–144.
- Шишкин В. И. Еще раз о Рогове и «роговщине» // Октябрь и гражданская война в Сибири. (История. Историография. Источниковедение). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 102–126.
- Яновский Н. Н. Роман «Два мира» В. Я. Зазубрина // Зазубрин В. Два мира. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1988. С. 328–335.
- Яранцев В. Зазубрин. Человек, который написал «Щепку». Новосибирск, 2012. 752 с.

E. N. Proskurina

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, proskurina_elena@mail.ru*

A. Platonov and V. Zazubrin: intersecting parallels

The paper shows the general features of the creative behavior of A. Platonov and V. Zazubrin, with a fundamental difference in the artistic language of writers. Both tried to preserve their own

creative style, their attitude to the revolutionary reality, which in many respects differed from the emerging ideological maxim. The analysis involves the episodes of the novel by A. Platonov “Chevengur,” the novels by V. Zazubrin “Two worlds” and “Mountains,” as well as his novels “Sliver” and the essay “Unmarked roads” which were found to have plot-motif rolls. Previously, an idea was put forward that an essay of Zazubrin could be one of the sources of the novel “Chevengur.” However, the intersections identified in these works are related to the metadialog rather than to the creative reception since in the literature of the 1920s, the plot and motive space was largely the same. It was due to the post-revolutionary historical situation in the country. In addition, on the basis of epistolary, the relations of Zazubrin and Platonov with Gorky, the highest authority for both of them, were analyzed. An unexpected conclusion was made from the analysis performed: Gorky’s participation in the fate of Notch was as active as cautious was his attitude towards Platonov. Perhaps, Zazubrin was more understandable to Gorky as a writer, with his main theme being the struggle between “two worlds.” Platonov turned out to be too mysterious for Gorky, with an uncertain ideological position and unusual poetics. In conclusion, paradoxically, it is Zazubrin that Gorky considers being in the first place, not Platonov.

Keywords: A. Platonov, V. Zazubrin, M. Gorky, “Red Terror” in literature, creative behavior, metadialog, plot, motive.

DOI 10.17223/18137083/67/10

References

- Aleynikov O. Yu. *Andrey Platonov i ego roman “Chevengur”* [Andrei Platonov and his novel “Chevengur”]. Voronezh, Nauka-Yunipress, 2013, 222 p.
- Buldakov V. P. Grazhdanskaya voyna i proza 1920-kh godov [Civil war and prose of the 1920s]. *Humanities research in the Russian Far East*. 2013, no. 5, pp. 113–122.
- Gor’kiy i ego epokha. *Issledovaniya i materialy. Vyp. 1* [Gorky and his era. Research and materials. Iss. 1]. Moscow, Nauka, 1989, 282 p.
- Gor’kiy M. *Sobraniye sochineniy: V 30 t. T. 30* [Collected works: in 30 vols. Vol. 30]. Moscow, Goslitizdat, 1955, 803 p.
- Korniyenko N. Kommentarii [Comments]. In: Platonov A. *Fabrika literatury* [Factory of literature]. Moscow, Vremya, 2011, pp. 657–715.
- Literaturnoye nasledstvo Sibiri: T. 2* [Literary heritage of Siberia. Vol. 2]. Novosibirsk, 1972, 444 p.
- Malygina N. “Byt’ chelovekom – redkost’ i prazdnik” [“Being a man is a rarity and a holiday”]. Platonov A. *Usomnivshiysya Makar: Rasskazy 1920-kh godov; Stikhotvoreniya* [Makar in doubt: Stories of the 1920s; Poems]. Moscow, Vremya, 2009, pp. 494–544.
- Malygina N. M. *Andrey Platonov i literaturnaya Moskva: A. K. Voronskiy, A. M. Gor’kiy, B. A. Pil’nyak, B. L. Pasternak, Artem Veselyy, S. F. Budantsev, V. S. Grossman* [Andrey Platonov and Literary Moscow: A. K. Voronskiy, A. M. Gor’kiy, B. A. Pil’nyak, B. L. Pasternak, Artem Veselyy, S. F. Budantsev, V. S. Grossman]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya, 2018, 590 p.
- Platonov A. Peschanaya uchitel’nitsa [Sand teacher]. *Literaturnyye sredy*. 1927, no. 21, pp. 6–7 (App. to “Krasnoy gazete”, no. 221).
- Platonov A. *Chevengur*. Moscow, Vyssh. shk., 1991, pp. 23–398.
- Platonov A. Pervoye svidaniye s A. M. Gor’kim [First meeting with A. M. Gorky]. In: Platonov A. *Fabrika literatury* [Factory of literature]. Moscow, Vremya, 2011, pp. 547–552.
- Platonov A. Priklucheniye [Adventure]. *Novyy mir*. 1928a, no. 6, pp. 136–141.
- Platonov A. Che-Che-O. *Novyy mir*. 1928b, no. 12, pp. 249–258.
- Platonov A. “...Ya prozhil zhizn’”. *Pis’ma (1920–1950 gg.)* [“...I’ve lived my life”. Letters (1920–1950)]. Moscow, Astrel’, 2013, 685 p.
- Proskurina E. N. “Obshchezhitie” V. Zazubrina kak “neudavshiysya” rasskaz (na materiale kriticheskikh otsenok sovremennikov i parttsenzury) [“Dormitory” V. Zazubrina as a “failed” story (on the basis of critical assessments of contemporaries and party censorship)]. *Siberian Philological Forum*. 2018, no 4, pp. 4–18.
- Shishkin V. I. Eshche raz o Rogove i “rogovshchine” [Once again about Rogov and the “rogovshchina”]. In: *Oktyabr’ i grazhdanskaya voyna v Sibiri (Istoriya. Istoriografiya. Istoch-*

nikovedeniye) [October and the Civil War in Siberia. (History. Historiography. Source studies)]. Tomsk, 1985, TSU Publ., pp. 102–126.

Sokolov B. Andrey Platonov i Vladimir Zazubrin: utopiya i real'nost' [Andrey Platonov and Vladimir Zazubrin: Utopia and Reality]. In: "*Strana filosofov*" *Andreya Platonova: Problemy tvorchestva. Vyp. 2* ["Country of Philosophers" Andrei Platonov: Problems of creativity. Iss. 2]. Moscow, Naslediye, 1995, pp. 141–144.

Varlamov A. *Andrey Platonov*. Moscow, Mol. gvardiya, 2011, 544 p.

Yanovskiy N. N. Roman "Dva mira" V. Ya. Zazubrina [The novel "Two worlds" by V. Ya. Zazubrin]. In: Zazubrin V. *Dva mira* [Two worlds]. Novosibirsk, Novosib. kn. izd., 1988, pp. 328–335.

Yarantsev V. *Zazubrin. Chelovek, kotoryy napisal "Shchepku"* [Zazubrin. The man who wrote the "Sliver"]. Novosibirsk, 2012, 752 p.

Zazubrin V. *Dva mira* [Two worlds]. Novosibirsk, Novosib. kn. izd., 1988, 335 p.

Zazubrin V. Gory [The mountains]. In: Zazubrin V. *Obshhezhitie* [Dormitory]. Novosibirsk, Novosib. kn. izd., 1990, 414 p.

Г. А. Жиличева

Новосибирский государственный педагогический университет

Чаплин в нарративе Ю. Олеши

Рассматривается функционирование чаплинского кода в творчестве Ю. Олеши. Дневниковые записи, статьи, художественные произведения анализируются в контексте кинопоэтики писателя. Устанавливается, что Ю. Олеша интерпретирует взаимодействие языков кино и литературы и как синтетическую, и как конфликтную коммуникацию, демонстрирует как единство визуальных фантазмов разных искусств, так и их принципиальный антагонизм. Многочисленные отсылки к кинообразам Чаплина в текстах Олеши обусловлены не только общим «киноцентризмом» эпохи постсимволизма, но и особенностями «личного мифа» автора, а именно концепцией метафизической «нищеты» творца в «новом» мире. Появление в художественных текстах персонажей, обладающих атрибутами «бродяги Чарли», меняет и тип сюжетной интриги (в событийный ряд привносятся мотивы цирка, театра, кинематографа), и тип повествовательной организации (меняется грамматическое время, вид нарратора). Делается вывод о том, что чаплинский код выполняет метанарративные функции: выступает в роли ключевого элемента кинопоэтики, индексирует балаганную картину мира, встраивается в систему рассуждений о природе творчества.

Ключевые слова: Чаплин, Ю. Олеша, кинопоэтика, метанаррация, «личный миф».

Изучение влияния кинематографа на русскую литературу часто привлекает внимание современных исследователей [Ханзен-Леве, 2016]. В этапных работах по данной проблеме были сформулированы принципы интермедиального взаимодействия и исторические закономерности рецепции киноязыка: Ю. Г. Цивьян приходит к выводу о кинематографичности литературных произведений XX в. [Цивьян, 1991], И. П. Смирнов считает киноман центром жанровой системы модернизма [Смирнов, 2009], Р. М. Янгиров рассматривает киноконтексты литературы эмиграции и метрополии 1920–30-х гг. [Янгиров, 2006]. Более того, некоторые исследователи полагают, что искусствоведческое осмысление киноэстетики (например, в трудах С. Эйзенштейна) повлияло на становление метаязыка литературоведения [Ефименко, 2017]. Например, в работах формалистов общетеорети-

Жиличева Галина Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета (ул. Виллойская, 28, Новосибирск, 630126, Россия; gali-zhilich@yandex.ru)

ческие и прикладные аспекты анализа литературных явлений были рассмотрены сквозь призму киноведческой проблематики [Тарасов, 2006].

Не ставя перед собой задачу системного описания кинопоэтики Ю. Олеши, сосредоточимся на анализе роли чаплинского кода в дневниках, статьях, художественных текстах писателя. На наш взгляд, часто встречающиеся отсылки к кинообразам Чаплина в произведениях Олеши обусловлены не только общим «киноцентризмом» эпохи, но и особенностями «личного мифа» автора.

Необходимо отметить, что творчество знаменитого актера и режиссера неоднократно становилось материалом для литературных сюжетов и эстетической рефлексии. О. Буренина, например, полагает, что русские символисты, увлеченные театральными проектами Г. Крэга, увидели в кинофильмах Чаплина реализацию идеи метаморфозы человека в «сверхмарионетку», прорывающуюся в трансцендентное: «Чарли Чаплин создал из своего тела иллюзию кукольного. Движения его героя – чистая кинематика, отвлеченная от физических свойств» [Буренина, 2005, с. 190]. Чаплин воспринимается как воплощение синтеза зрелищных искусств (цирка, театра, кинематографа).

Характерно, что литературные «проекции» Чаплина создаются и в постсимволистской художественной культуре. Так, исследователи творчества О. Мандельштама обнаруживают, что мотив кинематографа является одним из центральных в художественной системе поэта. При этом в стихотворениях «Я прошу как жалости и милости...», «Чарли Чаплин вышел из кино...» Чаплин выступает в роли альтер-эго лирического героя [Куликова, 2010; Черашняя, 2011; Бассель, 2015].

Поскольку литература постсимволизма проблематизирует возможность присутствия трансцендентного в наличном миропорядке, кинематографические аллюзии могут использоваться как знак искусственной, неподлинной реальности. Чаплин из «фигуры синтеза», объединяющей мистику и балаган, превращается в «фигуру деконструкции» – маргинала, противопоставленного автоматизму окружающего пространства.

В дневниковых заметках и статьях Олеши кинематограф Чаплина предстает как парадоксальное сочетание поэтического и грубо-материального начал. Лирическая сфера проявляется в «романтизме» образов и глубине постижения природы человека: «Полна поэзии сцена в “Огнях большого города”, когда Чаплин, начиная догадываться, что девушка слепая, подносит к ее глазам цветов» [Олеша, 2015б, с. 965]. Поэтому Чаплин ассоциируется с поэтическим кумиром Олеши – Маяковским: «Я видел фильмы раннего, совершенно еще немного кино, в которых играет Маяковский. <...> Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко: то же понимание, что человек обречен на грусть и несчастья, и та же вооруженность против несчастий – поэзией» [Олеша, 2015а, с. 153–154]. Главный атрибут поэта – голос – воплощен жестами и пластикой, кино и литература обнаруживают общий лирический подтекст.

Однако лиризм пародируется буффонадой: вспоминая о своем первом впечатлении от Чаплина, Олеша воспроизводит в дневнике сцену комического глумления бродяги над поэтом.

Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне необыкновенной... <...>

Станный, очень смешной человечек, как показалась мне тогда, с большой волосатой головой портного, проходя мимо шедшего с раскрытой книгой и о чем-то замечавшегося поэта, кладет ему на страницу разбитое тухлое яйцо. Тот как раз захлопывает книгу. Ужас, вонь, главное – разочарование: только что были стихи, вдруг такая гадость! [Там же, с. 392].

В отличие от предыдущего фрагмента, где Маяковский и Чаплин гибридизируются, здесь единство актера-лирика распадается, появляются персонажи-антагонисты. Взаимодействие героев делает очевидным сущностный конфликт вербального и невербального, литературного (книга) и материального (тухлое яйцо), актуализированный немой кинематографом. Данная проблема важна для Олеши, ведь сюжеты его произведений базируются на антитезе нереализованного поэтического эйдоса (поэт Николай Кавалеров в «Зависти» обречен на молчание) и гипертрофированных телесных «аттракционов» (падения, полеты, скандалы, драки).

В логике Олеши воздействие кинематографа на зрителя аналогично воздействию литературы: погружаясь в созерцание удачного кадра, зритель способен испытать катарсис, подобный переживанию литературного фантазма.

Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего колизея, который будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек-людей. Потом мелькнули крупным планом две почти голые, шевелящиеся веерами и залитые солнцем испанки. Потом средним планом я увидел пикадора верхом на лошади, которую, поджидая быка, он заставлял стоять почти на месте и сжато, пружинисто перебирать ногами. Черный бык среди пустоты арены бежал спиной ко мне с двумя воткнутыми в него шпагами в лентах, напоминая поврежденное насекомое, никак не умеющее подобрать волочащиеся надкрылья. И тут кадр заполнился почти во всю свою величину двумя фигурами – быка и матадора! <...> Я чувствовал в эти несколько мгновений, пока колыхался передо мной этот темный, как бы тяжело дышащий кадр с быком и матадором, приведенными в движение, тайные и очень мощные силы души. Я был и женщиной, влюбленной в матадора, и, наоборот, как раз больше всего презирал в эту минуту женщин, и все время у меня стучало сердце, и я готов был кричать вместе с этим древним цирком [Олеша, 2015а, с. 205].

Очевидно, что через остановленный «кадр» кинохроники писатель смотрит на собственный художественный мир, отмечая в чужом «языке» свои любимые приемы: развернутые метафорические ряды, быструю смену планов и повествовательных точек зрения, взаимодействие субъекта и «коллективного тела», мотивы цирка.

Однако неудачное запечатление жизни на пленке обнажает несовпадение дискурсов литературы и кинематографа, камера проигрывает воображению поэта, способного визуальный феномен превратить в вербальный:

...Видел в сквере перед домом правительства, как кинохроника снимала фонтан. Они всегда снимают так, что создается впечатление, что люди возятся, тянут, канительятся. <...> Что касается фонтана, то он был великолепен. Во-первых, белый, дымный, во-вторых, широкоплечий, в-третьих, вызывающий жуткую мысль о том, чтобы его открыть в комнате, в-четвертых, навевающий прохладу, в-пятых, падающий всеми своими лапами в бассейн, который, как это ни странно, – зелен и в котором плавают листья... Идиоты с киноаппаратом казались в сравнении с фонтаном отталкивающими [Там же, с. 207].

В отличие от своих современников, которые считали заслугой Чаплина разрыв с «литературщиной» [Балаш, 1925], Олеша воспринимает его фильмы амбивалентно, видит в них не только новаторские киноприемы, но и литературные ассоциации: «Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса...» [Там же, с. 394]

В эссе «Мысли о Чаплине» (1936) персонажи, созданные режиссером, интерпретируются как продолжение литературной традиции.

Эта фигурка старомодна. Мы где-то уже встречались с ней. Видя Чаплина, нельзя не вспомнить иллюстраций к Диккенсу, к Гюго. <...> Это стремление соединить в одной художественной системе современность и милые сердцу художника литературные воспоминания составляет, вероятно, одну из главных трудностей, стоящих перед Чаплином в преодолении материала. Он входит в среду современного капиталистического города целым сонмом образов, которые некогда поразили его воображение. Это образы из старых книг: великан, нищий, слепая девушка, добрый богач, вор, подкидыш [Олеша, 2015б, с. 966].

Отношения литературного прошлого и кинематографического настоящего интерпретируются автором в духе уже запрещенных идей формализма («преодоление материала»). Можно предположить, что Олеша (как и деятели ОПОЯЗа) воспринимает язык кино в качестве актуального «вызова», провоцирующего филологическую мысль эпохи. Так, Олеша, обнаруживая киноэффекты в классических произведениях, подвергает их своеобразной рецептивной «модернизации».

У Чехова есть удивительный рассказ «Устрицы». <...> Иногда кажется, что этот рассказ не мог быть написан русским писателем в 1884 году. <...> Это городская фантазия, которая могла бы прийти в голову писателю, знакомому с эстетическими настроениями таких художников, как, например, Чаплин или французские режиссеры, работавшие в группе «Авангард» [Олеша, 2015а, с. 228–229].

Однако, согласно логике Олеша, кинематограф не может преодолеть литературу, предполагающую свободу воображения субъекта. Поэтому Чаплин «архаизируется», превращается в писателя:

Когда разворачивается перед нами фильм «Огни большого города», названный Чаплином комическим романом, вам кажется, что кинематограф изобретен очень давно и что в ряду великих художников девятнадцатого века, писавших о богатых и бедных, был также один, который ставил фильмы [Олеша, 2015б, с. 966].

Таким образом, литература и кинематограф понимаются как эстетические системы, транслирующие разные ипостаси работы воображения, а Чаплин осознается как кинематографическое альтер-эго Олеша.

В дневниках писатель неоднократно фиксирует свое сходство с Чаплином:

...Я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность «веком преступлений». Никто не выделял этой фразы в сценарии, выделял ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплином в Лондоне, режиссер Герасимов вдруг при мне же, не зная, что это мне близко, говорит, что Чаплин, по его словам, и весь фильм поставил ради этой фразы [Олеша, 2015а, с. 394–395].

Мысли о Чаплине возникают даже в периоды духовных катастроф. В одной из записей признаком старости Олеша называет потерю интереса к зрелищам, но воспоминание о Чаплине пробуждает воспоминание о визуальных удовольствиях молодости:

Мне не хочется видеть зрелища, которые дается мне возможность увидеть, – новые, еще не виданные мной зрелища: так я не пошел на китайскую оперу, от которой, послушав ее, пришел в восторг Чаплин. <...>

На новый фильм Чаплина, если бы его у нас показывали, я бы, пожалуй, рвался... Какой был интерес ко всему, когда я был молод и только начинал свою литературную деятельность. Я помню, как с Ильфом мы ходили в кино, чтобы смотреть немецкие экспрессионистские фильмы с участием Вернера Крауса и Конрада Вейдта и американские с Мэри Пикфорд или с сестрами Толмэдж... [Олеша, 2015а, с. 329]

В то же время Чаплин воспринимается как автореферентная фигура, связанная с размышлениями о лиминальной природе творчества.

Ж. Делез, рассуждая о типах знаков в кинематографе, усматривает в игре Чаплина особые жесты и походку, вычерчивающие «мировую линию» во времени и пространстве [Делез, 2004, с. 121]. Трансгрессивная природа бродяги подчеркивается Делезом и Гваттари в «Анти-Эдипе»: «Главный герой, которого играет Чаплин, не должен быть пассивным или активным, согласным или несогласным, поскольку он – всего лишь кончик карандаша, который чертит чертеж, он есть сама эта черта...» [Делез, 2007, с. 598–599]

Протеизм Чаплина, который может, не меняя стандартного облика, изобразить любого, позволяет Олеше из текста в текст повторять по отношению к актеру слово «человечек», приобретающее смысл обозначения человека вообще. Однако комическое «оживление» маски сочетается с маргинальным существованием трикстера, «бытием в смерти», сближающего шута с поэтом. Неслучайно Олеша всерьез рассуждает о том, что Чаплину необходимо было сыграть Эдгара По. «Почему Чарли не пришло в голову сыграть Эдгара По? Там нет комического? Можно было бы найти...» [Олеша, 2015а, с. 392]

Лиминальная ипостась Чаплина манифестирует контекст личной мифологии, связанной с образом нищеты. В. Десятов, А. Куляпин приходят к мысли о сознательном выстраивании писателем образа нищего короля¹.

В своеобразном пантеоне нищих гениев, создаваемом Олешей (в дневниках упоминаются Данте, Моцарт, Уайлд, Толстой и др.), Чаплин занимает особое место: экранный образ бродяги приносит миллионы долларов дохода. Важно и то, что родственные имена Шарль, Чарли и Карл (патроним Олеси – Карлович) отсылают к «королевской» семантике.

Характерно, что сочетание черт короля и нищего в персонажах Чаплина отмечалось в искусствоведении. Я. Мукашжовский пишет о структуре героя фильма «Новые времена»: «...нищий со светскими замашками. Этим дана основа интерференции, интегрирующей эмоциональный признак светских жестов – ощущение самоуверенного и высокомерного пренебрежения к нижестоящим, между тем как экспрессивные жесты Чаплина-нищего группируются вокруг комплекса ощущений собственной неполноценности» [Мукашжовский, 1994, с. 425].

Интересно, что Чаплин в автобиографии определяет нищету как «первичную травму»: «В отличие от Фрейда я не верю, что секс является определяющим фактором в комплексе поведения человека. Мне кажется, холод, голод и позор нищеты гораздо глубже определяют его психологию» [Чаплин, 1966, с. 114]. Как бы продолжая эту логику, свое эссе о Чаплине Олеша завершает парадоксом:

Говорят, что Чаплин собирается ставить фильм о самом себе. Он был нищим – и стал знаменитым и богатым. Но это не принесло ему счастья, и, отказавшись от богатства и славы, он вновь становится бродягой [Олеша, 2015б, с. 967].

¹ Десятов В. В., Куляпин А. И. «Заклятые сумы и венца»: именные мифологии Николая Гумилева и Юрия Олеси // Ликбез: Лит. альманах. URL: http://www.lik-bez.ru/articles/criticism_reviews/critica_recensii/article1765 (дата обращения 12.12.2018).

Выпадение из иерархии социума, существование в «нулевой» точке, осознается Олешей как расплата за творческий дар:

Поэты, кстати, по Данте, пребывают ни в Аду, ни в Чистилище, ни в Раю. Они – нигде, в городе, который называется Лим, среди сумерек [Олеша, 2015а, с. 244].

Появление типологически близких Чаплину персонажей в художественных текстах Олеси привносит в сюжет детали, связанные с балаганом, цирком, театром, кинематографом.

Иван Бабичев в «Зависти» обладает атрибутами Чаплина:

Если можно соединить неопрятность со склонностью к щегольству, то ему это удалось вполне. Например: котелок. Например: цветок в петлице» [Олеша, 1999, с. 76].

Повествователь сравнивает героя с актером, фокусником, акробатом, режиссером, а его «выступление» в пивной характеризует как набор «трюков».

Неуклюжий и никак не подготовленный к подобным трюкам, он лез по головам, хватаясь за пальмовые листья; разбивались бутылки, повалилась пальма... <...> Он швырнул кружку и, выхватив из чьих-то рук гармонию, распустил ее по брюху. Стон, извлеченный им, вызвал бурю; под потолок взлетели бумажные салфетки... [Там же, с. 77]

Кроме того, чаплинская смысловая сфера влияет на повествовательную организацию произведения. Например, первое впечатление Кавалерова от Ивана Бабичева излагается в настоящем времени, разрывает хронологическую последовательность эпических событий. Презентация героя похожа на сценарную раскладку, содержит слово-маркер «человечек»:

Толстенький человек снимает головной убор, вытягивает руку, машет головным убором (котелок? Кажется, котелок!), вежливость его аффектирована. Андрея на балконе уже нет, человечек, быстро сея шажки, удаляется серединой улицы [Там же, с. 32].

В финале первой части романа Бабичев попадает в поле зрения Кавалерова «кинематографически», из зеркала:

Я продолжал думать про оптические обманы, про фокусы зеркала и потому спросил подошедшего, еще не узнав его: – С какой стороны вы подошли? [Олеша, 1999, с. 68]

Предыстория героя, помещенная после этого эпизода, становится композиционной границей, отделяющей «я»-повествование первой части романа от «он»-повествования второй, то есть маскирует нарративный трюк – подмену повествовательной инстанции (от записок Кавалерова – к рассказу нарратора).

Иван легко вписывается в «кинореальность»: создатель воображаемой машины Офелии, он включается не только в поле литературных аллюзий (Шекспир, Гофман, Уэллс), но и в интермедиаальную сферу. И. П. Смирнов обнаруживает, что в сюжет романа «Зависть» включены мотивы нескольких кинофильмов: машина Офелия восходит к женщине-автомату из «Метрополиса» Ф. Ланга, Андрей Бабичев – к герою фильма П. Вегенера «Голем, как он пришел в мир» [Смирнов, 2012].

Отметим, что Кавалеров включается в ряд кинообразов – он похож на Чаплина (одежда не по размеру, пиджак на одной пуговице, низкий рост, нищета) и в какой-то степени является двойником Ивана Бабичева (оба героя названы «комика-

ми»: «Теперь уже два комика шли вместе» [Олеша, 1999, с. 85]. Для описания событий поэт использует визуальные метафоры², в том числе и кинематографические: «Голубой и розовый мир комнаты ходит кругом в перламутровом объективе пуговицы» [Там же, с. 20]. Однако Кавалеров, погруженный в контекст европейской литературы, не может органически существовать в новом «кином мире»: человек-машина Володя Макаров, голем Бабичев, Офелия-автомат приводят его в ужас.

Неловкость героя во время футбольного матча (он не может вернуть на поле попавший на трибуну мяч) как бы разрывает пленку «кинохроники», обнажает иллюзорность, «смонтированность» происходящего.

Вдруг мяч... взлетел... в сторону Кавалерова. Игра остановилась. <...> *Так разом останавливается фильм в момент разрыва пленки*, когда в зал уже дают свет, а механик еще не успел выключить света, и публика видит странно побелевший кадр и контуры героя, абсолютно неподвижного в той позе, которая говорит о самом быстром движении. <...> Все тысячи в эту минуту, насколько могли, одарили Кавалерова непрошеным вниманием, и внимание это было смешливым³ [Там же, с. 117].

Данный фрагмент акцентирует негативную символику кинематографической коммуникации: «пленка» лишает Кавалерова «субъектности», превращая в «объект» разглядывания и осмеяния.

Характерно, что в дневнике, размышляя о киноприемах в литературном произведении, Олеша в качестве примера приводит эпизод из «Божественной комедии» Данте, соотнося кинематограф и смерть.

Данте умел уже мыслить кинематографически.

У него есть в «Аду» место, когда Медуза-Горгона, которая, как известно, превращает своим взглядом человека в камень, уже готова была посмотреть на Данте... Это заметил шедший с поэтом Вергилий. <...> ...И он бросился между чудовищем и Данте, чтобы закрыть его собой, не дать взгляду медузы остановиться на живом госте Ада.

Нельзя не оценить это как именно кинематографическую сцену. Представьте себе этот рывок Вергилия, его быстро шагнувшую ногу в сандалию, свист его ноги... Кино! Колоссальная по художественности сцена – чудовище из древнего мифа, древний поэт, живой поэт, необширная площадка для действия, причем в Аду, человеческое движение души... [Олеша, 2015а, с. 354]

В данном случае, в отличие от эпизода на стадионе, Вергилий спасает живого человека от «умерщвляющего» взгляда камеры-Медузы. Однако у фрагментов есть и важное сходство: отношения литературы и кинематографа и в том и в другом случае метафоризируются как столкновение художественной системы со своим «инобытием». При этом два дискурса могут быть «зеркалом» друг для друга или вступать в эстетический конфликт.

Мотивы романа «Зависть» воспроизводятся и в последующих текстах Олеша. Так, в переделке для сцены романа «Заговоре чувств» герои сохраняют чаплинскую атрибутику: у Кавалерова – пиджак на одной пуговице, у Ивана Бабичева – котелок и цветок в петлице.

А н д р е й. Вам надо, Кавалеров, познакомиться с братом моим. Вы найдете общий язык. <...> Шел мой брат вчера днем по Петровскому буль-

² О визуальности творчества Олеша см.: [Beajour, 1970].

³ Здесь и далее курсив наш.

вару. Я с остановки смотрел. Шел он и подушку за ухо нес. А за ним дети бежали. Чудак. Шагает, шагает, потом остановился, котелок снял и во все стороны кланяется.

<...>

К а в а л е р о в. Он стоял посреди мостовой. Котелок съехал на затылок. Маленький толстенький человечек стоял посреди мостовой, задрал голову... [Олеша, 2015в, с. 389–390]

Одна из сцен первой редакции пьесы «Заговор чувств» называлась «Я нищий в этом новом страшном мире». За две недели до премьеры пьесы, которая состоялась 13 марта 1929 г., в авторецензии для еженедельника «Современный театр» Олеша написал:

Мятежного молодого человека в моей пьесе зовут Николай Кавалеров. Однажды замечает он, что на грани двух эпох оказался он лишенным прошлого и не имеющим надежд на будущее. Оказался он нищим [Олеша, 2015г, с. 852].

В «пьесе для кинематографа “Строгий юноша”» (1934) отсылка к Чаплину появляется в ключевой символической сцене сновидения главного героя. Персонаж «старого» мира по фамилии Цитронов, описанный в чаплинско-бабическом ключе, «побеждается» персонажем нового мира – комсомольцем Дискоболом.

А Дискобол в саду.
Он берет поднос с пирожными.
Появляется Цитронов.
Он бежит за воров.
Вор с подносом лезет через ограду.
Выбегает публика.
Все стоят полукругом.
Отпрянули.
Боятся.
Вор сидит на ограде.
Цитронов бросается за ним.
Вор, как Чаплин, кидает в него пирожными.
Кремовые пирожные.
Лицо Цитронова залеплено кремом [Олеша, 2015д, с. 527–528].

А. Блюмбаум отмечает: «Стремление спустить творчество с интеллигентских небес на советскую землю закономерно оборачивается изгнанием Цитронова... <...> Заняв место на постаменте, Дискобол поначалу застывает, превращаясь в скульптуру, а затем, “оживая”, закидывает Цитронова тортами» [Блюмбаум, 2008]. Однако амбивалентность конфликтной ситуации подчеркнута тем, что «битва» маркирована буффонадными приемами чаплинской комедии, то есть герои-антагонисты становятся двойниками.

Наиболее развернутым чаплинский код предстает в пьесе Олеси «Список благодетелей» (1931). Главная героиня пьесы, актриса Леля Гончарова, исполняет роль Гамлета, но мечтает уехать из СССР, чтобы посмотреть фильмы Чаплина.

Л е л я. Я уезжаю завтра. Ключ от комнаты передается вам, Катерина Ивановна. Заходите иногда снять паутину с моего Чаплина. (На стене большой портрет Чаплина. К портрету.) Чаплин, Чаплин! Маленький человек в штанах с бахромой. Я увижу твои знаменитые фильмы. Катя... я увижу «Цирк» и «Золотую лихорадку». Весь мир восторгался ими... Прошли годы... а мы до сих пор не видели их.

<...>

Л е л я. Я приеду в Париж. <...> И где-нибудь на окраине в осенний вечер в маленьком кинотеатрике я буду смотреть Чаплина и плакать. (Пауза.) Это путешествие в юность.

<...>

Л е л я. ...Добиться славы – значит стать выше всех... Вот почему я буду плакать, смотря фильмы Чаплина. Я буду думать о судьбе маленького человека, о сладости быть униженным и отомстить, о славе [Олеша, 2015е, с. 442–445].

В первом варианте пьесы, реконструированном В. Гудковой по черновикам, объяснение тяги Гончаровой к Чаплину дается более развернуто:

Л е л я. ...Я понимаю, почему так любят Чаплина на Западе. Не только потому, что он великий артист. Он великий артист потому, что он воплощает главную тему европейца. Тему нищего, который становится богатым. Это сказка о «гадком утенке». «Золотая лихорадка». Знаменитая картина Чаплина. Маленький человечек в штанах с бахромой, жалкий городской человечек хочет найти золото... Идет снег... Золото ищут сильные, отчаянные люди, убийцы Голиафа. Маленький человечек смешон, над ним издеваются. Он очень одинок. И вдруг он оказывается самым счастливым среди всех, он находит золото – он богач, победитель. Вот это и есть самая обольстительная идея капиталистического мира: одинокий путь нищего, который добивается успеха. Тема Чаплина [Гудкова, 2002, с. 192].

Однако в Париже героиня попадает в ситуацию обратной метаморфозы – превращается в старуху-нищенку. На улице Леля встречает человечка по имени Шарль, похожего на Чаплина:

Зажигается фонарь над их головами. И в свете его обнаруживается большое сходство с Чаплином. Котелок, шевелюра, усики, грубые большие сапоги, тросточка... [Олеша, 2015е, с. 477]

В логике Олеси Гамлет и Чаплин (принц и нищий) – двойники⁴. Дважды в пьесе Леля произносит монолог Гамлета из сцены с флейтой (в советском театре и парижском мюзик-холле с шекспировским названием «Глобус»). Шарль – флейтист, он упоминает, что участвовал в постановках «Гамлета», поэтому называет фонащика могильщиком, а Лелю, лежащую в канаве, – Офелией. При этом, по наблюдению Гудковой, поведение персонажа отсылает к «Золотой лихорадке» – Шарль говорит, что ищет золото [Гудкова, 2002, с. 184].

В первой сцене пьесы – сцене диспута – Орловский упрекает Гончарову за то, что она предпочитает западное кино советскому.

⁴ Интересно, что современники ассоциировали Чаплина с Гамлетом. Так, статья Бенджамина де Кассереса в Нью-Йорк Таймс от 12 декабря 1920 г., содержащая фрагменты интервью артиста, называется «Гамлеподобная природа Чарли Чаплина». Автор пишет: «...but there is no man I have ever met who, intellectually and emotionally, comes nearer to the Hamlet-type of being than Charles Spencer Chaplin. <...> I asked him... “Would you like to play Hamlet?”» («...я ни разу не встречал никого, кто больше соответствовал бы гамлетовскому типу, чем Чарлз Спенсер Чаплин. <...> Я спросил его... “Хотели бы вы сыграть Гамлета?”»). Интересен ответ Чаплина: «I am too tragic by nature to play Hamlet. <...> Only a great comedian can play the Dane» («По натуре я слишком трагичен, чтобы сыграть Гамлета. <...> Датчанина может играть только великий комик»). Перевод наш. – Г. Ж.) [Casseres de, 1920].

Л е л я. «Что вы будете делать за границей?» – Ну, что ж... по специальности... ходить в театры, знакомиться с артистами... смотреть знаменитые кинофильмы, которые мы никогда не увидим здесь.

О р л о в с к и й (звонит). Товарищ Гончарова слишком высокого мнения об иностранной кинопродукции. Наши фильмы, например, «Броненосец Потемкин», «Турксиб», «Потомок Чингисхана», завоевали себе полное признание в Европе [Олеша, 2015е, с. 440].

В последней сцене пьесы революционное кино «настигает» Лелю: в соответствии с эстетикой советских фильмов актриса в толпе бедняков идет штурмовать Париж («разбитые» глаза героини отсылают к киноязыку Эйзенштейна).

В финале «Списка благодетелей» Леля как будто «застывает» в кадре: в первом варианте пьесы – возносится над толпой в «статичной позе», во втором – мертвая лежит на площади. В рукописи Олеша этот фрагмент назван «сценарием».

/Финал/

Сценарий.

<...>

Залп. Леля падает.

Внизу оркестр безработных.

Она падает на оркестр.

Оркестр начинает играть. Скажем, Бетховена.

Звук поднимает Лелю.

Секунду она стоит над толпой – седая, с разбитыми глазами, босая, нищенка [Гудкова, 2002, с. 232].

Встреча Лели-Гамлета и Шарля-Чаплина символизирует встречу литературы, театра и кино, объединенного темой судьбы творца в «новом» мире. Однако выход за пределы чаплинской реальности в идеологизированное кинопространство катастрофичен для нищих визионеров.

Таким образом, чаплинский код выполняет метанарративные функции: выступает в роли ключевого элемента кинопоэтики, индексирует балаганную картину мира, привлекает внимание читателя к образу нищего гения, базового для личного мифа Олеша, встраивается в систему рассуждений о природе творчества.

Список литературы

Балаш Б. Культура кино. Л.: Гос. изд-во, 1925. 90 с.

Бассель А. В. Стихотворный текст как симфония киноприемов (Экспериментальный анализ стихотворения О. Э. Мандельштама «К немецкой речи») // Вестн. РГГУ. Сер. История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2015. № 2. С. 73–84.

Блюмбаум А. Б. Оживающая статуя и воплощенная музыка: контексты «Строгого юноши» // Новое литературное обозрение. 2008. № 89. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/bl10.html> (дата обращения 20.12.2018).

Буренина О. Д. Символистский абсурд и его традиции в русской литературе и культуре первой половины XX века. СПб.: Алетейя, 2005. 322 с.

Гудкова В. Ю. Олеша и Вс. Мейерхольд в работе над спектаклем «Список благодетелей». М.: НЛО, 2002. 604 с.

Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2004. 624 с.

Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: капитализм и шизофрения. Екатеринбург: У-Фактория, 2007. 672 с.

- Ефименко А. Е. А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов: поиски порождения текста // Профессия: литератор. Год рождения: 1937: Коллективная моногр. Елец: Изд-во Елец. ун-та, 2017. С. 163–173.*
- Куликова Е. Ю. О мандельштамовском путешествии к Вийону // Вестн. Удмурт. гос. ун-та. История и филология. 2010. Вып. 4. С. 3–11.*
- Мукаржовский Я. Опыт структурного анализа актерской индивидуальности (Чаплин в «Огнях большого города») // Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 420–427.*
- Олеша Ю. Зависть. М.: Вагриус, 1999. 414 с.*
- Олеша Ю. Книга прощания. М.: ПрозаиК, 2015а. 494 с.*
- Олеша Ю. Мысли о Чаплине // Олеша Ю. Ни дня без строчки: романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, воспоминания. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2015б. С. 964–967.*
- Олеша Ю. Заговор чувств: Пьеса // Олеша Ю. Ни дня без строчки: романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, воспоминания. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2015в. С. 385–439.*
- Олеша Ю. Заговор чувств: Статья // Олеша Ю. Ни дня без строчки: романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, воспоминания. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2015г. С. 852–855.*
- Олеша Ю. Строгий юноша // Олеша Ю. Ни дня без строчки: романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, воспоминания. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2015д. С. 498–549.*
- Олеша Ю. Список благодеяний // Олеша Ю. Ни дня без строчки: романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, воспоминания. СПб.: Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2015е. С. 439–498.*
- Смирнов И. П. Видеоряд. Историческая семантика кино. СПб.: Петрополис, 2009. 402 с.*
- Смирнов И. П. Роман и смена эпох: «Зависть» Юрия Олеши // Звезда. 2012. № 8. С. 11–19.*
- Тарасов А. В. Кинематограф М. А. Булгакова. К проблеме кинематографичности художественного мышления писателя: Автореф. дис. ... канд. культурол. наук. Ярославль, 2006. 23 с.*
- Ханзен-Леве О. Интермедиальность в русской культуре. От символизма к авангарду. М.: РГГУ, 2016. 450 с.*
- Цивьян Ю. Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896–1930. Рига: Зинатне, 1991. 492 с.*
- Чаплин Ч. С. Моя биография. М.: Искусство, 1966. 496 с.*
- Черашняя Д. И. Феномен «последнего дня поэта» (Стихи О. Мандельштама мая – июля 1937 г.) // Филологический класс. 2011. № 25. С. 22–27.*
- Янгиров Р. М. «Чувство фильма»: заметки о кинематографическом контексте в литературе русского зарубежья 1920–1930-х годов // Империя N. Набоков и наследники: Сб. ст. М.: НЛЮ, 2006. С. 399–429. 544 с.*
- Beaujour E. The Invisible Land: A Study of the Artistic Imagination of Iurii Olesha. New York; London: Columbia Univ. Press, 1970. 222 p.*
- Casseres de B. The Hamlet-Like Nature of Charlie Chaplin // The New York Times. Dec. 12, 1920. URL: <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1920/12/12/112665536.pdf> (дата обращения 17.11.2018).*

G. A. Zhilicheva

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russian Federation
gali-zhilich@yandex.ru

Chaplin in Yuri Olesha's narrative

This paper deals with the role of the "Chaplin code" in Yuri Olesha's narrative. Olesha's journal entries, essays, and literary works are analyzed regarding his personal "cinematic poetics." This work suggests that Olesha views the relationships between the languages of cinema and literature as a form of synthesis and, at the same time, as a conflicting communication. His works show visual phantasmata not only as being universal in different forms of art but also as being essentially antithetic to one another.

Olesha's journal entries refer to Chaplin's method as a mixture between poetic sentiment and buffoonery. Moreover, Olesha regards Chaplin as a self-referential figure who contaminates the traits of a poet and a trickster and represents a part of a larger personal myth of an artist who (metaphysically) becomes a beggar in the "new world." In Olesha's literary works, the presence of characters who refer to "the Tramp" or share some of his attributes can influence the intrigue (adding the motifs of circus, theatre, and cinema) as well as the structure of the narrative (changing narrative tense and narrative voice). For example, in "Zavist' (Envy)," Kavalero and Ivan Babichev both share some of "the Tramp's" features (appearance, clothing, stagey behavior, lack of money). In addition, the text sometimes refers to both of them as "comedians."

The paper concludes with the claim that the "Chaplin code" plays several metanarrative roles: it indexes the "balagan-type" worldview, serves as a key element of cinematic poetics, and, overall, becomes the essential part of Olesha's ideas regarding the nature of artistic creation.

Keywords: Chaplin, Yu. Olesha, cinematic poetics, metanarration, personal myth.

DOI 10.17223/18137083/67/11

References

- Balázs B. *Kul'tura kino* [Culture of Film]. Leningrad, Gos. izd., 1925, 90 p.
- Bassel A. Stikhotvornyy tekst kak simfoniya kinopriemov (Eksperimental'nyy analiz stikhotvoreniya O. E. Mandel'shtama "K nemetskoy rechi") [Poetic text as a symphony of cinematographic devices (an experimental analysis of O. Mandelstam's poem "To the German tongue")]. *RSUH Bulletin. Series: History. Philology. Cultural Studies. Oriental Studies*. 2015, no. 2, pp. 73–84.
- Beaujour E. *The invisible land: A study of the artistic imagination of Iurii Olesha*. New York; London, Columbia Univ. Press, 1970, 222 p.
- Blumbaum A. B. Ozhivayushchaya statuya i voploshchennaya muzyka: konteksty "Strogogo yunoshi" [The animated statue and music incarnate: Contexts of "a strict young man"]. *New Literary Observer*. 2008, no. 89. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2008/89/bl10.html> (accessed 20.12.2018).
- Burenina O. D. *Simvolistskiy absurd i ego traditsii v russkoy literature i kul'ture pervoy poloviny XX veka* [Symbolist absurd and its traditions in Russian literature and culture of the first half of the 20th century]. St. Petersburg, Aleteyya, 2005, 322 p.
- Casseres de B. The Hamlet-Like Nature of Charlie Chaplin. *The New York Times*. 1920, Dec. 12. URL: <https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1920/12/12/112665536.pdf> (accessed 17.11.2018).
- Chaplin Ch. S. *Moya biografiya* [My autobiography]. Moscow, Iskusstvo, 1966, 496 p.
- Cherashnyaya D. I. Fenomen 'poslednego dnya poeta' (Stikhi O. Mandel'shtama maya – iyulya 1937 g.) [The phenomenon of 'the poet's last day' (The works of Osip Mandelstam from May to July, 1937)]. *Philological Class*. 2011, no. 25, pp. 22–27.
- Delez Zh. *Kino* [Cinema]. Moscow, Ad Marginem, 2004, 624 p.
- Delez Zh., Gvattari F. *Anti-Edip: kapitalizm i shizofreniya* [Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia]. Ekaterinburg, U-Faktoriya, 2007, 672 p.
- Efimov A. E. K. Zholkovskiy i Yu. K. Shcheglov: poiski porozhdeniya teksta [K. Zholkovskiy and Yu. K. Shcheglov: searching for the text generation]. In: *Professiya: literator. God*

rozhdeniya: 1937: kollektivnaya monografiya [Occupation: author. Date of birth: 1937: a joint monograph]. Elets, Elets Univ. Publ., 2017, pp. 163–173.

Gudkova V. Yu. *Olesha i Vs. Meyerkhol'd v rabote nad spektaklem "Spisok blagodeyaniy"* [Yuri Olesha and Vsevolod Meyerhold at work at the production of "A list of blessings"]. Moscow, NLO, 2002, 604 p.

Khanzen-Leve O. *Intermedial'nost' v russkoy kul'ture. Ot simbolizma k avangardu* [Intermediality in Russian culture. From symbolism to avant-garde]. Moscow, RSUH, 2016, 450 p.

Kulikova E. Yu. O mandel'shtamovskom puteshestvii k Viyonu [On Mandelstam's voyage to Villon]. *Bulletin of Udmurt Univ. History and Philology*. 2010, no. 4, pp. 3–11.

Mukařovský J. Opyt strukturnogo analiza akterskoy individual'nosti (Chaplin v "Ognyah bol'shogo goroda") [An attempt at a structural analysis of an actors figure (Chaplin in "City Lights")]. In: *Mukařovský J. Issledovaniya po estetike i teorii iskusstva* [Aesthetics and art theory studies]. Moscow, Iskusstvo, 1994, pp. 420–427.

Olesha Yu. *Kniga proshhaniya* [The goodbye book]. Moscow, Pro-zaIK, 2015, 494 p.

Olesha Yu. Mysli o Chapline [Thoughts on Chaplin]. In: Olesha Yu. *Ni dnya bez strochki: romany, povesti, rasskazy, p'esy, stat'i, vospominaniya* [No day without a line: collected novels, short stories, plays, essays, and memoirs]. St. Petersburg, Azbuka, Moscow, Azbuka-Atticus, 2015, pp. 964–967.

Olesha Yu. Zagovor chuvstv: p'esa [The conspiracy of feelings: a play]. In: Olesha Yu. *Ni dnya bez strochki: romany, povesti, rasskazy, p'esy, stat'i, vospominaniya* [No day without a line: collected novels, short stories, plays, essays, and memoirs]. St. Petersburg, Azbuka, Moscow, Azbuka-Atticus, 2015, pp. 385–439.

Olesha Yu. Zagovor chuvstv: stat'ya [The Conspiracy of Feelings: An Essay]. In: Olesha Yu. *Ni dnya bez strochki: romany, povesti, rasskazy, p'esy, stat'i, vospominaniya* [No day without a line: collected novels, short stories, plays, essays, and memoirs]. St. Petersburg, Azbuka, Moscow, Azbuka-Atticus, 2015, pp. 852–855.

Olesha Yu. Strogii yunosha [A Severe Young Man]. In: Olesha Yu. *Ni dnya bez strochki: romany, povesti, rasskazy, p'esy, stat'i, vospominaniya* [No day without a line: collected novels, short stories, plays, essays, and memoirs]. St. Petersburg, Azbuka, Moscow, Azbuka-Atticus, 2015, pp. 498–549.

Olesha Yu. Spisok blagodeyaniy [A List of Benefits]. In: Olesha Yu. *Ni dnya bez strochki: romany, povesti, rasskazy, p'esy, stat'i, vospominaniya* [No day without a line: collected novels, short stories, plays, essays, and memoirs]. St. Petersburg, Azbuka, Moscow, Azbuka-Atticus, 2015, pp. 439–498.

Olesha Yu. *Zavist'* [Envy]. Moscow, Vagrius, 1999, 414 p.

Smirnov I. P. Roman i smena epoh: 'Zavist' Yuriya Oleshi [The novel and the end of an era: Yuri Olesha's 'Envy']. *Zvezda*. 2012, no. 8, pp. 11–19.

Smirnov I. P. *Videoryad. Istoricheskaya semantika kino* [Visuals: Historical semantics of cinema]. St. Petersburg, Petropolis, 2009, 402 p.

Tarasov A. V. *Kinematograf M. A. Bulgakova. K probleme kinemato-grafichnosti hudozhestvennogo myshleniya pisatelya* [The cinema of Michail Bulgakov: On the issue of cinematic artistic mentality of the writer]. Abstract of Cand. culturol. sci. diss. Yaroslavl', 2006, 23 p.

Tsivian Yu. G. *Istoricheskaya retsepsiya kino. Kinematograf v Rossii 1896–1930* [The historical reception of the cinema. Russian films from 1896 to the 1930s]. Riga, Zinātne, 1991, 492 p.

Yangirov R. M. "Chuvstvo fil'ma": zametki o kinematograficheskom kontekste v literature russkogo zarubezh'ya 1920–1930-kh godov ["The Sense of Film": Notes on the cinematic context in the literature of the Russian emigration in the 1920–1930s]. In: *Imperiya N. Nabokov i nasledniki* [Empire N: Nabokov and heirs]. Moscow, NLO, 2005, pp. 399–429.

Н. В. Шестакова, И. И. Плеханова

Иркутский государственный университет

**Виктор Зилов – плачущий демон или смеющийся трикстер?
(О типологической идентификации героя)**

Предпринята попытка решить «загадку Зилова» – раскрыть причину обаяния отрицательного по социальным характеристикам героя. Двойственность характера связана с типологическим генезисом образа, идентификация колеблется между трикстером и демоном, на что указывает финальная ремарка. Теоретический раздел рассматривает преемственность и отличие прообразов, модель их поведения соотносится с поступками и рефлексией Зилова. К. Г. Юнг рассматривал трикстера как психологема, этот образ стал матрицей характера. Фабула «Утиной охоты» – похождения плута (обманы, измены, скандалы), но сюжет самоосуждения выстроен как осознание своей демонической натуры. «Воскрешение» Зилова в финале разрушает обе модели.

Ключевые слова: А. Вампилов, «Утиная охота», Зилов, трикстер, демон, мифопоэтика, психологема, типология, трагизм, витальность.

**1. Проблемы моральной оценки
и типологической идентификации героя**

А. Вампилов – классик-новатор русского психологического театра. Двойственный статус обусловлен сочетанием генетической привязанности к традиции представления человеческих отношений с позиций высокого гуманизма и игрового мышления, свободного от дидактической заданности. Новаторство состояло в открытии парадоксального героя – безыллюзорного эскаписта, неожиданного для позднесоветской драматургии 60–70-х гг., психологически глубоко проработанного, яркой индивидуальности и продолжения образа «лишнего человека», на что указано в работах Е. Стрельцовой, И. Роднянской, М. Туровской, В. Топорова, Л. Ивановой, В. Толстых и др. Виктор Зилов из «Утиной охоты» (1967) – завершение ряда вампи-

Шестакова Наталья Валерьевна – старший преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета (ул. К. Маркса, 1, Иркутск, 664003, Россия; nwal2012@rambler.ru)

Плеханова Ирина Иннокентьевна – доктор филологических наук, профессор (ул. Красноармейская, 18, Иркутск, 664003, Россия; oembox@yandex.ru)

ловских героев-индивидуалистов, его неоднозначность породила «загадку Зилова» – и широкий спектр интерпретаций, от безоговорочного осуждения [Распутин, 2007] до оправдания его как трагической личности. Главный мотив сочувствия – порыв героя к самоубийству вследствие суда над собой, его способность духовно измениться [Антипьев, 2000, с. 268].

Загадка героя обусловлена сочетанием покоряющего обаяния и откровенного цинизма, безответственности и отчаяния – в этом усложнении структуры личности и пограничности, и художественная продуктивность образа. Л. Я. Гинзбург, исследуя проблему типологии героев, отмечала: «Сложные формы литературы не знают устойчивого отношения между неизменной ролью и поведением. Но самые сложные формы литературы сохраняют, под многими и противоречивыми наслоениями, некие первичные типологические ориентиры для узнавания персонажа» [Гинзбург, 1979, с. 121]. Так, у героев Ф. М. Достоевского, в частности таких «причудливых», как братья Карамазовы, «есть свои типологические формулы, расположенные на поверхности (что не мешает им вести себя самым непредсказуемым образом)» [Там же]. Это сочетание типологического и личного присутствует в Зилоре, полисемантическая природа образа которого нуждается в описании.

Цель статьи – определить архетипическую формулу персонажа. Обозначенные в заголовке версии – плачущий демон или смеющийся трикстер – продиктованы поведением героя после неудачной попытки самоубийства:

Зилов некоторое время стоит посреди комнаты. Идет по комнате. Подходит к постели и вдруг бросается на нее ничком. Вздрагивает. Еще раз. Вздрагивает чаще. Плачет он или смеется – понять невозможно, но его тело долго содрогается так, как это бывает при сильном смехе или плаче. Так проходит четверть минуты. Потом он лежит неподвижно. <...> Он поднимается, и мы видим его спокойное лицо. Плакал он или смеялся – по его лицу мы так и не поймем (с. 601)¹.

Зилов спокойно договаривается с официантом Димой, вернувшим ему заряженное ружье, о выезде на охоту. Отчуждение от пережитой катастрофы и дружеское обращение к равнодушному убийце – психологическая загадка: что же движет Зиловым – аннигиляция души или неистощимая витальность? Очевидно, что в первом случае это модель поведения демона, во втором – трикстера, обе версии в вампироведении еще не рассматривались. Наши задачи: 1) установить типологическое родство и различия между двумя архетипическими прообразами; 2) проследить сходство психологии Зилова с этими моделями поведения; 3) предложить решение «загадки Зилова», исходя из архетипической природы его художественной индивидуальности.

2. Демон и трикстер – родство и расхождение архетипов

Противопоставление двух моделей поведения связано с разной степенью психологического наполнения внутреннего мира и, соответственно, духовного потенциала психофизиологических интенций. Трикстер – архетип глубинный, универсальный, печальный демон – производное от христианской культуры, негативный образ, реабилитированный в романтической версии поиска форм духовной свободы. Базовая общность типов – роль антипода позитивного и всемогущего начала (бога или высокого авторитета), имморализм как модель поведения и основа жизнестойкости. Векторы расхождения – испытание пределов жизненной силы или погружение в трагизм духовного одиночества. На какой фазе развития типа находится Зилов – неистреби-

¹ Текст пьесы цитируется по изданию [Вампилов, 2002] с указанием страниц в круглых скобках после цитаты.

мой физиологической жизнестойкости или духовного падения, разочарования и аннигиляции всего, к чему прикасается, – в этом состоит загадка типологической идентификации героя и определения его потенциала как самобытной личности.

Исследователи отмечают изначальный демонизм трикстера, примером служит образ Локи, который в этиологических мифах выступает «как добытчик-похититель», действующий то в интересах богов, то в ущерб богам... он как бы способствует циркуляции ценностей между различными мирами» [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 68]. Таким образом, наряду с озорством и трюкачеством, для него характерна роль медиатора. Демоны же в архаических фольклорных текстах и бесы в раннехристианской мифологии трактуются однозначно – как злые духи, «разрушители социальных связей, с особой ненавистью относящиеся к браку и строящие против него всякие козни» [Мифы народов мира, 1987, т. 1, с. 169]. Для демонического и бесовского начал характерны амбивалентность и лживость («образ этот – фальшивая видимость, маска» [Там же, с. 170]), демон и бес действуют как искушители, но им присущи, в силу ангельского прошлого, «в умаленной мере прерогативы сверхчеловеческого знания и могущества» [Там же]. С трикстером их сближают и поведенческие характеристики – колебания от тоски до «судорожной веселости» [Там же]. Главное отличие в том, что бес всегда связан с абсолютным злом (демон наделен большей неопределенностью), но, в отличие от трикстера, исключается гибкость, текучесть образа, представление двух противоположных полюсов одновременно.

Е. М. Мелетинский, называя трикстера демонически-комическим дублером культурного героя [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 26], подчеркивал подвижность натуры и двойственность функций: «В типе трикстера как бы заключен некий универсальный комизм, распространяющийся и на одураченных жертв плута, и на высокие ритуалы, и на асоциальность и неводержанность самого плута» [Там же, с. 27]. Трикстер – это «зеркало» (двойник, близнец) культурного героя, он способен демонстрировать позитивные функции. «Раздвоение на серьезного культурного героя и его демонически-комический отрицательный вариант соответствует в религиозном плане этическому дуализму, а в поэтическом – дифференциации героического и комического» [Там же]. В этом потенциале героического – значимый фактор *демонического* обаяния персонажа, как и наличие творческой воли, которая дает искаженные результаты.

Героический потенциал архетипа амбивалентен. Мирча Элиаде отмечал: «По большей части мифологических традиций трикстер несет ответственность за то, что человек становится смертным и за то состояние, в котором Мир пребывает в настоящее время. Но вместе с тем он является также демиургом и Героем Просветителем, так как украл огонь и многое другое полезное для человека и победил чудовищ, опустошавших Землю», но – «в результате хитрости и обмана, а не героического деяния» [Элиаде, 2006, с. 194]. Волевая, но не рефлексивная природа трикстера определяет реактивные качества и заданность поведения: сообразительность, озорство, трюкачество, молниеносность действий. Трикстер выполняет «программу» динамики, обеспечивая движение мира, он вносит антиномии в социальное пространство, придавая ему единство и целостность. Как парадоксальный образ он символизирует диалектическое устройство мира, его единство и многообразие. Трикстер задает перспективу развития мира, и это не всегда отрицательный вектор по своим итогам. Локи из германо-скандинавской мифологии подстрекает асов убить Бальдра, но смерть дает тому возможность избежать гибели в Рагнарек и снова явиться в мир после его конца. Так лукавство и провокация божественного плута превращают смерть в условие жизни в уже обновленном мире.

К. Юнг соотнес двойственную природу трикстера со средневековой карнавальной традицией и рассмотрел уже в аспекте внутреннего психического потенциала. Амбивалентный архетип сочетает возможность изменять облик с любовью к ковар-

ным розыгрышам, злым выходкам и гротескной непристойности с подверженностью мучениям, участью быть жертвой тех, кому навредил, что приближает его к образу спасителя, ибо он способен преобразовать бессмысленное в осмысленное. «Трикстер представляет собой первобытное космическое существо, обладающее божественно-животной природой; с одной стороны, превосходящее человека своей сверхчеловеческой природой, а с другой – уступающее ему из-за своей неразумности и бессознательности» [Юнг, 1996, с. 220].

К. Юнг исследовал трикстера не только как мифологическую фигуру, но и как «психологему» – древнюю архетипическую и психическую структуру, как эквивалент коллективной тени, являющейся суммой неизменных черт характера у индивидов.

Демон изначально – ипостась трикстера, но развитие культуры разводит эти образы и природные силы, стоящие за ними: витальность и демонизм уже не рассматриваются как единое целое.

В христианской религии демон/бес, в отличие от трикстера, уже не элемент дуальной пары творца и его тени, но абсолютный антипод высшей силы. Он уже не персонифицирует потенциал самоутверждения человека, а являет собой внешнюю силу, враждебную роду человеческому. С началом эпохи секуляризации и развития индивидуализма образ приобрел притягательную силу как выражение греховной свободы и самоуглубленного одиночества. Секуляризация культуры и развитие психологизма, преодоление границ запретного во многом обязано переосмыслению демонического начала в мире и в человеке. Романтизм переоценил образ Демона, дух отрицания получил позитивный ореол – как обаятельная сверхличность, трагически одинокая и разочарованная в поиске идеала и свободы.

Свойства демонических натур традиционно связаны с загадкой и противоречивостью. Одиночество, презрение, равнодушие, отрицание гуманистических ценностей у демонического героя сопряжены с порывом к познанию и самопознанию, со способностью к страданию. Сложность такого образа – в его диалектической природе: зло не приносит герою наслаждения, но усиливает скуку и разочарование.

Другой аспект – психология творчества, преодоления естественных и запретных границ. Энергия творчества, страстность ведут и к демонизму, и к усталости – как его обратной стороне, ставя под сомнение деятельное начало в герое. А стремление к небу и духу, тоска по божественной гармонии и земной радости, осознание отсутствия целостности придают демоническому герою трагизм.

Количественное и качественное соотношение маркеров трикстера и демона в поведении и мироощущении Зилова позволит определить доминанту природной (мифопоэтической) или культурной генеалогии образа.

3. Поведение трикстера и сюжетные перипетии «Утиной охоты»

Зилов действует как трикстер в отношениях с окружающими, являясь внешне не слишком рефлексивным, но дерзко играющим персонажем-provocатором. Он легко меняется, говорит разными голосами, мгновенно включается в ситуацию и обращает ее в нужное русло, но он жизнелюбивый авантюрист, способный встать перед зеркалом. Насколько архетипическое начало владеет образом?

Сюжет драмы строится на противоречии стремительно развивающегося действия и рефлексивной атмосферы. Фактор дождя определяет тональность пьесы и выполняет сюжетную функцию: дождь – препятствие утиной охоте, осенний мотив указывает на печальный круговорот жизни. Знаковая деталь – плюшевый кот, он символизирует одновременно и самодостаточность, и независимость, т. е. является воплощением трикстерского начала.

Ощущение свободы и уверенность в физической полноценности, которые демонстрирует Зилов, – качества трикстера. Остроумие героя ничем не сдерживается: это

и цинизм («Сама найдешь или тебе помочь?» (с. 538) – говорит Зилов Вере, в отчаянии предупреждающей, что она найдет другого), и стереотипы идеологии («Горим трудовой красотой» (Там же)), и культурные штампы («Напрасно ты не доверяешь технике. Ей как-никак принадлежит будущее» (с. 543) – отговорка Зилова в ответ на признание Галины, что она не любит телефоны, потому что чувствует обман).

Трикстеры воплощают физиологическое жизнелюбие, авантюры и склонны к риску, но самоубийство им противопоказано – это прерогатива культурного героя, приобретающего знание через инициацию (например, скандинавский ас Один, отдавший за приобщение к знаниям глаз великану Мимиру). Изначально находясь в подвижном полюсе отрицательности, представляя автономное от всех начало (обладающее творческой продуктивностью и способствующее развитию мира), трикстер способен легко достигать любой цели, тогда как остальным героям приходится прилагать усилия. Так, Зилов, наставляя Кушака в его ухаживании за Верой, демонстрирует циничный напор: «Боже мой! Озолочу, женюсь, убью – что вы еще можете ей сказать? Действуйте» (с. 552). Трикстер выступает в качестве сводника не ради карьеры, а из озорства и желания избавиться от обременительной связи. Вера воплощает основной интерес героя: «Подарите ему женщину» (с. 547) – и она до конца предана ему и готова на любые жертвы. М. Элиаде подчеркивает, что трикстер «напоминает богов своим могуществом и своим “первородством” и в то же время напоминает людей своим обжорством, своей навязчивой сексуальностью, своим аморализмом» [Элиаде, 2006, с. 194].

Зилов по-трикстерски «пограничен», подвижен и неуловим. Интерес трикстера сиюминутен, он быстро загорается, быстро охладевает. В эпизоде с проектом модернизации завода Зилов демонстрирует ловкую демагогию, чтобы подогнать желаемое под действительное, и выдает проект за результат – ведь «инженер излагает все в настоящем времени» (с. 553). Обман оправдывается с виртуозным цинизмом: «У нас замечательная работа, но, согласись, она несколько суховата. Немного смелости, творческой фантазии – это нам не повредит» (с. 554). Плут надеется, что авантюра «проскочит», и, увлекаясь игрой, предлагает принять решение броском монеты. Для трикстера характерна божественная безответственность, ему все легко сходит с рук, неслучайно Саяпин негодует: «Ему – девочки, а мне выговоры» (с. 557). Когда Зилов оправдывает перед Кушаком Саяпина, сложно понять, что им движет: великодушие или брезгливое высокомерие. Зилов живет мигом и так же распоряжается чужой жизнью. Так разыгрывается ситуация с Ириной. Саяпин не может понять, влюблен Зилов в девушку или издевается над ней. Когда Галина и Ирина столкнулись, Зилов ничуть не смущен:

Да, я женат... *Пауза.* Так... Ты потрясена. Убита... Для тебя все кончено...
Маленькая пауза. Ну?.. Можешь назвать меня мерзавцем, можешь встать и уйти... Делай, что хочешь. *Маленькая пауза.* Все кончено, не правда ли?..
А? Что же ты молчишь?.. Ты не знаешь, что говорят в таких случаях? Пожалуйста, я тебя научу... (с. 576)

У трикстера всегда самоотверженная любящая жена (так Сигюн смягчает божественное наказание Локи), и Галина в полной мере соответствует этому порядку взаимодополнений.

Ложь – природное право трикстера, и она разыгрывается артистически. Вернувшись под утро, Зилов лжет жене про внезапную командировку. Это монолог-нападение, агрессивная защита, лжец вдохновляется, «расходится» (с. 561), сам начинает верить в выдуманную неверность Галины. М. Элиаде указывает на двойственное отношение трикстера к сакральному, он способен пародировать опыт шаманов и священные ритуалы, но легкомыслие и насмешливость оборачиваются против целей: «Он одновременно хитер и глуп» [Элиаде, 2006, с. 194]. Так, Зилов защищается от упреков Галины, нападая и апеллируя к естественному праву: «Я устал и хо-

чу спать. Дай мне постель...» (с. 560) Хитрость плута становится тонкой психологической манипуляций.

Весь эпизод построен на градации. Герой сначала назидателен: «Жена должна верить мужу» (с. 563). Когда Галина говорит, что ребенка не будет, он переходит к прямым обвинениям: «Что ты натворила! Как ты могла!» (с. 561) Предлагая «реконструкцию» прошлого, он играет на чувствах жены, не задумываясь о цене, лишь бы справиться с ситуацией. Галина замечает: «Это было совсем не так. Тогда ты волновался...» (с. 564) Зилов тут же меняет тон: «Ну, допустим, не так. Я сказала тебе... (*Негромко, глубоким голосом повторяет те далекие слова.*) Пойдем куда-нибудь...» (с. 564) Зилов фальшивит, используя штампы, «заклиная», он откровенен в одном: «Черт возьми! Мало ли что мог мужчина сказать в такую минуту!» (с. 565) Подобная ситуация разыгрывается, когда надо избавиться от присутствия Галины, и он прибегает к высокопарной риторике: «И чтобы такую женщину я привел на могилу своего отца?» (с. 574)

Скандалы и нарушение этических правил – стихия трикстера. Е. М. Мелетинский указывает, что на фазе отделения трикстера от культурного героя возникает озорство, шутовство, обман, нарушение табу: он игнорирует «нормы обычного права и общинной морали (злоупотребление гостеприимством, поедание зимних запасов семьи или родовой общины)» [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 26]. Вспомним эпизод, когда Галина и Зилов еще ждут гостей, но Зилов, вопреки запрету, наливает водку. «Нарушение табу и профанирование святынь иногда имеет характер “незаинтересованного” озорства» [Там же], а у Зилова такое поведение не просто норма и форма самозащиты. Примечательна ссылка М. Элиаде на М. Л. Рикетса, считавшего, что трикстер воплощает образ «самого человека, предпринимающего усилия с тем, чтобы стать тем, чем он должен стать, – хозяином мира» [Элиаде, 2006, с. 194]. Так можно объяснить мотив самого сокрушительного скандала Зилова – с разоблачением всех мнимых друзей и возлюбленных на последнем ужине в «Незабудке». На вопрос Димы, зачем он все устроил, Зилов недоумевает: «Да вот и сам думаю – зачем? Думаю, не могу понять, черт знает зачем!...» (с. 531) Стихийное поведение трикстера на пире дает объяснение этой загадке. Пир – место общего торжества, где авантюрный персонаж добивается господства, Зилов тоже делает все «для души»: «Для полноты счастья. Сам подумай, какая разница: сегодня я гляжу на эти рожи, а завтра я на охоте» (с. 585). Ему необходимы ощущения риска, психологического контраста, игры людьми и обстоятельствами.

В германо-скандинавской традиции песни-перебранки («Перебранка Локи») рассматривались исследователями как «явление и быта и ритуала» [Скандинавская эпическая поэзия, 1984, с. 472], как «образцы эпико-драматических произведений... своего рода протокомедии» [Там же]. Поношения богов и богинь, их унижение и оскорбление в мифологической традиции трактовались как скрытая апология их божественности. Герои реалистической драмы «не прославляются», но отмечены архетипическим сходством с персонажами мифа. Так, Вера является на ужин с Кузачковым в статусе невесты, она всегда привлекательна и всегда в форме, всегда в поиске, что архетипически соответствует ипостаси мифологической красавицы (Афродиты, Фрейи). Ей тоже присущи трикстерское начало и авантюризм, но Кузаков почувствовал в ней за показной развязностью душевность и постоянство. Вера, по мнению П. А. Флоренского, – имя с прозрачной этимологией, оно иррационально как «странное сочетание безрассудности и последовательности» [Флоренский, 2006, с. 80]. Носительнице имени Вера свойственно «обличение вещей неведомых», «мотивы ее поступков или, правильнее, ее поведения непонятны окружающим» [Там же], она ломает расчеты, традиции, приличия и выбирает новый путь, который может быть трагичным [Там же, с. 81]. Действительно, на оскорбления пьяного Зилова Вера отвечает признанием: «Не будете же вы бить пьяного... И потом он... Он говорит правду» (с. 591).

Кушак вполне соотносим с Одним как покровитель общины (коллектива), воплощение власти и «мудрости» (формальной, пародийной, обозначенной интонационно, через паузы, произнесение прописных истин), посредник, устроитель жизни. Его скрытое трикстерство (недаром между Локи и Одним кровная связь), желание выйти за границы приличий и в то же время удержаться в них – не противоречит сложной архетипической природе. Комический Кушак тоже балансирует на грани приличия. Когда Зилов с раздражением говорит о том, что Вера провернула Кушаку динамо (с. 553), тот «неожиданно трезво» угрожает: «Виктор, ты меня разочаровываешь» (с. 553). Так же он впадает в гнев по поводу «липовой» статьи: «Зилов, вы мне не нравитесь все больше и больше» (с. 568).

Чистая и доверчивая Ирина находится вне архетипических характеристик, связанных с браком, семейным очагом, деторождением (что характерно для Фригг / Геры), или – с любовью, красотой, магией, мотивом вождения (что связывается с Фрейей / Афродитой). Причина в том, что она находится в начале жизненного пути и познания себя, мужчин, жизни. Зилов тяготеет к ней как к новой энергии, новой Галатее, готовый учиться и слушаться, полностью отдавать себя.

Скандал для трикстера – форма его инициации. Роль и качество скандала в пьесе – предмет споров в вампиловедении. Так, Е. Г. Слабковская не доверяет подлинности изобличения из-за безобразной формы: «Скандал берет на себя роль исповеди, покаяния, девальвируя тем самым раскаяние подлинное» [Слабковская, 2000, с. 299]. Фабульная роль скандала – апофеоз разоблачений и пролог к отъезду на желанную утиную охоту, но сюжетная – предельное падение перед возможным очищением. Т. В. Краснова указывает на фольклорный характер инициации Зилова: «Зиловская “инициация” – самая мучительная и неоднозначная, но ее архетипические приметы налицо: символика второго рождения, тумана первовремен творения, “другого” берега, реки, лодки (ладьи – бочки – рыбы в мифологической ретроспекции)» [Краснова, 2000, с. 197]. Действительно, мертвецки пьяный Зилов очнется и увидит себя заново, а это приведет к перерождению. С. Р. Смирнов, тщательно сопоставляя два варианта пьесы, настаивает на готовности Зилова «к продолжению жизни и продолжению борьбы за возрождение своей личности» [Смирнов, 2007, с. 22].

Мифологема охоты сохраняет эстетическую, функциональную продуктивность и способность к трансформации, распространяя это и на образ героя. В дохристианских представлениях охота – яркое событие, дикая стихия, это разгул хтонических сил и языческих божеств, вселяющих страх, посылающих предзнаменования и напоминающих человеку о его месте в иерархии мира. Для уставшего человека XX в. охота – это одиночество, покой, погружение в чистоту мира. Для Зилова сакральная природа охоты в первозданной тишине, а не в убийстве. Для него, по точному замечанию Галины, важнее «сборы да разговоры» (с. 548), то есть не результат и продуктивность, а предощущение и именно священное волнение, от которого как раз и предостерегает Дима – мастер охоты «без нервов»: «Ведь это все как делается? Спокойно, ровненько, аккуратненько, не спеша» (с. 586). Но в этой отнюдь не «трикстерской» ситуации сохраняются характерные для архетипа автономия, своеобразное понимание цели и средств, самостоятельность в стратегии движения. Для Зилова охота – возвращение к истокам, возрождение и святое право на одиночество, не случайно на вопрос, что подарить на новоселье, Зилов говорит: «Подарите мне остров» (с. 547). Он не допускает к сакральному «друзей»: «Что вы в этом смыслите?» (с. 548) Его одиночество не трагично, а благодатно как стихия обитания.

Судьба мифологического трикстера окончательно определяется в полюсе отрицательности. Локи после убийства светлого бога Бальдра был прикован к трем камням до конца мира. Во время последней битвы богов и чудовищ он приводит корабль мертвецов из царства мертвых, причем, по некоторым версиям, сам правит рулем зловещего корабля, выступая противником богов, сражается с богом Хеймдаллем, и оба погибают [Мифы народов мира, 1988, т. 2, с. 68]. Тут очевидна непол-

нота отождествления Зилова с архетипическим праобразом, не только в силу разного качества психологизма, но вследствие изменения интенций героя.

Трикстер не выносит равновесия мира, ему нужны перемены, он тяготеет к противоположному себе началу и борьбе с ним. Зилов опустошен, ему как будто ничего не нужно, он страдает от прожитости и экзистенциальной «затертости» ощущений, ситуаций, фраз. Активность архетипа – психофизиологическая неумность, но герой устал, «хочет на пенсию». Зилов, безусловно, представляет собой некую ось развития эпохи, знак поколения, в тридцать лет утратившего цель и вкус к жизни. Но главное отличие от архетипа – интеллектуальное наполнение образа, аналитическое всезнание и способность перевести рефлекссию в действие. Всезнание – атрибут демона, порывы к трагическим жестам – прерогатива культурного типа нового времени.

4. «Демонизм» и авторефлексия Зилова

«Романтический» аспект в образе героя как будто очевиден. В начале пьесы подчеркнуты небрежность и скука – романтическая примета разочарованных героев. Наскучили друзья, наскучили женщины. Характерна деталь: прежде чем взять телефонную трубку, Зилов пропускает два-три звонка. Но легкость идентификации должна учитывать социальный опыт. Значим вопрос о соотношении демонического героя не только с архетипом трикстера, но и с эпическим архетипом героя. Е. Мелетинский писал: «Элементы демонизма в герое, выражающем “мировую скорбь”, “болезнь века”, непосредственно связаны с невозможностью эпической реализации. <...> Поэтому “неистовый” характер байронических героев одновременно повторяет и отрицает эпический архетип героя» [Мелетинский, 1994, с. 35]. Так Зилов оказался «тенью» героев советского театра с их еще активным социальным темпераментом.

Зилов вписывается в традицию демонических героев, будучи близким и к романтической традиции, и к ницшеанскому типу героя, и к имморалистам западной прозы XX в., играющим с любовью, жизнью, смертью по своим правилам или вовсе без правил. Игра характерна и для трикстера, и для демона, но имеет функциональное различие, ибо во втором случае приобретает форму духовного самоиспытания. Но, в отличие от некоторых романтических и большей части будущих постмодернистских героев, Зилов не является героем-«цитатой», он эстетически и эпохально самостоятелен.

Зилов ищет точку опоры внутри себя самого и во внешнем мире. Демоническое в нем проявляется в таких аспектах, как роль соблазнителя-испытателя в общении с другими (авторитеты, власть, друзья, женщины), положение всеведущего, пресыщенность знанием, разочарование и скука, отношения с двойниками.

Любовь демона противоречива: это тоже вызов и бунт натуры, не желающей прозябать; любовь как искушение, любовь как вражда, любовь как молитва, но последствия ее всегда разрушительны. Зилов, как Дон Жуан, ревнующий всех женщин, равно нуждается в хрупкости и верности (Галина), красоте (Вера), чистоте и наивности (Ирина), но никто не насыщает его жажду нового, неизведанного, идеального. Н. П. Антипов, справедливо отмечая мудрость и стоицизм вампиловских героинь, указал на то, что в пьесе «нет женщины под стать Зилову» [Антипов, 2000, с. 273]. На наш взгляд, Зилов не может (не хочет) любить (или только увлекается), а экзистенциальная уникальность чувства не предполагает «равности». Кроме того, для героя важен не объект любви, а состояние, которое он пытается «проиграть» с Верой, «реконструировать» с Галиной или пережить «заново» с Ириной, но настоящему Зилов занят только собой.

Гордыня, высокомерие, равнодушие как к добру, так и к злу сочетаются в демоне со знанием человеческой природы, умением влиять на чужие души. Зилов провоци-

рует Саяпина, искушает Кушака, играет с чувствами женщин. Как истинный демон, Зилов не встречает сопротивления (кроме Кузакова, которого удобно для себя встраивает в парадигму не равных себе «друзей»), поэтому скучает. «Недеятельность» зла Г. Гачев отмечал как особую характеристику: «Оно не суетится мелким бесом, оно – крупно и спокойно, благодушно пребывает “во всем” разлитое» [Гачев, 1988, с. 283].

Двойник Зилова – ровный деловой Дима, у которого «свой закон», его самодостаточность не связана с глубиной и целостностью. Робкий на школьной скамье, смешной в своей деловитости как официант, страшный с ружьем («зверь», «гигант»), он вписывается в гофмановскую эстетику неподлинности, автоматизма людей-кукол. В пьесе он поставлен в положение созерцающего, комментирующего, осуждающего, независимого от действия, что близко к функциям хора в античной трагедии, но это хор без этической функции. Дима наблюдает и судит равнодушно, однако его цинизм возвращает Зилова к жизни, так как ему нужна любая реакция внешнего мира, без нее неврастеническое состояние бессмысленно. Когда Зилов интересуется, не задирали ли он Диму, и, наконец, перестает на него смотреть функционально, как на лакея-официанта и напарника на охоте, он спрашивает его об отношении к себе – и открывает истину: он одинок и, в сущности, именно Дима – самый близкий ему человек.

Саяпин – насмешник, трусливый плут, слабая тень Зилова, он ерничает, играя литературными цитатами. Так комментируется наивность Ирины: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди» (с. 556); «Люби меня, детка, пока я на воле, люби меня, детка, пока твой...» (с. 557) – или письмо отца: «Письмецо от внука получил Федот...» (с. 554). Саяпина, размышлявшего о том, чтобы махнуть на завод или в науку, отрезвляет Зилов: «Брось, старик, ничего из нас уже не будет» (с. 566). Зилов дает точные, прямые характеристики и себе, и своему окружению: Саяпина называет «ленивым и развращенным», а сам он не хочет ничем заниматься, и контора для них «самое подходящее место» (с. 567). Жизненные силы и творческая энергия этих детей своего времени уходят впустую, но не это тяготит: они переживают только скуку, а не свою ненужность.

Демонический имморализм Зилова оттеняет «святая простота» Кузакова. Ему, единственному ответственному среди мужских персонажей, как будто не место в этой компании. Он – напоминание о прежнем Зилове, когда тот был еще только «мелким шкодником». «Простак» интуитивно чувствует Веру и ее драму, он резонер и инициатор спасения пьяного Зилова, торопится предотвратить роковой шаг. Характерно его обращение с просьбой опомниться и взять себя в руки: «...милый мой...» (с. 597) – оно сочетает и мужскую товарищескую твердость, и человеческую нежность. Функция «простака» – «провокация» на добро и отзывчивость, но Зилов не вникает в другого, он глух, эгоистичен и обесценивает иное как чуждое: «Старик, ты ошибаешься, как всегда» (с. 551).

Всезнание и право суда над людьми – прерогатива не трикстера, но демона. Зилов впадает в несвойственный трикстеру дидактизм. Кузакову, твердо сказавшему, что Вера пришла с ним, он заявляет: «Водить по учреждениям ты мог бы найти что-нибудь попрличнее» (с. 572). Он читает наставление пионеру Вите, принесшему венки. А когда в конторе прячется от Веры и признается, что она ему надоела, морализирует: «Черт! Ну и порядки в этих магазинах. Вечно она шатается в рабочее время...» (с. 537) Отношения с Димой иллюстрирует притча о продаже друга за копейку (с. 585).

Друзья затевают нехорошую игру в покойника – и Зилов принимает вызов, как демонический герой, он готов довести ее до логического конца, что не свойственно трикстеру. Последняя провокация приобретает трагический смысл, когда решившийся на самоубийство весело и зловеще приглашает Саяпина с Кузаковым на свои «поминки»: «Молодцы. Я умираю со смеху...» (с. 595) В ожидании друзей он пишет

предсмертную записку, заряжает ружье – «...все это довольно торопливо» (с. 596). То, что поначалу воспринимается как очередная дерзкая провокация, становится доказательством искренности намерений и в то же время инфантильной жестокости по отношению к друзьям, попытки взвалить на них вину за свой добровольный уход из жизни.

Лишь официант Дима оказывается убедителен для Зилова, когда, узнав о попытке самоубийства, холодно говорит о ненадежности пистонов. «Жуткий парень» (с. 599) оказывается самым близким человеком. Выбор демонического спутника – последний аргумент в определении природы Зилова, и его обретенное «бессмертие» явно с запахом пороховой селитры.

Итак, амбивалентность натуры Зилова не позволяет дать строго определенный ответ, кто же он по своей природе – плачущий демон или смеющийся трикстер? Все мотивы поведения и пружины характера имеют трикстерское содержание – такова генетическая матрица героя. Усложнение и склонение к демонической модели – это филогенез, соответствующий процессу развития архетипа. Наконец, сам Виктор Зилов – индивид в плоти и самобытности – пример онтогенеза героя с богатой родословной. Смысл рассмотрения двойной аналогии-дифференциации состоит в определении степени влияния архетипического начала на личность героя и в оценке смысла решения жить дальше, т. е. «загадки Зилова». Витальный трикстер умер в тот момент, когда Зилов решился на самоубийство. Отклик на телефонный звонок, последнее разочарование и борьба с друзьями за право уйти – это последний всплеск сил живой личности, защищающей свою безусловную ценность – свободу выбора судьбы. «Воскресение» живого мертвеца, образ восставшего с дивана Зилова – это завершение процесса перерождения трикстера в уже не трагического демона: в этот момент он никого не любит, не одинок и не имеет антагонистов. Это третья метаморфоза героя – вне социокультурных определений: он чужд всем, и ему никто не нужен.

Список литературы

- Антипов Н. П.* Виктор Зилов как литературный архетип // Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба: Материалы к путеводителю. Иркутск, 2000. С. 259–281.
- Вампилов А.* Утиная охота // Вампилов А. Драматургическое наследие. Иркутск, 2002. С. 530–601.
- Гачев Г.* Национальные образы мира. М., 1988. 396 с.
- Гинзбург Л. Я.* О литературном герое. Л., 1979. 224 с.
- Краснова Т. В.* Фольклоризм произведений Вампилова // Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба: Материалы к путеводителю. Иркутск, 2000. С. 193–198.
- Мелетинский Е. М.* О литературных архетипах. М., 1994. 136 с.
- Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. Т. 1. М., 1987. 671 с.; Т. 2. М., 1988. 719 с.
- Распутин В. Г.* С места вечного хранения // Распутин В. Г. В поисках берега: Повесть, очерки, статьи, выступления, эссе. Иркутск, 2007. С. 338–350.
- Скандинавская эпическая поэзия // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 2. М., 1984. С. 467–476.
- Слабковская Е. Г.* Скандал, ссора // Мир Александра Вампилова: Жизнь. Творчество. Судьба: Материалы к путеводителю. Иркутск, 2000. С. 298–299.
- Смирнов С. Р.* Драматургия А. Вампилова: закономерности творческого процесса: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Улан-Удэ, 2007. 30 с.

Флоренский П. А. Имена // Хигир А. Энциклопедия имен. Имя, характер, судьба. М., 2006. С. 7–85.

Элиаде М. Трикстер // Ностальгия по истокам. М., 2006. С. 193–195.

Юнг К. Г. К психологии Трикстера // Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов. Киев, 1996. С. 214–226.

N. V. Shestakova¹, I. I. Plekhanova²

Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation

¹ nwal2012@rambler.ru, ² oembox@yandex.ru

**Viktor Zilov: a crying daemon or a laughing trickster?
(On typological identification of the character)**

The paper aims at solving the “Zilov’s mystery,” in particular, at discovering why a character who is negative in the social perspective is very charming at the same time. Also, an attempt is made to forecast his further personal development. The central purpose is to determine the character’s moral potential and provide his typological identification by analyzing the images that have special suggestive power. Zilov’s identity balancing between a daemon and a trickster is revealed by the characters’ relationships and the final note when it is unclear whether Zilov is crying or laughing after a failed suicide attempt and also in the fact that he goes hunting after all. The open finale can be interpreted as being indicative of the trickster’s vitality, or the daemon’s cruel suffering, or the character’s rebirth into a completely new person. In the theoretical section of the paper, that is mainly based on the works of E. M. Meletinsky and M. Eliade, the progression from the trickster archetype to the daemon image and the cultural differences between them are discussed. The daemon image is viewed as trickster’s evolution in a new cultural epoch (romanticism, the psychological novel of the XIX century), filling the matrix with tragic omniscience and extreme tedium. The behavioral model of the archetype that C. G. Jung considered as a psychologem, is consistent with Viktor Zilov’s actions but not with his reflections. “Resurrection” as the third metamorphosis of the character lies outside any socio-cultural definition.

Keywords: A. Vampilov, “Duck hunt”, Zilov, trickster, daemon, mythopoetics, psychologem, typology, tragedy, vitality.

DOI 10.17223/18137083/67/12

References

Antip’yev N. P. Viktor Zilov kak literaturnyy arkhetyip [Viktor Zilov as a literary archetype]. In: *Mir Aleksandra Vampilova: Zhizn'. Tvorchestvo. Sud'ba: Materialy k putevoditelyu* [The world of Alexander Vampilov: Life. Works. Fate: Materials for the guide]. Irkutsk, 2000, pp. 259–281.

Eliade M. Trikster [Trickster]. In: *Nostal'giya po istokam* [Nostalgia for Sources]. Moscow, 2006, pp. 193–195.

Florenskiy P. A. Imena [Names]. In: Khigir A. *Entsiklopediya imen. Imya, kharakter, sud'ba* [Encyclopedia of names. Name, character, fate]. Moscow, 2006, pp. 7–85.

Gachev G. *Natsional'nyye obrazy mira* [World national images]. Moscow, 1988, 396 p.

Ginzburg L. Ya. *O literaturnom geroye* [On literary character]. Leningrad, 1979, 224 p.

Jung C. G. K psikhologii Trikстера [On trickster’s psychology]. In: Jung K. G. *Dusha i mif: shest' arkhetyipov* [The soul and the myth: six archetypes]. Kiev, 1996, pp. 214–226.

Krasnova T. V. Fol'klorizm proizvedeniy Vampilova [The folklore of Vampilov’s works]. In: *Mir Aleksandra Vampilova: Zhizn'. Tvorchestvo. Sud'ba: Materialy k putevoditelyu* [The world of Alexander Vampilov: Life. Works. Fate: Materials for the guide]. Irkutsk, 2000, pp. 193–198.

- Meletinskiy E. M. *O literaturnykh arkhetypakh* [On literary archetypes]. Moscow, 1994, 136 p.
- Mify narodov mira. Entsiklopediya: V 2 t.* [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia: in 2 vols]. Vol. 1, Moscow, 1987, 671 p.; vol. 2, Moscow, 1988, 719 p.
- Rasputin V. G. S mesta vechnogo khraneniya [From the place of timeless storage]. In: Rasputin V. G. *V poiskakh berega: Povest', ocherki, stat'i, vystupleniya, esse* [Looking for the shore: A novel, sketches, articles, speeches, essays]. Irkutsk, 2007, pp. 338–350.
- Skandinavskaya epicheskaya poeziya [Scandinavian epic poetry]. In: *Istoriya vsemirnoy literatury. V 9 t. T. 2* [History of world literature: in 9 vols. Vol. 2]. Moscow, 1984, pp. 467–476.
- Slabkovskaya E. G. Skandal, ssora [Scandal, quarrel]. In: *Mir Aleksandra Vampilova: Zhizn'. Tvorchestvo. Sud'ba: Materialy k putevoditelyu* [The world of Alexander Vampilov: Life. Works. Fate: Materials for the guide]. Irkutsk, 2000, pp. 298–299.
- Smirnov S. R. *Dramaturgiya A. Vampilova: zakonomernosti tvorcheskogo protsessa* [The dramaturgy of A. Vampilov: regularities of the creation process]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. Ulan-Ude, 2007, 30 p.
- Vampilov A. Utinaya okhota [Duck Hunt]. In: *Vampilov A. Dramaturgicheskoye nasledie* [Dramatic heritage]. Irkutsk, 2002, pp. 530–601.

Д. И. Иванов¹, Д. Л. Лакербай²

¹ *Сианьский университет иностранных языков, Китай*

² *Ивановский государственный университет*

**«За душой, как ни шарь, ни черта»:
сюжет веры и его «программное» опустошение
в поэзии И. Бродского**

Исследуется дискуссионный вопрос характера религиозной тематики и проблематики в поэзии И. Бродского. Систематизируются представления о специфике когнитивно-прагматической программы языковой личности поэта в аспекте наиболее общих мировоззренческих установок, связанных с верой, возможностью личного спасения и утешения. Сюжет веры в творчестве Бродского рассматривается в рамках общего житнетворческого пути «от пустоты к пустоте». Выбор в этих рамках ограничен скепсисом, отчаянием и романтическим героизмом. Принимая жизнь как дар, поэт не принимает ее порядок и смысл как нечто более великое, таинственное и значимое, чем наше страдающее мыслящее «я», находя утешение и спасение лишь в одном из ее ликов – Языке.

Ключевые слова: И. Бродский, поэзия, метафизичность, логосность, когнитивно-прагматическая программа, романтический героизм, пустота, сиротство.

Нам уже доводилось писать о сложном характере программных установок, обеспечивающих внутреннюю цельность идейно-художественного мира Иосифа Бродского и жесткую однонаправленность его житнетворческого развития в рамках логоцентрической модели синтетической (т. е. не исчерпывающейся только вербальной составляющей, но включающей поведенческий текст и т. п.) языковой личности [Иванов, Лакербай, 2017]. Вопреки неомифологическим представлениям о «приватности» дела поэта (эти представления составляют месседж персонального культурного неомифа), типологическая характеристика его языковой личности свидетельствует о классическом логоцентризме¹. Анализ базовой когни-

¹ Кратко специфика логоцентрической модели заключается в следующем: «а) духовно-нравственная и когнитивно-прагматическая обусловленность выбора пути (логоцентризм

Иванов Дмитрий Игоревич – кандидат филологических наук, доцент, профессор института русского языка Сианьского университета иностранных языков (ул. Вэньюань Наньлу, Сиань, Шэньси, 710128, Китай; Ivan610@yandex.ru)

Лакербай Дмитрий Леонидович – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории литературы и русской литературы XX века Ивановского государственного университета (ул. Ермака, 39, Иваново, 153025, Россия; lakomotion@yandex.ru)

тивно-прагматической программы (КПП), т. е. целостной системы опорных когнитивно-прагматических установок, выбранной поэтом в режиме исходного целеполагания, подтверждает это. «В качестве исходной поэтом выбрана универсальная метанарративная программа Поэта-избранника / изгоя, автоматически актуализирующая неомиф Судьбы Поэта в культуре, вне зависимости от прямых намерений автора» [Иванов, Лакербай, 2017, с. 24]. КПП имеет сложную динамичную структуру, в рамках которой происходит как усвоение базовых (коллективных и индивидуальных) «чужих» программ, так и их трансформация, *о-свое-ние* в буквальном смысле слова и дальнейшее развитие. В рамках данной статьи, не вдаваясь в структурные вопросы (для подобного разговора в масштабе художественного мира поэта требуется отдельное исследование), мы попробуем дать первоначальный набросок ведущих когнитивно-прагматических установок синтетической языковой личности Бродского (термин «языковая личность» представляется нам наиболее корректным и с литературоведческой точки зрения), непосредственно связанных с религиозностью поэта (в той мере, в которой о ней можно судить по текстам).

Религиозно-философская тематика и проблематика (открыто метафизическая, а не общекультурная на основе религиозного «материала») в поэзии Бродского – вопрос из разряда не просто дискуссионных, но очень сложных для исследователя. Ценности мистического (этико-мистического) плана образуют «высший духовный горизонт» человеческого существа, наиболее явно и зримо отлича его от всего прочего в природе и одновременно содержа потенциал великого воссоединения души и мира – вряд ли можно представить себе что-то одновременно более огромное и в то же время интимное, причем у каждого свое. О поэте мы судим по стихам, стихи же – не дневник, но «объективный коррелят» главного в душевно-духовной жизни, а то и сами душа и дух, таинственно преображенные в слово. Корреляции нелинейны, а в данной области и вовсе могут быть неисследимы². То же, что остается на стиховой поверхности, вызывает самые противоречивые отклики – от «настоящий христианин» до полной «декоративности» религиозного в глубоко «антипафосной» и скептической поэзии Бродского. Поэтому предлагаемая версия является, скорее, гипотезой, системой аргументов внутри заявленного подхода. Мы считаем, что специфика КПП Бродского, реализованной в атмосфере аксиологической опустошенности, жажды преемственности при ощущении «разрыва традиции», приводит к построению собственной религиозно-метафизической модели, имеющей лишь косвенное отношение к христианству.

Как точно отмечает Л. Лосев, именно Бродский, при всей дискуссионности степени и характера религиозности в его стихах, «возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс. Он сам иногда ставил себе в заслугу возвращение в стихи слова “душа”. Действительно, “душа” – одно из самых высокочастотных слов в словаре Бродского – 204 употребления», причем именно в значении «бессмертное духовное существо», а не метафора тех или иных свойств [Лосев, 2008, с. 168]. Однако еще важнее для нас следующее наблюдение, характеризующее внутреннюю основу нравственно-философского по-

всегда “движется” только по велению своей души); б) векторность, однонаправленность (движение только вперед); в) непрерывность (“остановка” может привести к актуализации ситуации когнитивной дисбалансировки всей КПП); г) единичность (логоцентризм, выбрав конкретный путь, “блокирует”, “отсекает” все альтернативные варианты достижения цели); д) глубокая убежденность в правильности выбранного пути; е) глубинное целеполагание» [Иванов, 2016, с. 104].

² Проблема «веры и неверия смертного и уже ушедшего от нас в вечность свою», как верно отмечал Ш. Маркиш, не вопрос для обсуждения [Маркиш, 1998, с. 214].

иска Бродского, не раз оцененного современниками как «духовный экстремизм»³, «антидоктринерство»⁴ и пр.: «...раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме, словно бы действительно чувствуя необходимость недвусмысленно вернуться к прерванной традиции, прежде чем пробовать новые пути. Это одинаково относится и к простеньким, хотя и очень популярным “Стансам”... и к монументальной “Большой элегии Джону Донну”...» [Лосев, 2008, с. 169]. Здесь сразу два важных момента: «архаическая» (без посредников в виде церкви, которой как бы еще нет или которую «мы сломали», как в символической «Остановке в пустыне») установка в условиях культурной опустошенности, разрыва традиции и некие предполагаемые «новые пути». Алгоритмика такого – добровольного или вынужденного – подхода расписана в истории культуры, что называется, в деталях и вариантах: это духовный базис модернизма от «Бог умер» до самообожения художника, человекобожества, богочеловечества, «Третьего Завета» и т. п. «Архаическая» на первый взгляд когнитивно-прагматическая установка Бродского (обращение к высшим силам без посредников, в рамках собственных нужд и творческой поэтической мифологии), таким образом, восходит к глобальной КПП модернизма (разнообразно ревизирующей отношения человека и Бога в пользу художника-демиурга) – ведь восстановление связи именно с ним, как заявлено в «Нобелевской лекции», было насущной потребностью «неофициального» литературного поколения⁵.

«Новый путь» Бродского содержательно действительно нов, однако типологически, на наш взгляд, является еще одним, «эпилогическим», вариантом модернистского житнетворчества, и это требует пристального внимания к «точке отсчета». Ведь именно собственный вариант модернистского житнетворчества позволяет Бродскому сочетать отмеченные К. Верхейлом «кальвинизм этики» (с его сугубо личной прямой ответственностью человека перед Богом и отрицанием принципа священства) с «подчеркнутым антикальвинизмом» поэтики, т. е. неразличением человеческого и божественного Логоса, верой в Язык [Верхейл, 2002, с. 153]. Впрочем, антидогматизм поэта делает и этот «кальвинизм» весьма условным, «фигурой речи» [Лосев, 2008, с. 167].

Духовная точка отсчета предельно точно сформулирована самим поэтом в «Нобелевской лекции» – это широкоизвестное «...мы начинали на пустом – точнее, пугающем своей опустошенностью – месте» [Бродский, 2001, т. 1, с. 14]. Дважды в одной фразе упомянутая «пустотность» недвусмысленно отсылает к хрестоматийной «пустоте»-итогу в поэзии Бродского (причем итогу спасительному, избавляющему дух от страданий телесности и материальности мира)⁶. Начиная с одной «пустоты» («губительной»), поэт приходит к другой («спасительной»), оставляя, по сути, за скобками все остальное, при этом, однако, не становясь на «путь дальнейшей деформации, поэтики осколков и развалин, минима-

³ «Со свойственным ему духовным экстремизмом Бродский идет по этому пути до конца» [Верхейл, 2002, с. 153].

⁴ «Бродский был принципиальным антидоктринером, отвергал “системы” в философии и религии» [Лосев, 2008, с. 149].

⁵ «...Скорей интуитивно, чем сознательно, мы стремились именно к воссозданию эффекта непрерывности культуры, к восстановлению ее форм и тропов, к наполнению ее немногих уцелевших и часто совершенно скомпрометированных форм нашим собственным, новым или казавшимся нам таковым, современным содержанием» [Бродский, 2001, т. 1, с. 14].

⁶ О роли метафизически понимаемой пустоты в творческом универсуме Бродского см. известную работу М. Ю. и Ю. М. Лотманов («Пустое пространство потенциально содержит в себе структуры всех подлежащих созданию тел... поэтому пустота богоподобна») [Лотман М., Лотман Ю., 1996, с. 743].

лизма, пресекаемого дыхания» [Бродский, 2001, т. 1, с. 14] и, при всей «современной» открытости абсурду, не позволяя ему уничтожить Логос, «встраивая» абсурдность мира и человека в логосность бытия (при негативизации, опустошении всех форм этого бытия!). Романтическая антитеза «я-мир» сочетается у Бродского с экзистенциалистским «чувством абсурда» и отчуждением от самого себя [Ранчин, 2001]. Уникальный путь поэта многократно описан исследователями, нередко с указанием на ту или иную форму парадоксальности: «...Бродский попытался осознанно соединить, казалось бы, несоединимые вещи: он скрестил авангард (с его новыми ритмами, рифмами, строфикой, неологизмами, варваризмами, вульгаризмами и т. д.) с классицистическим подходом (величественные периоды в духе XVIII века, тяжеловесность, неспешность и формальная безупречность)...» [Ерофеев, 1990, с. 210]. Но важнейший парадокс опять-таки связан с метафизически понятой пустотой (опустошенностью / отсутствием / вытеснением и т. п.): «...“вытесненность” поэта, его место вне – не только проклятие, но и источник силы – это позиция Бога...» [Лотман М., Лотман Ю., 1996, с. 743]. Позволим себе и автоцитату: «...процесс приобщения к классической эстетике совершается на поэтическом языке, упразднившем целостное мироздание с его системой ценностей, и должна существовать могучая сила, позволяющая “навязать” поэтическому языку неорганичную ему эстетику. Этой силой выступает интуиция онтологического первородства и логосности поэзии. <...> “И новый Дант склоняется к листу / и на пустое место ставит слово”. <...> ...“Пустое место”... оно же белый чистый лист – исходный пункт нового творения; “новый Дант” – самая “бытийная” маска-функция поэта у Бродского, ибо “Дант” – попытка совмещения слова-вымысла и слова-божественной истины, не просто новое мироздание, а иерархия, т. е. мироздание стройно-оформленное, онтологически и аксиологически структурированное по вертикали “Добро-Зло”, соответствующее и онтопоэтическим интенциям, и объективированному романтизму (к тому же Данте – ярчайший пример поэта-изгнанника, на «пустом месте» возведшего свою вселенную). “Слово”, соответственно, открыто приближается к божественному Логосу, имманентно содержащему мир в его структурированности» [Лакербай, 2000, с. 117].

Очевидно, упомянутая «духовная точка отсчета», кроме самой «пустоты», должна содержать в себе могучий потенциал именно такого необычного пути «от пустоты к пустоте», нести зародыш беспощадного аналитического расчленения мира и человека во всей полноте «вечной» проблематики, т. е. того самого «духовного экстремизма». «Отчаяние поэта, принадлежащего концу XX века» [Милош, 1998, с. 240] мыслится и самим Бродским, и его выдающимися интерпретаторами (такими, например, как нобелевский лауреат Чеслав Милош) неустрашимым, т. е. властно продиктованным самим ходом истории, катастрофизмом XX в.: ведь метафизический поиск начинается одинокая душа, ощутившая себя в родном городе на развалинах цивилизации, «которая перестала существовать» [Бродский, 2001, т. 5, с. 27]. Ученик, собирающийся в школу «под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн Вождю» [Там же] и вскоре осваивающий с помощью книг и личной мобильности «искусство отчуждения» от советской действительности, – таков уже устоявшийся канон формирования личности будущего поэта. И в целом, конечно, это справедливо. Личностная метафизическая траектория оказывается неотделима от исторического опыта в широком смысле, вернее от метафизических же следствий из пережитого страной и человечеством: «За поэзией Бродского стоит опыт политического террора, опыт унижения человека и роста тоталитарной империи» [Милош, 1998, с. 238]. И в то же время это именно одинокий выбор: «Я делаю из эпохи сальто. / Извините меня за резвость!» [Бродский, 2001, т. 2, с. 180].

Принципиально важно, что выбор одной из главных традиций в поэзии Бродского – английских метафизиков – напрямую сопряжен с его метафизическим же

обобщением повторяющихся в истории ситуаций «колоссального духовного разброда, неуверенности, полной компрометации или утраты идеалов» [Волков, 2000, с. 163]. В диалогах с С. Волковым это и эпоха Ренессанса, и время после Первой мировой войны, и, разумеется, после Второй. Здесь ощутима сильная религиозная подоплека (отпадение от Бога, история как грехопадение) – но современный «раздробленный» и рефлексирующий человек, оценив мир как «лежащий во зле», как будто не способен подняться к полноте религиозного опыта и в своем безнадежном богоискательстве находит (как это масштабно проделал модернизм) вдохновляющий паллиатив. Искомая традиция («зеркало этого разброда») в подобном случае представляет собой фундирующую ретропроектицию метафизической опустошенности современности: «Вот почему поэты нашего столетия, люди с опытом войны – нашли метафизическую школу столь им созвучной. Коротко говоря, метафизики дали английской поэзии идею бесконечности, сильно перекрывающую бесконечность в ее религиозной версии. Они, быть может, первые поняли, что диссонанс есть не конец искусства, а ровно наоборот – тот момент, когда оно, искусство, только-только всерьез и начинается» [Там же].

Как блестяще одаренный стихотворец, почти мгновенно освоивший «риторическую» составляющую поэзии [Лакербай, 2000], Бродский на протяжении творческой жизни многократно сам – в стихах, в эссе, в интервью – формулировал все основные законы своего художественного мироздания, поражающего внутренним единством. Вот, например, прекрасная формула из «Речи о пролитом молоке» (1967), замечательная тем, что содержит «полный набросок» сложившегося мироотношения, но еще не отягощена «негативными последствиями» сделанного выбора. Поэт рассматривает и традиционный «пророческий» путь, но отказывается считать себя таковым и настаивает на «изоляции» как глубоко личной «дружбе с бездной»:

Я не занят, в общем, чужим блаженством.

Это выглядит красивым жестом.

Я занят внутренним совершенством:

полночь – полбанки – лира.

Для меня деревья дороже леса.

У меня нет общего интереса.

Но скорость внутреннего прогресса

больше, чем скорость мира

[Бродский, 2001, т. 2, с. 184].

Однако путь изоляции и «внутреннего прогресса» амбивалентен по отношению к традиционной религии. С одной стороны, недвусмысленно выражается идея защиты веры как высшего аксиологического оплота: «Обычно тот, кто плюет на Бога, / плюет сначала на человека» [Бродский, 2001, т. 2, с. 187], с другой – тут же, в режиме предъявления Господу результатов его творения, выставляется некий счет, в котором обнаруживается романтико-демоническая богооставленность и язвительное метафизическое сиротство:

«Бога нет. А земля в ухабах».

«Да, не видать. Отключусь на бабах».

Творец, творящий в таких масштабах,

делает слишком большие рейды

между объектами. Так что то, что

там Его царствие, – это точно.

Оно от мира сего заочно.

Сядьте на свои табуреты

[Бродский, 2001, т. 2, с. 187].

Собственно, все стихотворение – излюбленный Бродским маятник, бесконечная раскачка между истинами, которых «всегда мало», поэтому вполне христианские («Планеты раскачиваются, как лампы, / которые Бог возжиг в небосводе / в благоговенье своем великом...») легко оборачиваются поэтической метафорикой, сарказмом, скоморошеством и романтическим героизмом в истерично-иронической форме:

Я дышу серебром и харкаю медью!
Меня ловят багром и дырявой сетью.
Я дразню гусей и иду к бессмертью,
дайте мне хвостину!
Я беснуюсь, как мышь в темноте сусека!
Выносите святых и портрет Генсека!
Раздается в лесу топор дровосека.
Поваляюсь в сугробе, авось остыну.
Ничего не остыну! Вообще забудьте!

Я помышляю почти о бунте!
Не присягал я косому Будде,
за червонец помчусь за зайцем!
Пусть закроется – где стамеска! –
яснополянская хлеборезка!
Непротивление, Панове, мерзко.
Это мне – как серпом по яйцам!

.....
Я люблю родные поля, лощины,
реки, озера, холмов морщины.
Все хорошо. Но дерьмо мужчины:
в теле, а духом слабы.
Это я верный закон накнокал.
Все утирается ясный сокол.
Господа, разбейте хоть пару стекол!
Как только терпят бабы?

[Бродский, 2001, т. 2, с. 188–189]

Данный «маятник», однако, не означает отсутствия четких программных установок – напротив, сама «маета» отражает специфичность их реализации в «постапокалиптическом» мире. Поэту просто не на что однозначно опереться, и это хорошо знакомая ситуация (от героев Достоевского до, например, поэта Маяковского) кризиса романтического сознания в «неромантическую», «второсортную» эпоху. Не забудем, что освоение христианства у Бродского было и относительно запоздалым (после буддизма и пр., после оформления собственно метафизического горизонта его поэзии) и это неопитство, на взгляд православного, по-западному поверхностно и чересчур рационально, если не сказать, утилитарно. Как свидетельствует Б. Янгфельдт, «в Новом Завете ему не нравилось, прежде всего, то, что он называл “торгашеской психологией”: “сделай это – получишь то, да?”». Тем не менее его привлекали «некоторые вещи в христианстве» [Янгфельдт, 2012, с. 150]. «Западная версия» христианства, по нашему мнению, не содержит сильного противоядия от такого понимания (вспомним идею индульгенций), зато открывает – в протестантизме – путь к устранению «символической лестницы» между человеком и Богом, что очень привлекательно для резко индивидуалистического сознания, ищущего опору поверх «второсортной эпохи».

В результате такого – и объективного, и желаемого – упрощения религиозная идея оказалась «встроена» в рано сложившуюся конфигурацию мироотношения: «Романтический конфликт с эпохой, позиция абсентеизма и эстетического проти-

востояния государству, обостренное метафизическое чувство, трагизм открывшейся в послевоенной разрухе “голой сути” уже у юноши Бродского множатся на “текст культуры” (в городе-тексте культуры), жажду творческой самореализации, раннюю способность к рефлексии, духовное сиротство в Империи, романтизм и байронизм...» [Иванов, Лакербай, 2017, с. 26]. Религиозная установка, при всей ее бесспорной важности для поэта (и, конечно же, просто обязательном для столь мощного таланта наличии «метафизического чувства»), вступила в зависимость и от политической злободневности⁷ (также переведенной в метафизический план, что является просто аксиомой для современного «философствующего» сознания), и от комплекса романтико-модернистских идей.

Важно, что Бродский, бескомпромиссный и абсолютно уверенный в своей апологии Языка, демонстрирует настоящую эпистемологическую неуверенность в вопросах веры, чем-то напоминающую «я отправляюсь на поиски великого Может Быть» из легендарной предсмертной фразы другого язвительного «универсалиста», которого безуспешно пытались «приписать» к различным конфессиям, – Ф. Рабле. С одной стороны, значительное присутствие религиозной и шире – метафизической – топики (от «плановых» стихотворений к Рождеству до масштабных полотен с проблематикой, которую можно с полным основанием назвать религиозно-философской, – «Большая элегия Джону Донну», «Исаак и Авраам», «Сретенье», «Разговор с небожителем» и др.), с другой – дважды повторенное, и не где-нибудь, а в «Нобелевской лекции»: «Если тот свет существует...» [Бродский, 2001, т. 1, с. 6]. Но еще показательней уточнение, содержащее личную мотивировку возможного существования «того света» (т. е. мира трансценденции, без которого говорить о вере нет смысла): «Если тот свет существует – а отказать им в возможности вечной жизни я не более в состоянии, чем забыть об их существовании в этой, – если тот свет существует, то они, надеюсь, простят меня и качество того, что я собираюсь изложить...» [Там же]. Высшей инстанцией, конституирующей (или нет) само существование мира трансценденции, оказывается источник суждения о нем – поэт, т. е. план веры является производным от плана субъекта и его речи, разрастающейся и сливающейся со всемирным логосом. Доказательств этому в творчестве Бродского великое множество, сама фигура поэта является доказательством – ведь именно поэт делает решающий шаг от «удобрить» собой землю до «одобрить»: «Пилигримы» 1958 года [Там же, с. 21]; благодаря поэту родная земля обретает «речи дар в глухонемой вселенной» («На столетие Анны Ахматовой», 1989 [Бродский, 2001, т. 4, с. 58])⁸.

Могущество этой «светской» (мирской, языческой – можно оценивать по-разному) веры в Язык и Литературу, имплицитно фундированное лежащим в основе модернистского житнетворчества романтическим (неоромантическим) ми-

⁷ О «практическом» понимании христианства у Бродского писали многие – см., например, главу «Пламенный антиязычник» в книге Б. Янгфельдта [2012].

⁸ Эта апология, явно направленная против порабощающей человека «истории» с ее соблазнами, но фактически замещающая религию литературой на месте «вечного», недвусмысленно развернута и в «Нобелевской лекции»: «Язык и, думается, литература – вещи более древние, неизбежные и долговечные, нежели любая форма общественной организации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые литературой зачастую по отношению к государству, есть, по существу, реакция постоянного, лучше сказать – бесконечного, по отношению к временному, к ограниченному... <...> Обладая собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно истории, и способом его существования является создание всякий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто оказывается “впереди прогресса”, впереди истории, основным инструментом которой является – а не уточнить ли нам Маркса? – именно клише» [Бродский, 2001, т. 1, с. 7–9].

фом о художнике⁹, постепенно переводит суть вопроса из собственно религиозности с ее возможностью глобального утешения и спасения в индивидуальную форму «квазирелигиозности», в строгом смысле слова опустошая символы самой религии и наполняя их чисто художническим смыслом. По сути, знаменитое признание «вся вера есть не более, чем почта в один конец» [Бродский, 2001, т. 2, с. 362] представляет собой «мягкую» (по сравнению с «Бог умер») форму богооставленности, сиротства: «место Бога» не вакантно, но пустотно и ничего не остается в итоге, как «творить новых богов». Метафизический адресат не отменен, но «атрибутирован» творчеству; многократно озвучена Бродским идея о бесконечности Языка и поэзии – в то время как Бог может предстать чем-то вроде планеты¹⁰. Язык – «первичная ткань жизни», стихия, более значимая для художника (а через него и для человечества), чем все остальное, наделяющая душу способностью к трансценденции, но при этом уж точно более близкая, чем Бог, а значит, способная если не изменить, то скрасить метафизическую ситуацию «почты в один конец». Поэт как «инструмент языка» счастлив, ибо воссоединен со своим божеством, и в ответ наделяет его чертами не только надличностной, но и «надбожественной» вселенской мощи¹¹.

«Бог сохраняет всё; особенно – слова / Прощенья и любви, как собственный свой голос» [Бродский, 2001, т. 4, с. 58] – здесь очевидным образом происходит метафизическая «возгонка» (до высшего авторитета) любимой опорной максимы Бродского, самая известная автоформулировка которой замаскирована, передоверена «авторитету» У. Х. Одну. Позволим себе еще одну автоцитату с целью прояснения общего смысла процесса: «Проникаясь неоклассическими идеями, Бродский, сообразно своей “двойной” природе, в традициях рационалистической поэтики обращался к пантеону авторитетов, нормативно определяющих облик поэта и поэзии, но создавал этот пантеон сам, т. е. вполне по-романтически. Наглядный пример – эссе “Поклониться тени”, где У. Оден как бы “завещает” Бродскому не только главную онтологию поэзии (“Время... боготворит язык и прощает / всех, кем он жив...”)), но и портрет Поэта: “В этом лице не было ничего особенно поэтического, ничего байронического, демонического, иронического, ястребиного, орлиного, романтического, скорбного и т. д. Скорее, это было лицо врача... хорошо готовое ко всему, лицо-итог...” “антиромантизм” на самом деле был ультраромантизмом, вытесненным постапокалиптическим скепсисом...» [Лакербай, 2000, с. 102].

Путь Бродского в этом аспекте выглядит закономерным: из романтико-поэтического героизма (вынужденного искать «метонимическую» форму торжества Языка, а не поэта), скепсиса, отчуждения, открытости абсурду при нежелании отдаться ему следует абсолютизация аутсайдерства и неизбывности зла и абсурда, а также неизбежная при неприятии «пути осколков» негативизация мира и человека как последовательное рациональное обобщение личного опыта фаустианского беспочвенного – но жаждущего обретений! – человека. Такая «актуальная конфигурация» установок, в которую «встроена» религиозная идея, весьма сильная исходно и постоянная как ориентир, постепенно опустошает ее изнутри (что хорошо заметно при сравнении раннего и позднего периодов творчества), превращает в политическую инвективу (например, против ислама) или

⁹ И в целом «эстетическим идеализмом», «бог которого – красота, храм – искусство, а священнослужитель – поэт, которому одному дарована способность являть бога во плоти художественного произведения» [Гайденко, 1997, с. 113].

¹⁰ «Ты Бога облетел и впяты помчался» [Бродский, 2001, т. 1, с. 234].

¹¹ «...Всеядная прозорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя» [Там же, т. 5, с. 119].

в рациональную конструкцию. Очень выразителен здесь образ Рождественской звезды:

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка, издавека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца
[Бродский, 2001, т. 4, с. 10].

«Отец» изображен как нечто беспредельно далекое и холодное – меж тем как сущность веры как раз в обратном, в частности – в ощущении соприсутствия Бога в творении. «Почта в один конец», «взгляд звезды» – это ситуация богооставленности, сиротства, эмиграции как состояния души, посторонности всему и вся. Словом, «пространство отчаяния», а не веры.

Сколько света набилось в осколок звезды,
на ночь глядя! как беженцев в лодку.
Не ослепни, смотри! Ты и сам сирота,
отщепенец, стервец, вне закона.
За душой, как ни шарь, ни черта. Изо рта –
пар клубами, как профиль дракона
[Там же, т. 3, с. 192].

Собственно, потому и «нечего сказать ни греку, ни варягу» [Там же, с. 149], «только с горем я чувствую солидарность» [Там же, с. 191] – и т. п. У «безопорных» романтиков место Бога нередко занимает возлюбленная, и при всем «снижающем» пафосе в лирике Бродского это проявлено резко и недвусмысленно:

Я был только тем, чего
ты касалась ладонью,
над чем в глухую, воронью
ночь склоняла чело.
Я был лишь тем, что ты
там, внизу, различала:
смутный облик сначала,
много позже – черты
[Там же, с. 226].

В «Горбунове и Горчакове» изображено драматичное раздвоение бьющегося в тисках метафизической «безопорности» сознания на романтика и скептика¹². Охарактеризовав ведущие установки исходной КПП Бродского, мы можем уточнить, что такое раздвоение сигнализирует не только о драматизме выбора-опустошения (пустота), но и о предопределяющей результат (в случае бескомпромиссной верности себе и своему дару) ограниченности самого поля выбора. Спасти высокое можно лишь «отделив» его от жизни (мир лежит во зле, пошлости и т. п.) – но это изначально именно романтическая коллизия, расклад «фаустианского» человека Нового времени, усугубленный экзистенциалистской рефлексией в эпоху, представляющуюся постапокалиптической. Такому автобиографическому «лирическому герою» в широком смысле (т. е. автору, живущему дорогой поэзии, а не просто сочинителю) просто некуда деваться, если он намерен пройти путь до конца (и заглянуть «за»). Лирический опыт Бродского (при любом к нему отношении) в этом смысле действительно бесценен. Принимая (с оговорками) жизнь как дар, он не принимает ее порядок и смысл как нечто бо-

¹² См. анализ и результат этого раздвоения: [Глазунова, 2008].

лее великое, таинственное и значимое, чем наше страдающее мыслящее «я», находя утешение и спасение лишь в одном из ее ликов – Языке. («Опустошение вселенной компенсируется заполнением бумаги» [Лотман М., Лотман Ю, 1996, с. 745].) Напрашивается невеселый каламбур, что поэт – язычник во всех смыслах этого слова, вплоть до своеобразного идолопоклонства. Между тем, на наш взгляд, разница между «мыслит» и «жизнит», «мыслит» и «верует» слишком значительна, чтобы пренебрегать ею. В конце концов, величайшую смыслоутрату не может восполнить никакая «вера личного изготовления», и потому так трогательно звучат прорывающиеся порой интимные признания, в которых слышна та самая, изначальная, пусть и «очеловеченная» вера:

Наклонись, я шепну Тебе на ухо что-то: я
благодарен за все; за куриный хрящик
и за стрекот ножниц, уже кроющих
мне пустоту, раз она – Твоя.
Ничего, что черна. Ничего, что в ней
ни руки, ни лица, ни его овала.
Чем незримей вещь, тем оно верней,
что она когда-то существовала
на земле, и тем больше она – везде.
Ты был первым, с кем это случилось, правда?
[Бродский, 2001, т. 3, с. 232]

Но и переоценивать эти признания нельзя – в роли сокровенного адресата может выступать и языческий божок Вертумн:

В дурно обставленной, но большой квартире,
как собака, оставшаяся без пастуха,
я опускаюсь на четвереньки
и скребу когтями паркет, точно под ним зарыто –
потому что оттуда идет тепло –
твое теперешнее существование.
В дальнем конце коридора гремят посудой;
за дверью шуршат подола и тянет стужей.
«Вертумн, – я шепчу, прижимаясь к коричневой половице
мокрой щекою, – Вертумн, вернись»
[Там же, т. 4, с. 90].

Итак, в условиях аксиологической «опустошенности» современного мира и выбора «героической» романтико-модернистской модели Поэта несомненное религиозно-метафизическое чувство Бродского претерпевает системную трансформацию: в нем преобладает не религиозное «утешение», но амбивалентность «почты в один конец» и отчаяние богооставленности; на первый план выходит «светская вера», возникшая как результат трансцендирования сакрализированных Языка и Поэзии.

Тем не менее стоит сохранить глубокую благодарность поэту, с такой беспощадностью к себе в своем поистине безысходном космическом сиротстве помогающему нам в итоге сделать собственный выбор.

Список литературы

- Бродский И.* Сочинения: В 7 т. СПб.: Пушкинский фонд, 2001 / Под общ. ред. Я. А. Гордина, сост. Г. Ф. Комаров. Т. 1. 304 с.; Т. 2. 440 с.; Т. 3. 312 с.; Т. 4. 432 с.; Т. 5. 376 с.
- Верхейл К.* Танец вокруг мира: Встречи с Иосифом Бродским / Авториз. пер. с нидерл. И. Михайловой. СПб.: Изд-во журн. «Звезда», 2002. 272 с.

- Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газ., 2000. 334 с.
- Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: новая онтология XX века. М.: Республика, 1997. 495 с.
- Глазунова О. И. Иосиф Бродский: метафизика и реальность. СПб.: Фак. филологии и искусств С.-Петерб. гос. ун-та; Нестор-История, 2008. 312 с.
- Ерофеев В. «Поэта далеко заводит речь...» (Иосиф Бродский: свобода и одиночество) // Ерофеев В. В лабиринте проклятых вопросов. М.: Сов. писатель, 1990. С. 216–231.
- Иванов Д. И. Типологические особенности когнитивного сознания субъекта-логоцентрика в русской рок-культуре // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12(66): В 4 ч. Ч. 4. С. 100–105.
- Иванов Д. И., Лакербай Д. Л. Логоцентрическая программа языковой личности И. Бродского: предварительные замечания // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 7(73): В 3 ч. Ч. 1. С. 24–27.
- Лакербай Д. Л. Ранний Бродский: поэтика и судьба. Иваново: Изд-во Иванов. ун-та, 2000. 164 с.
- Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. 3-е изд., испр. М.: Мол. гвардия, 2008. 447 с. (Жизнь замечательных людей).
- Лотман М. Ю., Лотман Ю. М. Между вещью и пустотой (Из наблюдений над поэтикой сборника Иосифа Бродского «Ураания») // О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство – СПб., 1996. С. 731–746.
- Маркиш Ш. «Иудей и Еллин»? «Ни Иудей, ни Еллин»? // Иосиф Бродский: труды и дни / Ред.-сост. П. Вайль, Л. Лосев. М.: Независимая газ., 1998. С. 207–214.
- Милош Ч. Борьба с удушьем // Иосиф Бродский: труды и дни / Ред.-сост. П. Вайль, Л. Лосев. М.: Независимая газ., 1998. С. 237–247.
- Ранчин А. «Человек есть испытатель боли...»: Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм // Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М.: НЛЮ, 2001. С. 146–174.
- Янгфельдт Б. Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском / Пер. со швед. Б. Янгфельдта; пер. с англ. А. Нестерова. М.: Астрель: Corpus, 2012. 368 с.

D. I. Ivanov¹, D. L. Lakerbai²

¹ Xi'an International Studies University, Xi'an, Shanxi, China, Ivan610@yandex.ru

² Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation, lakomotion@yandex.ru

**“Not a penny to my name, however much I do”:
the faith plot and his ‘routine’ devastation in J. Brodsky’s poetry**

The debating points of Brodsky’s religious subject and agenda are considered within this paper alongside with the specificity of the poet’s lingual personality cognitive-pragmatic program (CPP) in the aspect of generalized paradigms connected with faith, personal salvation and consolation. “The faith plot” of Brodsky’s oeuvre is considered in skeptically, desperately and heroically selected terms of common creative life “from the void and to the void”. Brodsky’s “archaic” cognitive-pragmatic set (a selfish appeal to supreme forces in terms of his poetical mythology) ascends to a global cognitive-pragmatic program of modernism (that revises the man-God relationship in artist’s favor). Starting with the “pernicious” void, the poet comes to the salutary one, keeping the Logos out of destruction by existential absurd.

The power of faith in Word and Literature, implicitly powered by romantic (neoromantic) myth of artist underlying the entire modernist life-creation, gradually transfers the essence of the question from the religiosity with its global consolation and salvation possibility into an individual form of “quasi-religiosity”, through strictly devastating the religion symbols and filling them

with purely artistic meaning. The poet as a “tool of language” is happy in his existential despair for he is reunited with his deity and gives him the features of the universal power. The choice within an “epilogue” version of modern life-creation is nevertheless limited by skepticism, despair, and romantic heroism. While accepting life as the Gift, the poet does not accept its order and the idea as something more significant, mysterious, and solemn than our distressful ego and finds salvation in one of its manifestations – the Word.

Keywords: J. Brodsky, poetry, metaphysic, logos, cognitive-pragmatic program, romantic heroism, the void, orphanage.

DOI 10.17223/18137083/67/13

References

- Brodsky I. *Sochineniya: V 7 t.* [Works: in 7 vols]. Ya. A. Gordina (Ed.), G. F. Komarov (Comp.). St. Petersburg, Pushkinskiy fond, 2001, vol. 1, 304 p.; vol. 2, 440 p.; vol. 3, 312 p.; vol. 4, 432 p.; vol. 5, 376 p.
- Erofeyev V. “Poeta daleko zavodit rech’...”: (Iosif Brodskiy: svoboda i odi-nochestvo) [“The word may lead a poet far away...”: (Joseph Brodsky: freedom and loneliness)]. In: Erofeyev V. V. *V labirinte proklyatykh voprosov* [In the maze of damned questions]. Moscow, Sov. pisatel’, 1990, pp. 216–231.
- Gaidenko P. P. *Proryv k transtsendentnomu: novaya ontologiya XX veka* [Breakthrough to the transcendent: a new ontology of the 20th century]. Moscow, Respublika, 1997, 495 p.
- Glazunova O. I. *Iosif Brodskiy: metafizika i realnost* [Joseph Brodsky: Metaphysics and Reality]. St. Petersburg, SPbU Faculty of Philology and Arts, Nestor-Istoriya, 2008, 312 p.
- Jangfeldt B. *Yazyk est bog. Zametki ob Iosife Brodskom* [Language is god. Notes on Joseph Brodsky]. B. Jangfeldt (Transl. from Swedish), A. Nesterov (Transl. from English). Moscow, Astrel’, Coprus, 2012, 368 p.
- Ivanov D. I. Tipologicheskiye osobennosti kognitivnogo soznaniya subyekta-logotsentrika v russkoy rok-kulture [Typological features of the cognitive consciousness of the subject-logocentric in Russian rock culture]. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2016, no. 12(66): in 4 pts, pt 4, pp. 100–105.
- Ivanov D. I., Lakerbay D. L. Logotsentricheskaya programma yazykovoy lichnosti I. Brodskogo: predvaritelnye zamechaniya [Logocentric program of the lingual personality of J. Brodsky: preliminary observations]. *Philological Sciences. Issues of Theory and Practice*. 2017, no. 7(73): in 3 pts, pt 1, pp. 24–27.
- Lakerbay D. L. *Ranniy Brodskiy: poetika i sudba* [Early Works of Brodsky: Poetics and Fate]. Ivanovo, Ivanovo State Univ. Publ., 2000, 164 p.
- Losev L. V. *Iosif Brodskiy: Opyt literaturnoy biografii. 3-e izd., ispr.* [Joseph Brodsky: Experience of literary biography. 3rd ed., corr.]. Moscow, Mol. gvardiya, 2008, 447 p. (Zhizn’ zamechatel’nykh lyudey).
- Lotman M. Y., Lotman Y. M. Mezhd u veshch’yu i pustotoy (Iz nablyudeniy nad poetikoy sbornika Iosifa Brodskogo “Uraniya”) [Between the Being and the Void (The research of the poetics of Joseph Brodsky’s book “Urania”)]. In: *O poetakh i poezii* [About poets and poetics]. St. Petersburg, Iskusstvo, 1996, p. 731–746.
- Markish S. Iudey i Ellin? Ni Iudey, ni Ellin? [Jew and Greek? Neither Jew nor Greek]. In: *Iosif Brodskiy: trudy i dni* [Joseph Brodsky: works and days]. P. L. Vayl’, P. V. Losev (Eds, comps). Moscow, Nezavisimaya gaz., 1998, pp. 207–214.
- Miłosz C. Bor’ba s udush’em [Struggle against choking]. In: *Iosif Brodskiy: trudy i dni* [Joseph Brodsky: works and days]. P. L. Vayl’, P. V. Losev (Eds, comps). Moscow, Nezavisimaya gaz., 1998, pp. 237–247.
- Ranchin A. M. “Chelovek est ispytatel boli...”: Religiozno-filosofskie motivy poezii Brodskogo i ekzistentsializm [“Man is a pain tester...”: Religious and philosophical motifs of Brodsky’s poetry and existentialism]. In: Ranchin A. “Na piru Mnemoziny”: *Interteksty Brodskogo* [At the feast of Mnemosyne: Brodsky’s intertexts]. Moscow, NLO, 2001, pp. 146–174.
- Verheul K. *Tanets vokrug mira: Vstrechi s Iosifom Brodskim* [Dance around the world: Meetings with Joseph Brodsky]. I. Mikhailova (Transl. from Dutch). St. Petersburg, izd. zhurn. “Zvezda”, 2002, 272 p.
- Volkov S. *Dialogi s Iosifom Brodskim* [Conversations with Joseph Brodsky]. Moscow, Nezavisimaya gazeta, 2000, p. 334.

УДК 81:13, 81'23
DOI 10.17223/18137083/67/14

О. И. Валентинова, М. А. Рыбаков, А. Н. Широбоков

Российский университет дружбы народов, Москва

Типы моделей и их объяснительные возможности (на примере моделирования систем вокализма некоторых тюркских языков Сибири)*

Статья посвящена моделированию языковых подсистем как особому возникающему при условии высокого уровня развития науки приему научного познания, основанному на подмене какого-либо из компонентов научной деятельности как оригинала его особым заместителем, моделью. В центре внимания авторов замещающие метод исследования логические модели вокализма, способность которых учитывать не только структуру, но и субстанцию и функцию делает эти модели системными. Опираясь на концептуальные положения основателя современной системной лингвистики Г. П. Мельникова о моделировании тюркского вокализма, исследователи разрабатывают геометрические модели вокализмов алтайского, хакасского, якутского и тувинского языков.

Ключевые слова: системная лингвистика, системный метод, модели вокализма, тюркские языки.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 19-012-00014 «Реконструкция понятийных полей системной лингвистики».

Валентинова Ольга Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов (ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2А, Москва, 117198, Россия; ovalentinova@yandex.ru)

Рыбаков Михаил Анатольевич – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Российского университета дружбы народов (ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2А, Москва, 117198, Россия; rybakov_ma@pfur.ru)

Широбоков Александр Николаевич – кандидат технических наук, доцент, заведующий курсом современных технологий средств массовой информации и массовых коммуникаций Российского университета дружбы народов (ул. Миклухо-Маклая, 10, корп. 2А, Москва, 117198, Россия; ashirobokov@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© О. И. Валентинова, М. А. Рыбаков, А. Н. Широбоков, 2019

В системной методологии науки под моделью понимается любой материальный или идеальный объект, способный таким образом заменить какой-либо из компонентов исследовательской деятельности (методику, концепт, метод или объект исследования), что замена сведений об оригинале на сведения о модели позволяет увеличить эффективность исследования. Понятие модели относится к числу общих (не только лингвистических) научных понятий и подлежит науковедческому, методологическому анализу, поскольку под моделированием понимается определенный прием получения научных знаний.

В отечественной лингвистике идея моделирования языковых явлений восходит к трудам И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы, а также философа, математика и лингвиста Я. И. Линцбаха. В параграфе «Опыт рациональной фонетики» своего исследования «Принципы философского языка» Я. И. Линцбах ставит проблему неравномерности оснований классификации фонем в различных естественных языках и предлагает табличные и точечные матрицы для моделирования фонетических систем [Линцбах, 2009, с. 31–37], а в главе «Об идеальных понятиях. Принцип прерывности» подробно рассматривает возможности применения геометрической системы координат и аналитической геометрии в целом к описанию и объяснению языковых явлений. В этой же главе показана возможность анализа логических суждений как алгебраических выражений [Там же, с. 96–135]. Вышедшая в Петрограде в 1916 г. работа оригинального мыслителя была надолго забыта и второй раз издана только в 2009 г. (с послесловием И. И. Ревзина).

Во второй половине XX в. значительный вклад в разработку теории лингвистических моделей в отечественной науке внесли Н. Д. Андреев, А. В. Гладкий, П. Н. Денисов, А. А. Зализняк, Вяч. Вс. Иванов, А. Ф. Лосев, И. А. Мельчук, И. И. Ревзин, С. Н. Сыроваткин, Ю. А. Шрейдер.

Особое место в развитии данной теории занимают труды Г. П. Мельникова, который рассматривает понятие модели в аспекте задач системной типологии языков, а не в общепринятом узком, логико-математическом смысле. Понимая модель как «своеобразный *информационный трансформатор*, который при идеальном использовании лишь *перераспределяет* (выделено нами. – О. В., М. Р., А. Ш.) эффективность каналов “притока” информации: он может только усилить поток одних сведений за счет ослабления потока других» [Мельников, 2003, с. 155]. Таким образом, процесс моделирования ученый связывает с универсальными принципами сохранения, которые распространяет на информационные характеристики реальных объектов. Этот взгляд лингвиста на природу информации согласуется со взглядами современной физики [Бриллюэн, 1960; 1966].

Для полноты сведений об оригинале необходимо использовать много видов его моделей, потому что отдельная модель, исходно подобная в некоторых свойствах и исходно отличная от оригинала, не исчерпывает всех интересующих исследователя свойств оригинала.

Общие принципы построения и применения моделей языковых объектов были использованы Г. П. Мельниковым на материале вокалических систем языков тюркской семьи для описания и объяснения их устройства и функционирования и решения следующих задач:

- описание субстанции вокалических систем;
- описание структурных отношений между элементами внутри этих систем;
- описание парадигматических и синтагматических функций гласных;
- объяснение сингармонизма как системной закономерности тюркских языков;
- объяснение типологической динамики вокалических систем тюркских языков в зависимости от внешних и внутренних условий функционирования конкретных языков.

Если задачи исследования ограничены анализом одних только отношений в системе, то в этом случае может быть использована структурная модель, в качестве которой может выступать любой сложный объект, структура которого совпадает со структурой оригинала, независимо от того, совпадает или не совпадает субстанция элементов оригинала с субстанцией элементов модели.

Характерным примером структурной модели является куб тюркских гласных (рис. 1).

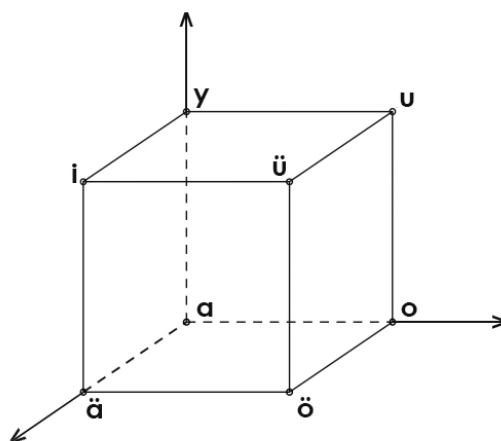


Рис. 1. Куб тюркских гласных
в обычной правовинтовой системе координат
[Мельников, 1962, с. 33]:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный;
y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный;
a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный;
u – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный;
ä – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный;
ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный;
ü – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 1. The cube of Turkish vowels
in conventional right-handed coordinate system
[Mel'nikov, 1962, p. 33]:

i – front, upper, non-labial vowel; y – non-front, upper, non-labial vowel;
a – non-front, non-upper, non-labial vowel; o – non-front, non-upper, labial vowel;
u – non-front, upper, labial vowel; ä – front, non-upper, non-labial vowel;
ö – front, non-upper, labial vowel; ü – front, upper, labial vowel

Идеализированный характер данной модели заключается в том, что она обобщенно характеризует вокалические системы языков тюркской семьи, отражая инвариантный состав гласных фонем, и требует уточнения применительно к составу фонем конкретного языка – члена данной семьи. При этом данная модель может служить удобным эталоном для сопоставления тюркских языков друг с другом, а также для характеристики их общего вокалического типа.

Структурный характер такой модели заключается в том, что она отражает отношения между фонемами, но не дает субстантивной характеристики фонем по какому-либо признакам, например подъема и ряда. Сами авторы кубической модели

(Дж. Лотц, Г. Глисон, Р. Якобсон, М. А. Черкасский) рассматривали ее как удобную иллюстрацию структуры фонологических оппозиций между гласными (т. е. дискретную описательную парадигматическую модель). Однако именно Г. П. Мельников увидел в данной модели объяснительный потенциал и возможность точно и экономно описать сингармонические дискретные свойства гласных в синтагматике на основе учета их парадигматических характеристик, т. е. возможность превратить данную модель в динамическую и системную.

Кроме того, данная модель является статичной, так как она отражает лишь парадигматические оппозиции фонем. Модель можно преобразовать в порождающую, если отразить на ней, например, правила сингармонизма – огласовки аффиксов в зависимости от гласной корня (рис. 2).

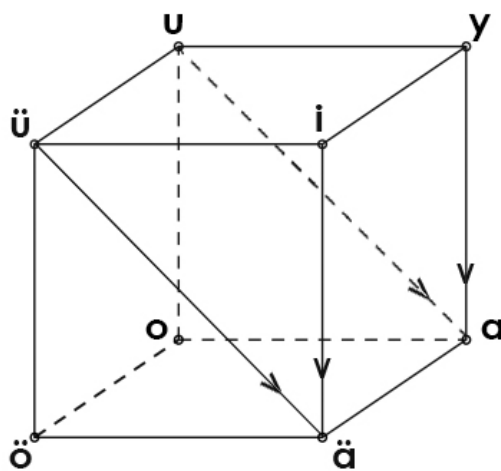


Рис. 2. Геометрическое описание огласовки якутских аффиксов
[Мельников, 1962, с. 39]:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; o – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; u – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; ä – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; ü – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 2. Geometric description of Yakut affix vocalization
[Mel'nikov, 1962, p. 39]:

i – front, upper, non-labial; y – non-front, upper, non-labial; a – non-front, non-upper, non-labial; o – non-front, non-upper, labial; u – non-front, upper, labial; ä – front, non-upper, non-labial; ö – front, non-upper, labial; ü – front, upper, labial

Стрелки на представленной модели указывают сингармонические соответствия гласных в якутском и ряде других тюркских языков, описанных в цитируемой статье, в частности, она подходит для алтайского языка, тем самым модель имеет обобщающий характер и представляет один из существующих типов сингармонизма. Аналогичная модель отражает сингармонические правила хакасского языка (рис. 3).

На данном примере мы можем продемонстрировать общее противопоставление статической и динамической модели. **Статическая** модель – это всего лишь

структурная схема кодирующей сети, тогда как *динамическая* модель – это модель, способная изменять свою структуру.

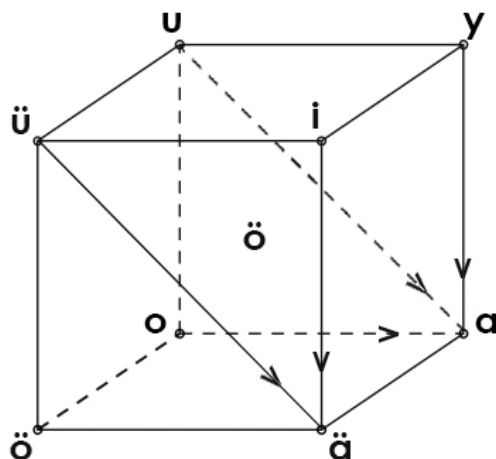


Рис. 3. Геометрическое описание огласовки хакасских аффиксов
[Мельников, 1962, с. 35]:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; o – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; u – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; ä – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; ü – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 3. Geometric description of Khakas affix vocalization
[Mel'nikov, 1962, p. 35]:

i – front, upper, non-labial; y – non-front, upper, non-labial; o – non-front, non-upper, labial; u – non-front, upper, labial; ä – front, non-upper, non-labial; ö – front, non-upper, labial; ü – front, upper, labial

Представленные на рис. 2 и 3 модели являются также генеративными, в том смысле, что они отображают комбинаторные изменения объекта.

Структурные модели могут использоваться при изучении объектов, которые являются системой, меняющей в ходе функционирования свое состояние. Если исследователь сможет подобрать конструкторы, то возможно создать такой модельный ряд, который будет соответствовать последовательности состояний оригинала.

Системная модель в отличие от структурной обязательно должна отражать не только типы и схемы связей между элементами некоторого объекта, но также субстантивные и функциональные характеристики элементов и объекта в целом. **Структурная** модель может служить полезным средством познания объекта на промежуточных этапах исследования, но никак не конечной целью исследования.

Оригинальные графические модели вокализма тюркских языков были независимо разработаны в исследованиях [Lotz, 1942; Черкасский, 1961; Мельников, 1962; 1966; 1971; 2003].

Идеальная система тюркских гласных
The ideal system of Turkish vowels

Гласная фонема	Ряд: + передний – непередний	Лабиализация: + лабиализованный – нелабиализованный	Подъем: + верхний – неверхний
<i>i</i>	+	–	+
<i>y</i>	–	–	+
<i>u</i>	–	+	+
<i>ï</i>	+	+	+
<i>e</i>	+	–	–
<i>a</i>	–	–	–
<i>o</i>	–	+	–
<i>ö</i>	+	+	–

В таблице показано, как бинарные оппозиции по трем наиболее универсальным фонологическим признакам гласных (ряд, подъем, лабиализация) позволяют исчислить систему из восьми гласных.

Геометрически эта система была представлена в перечисленных выше работах в виде куба тюркских гласных, например, на рис. 1 «Фонологический куб турецких гласных (истинные артикуляционно-акустические расстояния между гласными не отражены), турецкое *e* представлено как *ä*» в статье [Мельников, 1971, с. 131] или в работе [Мельников, 1962, с. 33]. Показательно, что в самом названии рисунка отмечен тот факт, что модель отражает только отношения элементов.

Для построения системной модели тюркского вокализма Г. П. Мельников предложил отразить на геометрической модели расстояние между местами образования гласных и разный уровень подъема в разных рядах образования гласных, а для этого заменить куб с равными сторонами усеченной пирамидой с несимметричным расположением точек, обозначающих гласные (рис. 4).

К понятию системной модели очень близко и определение ее важнейшей для лингвистики разновидности – **системно-типологической** модели – модели, характеристики которой отражают особенности состава, свойств и структуры связей элементов моделируемой системы и позволяют усилить не только описательные, но и объяснительные возможности типологических исследований за счет установления тесных причинно-следственных связей между материальными и структурными, функциональными и субстанциональными, статическими и динамическими, синтагматическими и парадигматическими, дискретными и непрерывными параметрами изучаемых явлений.

Подробный системный анализ статики и динамики гласных фонем тюркских языков Сибири был осуществлен в работах [Селютина, 2016; 2017; Широбокова, 1988; 2016].

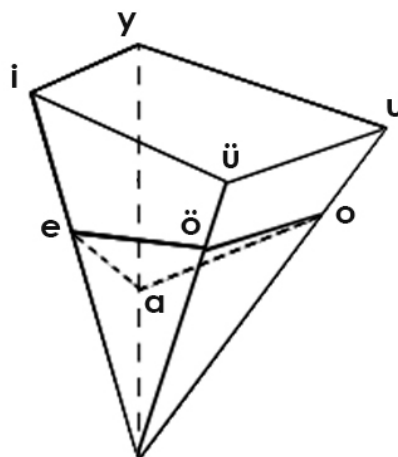


Рис. 4. Пирамидальная модель тюркского вокализма:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный;
 y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный;
 a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный;
 o – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный;
 u – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный;
 e – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный;
 ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный;
 ü – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 4. Pyramidal model of Turkish vowels:

i – front, upper, non-labial; y – non-front, upper, non-labial; a – non-front, non-upper, non-labial; o – non-front, non-upper, labial; u – non-front, upper, labial; ö – front, non-upper, labial; ü – front, upper, labial

Публикации Н. Н. Широбоковой по истории тюркских языков Сибири опираются на использование эволюционных моделей, в которых исследуется взаимодействие динамики генеалогических отношений между тюркскими языками (их разделения и скрещивания, движения в пространстве и образования новых ареалов тесного контакта) и динамики их фонологического и грамматического строя. Эволюционное моделирование не может быть строгим в формально-математическом смысле, поскольку оно основано на содержательной логике и на широком использовании *аналогических* моделей.

Противоположностью эволюционной модели является *аналитическая* модель, которая определяется как «идеальная знаковая модель, содержание и способы экспликации свойств которой основаны на построении конструкций из знаков и на анализе свойств этих конструкций» [Мельников, 2003, с. 178].

Поэтому аналитические модели, образуемые комбинациями инвариантных знаков, используются только тогда, когда можно пренебречь эволюцией компонентов объекта и его свойств и изучать кинетические характеристики объекта.

Содержание знаковой модели замещает отсутствующие знания об объекте, а ее компоненты – весьма абстрактные фиксированные узусные смыслы. Они могут обозначаться и языковыми знаками, и специализированными знаками (буквами, специальными значками-символами). Однако предпочтительнее использование специализированных знаков, которые, в отличие от знаков языковых, понимаются всегда однозначно.

Работы И. Я. Селютиной по проблемам вокализма южносибирских тюркских языков являются ярким примером использования *парадигматических* моделей, отражающих отношения фонем в фонологических системах, и *синтагматических* моделей, отражающих взаимодействие звуков в линейной последовательности [Селютина, 2008; 2017]. Использование обоих типов моделей позволяет значительно ближе подойти к системному объяснению фонологического строя изучаемых языков.

В работах Г. П. Мельникова и М. А. Черкасского были использованы *геометрические* модели. Модель такого типа – это геометрическая фигура, отражающая в виде точек элементы моделируемой системы, в виде линий – связи элементов, а при помощи расстояний между точками – степень близости свойств элементов или степень их пространственной близости в оригинале. История использования геометрических моделей применительно к фонетике и фонологии кратко изложена в [Мельников, 2003, с. 209–210], где упоминаются труды Дж. Дотца, Р. Якобсона, Г. Глисона, К. Черри, М. А. Черкасского, А. П. Евдошенко, Р. Г. Пиотровского, а также уточняется, что кубическая модель гласных была впервые предложена Г. Р. Тукумцевым на материале русского языка [Тукумцев, 1938].

С опорой на концептуальные положения системной лингвистики о моделировании тюркского вокализма и описания фонологических систем гласных алтайского, тувинского, хакасского и якутского языков в [Языки мира, 1996] можно разработать объяснительные модели алтайского, хакасского, якутского и тувинского вокализма.

Если для алтайских гласных подходит общетюркский куб гласных (см. рис. 1), то для представления хакасских гласных нужна пирамида с пятиугольным основанием (рис. 5).

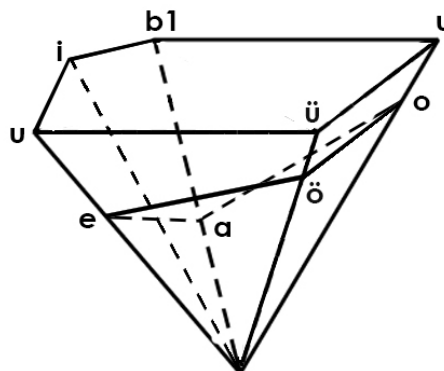


Рис. 5. Модель хакасского вокализма:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; o – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; u – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; e – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; ü – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 5. The model of Khakas vowels:

i – front, upper, non-labial; y – non-front, upper, non-labial; a – non-front, non-upper, non-labial; o – non-front, non-upper, labial; u – non-front, upper, labial; e – front, non-upper, non-labial; ö – front, non-upper, labial; ü – front, upper, labial

Не менее широко используются в лингвистике и *описательные* модели. Описательная модель – это текст на естественном языке, который по отношению к замещаемому объекту становится знаковой моделью (объектной, концептуальной, средовой или логической), описывающей замещающие знания, используемые в процессе рассуждения об изучаемом объекте.

Для якутского языка оказывается достаточной пирамида с четырехугольным основанием (рис. 6).

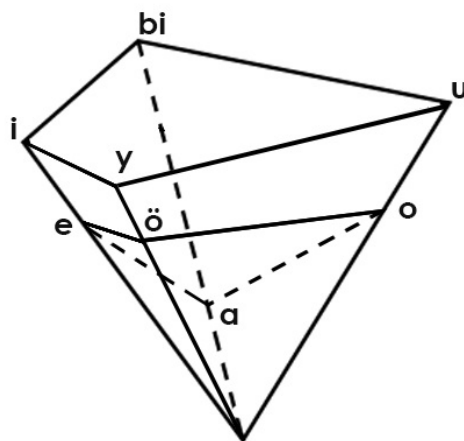


Рис. 6. Модель якутского вокализма:

i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; y – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; a – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; o – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; u – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; e – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; ö – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; y – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Fig. 6. The model of Yakut vowels:

i – front, upper, non-labial; y – non-front, upper, non-labial; a – non-front, non-upper, non-labial; o – non-front, non-upper, labial; u – non-front, upper, labial; e – front, non-upper, non-labial; ö – front, non-upper, labial; y – front, upper, labial

Системный характер этих моделей заключается:

- 1) в возможности их соотнесения с общей моделью тюркского вокализма как типа организации фонологической системы, общего для языковой семьи;
- 2) возможности их сравнения друг с другом и выявления типологических различий внутри семьи языков;
- 3) в отражении специфического устройства конкретной системы гласных.

Моделирование системы гласных тувинского языка требует построения более сложной геометрической фигуры, так как в этой системе наряду с общетюркскими корреляциями по ряду, подъему и огубленности существует регулярная оппозиция по фарингальности.

Оппозиция по долготе гласных, которая имеется в тувинском и некоторых других тюркских языках, в данных моделях не представлена, поскольку не связана с отражением физических расстояний, определяемых местом образования

гласных: связанная со временем долгота представляет собой «четвертое измерение», хотя при необходимости и она может быть отражена, например, в отдельных треугольниках гласных (простой – долгий – фарингализованный).

Для тувинского языка можно представить разные модели: структурную модель в виде куба (рис. 7) и более подробную системную модель в виде шестиугольной призмы (рис. 8).

Система гласных тувинского языка, являясь более сложной как по субстанции (количеству элементов), так и по структуре (количеству фонологических оппозиций), оказывается подходящим примером для иллюстрации еще одного теоретического различия – между дедуктивными и индуктивными моделями.

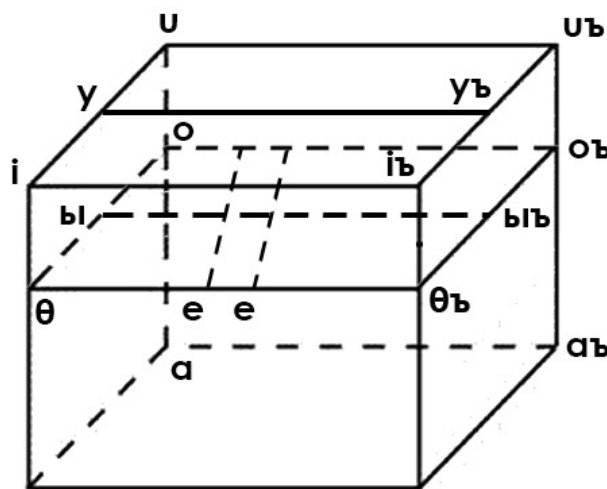


Рис. 7. Кубическая модель тувинских гласных:

Нефарингализованные гласные: *i* – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; *y* – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; *a* – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; *o* – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; *u* – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; *e* – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; *ö* – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; *y* – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Фарингализованные гласные: *iъ* – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; *yъ* – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; *eъ* – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; *aъ* – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; *oъ* – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; *uъ* – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; *yъ* – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; *öъ* – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный

Fig. 7. The cube model of Tuvian vowels:

Non-pharyngealized vowels: *i* – front, upper, non-labial; *y* – non-front, upper, non-labial; *a* – non-front, non-upper, non-labial; *o* – non-front, non-upper, labial; *u* – non-front, upper, labial; *e* – front, non-upper, non-labial; *ö* – front, non-upper, labial; *y* – front, upper, labial

Pharyngealized vowels: *iъ* – front, upper, non-labial; *yъ* – non-front, upper, non-labial; *eъ* – front, non-upper, non-labial; *aъ* – non-front, non-upper, non-labial; *oъ* – non-front, non-upper, labial; *uъ* – non-front, upper, labial; *yъ* – front, upper, labial; *öъ* – front, non-upper, labial

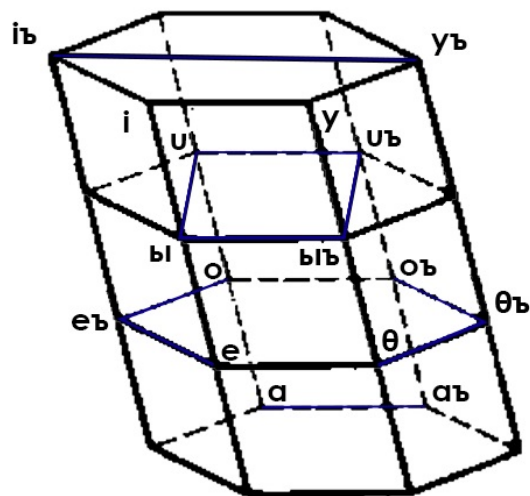


Рис. 8. Призма тувинских гласных:

Нефарингализованные гласные: i – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; ы – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; а – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; о – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; у – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; е – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; ё – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; у – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный

Фарингализованные гласные: i' – гласный переднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; ы' – гласный непереднего ряда, верхнего подъема, нелабиализованный; е' – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; а' – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, нелабиализованный; о' – гласный непереднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный; у' – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; у'' – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный; ё'' – гласный переднего ряда, неверхнего подъема, лабиализованный

Fig. 8. The prism model of Tuvian vowels:

Non-pharyngealized vowels: i – front, upper, non-labial; ы – non-front, upper, non-labial; а – non-front, non-upper, non-labial; о – non-front, non-upper, labial; у – non-front, upper, labial; е – front, non-upper, non-labial; ё – front, non-upper, labial; у – front, upper, labial

Pharyngealized vowels: i' – front, upper, non-labial; ы' – non-front, upper, non-labial; е' – front, non-upper, non-labial; а' – non-front, non-upper, non-labial; о' – non-front, non-upper, labial; у' – non-front, upper, labial; у'' – front, upper, labial; ё'' – front, non-upper, labial

Дедуктивной уместно назвать модель, создаваемую до изучения материала конкретного языка на основании сведений о языковой семье, типе языков или представлений об универсальных закономерностях, а *индуктивной* – модель, формируемую на основе наблюдений без рефлексии относительно теоретических принципов интерпретации наблюдений и понимания неизбежности фреймового характера восприятия наблюдаемых объектов. Представляется, что модели обоих типов могут оказаться недостаточными или неверными.

Если дедуктивная модель окажется по своей структуре проще изучаемой системы, то в применении к конкретному объекту она не сможет дать его полного отражения. Так, если взять куб тюркских гласных в его неизменном виде, то он не отразит ни субстанцию в системе, имеющую более восьми элементов, ни различную роль разных дифференциальных признаков в функционировании системы. Такую модель можно охарактеризовать как редуцирующую.

Если взять для всех языков шестиугольную призму, то есть дедуктивную модель более сложную, чем сами оригиналы, то для значительной их части, она будет содержать «лишние», «пустые» точки, которым нет соответствия в отражаемой системе. В принципе, такая модель не редуцирует представление о моделируемых объектах, но может выставлять на первый план отношения, в конкретных случаях не самые значимые. Такую модель можно назвать усложняющей, а ведь модель должна упрощать изучение объекта, – и смещающей восприятие в сторону несущественных в конкретной системе признаков. Именно поэтому Г. П. Мельников критиковал универсальные дифференциальные признаки Р. Якобсона как несоответствующие сущности фонологических систем конкретных языков. Отметим при этом, что типологии нужны не только модели конкретных языков, но и типологические эталоны, которые можно считать абстрактными системами признаков-координат, теоретическими «заготовками» для дальнейшего моделирования.

Построение чисто индуктивной модели, хотя и кажется наиболее простым и естественным делом, на самом деле невозможно – по той причине, что даже используемые в словесном описании термины уже являются определенными заранее заданными моделями. При таком индуктивном подходе высока вероятность универсализации специфических признаков и построение модели, которую с трудом можно с чем-либо сопоставить. Получается, что для системного моделирования требуется приспособление дедуктивной модели к конкретному оригиналу на основе учета данных, полученных индуктивным путем, и последующее соотнесение полученной модели с общими закономерностями и проверкой соотнесенности универсальных, типологических и специфических признаков друг с другом в конкретном исследуемом объекте.

Возвращаясь к модели тувинской системы гласных, необходимо пояснить, что специфика данной системы заключается в различии четырех подъемов, что потребовало выделения на модели четырех уровней, а значимость в системе признаков ряда и фарингальности – дополнительного выделения цветом в пределах одного подъема. Конечно, сложная система фонологических единиц может быть представлена иначе – при помощи системы отдельных моделей. Например, тувинский вокализм можно представить в виде восьми треугольников гласных, в каждом из которых вершины противопоставлены по долготе и фарингальности, чтобы отразить все дифференциальные признаки системы. При таком способе моделирования возникает вопрос о принципах соотнесения моделей друг с другом и возможности их объединения в более сложную модель.

С помощью объемных геометрических моделей обнаруживается предрасположенность материальных (фонетических) свойств гласных к реализации именно определенных субстанциональных (фонологических) оппозиций, объясняются их дискретные характеристики, выявляются причины несимметричности фонологических отношений и иерархии различительных признаков, факты фонетические начинают соотноситься с фактами фонологическими. Теперь, например, хорошо видно, что артикуляционно-акустические расстояния по ряду между лабиализованными гласными всегда, на любом уровне подъема, больше, чем между неогубленными. И максимальным это расстояние, а значит, и противопоставление, будет в широкой части пирамиды. Так можно предвидеть, что функциональное противопоставление по ряду огубленных – в случае запроса системы в развитии про-

тивопоставления гласных по ряду – разовьется раньше, чем среди неогубленных. Фонологическая же оппозиция по ряду может развиваться «по диагонали» только тогда, когда оппозициями не загружена ось подъема. Создание объемных геометрических моделей, давая возможность – в отношении тюркских языков – выявить закономерности и разновидности гармонии гласных, выступает как системный метод, и только выход из подсистемы в надсистемы более высоких уровней позволил Г. П. Мельникову установить вектор причинно-следственной связи между агглютинацией и гармонией, признав последнюю следствием первой.

Выступая как замещающие метод исследования, логические модели, схема отношений между элементами которых аналогична схеме выведения нового знания, объемные геометрические модели являются структурными, идеальными и знаковыми. Они обладают высоким объяснительным потенциалом и в области грамматики, особенно при моделировании падежных систем [Рыбаков, 2014]. Логическое моделирование, позволяя вскрыть системную природу изучаемого объекта, дать концентрированную формулировку своеобразия его системной организации, высоко эффективно при изучении типологически особенных вербальных систем [Валентинова, 2016]. Однако выбор познавательного продуктивного типа модели каждый раз будет определяться целью исследования и свойствами изучаемого объекта.

Конечная цель системного метода – «вскрыть системную природу изучаемого объекта, дать концентрированную формулировку своеобразия его системной организации (то есть формулировку внутренней детерминанты системы), увидеть место этой системы в системе более высокого яруса (в надсистеме), показать, какова функция системы (т. е. под влиянием каких запросов надсистемы формировалась эта система), и наконец, составить представление об основных этапах становления, учтя, из какого исходного материала она формировалась, что благоприятствовало, а что препятствовало этому процессу» [Мельников, 2003, с. 146].

Список литературы

- Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М., 1960. 392 с.
- Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация. М., 1966. 272 с.
- Валентинова О. И. Системный подход к исследованию текста и стиля: обоснование причинной типологии текстов // Системный взгляд как основа филологической мысли / О. И. Валентинова, В. Н. Денисенко, С. Ю. Преображенский, М. А. Рыбаков. М., 2016. С 171–301.
- Линибах Я. И. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. М., 2009. 248 с.
- Мельников Г. П. Некоторые способы описания и анализа гармонии гласных в современных тюркских языках // Вопросы языкознания. 1962. № 6. С. 31–53.
- Мельников Г. П. Некоторые общие черты вокализма урало-алтайских языков // Исследования по фонологии. М., 1966. С. 325–349.
- Мельников Г. П. Принципы системной лингвистики в применении к проблемам тюркологии // Структура и история тюркских языков. М., 1971. С. 121–137.
- Мельников Г. П. Системная типология языков. М., 2003. 395 с.
- Рыбаков М. А. Моделирование грамматического значения падежа // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер. Лингвистика. 2014. № 3. С. 85–96.
- Селютина И. Я. Фарингализация как типологический признак звуковых систем в тюркских языках Южной Сибири // Вестн. Вост. экономико-юридической гуманитарной акад. 2008. № 4. С. 69–75.
- Селютина И. Я. Фонологические системы языков народов Сибири: типологический аспект // Междунар. науч. конф. по актуальным пробл. когнитивной и прикладной лингвистики. Баку, 2016. С. 356–357.

Селютин И. Я. Характеристика вокальных систем южносибирских тюркских языков по параметрам объективной сложности // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2017. Т. 16, № 2. С. 57–73.

Тукумцев Г. Р. Звуки и буквы // Русский язык в школе. 1938. № 4. С. 11–23.

Черкасский М. А. Опыт формального описания гармонии гласных в тюркских языках (сингармонические модели и системы) // Вопросы языкознания. 1961. № 5. С. 94–102.

Широбокова Н. Н. О соответствии огубленных и неогубленных гласных в тюркских языках Сибири // Языки народов СССР: Межвуз. сб. науч. тр. Новосибирск, 1988. С. 129–134.

Широбокова Н. Н. История формирования тюркских языков Сибири и проблема классификации // Междунар. науч. конф. по актуальным пробл. когнитивной и прикладной лингвистики. Баку, 2016. С. 362–364.

Языки мира. Тюркские языки. М., 1996. 543 с.

Lotz J. Notes on structural analysis in metrics // Helicon. 1942. Vol. 4. P. 119–146.

O. I. Valentinova¹, M. A. Rybakov², A. N. Shirobokov³

Peoples Friendship University of Russia, Moscow, Russian Federation

¹ ovalentinova@yandex.ru, ² rybakov_ma@pfur.ru, ³ shirobokov_an@pfur.ru

Model types and their explanatory possibilities: the case of modeling the vocal systems of some Turkic languages of Siberia

The paper considers modeling of language subsystems as a unique method of scientific knowledge, appearing due to the high-level development of science. Modeling is substituting a particular component of the original object of scientific activity by its appropriate substitute, a model. Particular attention is given to the logical models of vocalism that can be used instead of common structural methods. These models can take into account not only the structure but also the substance and the function of phonological language elements, making them systemic models. Based on the conceptual idea of G. P. Melnikov, the founder of modern system linguistics, dealing with the modeling of Turkic vocalism, the researchers develop geometric models of Altaic, Khakass, Yakut and Tuva vocalisms. The geometric forms and structures of these models, reflecting the composition of the phonological system elements and the relations between them, allow one to correlate them with the general model of Turkic vocalism, the phonological system organization typical for the language family. Also, it becomes possible to compare and to identify the typological differences within the family of languages and thereby to deepen the understanding of the specific structure of a particular vowel system. In linguistics, modeling can be used to solve both theoretical and applied problems. Modeling is of particular importance in the typological description and comparison of languages.

Keywords: system linguistics, system method, vocal models, Turkic languages.

DOI 10.17223/18137083/67/14

References

Brillouin L. *Nauka i teoriya informatsii* [Science and information theory]. Moscow, 1960, 392 p.

Brillouin L. *Nauchnaya neopredelennost' i informatsiya* [Scientific uncertainty and information]. Moscow, 1966, 272 p.

Cherkasskiy M. A. Opyt formal'nogo opisaniya garmonii glasnykh v tyurkskikh yazykakh (singarmonicheskie modeli i sistemy) [Experience in the formal description of the harmony of vowels in Turkic languages (synharmonic models and systems)]. *Voprosy yazykoznanija (Topics in the study of language)*. 1961, no. 5, pp. 94–102.

- Lintsbakh Ya. I. *Printsipy filosofskogo yazyka. Opyt tochnogo yazykoznaniya* [Principles of the philosophical language. Experience of exact linguistics]. Moscow, 2009, 248 p.
- Lotz J. Notes on Structural Analysis in Metrics. *Helicon*. 1942, vol. 4, pp. 119–146.
- Mel'nikov G. P. Nekotorye sposoby opisaniya i analiza garmonii glasnykh v sovremennykh tyurkskikh yazykakh [Some ways of describing and analyzing the harmony of vowels in modern Turkic languages]. *Voprosy yazykoznaniya (Topics in the study of language)*. 1962, no. 6, pp. 31–53.
- Mel'nikov G. P. Nekotorye obshchie cherty vokalizma uralo-altayskikh yazykov [Some common features of the vocalism of the Ural-Altaic languages]. In: *Issledovaniya po fonologii* [Studies in phonology]. Moscow, 1966, pp. 325–349.
- Mel'nikov G. P. Printsipy sistemnoy lingvistiki v primenении k problemam tyurkologii [Principles of system linguistics in application to problems of Turkology]. In: *Struktura i istoriya tyurkskikh yazykov* [Structure and history of Turkic languages]. Moscow, 1971, pp. 121–137.
- Mel'nikov G. P. *Sistemnaya tipologiya yazykov* [System typology of languages]. Moscow, 2003, 395 p.
- Rybakov M. A. Modelirovanie grammaticheskogo znacheniya padezha [Modeling of the grammatical meaning of the case]. *The Russian Journal of Linguistics*. 2014, no. 3, pp. 85–96.
- Selyutina I. Ya. Faringalizatsiya kak tipologicheskii priznak zvukovykh sistem v tyurkskikh yazykakh Yuzhnoy Sibiri [Faringalization as a typological sign of sound systems in the Turkic languages of Southern Siberia]. *Vestnik VEGU*. 2008, no. 4, pp. 69–75.
- Selyutina I. Ya. Fonologicheskie sistemy yazykov narodov Sibiri: tipologicheskii aspekt [Phonological systems of languages of the peoples of Siberia: typological aspect]. In: *Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po aktual'nykh problemam kognitivnoy i prikladnoy lingvistiki* [International scientific conference on topical problems of cognitive and applied linguistics]. Baku, 2016, pp. 356–357.
- Selyutina I. Ya. Kharakteristika vokal'nykh sistem yuzhnosibirskikh tyurkskikh yazykov po parametram ob'ektivnoy slozhnosti [Characteristics of the vocal systems of South Siberian Turkic languages according to the parameters of objective complexity]. *Vestnik Novosibirsk State Univ. Series: "History and Philology"*. 2017, vol. 16, no. 2, pp. 57–73.
- Shirobokova N. N. Istoriya formirovaniya tyurkskikh yazykov Sibiri i problema klassifikatsii [The history of the Turkic languages of Siberia formation and the problem of classification]. In: *Mezhdunarodnaya nauchnaya konferentsiya po aktual'nykh problemam kognitivnoy i prikladnoy lingvistiki* [International scientific conference on actual problems of cognitive and applied linguistics]. Baku, 2016, pp. 362–364.
- Shirobokova N. N. O sootvetstvii ogublennykh i neogublennykh glasnykh v tyurkskikh yazykakh Sibiri [About the correspondence between labial and nonlabial vowels in the Turkic languages of Siberia]. In: *Yazyki narodov SSSR: Mezhev. sb. nauch. tr.* [Languages of the Peoples of the USSR: Interun. Coll. of sci. works]. Novosibirsk, 1988, pp. 129–134.
- Tukumtsev G. R. Zvuki i bukvy [Sounds and letters]. *Russkiy yazyk v shkole* [Russian language at school]. 1938, no. 4, pp. 11–23.
- Valentinova O. I. Sistemnyy podkhod k issledovaniyu teksta i stilya: obosnovanie prichinnoy tipologii tekстов [The system approach to the study of text and style: justification of the causal typology of texts]. In: Valentinova O. I., Denisenko V. N., Preobrazhenskiy S. Yu., Rybakov M. A. *Sistemnyy vzglyad kak osnova filologicheskoy mysli* [System view as the basis of philological thought]. Moscow, 2016, pp. 171–301.
- Yazyki mira. Tyurkskie yazyki* [Languages of the world. Turkic languages]. Moscow, 1996, 543 p.

УДК 811.512.15'342
DOI 10.17223/18137083/67/15

Т. Р. Рыжикова

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

**Артикуляторно-акустические характеристики
барабинско-татарской гласной фонемы *a /ä/*
в сопоставительном аспекте**

Рассматриваются артикуляторно-акустические характеристики барабинско-татарской фонемы *a /ä/*. По результатам МРТ было установлено, что реализации данной фонемы у двух дикторов в большинстве произнесений являются фарингализованными, что сближает их с рядом гласных сибирско-тюркских языков (тубинский, тувинский и др.). Кроме того, в анлауте словоформы происходит лабиализация настройки (явление, характерное для волжско-татарского и башкирского языков). В ходе акустического анализа звукового материала с помощью программ SpeechAnalyzer и PRAAT фонема *a /ä/* может быть охарактеризована как краткая. Все реализации фонемы *a /ä/* оказались центральнозаднерядными, что получило свое подтверждение как по артикуляторным, так и по акустическим данным.

Ключевые слова: артикуляторная фонетика, акустическая фонетика, язык барабинских татар, вокализм, фарингализация, лабиализация, SpeechAnalyzer, PRAAT.

Введение

Цель статьи заключается в проведении сопоставительного анализа артикуляторно-акустических характеристик гласной фонемы *a /ä/* языка барабинских татар с аналогичными фонемами в близкородственных тюркских языках для выявления специфических особенностей барабинско-татарского вокализма и установления общих тенденций в развитии тюркских вокальных систем на современном этапе. Базой исследования являются материалы по языку барабинских татар (ЯБТ), собранные автором в полевых условиях, а также данные по магнитно-резонансному томографированию (МРТ), полученные в стационарных условиях.

Представленное исследование – один из этапов комплексного экспериментально-фонетического изучения системы вокализма ЯБТ.

Рыжикова Татьяна Раисовна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора языков народов Сибири Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; tanya12@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Т. Р. Рыжикова, 2019

Барабинские татары – автохтонное миноритарное тюркоязычное население Новосибирской области. В советское время компактно проживало в сельской местности на западе области – в Чановском, Барабинском, Куйбышевском и других районах. В настоящее время из-за активных процессов глобализации и трудовой миграции компактное проживание нарушается, жители сел переезжают в более крупные населенные пункты или в города, в результате чего родной язык сужает сферу своей деятельности и постепенно вымирает. На данный момент точное количество говорящих на ЯБТ неизвестно, но по классификации ЮНЕСКО барабинско-татарский можно отнести к серьезно уязвимым (*severely endangered*) языкам: на языке говорит старшее поколение; поколение родителей может его понимать, но не говорит на нем с детьми или между собой¹.

Звуковая система ЯБТ не подвергалась всестороннему экспериментальному изучению. В 2005 г. вышла монография Т. Р. Рыжиковой по барабинско-татарскому консонантизму [Рыжикова, 2005]. Вокальная система изучалась Х. Х. Салимовым в середине 80-х гг. XX в., но работа не была завершена. Вышел ряд статей по данной проблематике (см., например: [Салимов, 1984]), в которых автор утверждает, что гласный *a* – заднего ряда, неогубленный, нижнего подъема. В противоположность татарскому литературному *a*°, который огубляется в первом слоге, барабинско-татарский *a* имеет более низкий подъем и является более передним. По формантным показателям он близок к гласному *a* русского и казахского языков [Там же, с. 18]. Остальные исследования ЯБТ носят описательный характер и выполнены на слуховом уровне (см., например: [Дмитриева, 1981; Тумашева, 1968]). Л. В. Дмитриева характеризует звук *a* как задний широкий [Дмитриева, 1981, с. 200], в словах встречается без позиционных ограничений. В некоторых случаях может спорадически коррелировать с другими звуками: *a* ~ *ä* (*аз* ~ *äз* ‘мало’, *чач* ~ *чäч* ‘сеять’, *аишаһа* ~ *äiutähä* (иран.) ‘дракон’), *a* ~ *ы* (*таңна* ~ *тыңна* ‘узнавать’) [Там же, с. 201]. Д. Г. Тумашева определяет звук *a* как широкий неогубленный заднего ряда (более задний, чем русский *a*). Позиционно не ограничен [Тумашева, 1968, с. 23]. В 2003 г. коллектив авторов из Лаборатории экспериментально-фонетических исследований им. В. М. Наделяева (ЛЭФИ ИФЛ СО РАН) по результатам аудиовизуального наблюдения и позиционно-комбинаторного анализа полевого материала по ЯБТ выделил звук *a*: широкий неогубленный краткий (позиционно – долгий) нефарингализованный (позиционно – фарингализованный) монофтонг. В некоторых словоформах наблюдается неоднородная структура звука: присутствует ларингальная вставка в середине настройки [Уртегешев и др., 2003, с. 84–85].

Результаты, представленные в данной работе, носят объективный характер, поскольку получены с помощью комплексной экспериментально-фонетической методики.

Артикуляторные характеристики

В данном разделе приводятся артикуляторные характеристики гласного *a* по результатам МРТ, выполненного в рамках интеграционного проекта в Лаборатории медицинской диагностики института «Международный томографический центр» СО РАН. Методика получения томограмм для языков народов Сибири была разработана и усовершенствована сотрудниками МТЦ СО РАН и ЛЭФИ ИФЛ СО РАН (см., например: [Селютина и др., 2012]). Томографирование выполнялось на установке Philips Achieva Nova Dual 1.5 T, катушка Head/Neck synergy SENSE (Philips medical systems; Eindhoven, Netherlands), описание методики

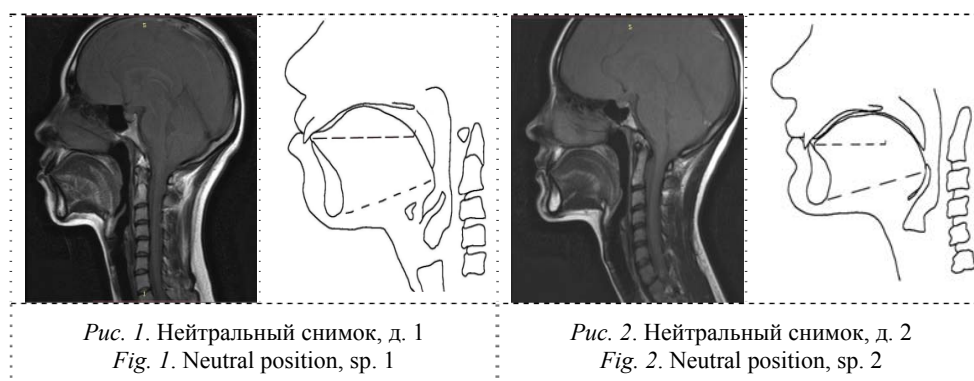
¹ См.: Атлас языков, находящихся под угрозой исчезновения (ЮНЕСКО). URL: <http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php> (дата обращения 11.03.2019).

см.: [Летягин и др., 2013]. Расшифровка полученных томограмм проводилась в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований им. В. М. Наделяева.

Для описания звуковых систем языков в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН была разработана [Наделяев, 1980] и в дальнейшем усовершенствована [Уртегешев, 2009] методика расшифровки рентгенограмм и томограмм звуков. Единство методики позволяет проводить надежный сопоставительный анализ по артикуляциям в разных языках, диалектах и говорах.

Ниже приводится описание артикуляторных настроек барабинско-татарской фонемы $a/\tilde{a}/$.

На рис. 1 и 2 представлены снимки нейтрального положения артикуляторного аппарата при дыхании дикторов 1 (д. 1) и 2 (д. 2) через нос. У д. 1 высота твердого неба определяется как очень низкая, у д. 2 – как средневысотная.



В инициали словоформы *am* ‘стреляй!’ при артикулировании звука a у д. 1 (рис. 3) спинка языка в ее межзубной части поднята к задней части твердого неба. Увула плотно прижата к задней стенке фаринкса. Надгортанник отстоит от корня языка, который в своей средней части оттянут к задней стенке фаринкса. Губы несколько выпячены вперед, отстоят от зубов и расстояние между губами меньше, чем между зубами, что свидетельствует об огубленности артикуляции. Настройку гласного, таким образом, можно охарактеризовать как центральнозаднерядную сильновыдвинутую четвертой основной ступени подъема огубленную неназализованную слабофарингализованную (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{a}^{\circ} \sim a/^{1/2}89/4$).

У д. 2 в этой же словоформе *am* ‘стреляй!’ (рис. 4) тело языка оттянуто назад и поднято вверх по направлению к мягкому небу. Наблюдается небольшой зазор между увулой и задней стенкой фаринкса². Надгортанник прилегает к корню языка. Вся корневая часть спинки языка вместе с надгортанником оттянута к задней стенке фаринкса. Расстояние между губами равно расстоянию между зубами, что

² Наличие прохода между небной занавеской и задней стенкой фаринкса, т. е. образование второго канала для выхода воздуха, может трактоваться по-разному. Во-первых, данное явление может свидетельствовать не столько о назализованности настройки, сколько об ослаблении артикуляции во время фонации в процессе съемки в томографе, см., напр.: [Badin et al., 2002; Engwall, 2002; 2003; Tiede et al., 2000]. Во-вторых, оно может быть вызвано реализацией общей тенденции в сибирских тюркских языках к ослаблению артикуляции в целом и появлению немотивированной назализации как гласных, так и согласных. В-третьих, это могут быть артикуляторные особенности данного диктора, для которого, возможно, характерно назализованное произношение. Требуется дальнейшая работа по выявлению причин возникновения назализованности.

свидетельствует о плоской лабиализации. По данным МРТ у д. 2 настройку звука *a* можно охарактеризовать как центральнозаднюю основную третьей ступени подъема плоскоогубленную назализованную слабофарингализованную (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{\text{ɤ}}^{\circ} \sim_{d//9//3}$).

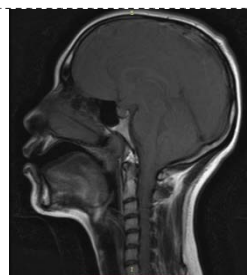


Рис. 3. Звук *a* в словоформе *at* 'стреляй!',
д. 1
Fig. 3. Sound *a* in the wordform *at* 'shoot!',
sp. 1

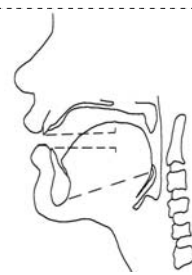
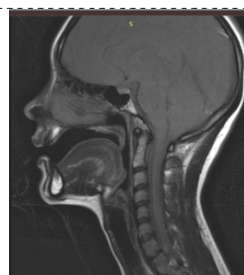


Рис. 4. Звук *a* в словоформе *at* 'стреляй!',
д. 2
Fig. 4. Sound *a* in the wordform *at* 'shoot!',
sp. 2

Звук *a* в анлауте словоформы *ач* 'голодный' (рис. 5) у д. 1 имеет следующие артикуляторные особенности: тело языка поднято к середине твердого неба и занимает срединное положение в ротовой полости. Увула плотно прижата к задней стенке фаринкса. Надгортанник отстоит от корня языка и занимает срединное положение в глоточной полости. Пограничная часть нижней и средней долей корня языка выпячена по направлению к фаринксу. Расстояние между губами меньше, чем между зубами. Общее определение звука *a* следующее: артикуляция центральнозадняя сильновыдвинутая четвертой основной степени подъема неназализованная лабиализованная слабофарингализованная (точная фонетическая транскрипция: $\text{ɤ}^{\circ} \sim_{d//8//4}$).

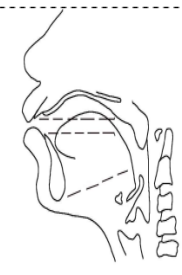
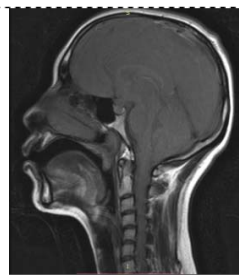


Рис. 5. Звук *a* в словоформе *ач* 'голодный',
д. 1
Fig. 5. Sound *a* in the wordform *ach* 'hungry',
sp. 1

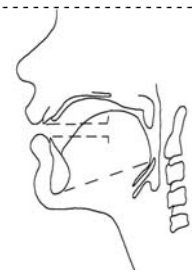
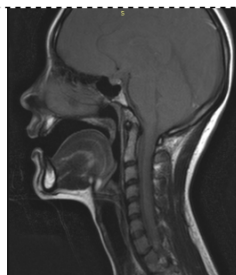


Рис. 6. Звук *a* в словоформе *ач* 'голодный',
д. 2
Fig. 6. Sound *a* in the wordform *ach* 'hungry',
sp. 2

У д. 2 в этой же словоформе *ач* 'голодный' (рис. 6) настройка звука *a* в целом напоминает уклад органов речи при произнесении звука *a* в словоформе *ат* 'стреляй!' (см. рис. 4): тело языка поднято к середине мягкого неба, занимает срединное положение в ротовой полости, увула отстоит от фаринкса, эпиглоттис прилегает к корню, пограничная часть нижней и средней частей корня языка выпячена к задней стенке фаринкса. Разница заключается в том, что в данной словоформе при продуцировании звука *a* активной артикуляторной частью языка является первая доля межуточной части спинки языка, которая направлена к первой поло-

вине мягкого неба: тело языка в целом немного смещено вперед по сравнению с ранее описанной настройкой. Расстояние между губами меньше, чем между зубами. Таким образом, звук *a* характеризуется как центральнозадний основной четвертой приоткрытой ступени подъема назализованный слабоогубленный слабофарингализованный (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{A}^{\circ} \sim_{\text{м.л.}} d//9//43$).

Звук *a* в медиальной позиции между двумя аффрикатами в словоформе *чач* ‘волосы’ (рис. 7) у д. 1 артикулируется межзубочной частью спинки языка, направленной к середине твердого неба. Увула плотно прижата к стенке фаринкса. Надгортанник далеко отстоит от корня языка и занимает срединное положение в глоточном резонаторе, средняя часть корня языка незначительно оттянута к задней стенке фаринкса. Расстояние между губами существенно больше (в 2,7 раза), чем между зубами, что свидетельствует об отсутствии лабиализации. По данным МРТ у д. 1 артикуляцию звука *a* в данной позиции можно описать как центральнозаднюю сверхсильновыдвинутую второй основной ступени подъема неназализованную неогубленную нефарингализованную (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{b} \sim_{\text{д.1}} d//78//2$).

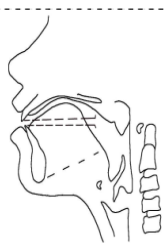


Рис. 7. Звук *a* в словоформе *чач* ‘волосы’, д. 1
Fig. 7. Sound *a* in the wordform *chach* ‘hair’, sp. 1

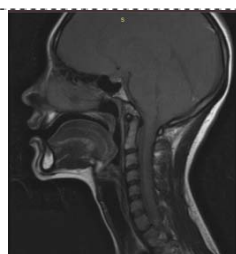


Рис. 8. Звук *a* в словоформе *чач* ‘волосы’, д. 2
Fig. 8. Sound *a* in the wordform *chach* ‘hair’, sp. 2

У д. 2 в данной словоформе артикуляторная настройка звука *a* (рис. 8) отличается от артикуляций в начале словоформы: тело языка незначительно продвинуто вперед и занимает практически весь объем ротового резонатора. Активной частью артикуляторного аппарата является межзубочная часть спинки языка, направленная ко второй половине твердого неба. Надгортанник плотно прижат к корню языка. Пограничный участок нижней и средней частей корня языка сильно оттянут к задней стенке фаринкса. Расстояние между губами равно расстоянию между зубами, что свидетельствует о плоской лабиализации. Звуку *a* в словоформе *чач* ‘волосы’ можно дать следующую характеристику: артикуляция центральнозаднерядная сильновыдвинутая (находится на границе переходной зоны и может сдвинуться как вперед, так и назад) второй приоткрытой ступени подъема назализованная плоскоогубленная сильнофарингализованная (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{b}^{\circ} \sim_{\text{д.1}} d//1_{289}//23$).

В словоформе *қар* ‘снег’ исследуемый звук находится в структуре CVC³, где первый согласный – гуттуральный смычный, а финальный согласный – малолучный вибрент. В данной словоформе звук *a* (рис. 9) у д. 1 артикулируется серединой спинки языка, а именно – пограничной частью средней и межзубочной долей спинки языка, которая направлена ко второй половине твердого неба. Увула прижата, надгортанник отстоит от корня языка. Нижняя и средняя части корня выпя-

³ Структура CVC – согласный + гласный + согласный.

чены по направлению к задней стенке фаринкса. Расстояние между губами почти в два раза больше, чем между зубами. Артикуляторная характеристика звука *a* в словоформе *qar* ‘снег’ следующая: настройка центральнозаднерядная сильновыдвинутая третьей основной ступени подъема неназализованная нелабиализованная слабофарингализованная (точная фонетическая транскрипция: $\tilde{x}^{\circ}_{d//8//3}$).

В словоформе *qar* ‘снег’ (рис. 10) у д. 2 форма языка и его положение являются типичными для этого диктора при произнесении звуков типа *a*. В данном случае гласный артикулируется межзубочной частью спинки языка, которая направлена к первой половине мягкого неба. В остальном настройка совпадает с описанными выше. Расстояние между губами несколько меньше, чем расстояние между зубами, что свидетельствует об огублении звука. Звук *a* по артикуляторным данным можно охарактеризовать следующим образом: настройка центральнозадняя основная третьей приоткрытой (находится в переходной зоне) ступени назализованная плосколабиализованная сильнофарингализованная ($\tilde{x}^{\circ}_{a//9//32}$).

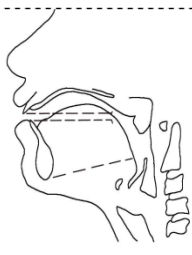


Рис. 9. Звук *a* в словоформе *qar* ‘снег’, д. 1
Fig. 9. Sound *a* in the wordform *qar* ‘snow’,
sp. 1

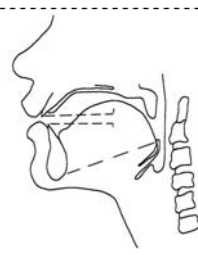


Рис. 10. Звук *a* в словоформе *qar* ‘снег’, д. 2
Fig. 10. Sound *a* in the wordform *qar* ‘snow’,
sp. 2

По результатам анализа данных МРТ по двум дикторам можно сделать следующие выводы об артикуляторных особенностях гласного звука *a* в ЯБТ.

У д. 2 настройки гласного *a* характеризуются большим единообразием, чем у д. 1: форма языка везде округлая, язык равномерно расположен в ротовой полости, пограничная зона нижней и средней частей корня оттянута к задней стенке фаринкса, надгортанник везде плотно прижат к корню. Отмеченный на томограммах и томосхемах зазор между увулой и фаринксом у д. 2 требует дальнейшего изучения и соответствующей интерпретации. Во всех случаях заметно значительное напряжение увулы (об этом свидетельствует напряженный кончик, который не свободно провисает в глоточной полости, а напряженно направлен к языку).

В инициальной позиции в словах артикуляция звука *a* у обоих дикторов сопровождается обязательным огублением, что сближает барабинско-татарский *a* с татарским литературным *a°*. Кроме того, в анлауте слов констатируется фарингализованность гласного *a*: степень от слабой до сильной.

По артикуляторным характеристикам все настройки барабинско-татарского звука *a* можно свести к фонеме $/\tilde{a}/$ (с аллофонами \tilde{a}° , \tilde{x}° , $\tilde{a}^{\circ}_{a//}$, \tilde{b} , \tilde{b}° , \tilde{x}° , $\tilde{x}^{\circ}_{a//}$), которая в речи может реализовываться в центральнозадних вариантах разных степеней подъема (второй, третьей и четвертой), в зависимости от позиционно-комбинаторных условий огубляться (преимущественно в инициали слов) и подвергаться фарингализации. Статус фарингализации, так же как и назализации у д. 2, остается неясным: требуются дальнейшие эксперименты для его выявления на уровне всей вокальной системы. Если попарно проанализировать аллофоны

данной фонемы у двух дикторов, то в целом наблюдается следующая тенденция: у д. 1 звуки артикулируются межзубной частью спинки языка и артикуляции являются сильновыдвинутыми (в одном случае реализация – сверхсильновыдвинутая), у д. 2 в целом при единообразии настройки, которая интерпретируется по экспериментальным данным как основная (в случае, когда у д. 1 она сверхсильновыдвинутая, у д. 2 – сильновыдвинутая), степень отстояния гласного (т. е. его подъем) смещается из основной области либо в приоткрытую либо в приоткрытую переходные зоны. У обоих дикторов настройки в большинстве случаев сопровождаются фарингализацией, что свидетельствует об общей напряженности артикуляторного аппарата и об особом «сдавленном» акустическом эффекте.

Акустические характеристики

Акустическая фонетика – достаточно молодая, но быстро развивающаяся область экспериментальной фонетики. Она зародилась тогда, когда появились приборы для записи звуков и возникла потребность в разработке акустической теории речи. Чибя и Каджияма [Chiba, Kajiya, 1958] первыми предложили акустическую теорию для гласных звуков, на основе которой Г. Фант разработал и описал свою акустическую теорию речеобразования [Fant, 1960]. Существует несколько методов акустического анализа речи: спектральный анализ (при помощи спектрографа), осциллографирование (при помощи осциллографа), компьютерный анализ (при помощи заменяющей перечисленные выше приборы компьютерной программы) [Князев, Пожарицкая, 2011, с. 94–96]. В настоящее время в распоряжении лингвистов находится ряд специализированных программ для компьютерного анализа речи: PRAAT, PhonologyAssistant, WinCecil, SpeechAnalyzer и др. Они позволяют проводить сегментацию восстановленного звучащего текста, выполнять спектральный, временной, частотный анализы, а также анализ интенсивности речевого сигнала [Белоглазова, 2013; Добринина, 2018, с. 68; Тымбай, 2008, с. 151–156]. В данной статье с помощью программ SpeechAnalyzer и PRAAT были проанализированы односложные словоформы барабинско-татарского языка со звуком *a* в анлауте и в позиции между согласными, проведено сопоставление полученных результатов по дикторам и по программам. Результаты представлены в табл. 1 и 2. В табл. 1 приведены акустические данные по двум дикторам (д. 1 и д. 2), расшифровка и обработка звуковых файлов выполнена в программе SpeechAnalyzer. В табл. 2 сопоставляются данные по одному диктору (д. 1), но анализ звучащего материала проводился в программах SpeechAnalyzer и PRAAT.

В словоформе *ат* ‘стреляй’ (см. табл. 1) у д. 1 средняя абсолютная длительность (САД) звука *a* составляет 183,3 мс, у д. 2 – 157,0 мс, в то время как средняя относительная длительность (СОД) по дикторам – 65,4 и 81,2 % соответственно при средней длительности словоформы 559,3 и 581,3 мс. В анлауте словоформы *ач* ‘голодный’ у д. 1 абсолютная длительность звука *a* составляет в среднем 148,0 мс, а у д. 2 – 161,7 мс при средней длительности словоформы 547,0 и 584,7 мс соответственно; СОД равна 81,5 % у д. 1 и 83,0 % у д. 2.

В позиции CVC между двумя согласными наблюдаются следующие закономерности. После гуттурального *q* в барабинской словоформе *qap* ‘снег’ (см. табл. 1) у обоих дикторов долгота звука *a* больше, чем во всех других случаях: абсолютная длительность в среднем у д. 1 – 176,3 мс, у д. 2 – 206,0 мс, СОД у д. 1 – 127,3 %, у д. 2 – 128,1 % (при общей длительности словоформы 425,0 и 588,7 мс соответственно). Таким образом, несмотря на то, что у д. 2 САД на 30 мс больше, чем у д. 1, а средняя общая длительность словоформы на 163,7 мс больше, СОД у них практически совпадает (разница составляет меньше 1 %). Кроме того,

Таблица 1

Количественные и формантные характеристики барабинско-татарского гласного *a* в SpeechAnalyzer
Quantitative and Formant Characteristics of the Baraba-Tatar Vowel *a* in SpeechAnalyzer

№ п/п	Словоформа		Семантика	Абсолютная длительность словоформы, мс	Абсолютная длительность гласного, мс	Относительная длительность гласного, %	Формантные показатели	
	Орфограмма	Транскрипция					F ₁	F ₂
1	а (д. 1)	ʔat ^{sh}	стреляй!	603	196	64,5	975	1 527
2	а (д. 1)	ʔat ^h	стреляй!	495	166	66,9	1 030	1 430
3	а (д. 1)	ʔat ^h	стреляй!	580	188	64,8	980	1 410
4	а (д. 2)	ʔat ^h	стреляй!	640	167	78,4	1 030	1 650
5	а (д. 2)	ʔat ^h	стреляй!	554	136	73,5	980	1 575
6	а (д. 2)	ʔat ^h	стреляй!	550	168	91,8	1 080	1 450
7	а (д. 1)	ʔatʃ	голодный	584	137	70,2	1 050	1 500
8	а (д. 1)	ʔatʃ	голодный	518	167	96,5	954	1 560
9	а (д. 1)	ʔatʃ	голодный	539	140	77,8	920	1 480
10	а (д. 2)	ʔatʃ	голодный	594	175	88,4	980	1 580
11	а (д. 2)	ʔatʃ	голодный	543	150	82,9	980	1 630
12	а (д. 2)	ʔatʃ	голодный	617	160	77,7	1 050	1 450
13	қа (д. 1)	qat ^h	снег	523	176	101,1	980	1 455
14	қа (д. 1)	qat ^h	снег	370	171	139,0	930	1 550
15	қа (д. 1)	qat ^h	снег	382	182	143,3	870	1 510
16	қа (д. 2)	qat ^h	снег	620	216	139,4	1 010	1 550
17	қа (д. 2)	qat ^h	снег	553	190	137,7	1 020	1 500
18	қа (д. 2)	qat ^h	снег	593	212	107,1	1 020	1 450

Окончание табл. 1

№ п/п	Словоформа		Семантика	Абсолютная длительность словоформы, мс	Абсолютная длительность гласного, мс	Относительная длительность гласного, %	Формантные показатели	
	Орфограмма	Транскрипция					F ₁	F ₂
19	чач (д. 1)	tʃatʃ	волосы	634	170	80,7	845	1 666
20	чач (д. 1)	tʃatʃ	волосы	623	173	83,2	807	1 695
21	чач (д. 1)	tʃatʃ	волосы	487	128	79,0	748	1 670
22	чач (д. 2)	tʃatʃ	волосы	620	164	79,2	1 006	1 670
23	чач (д. 2)	tʃatʃ	волосы	556	132	71,4	961	1 730
24	чач (д. 2)	tʃatʃ	волосы	633	182	86,3	1 060	1 650
Средние значения				513	169	91,0	968	1 561

Таблица 2

Сопоставления данных по д. 1, полученные в программах SpeechAnalyzer и PRAAT
Comparison of the data from sp. 1 processed in SpeechAnalyzer and PRAAT programs

№ п/п	Словоформа		Семантика	Абсолютная длительность словоформы, мс	Абсолютная длительность гласного, мс	Относительная длительность гласного, %	Формантные показатели	
	Орфограмма	Транскрипция					F ₁	F ₂
1	ат (д. 1)	ʔats ^h	стреляй!	570	145	76,3	937	1 400
2	ат (д. 1)	ʔat ^h	стреляй!	609	176	57,9	985	1 430
3	ат (д. 1)	ʔat ^h	стреляй!	496	165	70,2	1 045	1 500
4	ат (д. 1)	ʔats ^h	стреляй!	603	196	64,5	975	1 527
5	ат (д. 1)	ʔat ^h	стреляй!	495	166	66,9	1 030	1 430

Окончание табл. 2

№ п/п	Словоформа		Семантика	Абсолютная длительность словоформы, мс	Абсолютная длительность гласного, мс	Относительная длительность гласного, %	Формантные показатели	
	Орфограмма	Транскрипция					F ₁	F ₂
6	аг (д. 1)	ʔatʰ	стреляй!	580	188	64,8	980	1 410
7	ач (д. 1)	ʔatʃ	голодный	545	135	91,1	1 005	1 500
8	ач (д. 1)	ʔatʃ̣	голодный	513	170	99,4	960	1 610
9	ач (д. 1)	ʔatʃ̣	голодный	527	141	80,1	960	1 557
10	ач (д. 1)	ʔatʃ̣	голодный	584	137	70,2	1 050	1 500
11	ач (д. 1)	ʔatʃ̣	голодный	518	167	96,5	954	1 560
12	ач (д. 1)	ʔatʃ̣	голодный	539	140	77,8	920	1 480
13	кар (д. 1)	ʔqatʰ	снег	455	162	106,6	945	1 540
14	кар (д. 1)	ʔqatʰ	снег	433	150	104,2	935	1 590
15	кар (д. 1)	qatʰ	снег	439	175	119,9	932	1 547
16	кар (д. 1)	ʔqatʰ	снег	523	176	101,1	980	1 455
17	кар (д. 1)	ʔqatʰ	снег	370	171	139,0	930	1 550
18	кар (д. 1)	qatʰ	снег	382	182	143,3	870	1 510
19	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	613	175	85,8	930	1 630
20	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	564	170	90,4	880	1 690
21	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	501	123	73,7	750	1 695
22	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	634	170	80,7	845	1 666
23	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	623	173	83,2	807	1 695
24	чач (д. 1)	tʃatʃ̣	волосы	487	128	79,0	748	1 670

в данной позиции звук *a* может быть квалифицирован как полудолгий (СОД больше 100 %, но меньше 150 %).

В позиции CVC между двумя шумными аффрикатами у д. 1 в словоформе *чаc* ‘волосы’ (см. табл. 1) САД звука *a* составляет 157,0 мс, СОД – 81,0 % при общей средней длительности словоформы 581,3 мс. У д. 2 в этой же словоформе САД звука *a* равна 149,0 мс, СОД – 79,0 % при общей длительности 603,0 мс. Такие показатели соответствуют данным по произнесению звука *a* в инициальной позиции.

В целом по результатам акустического анализа звук *a* можно определить как краткий (СОД равна 91,0 %).

По формантным характеристикам (F_1 в среднем составляет 968 Гц (при разбросе от 748 до 1 060 Гц), F_2 – 1 561 Гц (при разбросе от 1 410 до 1 730 Гц))⁴, звук *a* можно охарактеризовать как центральнозаднерядный (точная фонетическая транскрипция: A_9).

В табл. 2 представлены результаты анализа звуковых файлов д. 1 в двух программах: SpeechAnalyzer и PRAAT. Сопоставление средних значений по двум программам не показывает значительных расхождений в данных (табл. 3).

Таблица 3

Сопоставление средних значений по программам SpeechAnalyzer и PRAAT
Comparison of the mean values calculated by SpeechAnalyzer and PRAAT

Параметр	SpeechAnalyzer	PRAAT
Длительность словоформы, мс	527,7	522,1
Абсолютная длительность гласного, мс	166,1	157,3
Относительная длительность гласного, %	88,9	87,9
F_1	924	939
F_2	1 538	1 557

Таким образом, несмотря на расхождения в абсолютных показателях по конкретным произнесениям, средние значения проявляют лишь незначительные несоответствия: по результатам обеих программ звук *a* определяется как краткий, по формантным показателям – как центральнозаднерядный.

Выводы

По результатам артикуляторно-акустического анализа реализаций фонемы *a* / A^\sim / в ЯБТ можно сделать следующие выводы.

Определение фонемы *a* / A^\sim / как центральнозаднерядной по артикуляторным данным соответствует формантным показателям, полученным в двух программах по обработке звуковых файлов: SpeechAnalyzer и PRAAT. Акустически были проанализированы только словоформы, зафиксированные на томографе и описанные артикуляторно. Рассматривались две позиции: в самом начале слова (VC)⁵ и в середине в позиции между согласными (CVC). Наибольшая длительность была зафиксирована после шумного гуттурального *q* и перед малошумным вибрантом *r*. Вероятно, препозиция согласного не настолько релевантна, как его постпозиция.

⁴ Первая форманта (F_1) отвечает за подъем гласного, вторая (F_2) – за ряд.

⁵ Структура VC – гласный + согласный.

Данное предположение находит подтверждение в исследовании И. Я. Селютиной по вокализму кумандинцев: существенным следует признать воздействие на комбинаторную длительность кумандинских /ä./ и /ä₄:/ лишь финальных малошумных и в меньшей степени – инициальных шумных щелевых [Селютина, 1989, с. 22–23]. Автор отмечает, что более краткие по сравнению с шумными финальные малошумные согласные вызывают закономерное комбинаторное удлинение предшествующих гласных [Там же, с. 22]. К сожалению, наша выборка недостаточно репрезентативна, чтобы подтвердить или опровергнуть данные выводы, и требуется дальнейший акустический анализ более обширного языкового материала для верификации данной гипотезы.

Зафиксированная на томограммах и томограммах фарингализация настроек в целом подтверждается акустическими данными: на спектрограммах и осциллограммах видны сопутствующие признаки работы глотки. Однако вопрос о том, является ли она особенностью артикуляции фонемы *a* /ä~/ или фарингализация – это конститутивно-дифференциальный признак (КДП) всей вокальной системы, остается открытым и требует дальнейшего изучения на более широком материале. Необходимо подчеркнуть, что фарингализация гласного *a* характерна для ряда сибирских тюркских языков: в тубинском (северном диалекте алтайского языка) она является вместе с краткостью / долготой гласных одним из КДП системы [Сарбашева, 2004, с. 93]. В тувинском языкознании исследователи также выделяют фарингализацию как КДП всей вокальной системы: в литературном языке противопоставляются краткие / долгие / фарингализованные фонемы (отмеченная назализация является сопутствующей, хотя в ряде диалектов выделяются отдельные назализованные фонемы) [Дамбыра, 2005, с. 185–192]. В башкирском народно-разговорном языке исследователи констатируют существование так называемого гортанного *a*, который характеризуется дополнительной напряженной работой глотки [Ишбулатов, 1982, с. 3] (такая настройка, вероятно, соответствует фарингализации в сибирско-тюркских языках).

Зафиксированная в ходе экспериментальной работы лабиализация начального *a* в барабинско-татарском является нетипичной для вокализов тюркских языков Сибири, хотя в алтайском литературном языке [Чумакаева, 1984] и его диалектах (см, например, кумандинский [Селютина, 1998]) исследователи фиксируют данный феномен. Огубление инициального *a* более характерно для языков Урало-Поволжья: татарского и башкирского, развивших данное явление под влиянием Волго-камского языкового союза. Необходимо отметить, что лабиализация анлаутного *a* не вызывает сомнений и споров в татарском литературном языке [Губайдуллина, 2011; Татар грамматикасы, 2015], в то время как лингвисты-башкироведы в целом признают ее для башкирского, но как явление скорее периферийное, вызванное контактом башкирских говоров с татарским языком (см., например: [Гарипов, 1979, с. 231; Диалекты тюркских языков, 2010, с. 128]). Причины возникновения огубления *a* в ЯБТ в инициали непонятны: вызвано ли данное явление влиянием татарского литературного языка, носит ли другой характер, обусловленный внутренними языковыми процессами, или это рефлекс кыпчакского влияния? Дальнейшее экспериментально-фонетическое исследование барабинского вокализма, в том числе артикуляторно-акустический анализ произнесений фонемы *a* /ä~/ другими дикторами и в различном вокально-консонантном окружении, позволит ответить на поставленные вопросы.

Список литературы

Белоглазова В. А. Использование компьютеризированных методов анализа англоязычной звучащей речи в актуальном научном исследовании // Ogarev-online.

2013. № 4. URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/ispolzovanie-kompyuterizirovannykh-metodov-analiza-angloyazychnoj-zvuchashhejj-rechi-v-aktualnom-nauchnom-issledovanii> (дата обращения 31.03.2019).

Гарипов Т. М. Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Опыт синхронической и диахронической характеристики. М.: Наука, 1979. 303 с.

Губайдуллина Г. Т. Татарская экспериментальная фонетика: истоки и этапы ее развития: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2011. 26 с.

Дамбыра И. Д. Вокализм каа-хемского говора в сопоставлении с другими говорами и диалектами тувинского языка. Новосибирск: Сова, 2005. 224 с.

Диалекты тюркских языков: Очерки / Отв. ред. А. В. Дыбо. М.: Вост. лит., 2010. 532 с.

Дмитриева Л. В. Язык барабинских татар (Материалы и исследования). Л., 1981. 225 с.

Добринина А. А. Акустические характеристики гласного типа «а» в языке теленгитов // Языки и фольклор коренных народов Сибири. Новосибирск, 2018. Вып. 36. С. 67–73.

Иибулатов Н. Х. Современный башкирский язык: Фонетика: Учеб. пособие. Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 1982. 39 с.

Князев С. В., Пожарицкая С. К. Современный русский литературный язык: Фонетика, орфоэпия, графика и орфография: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Академический проект: Гаудеамус, 2011. 430 с. (Gaudeamus).

Летягин А. Ю., Ганенко Ю. А., Уртегешев Н. С. Анатомо-функциональные мышечные механизмы формирования голосового тракта при произнесении аутентичных гласных сибирско-татарского языка по данным магнитно-резонансной томографии // Бюл. СО РАМН. 2013. Т. 33, № 5. С. 10–17.

Наделяев В. М. Артикуляционная классификация гласных // Фонетические исследования по сибирским языкам. Новосибирск, 1980. С. 3–91.

Рыжикова Т. Р. Консонантизм языка барабинских татар: Сопоставительно-типологический аспект. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. 269 с.

Салимов Х. Х. Вокализм барабинского диалекта татарского языка (экспериментально-фонетическое наблюдение) // Исследования звуковых систем языков Сибири. Новосибирск, 1984. С. 17–22.

Сарбашева С. Б. Фонологическая система туба-диалекта алтайского языка (в сопоставительном аспекте). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2004. 244 с.

Селютина И. Я. Фонемы [а] и [а:] в языке кумандинцев // Звуковые системы сибирских языков. Новосибирск, 1989. С. 17–25.

Селютина И. Я. Кумандинский вокализм. Экспериментально-фонетическое исследование. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. 185 с.

Селютина И. Я., Уртегешев Н. С., Летягин А. Ю., Шевела А. И., Добринина А. А., Эсенбаева Г. А., Савелов А. А., Резакова М. В., Ганенко Ю. А. Артикуляторные базы коренных тюркских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и цифровой рентгенографии). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2012. 374 с. (Сер. Интеграционные проекты; Вып. 41).

Татар грамматикасы: өч томда / Проект жит. М. З. Зәкиев; ред. Ф. М. Хисамова. Тулыландырылган 2 нче басма. Казан: ТӘҺСИ, 2015. Т. 1. 512 б.

Тумашева Д. Г. Язык сибирских татар (часть вторая). Казань, 1968. 183 с.

Тымбай А. А. Современные методы проведения лингвистического анализа речи // Филологические науки в МГИМО. 2008. № 30. С. 151–156.

Уртегешев Н. С. Соматические параметры настроек гласных: методика определения ступеней отстояния // Түркология. 2009. № 3–4. С. 3–12.

Уртегешев Н. С., Селютина И. Я., Рыжикова Т. Р., Вильданов А. З. Язык барабинских татар // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск, 2003. Вып. 10. С. 78–106.

Чумакаева М. Ч. Реализация алтайской долгой фонемы [a:] // Алтайский язык на современном этапе его развития. Горно-Алтайск, 1984. С. 162–167.

Badin P., Bailly G., Reveret L., Baci M., Segebarth C., Savariaux C. Three-dimensional line ararticulatory modeling of tongue, lips and face based on MRI and video image // *Journal of Phonetics*. 2002. No. 30. P. 533–553.

Chiba T., Kajiyama M. *The Vowel: Its Nature and Structure*. Tokyo: Kaiseikan, 1958.

Engwall O. *Tongue Talking – Studies in Intraoral Visual Speech Synthesis*: Ph.D. thesis KTH. Stockholm, Sweden, 2002.

Engwal O. A revisit to the application of MRI to the analysis of speech production – testing our assumptions // *Proc. of the 6th Intern. Seminar on Speech Production*, Sydney, Dec. 7 to 10. Sydney, 2003.

Fant G. *Acoustic Theory of Speech Production*. The Hague: Mouton, 1960.

Tiede M., Masaki S., Vatikiotis-Bateson E. Contrasts in speech articulation observed in sitting and supine condition // *Proc. of the 5th Speech Production Seminar: Models and data*, 2000. P. 25–28.

T. R. Ryzhikova

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, tanya12@mail.ru*

**Articulatory-acoustic characteristics
of the Baraba-Tatar phoneme *a* /*ä*/ in a comparative aspect**

The paper considers the articulatory-acoustic characteristics of the Baraba-Tatar phoneme *a* /*ä*/. In the course of the MRI investigation, the representations of this phoneme turned out to be pharyngealized, thus putting Barabian in line with other Siberian Turkic languages, such as Tuba, Tuvan, etc. Moreover, the labialization of sound *a* tuning appears in the very beginning of a wordform, a phenomenon that is more typical for Volga-Tatar and Bashkir. The acoustic analysis, made in SpeechAnalyzer and PRAAT programs, showed that in spite of some minor disagreements between the computer data, the results tend to be in good correspondence with each other. Thus, the phoneme *a* /*ä*/ can be characterized as short, with the exception in the position between noise guttural and less-noise vibrant where all realizations are within 100 and 150 % of the average sound length. All allophones of the phoneme *a* /*ä*/ proved to be central-back, with this fact confirmed by both articulatory and acoustic data. The present investigation is just the first step of a complex experimental-phonetic study of the Baraba-Tatar vocal system, and further work is needed to reveal the articulatory-acoustic peculiarities of the Barabian vocalism.

Keywords: articulatory phonetics, acoustic phonetics, Baraba-Tatar language, vocalism, pharyngealization, labialization, SpeechAnalyzer, PRAAT.

DOI 10.17223/18137083/67/15

References

Badin P., Bailly G., Reveret L., Baci M., Segebarth C., Savariaux C. Three-dimensional line ararticulatory modeling of tongue, lips and face based on MRI and video image. *Journal of Phonetics*. 2002, no. 30, pp. 533–553.

Beloglazova V. A. Ispol'zovaniye komp'yuterizirovannykh metodov analiza angloyazychnoy zvuchashchey rechi v aktual'nom nauchnom issledovanii [Usage of the computerized analysis methods of the English oral speech in an actual scientific research]. *Ogarev-online*. 2013,

- no. 4. URL: <http://journal.mrsu.ru/arts/ispolzovanie-kompyuterizirovannykhmetodov-analiza-angloyazychnoj-zvuchashhejj-rechi-v-aktualnom-nauchnom-issledovanii> (accessed 31.03.2019).
- Chiba T., Kajiyama M. *The vowel: Its nature and structure*. Tokyo, Kaiseikan, 1958.
- Chumakaeva M. Ch. Realizatsii altayskoy dolgoy fonemy [a:] [The realizations of the Altai long phoneme [a:]]. *Altayskiy yazyk na sovremennom etape yego razvitiya. Gorno-Altaysk*. 1984, pp. 162–167.
- Dambyra I. D. *Vokalizm kaa-khemskogo govora v sopostavlenii s drugimi govorami i dialektami tuvinskogo yazyka* [The vocalism of the Kaa-Khem sub-dialect in comparison with other sub-dialects and dialects of the Tuvan language]. Novosibirsk, Sova, 2005, 224 p.
- Dialekty tyurkskikh yazykov: ocherki* [Dialects of the Turkic languages: essays]. A. V. Dybo (Ed.). Moscow, Vostochnaya lit, 2010, 532 p.
- Dmitriyeva L. V. *Yazyk barabinskikh tatar (Materialy i issledovaniya)* [The Baraba-Tatar language (Materials and researches)]. Leningrad, 1981, 225 p.
- Dobrinina A. A. Akusticheskiye kharakteristiki glasnogo tipa “a” v yazyke telengitov [Acoustic characteristics of type “a” vowel in the Telengit language]. *Yazyki i fol'klor korennykh narodov Sibiri*. 2018, no. 36, pp. 67–73.
- Engwall O. *Tongue Talking – Studies in Intraoral Visual Speech Synthesis*. Ph.D. thesis KTH, Stockholm, Sweden, 2002.
- Engwal O. *A revisit to the application of MRI to the analysis of speech production – testing our assumptions*. Proc. of the 6th Intern. Seminar on Speech Production, Sydney, Dec. 7 to 10, 2003.
- Fant G. *Acoustic theory of speech production*. The Hague, Mouton, 1960.
- Garipov T. M. *Kypchakskiy yazyki Uralo-Povolzh'ya. Opyt sinkhronicheskoy i diakhronicheskoy kharakteristiki* [The Kipchak languages of the Ural-Volga region. An attempt of synchronical and diachronical characterization]. Moscow, Nauka, 1979, 303 p.
- Gubaydullina G. T. *Tatarskaya eksperimental'naya fonetika: istoki i etapy eyo razvitiya* [The Tatar experimental phonetics: origins and its development stages]. Abstract of Cand. philol. sci. diss. Kazan, 2011, 26 p.
- Ishbulatov N. Kh. *Sovremennyy bashkirskiy yazyk: Fonetika: Uchebnoye posobiye* [The modern Bashkir language: Phonetics: Textbook]. Ufa, Bashkir State Univ. Publ., 1982, 39 p.
- Knyazev S. V., Pozharitskaya S. K. *Sovremennyy russkiy literaturnyy yazyk: Fonetika, orfografiya, grafika i orfografiya: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. 2-e izd., pererab. i dop.* [The contemporary Russian literary language: Phonetics, orthoepy, graphics and orthography: A textbook for universities. 2nd ed., upd. and rev.]. Moscow, Akademicheskii Proyekt, Gaudeamus, 2011, 430 p.
- Letyagin A. Yu., Ganenko Yu. A., Urtegeshev N. S. Anatomico-funktsional'nyye myshechnyye mekhanizmy formirovaniya golosovogo trakta pri proiznesenii autentichnykh glasnykh sibirskotatarskogo yazyka po dannym magnitno-rezonansnoy tomografii [Anatomical-functional muscle mechanisms of a vocal tract formation when pronouncing the Siberian-Tatar vowels on the basis of MRI]. *The Bulletin of the Siberian Branch of the Russian Academy of Medical Sciences*. 2013, vol. 33, no. 5, pp. 10–17.
- Nadelyayev V. M. Artikulyatsionnaya klassifikatsiya glasnykh [An Articulatory vowel classification]. In: *Foneticheskiye issledovaniya po sibirskim yazykam* [Phonetic Studies in Siberian Languages]. Novosibirsk, 1980, pp. 3–91.
- Ryzhikova T. R. *Konsonantizm yazyka barabinskikh tatar: sopostavitel'no-tipologicheskii aspekt* [The Baraba-Tatar consonantism: comparative-typological aspect]. Novosibirsk, SB RAS, 2005, 269 p.
- Salimov Kh. Kh. *Vokalizm barabinskogo dialekta tatarskogo yazyka (eksperimental'no-foneticheskoye nablyudeniye)* [The vocalism of the Baraba-Tatar dialect of the Tatar language (experimental-phonetic observation)]. In: *Issledovaniya zvukovykh sistem yazykov Sibiri* [Studies of the sound systems of the languages of Siberia]. Novosibirsk, 1984, pp. 17–22.
- Sarbasheva S. B. *Fonologicheskaya sistema tuba-dialekta altayskogo yazyka (v sopostavitel'nom aspekte)* [Phonological system of the Tuba-dialect of the Altai language (in a comparative aspect)]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 2004, 244 p.
- Selyutina I. Ya. Fonemy [ä] i [ä:] v yazyke kumandintsev [Phonemes [ä] and [ä:] in the Kumandy language]. In: *Zvukovyye sistemy sibirskikh yazykov* [Sound systems of the Siberian languages]. Novosibirsk, 1989, pp. 17–25.

Selyutina I. Ya. *Kumandinskiy vocalizm: eksperimental'no-foneticheskoye issledovaniye* [Kumandy vocalizm: experimental-phonetic research]. Novosibirsk, Sibirskiy khronograf, 1998, 185 p.

Selyutina I. Ya., Urtegeshev N. S., Letyagin A. Yu., Shevela A. I., Dobrinina A. A., Esenbayeva G. A., Savelov A. A., Rezakova M. V., Ganenko Yu. A. *Artikulyatornyye bazy korennykh tyurkskikh etnosov Yuzhnoy Sibiri (po dannym MRT i tsifrovoy rentgenografii)* [The articulatory bases of the indigenous Turkic ethnoses of Southern Siberia (on the basis of MRI and digital X-raying)]. Novosibirsk, SB RAS, 2012, 374 p. (Ser. Integration Projects; Iss. 41).

Tatar grammatikasy: och tomda [The grammar of the Tatar language: in 3 vols]. M. Z. Zəkiyev (Comp.), F. M. Khisamova (Ed.). Tulylandyrylgan 2 nche basma. Kazan: TƏhSI, 2015, vol. 1, 512 p.

Tiede M., Masaki S., Vatikiotis-Bateson E. *Contrasts in speech articulation observed in sitting and supine condition*. Proc. of the 5th Speech Production Seminar: Models and data. 2000, pp. 25–28.

Tumasheva D. G. *Yazyk sibirskikh tatar (chast' vtoraya)* [The Siberian Tatar language (Pt 2)]. Kazan, 1968, 183 p.

Tymbay A. A. Sovremennyye metody provedeniya lingvisticheskogo analiza rechi [The contemporary methods of the linguistic speech analysis]. *Philology at MGIMO*. 2008, no. 30, pp. 151–156.

Urtegeshev N. S., Selyutina I. YA., Ryzhikova T. R., Vil'danov A. Z. Yazyk barabinskikh tatar [The Baraba-Tatar language]. *Yazyki korennykh narodov Sibiri*. 2003, iss. 10, pp. 78–106.

Urtegeshev N. S. Somaticheskiye parametry nastroyek glasnykh: metodika opredeleniya stupeney otstoyaniya [The somatic parameters of vowels tunings: the procedure of determining the degrees of rise]. *Turcology*. 2009, no. 3–4, pp. 3–12.

УДК 81'37(=512.36)
DOI 10.17223/18137083/67/16

Е. В. Сундуева

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ

Акустические и образные характеристики смеха и их отражение в бурятском языке*

Статья посвящена анализу изобразительных слов, сочетающихся с глаголом *энеэхэ* 'смеяться'. Они разделены на непроизводные и производные слова, которые внутри подразделяются на звукоподражательные и кинемоподражательные. Устанавливается связь между акустико-артикуляционными особенностями согласных корня и семантикой рассматриваемых слов. Выдвигается идея прямого отражения фонетико-артикуляционными средствами языка мимических и телесных движений. Материалом послужили образцы бурятской художественной литературы, представленные на сайте Бурятского корпуса.

Ключевые слова: бурятский язык, идеофоны, звукоподражательные слова, звуко-символические слова, фонетико-артикуляционные средства языка.

В бурятском языке представлен широкий спектр изобразительных слов, передающих различные оттенки смеха. Как пишет Д. Улзытуев в стихотворении «Энеэдэн тухай шүлэг» («Стихотворение о смехе»), *Элдэб янзын энеэдэнүүдэй аялга / Эртэ сагнаа эды болотор дахалдаа. / Бүхы наһаараа бүридхэжэ тоолоош бол, / Бүримүһэн суглуулха гэшигнь бэрхэ даа* [Улзытуев, 2015, с. 353–354] 'Звуки разных видов смеха / С древних времен до сей поры сохранились. / Даже если всю жизнь считать их, / Полностью собрать их трудно' (здесь и далее перевод наш. – Е. С.). На основе материалов Бурятского корпуса¹ нами выявлены изобразительные слова, сочетающиеся с глаголом *энеэхэ* 'смеяться'. Они поделены на две

¹ Бурятский корпус URL: http://web-corpora.net/BuryatCorpus/search/?interface_language=ru (дата обращения 28.02.2018).

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства Российской Федерации 14.W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии».

Сундуева Екатерина Владимировна – доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела языкознания Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ул. Сахьяновой, 6, Улан-Удэ, 670047, Россия; sundueva@mail.ru)

группы: непроизводные и производные. Внутри они также делятся на звукоподражательные и кинемоподражательные. Целью данного исследования является установление связи между акустико-артикуляционными особенностями согласных корня и семантикой рассматриваемых слов. Автор выдвигает новую идею прямого отражения фонетико-артикуляционными средствами языка мимических и телесных движений, которая может оказаться дискуссионной.

Непроизводные звукоподражательные слова могут быть как односложными, так и двусложными, при этом все они удваиваются. В табл. 1 рассмотрим непроизводные звукоподражательные слова с примерами из бурятской художественной литературы.

Таблица 1

Непроизводные звукоподражательные слова
Underived onomatopoeic words

Слово	Пример	Перевод
Һэг-һэг	<i>Бармид... урагшаа үгсэгэнэжэ байжа, ханаяжа хахажа һэг-һэг энеэбэ</i> (Б. Мунгонов)	Бармид... наклоняясь вперед, закашливаясь и давясь, резко засмеялся
Хяг-хяг	<i>Бүлгэмнайшые... энэ табанһаашые бэшэ юумэгүй ха даа! – гээд, Галин шүлһэ сэсэрэн, хяг-хяг энеэнэ</i> (Ц. Дон)	В группе-то нашей... кроме этих пятерых, никого и нет! – сказал Галин и, брызжа слюной, отрывисто засмеялся
Хүр-хүр	<i>– Бидэшые дайсад бэшэ аабзабди даа, – гэжэ Балдан хээээдэ һөөлдэнхэй ябадаг хоолойгоороо хүр-хүр энеэбэ</i> (К. Цыденов)	– Надеюсь, мы не враги, – хрипло засмеялся Балдан давно осипшим голосом
Хэр-хэр	<i>Добын галзуудай газарые дууһыень буляажэ абаһанаймни аша буян эгээл шимээр ерэхэ байбал, – гэжэрхёод, өөдөө хаража хэр-хэр энеэнэ</i> (Х. Намсараев)	Так проявляется милость за то, что мы полностью отобрали земли у галзутов, [живущих] у холма, – сказав, запрокинул голову и сипло засмеялся
Һүл-һүл	<i>Юрэдөө болигтыл даа, Бальчин Чагдурович, – гэжэ хэлэсэгээгээд, Надмитов бүдэхииг хоолойгоороо һүл-һүл энеэбэ</i> (Б. Мунгонов)	Перестаньте, Бальчин Чагдурович, – сказав, Надмитов звучно засмеялся глуховатым баском
Хон-хон	<i>Тээд юундэшые баярлаһанаа хүсэд ойлгонгүй, юрэл хонгёогоор хон-хон энеэнэ</i> (Ц.-Д. Хамаев)	И не поняв до конца причину радости, просто звонко смеется
Хэн-хэн	<i>– Та хоёр, энэ һамганай уйлахада, ехэ гайхажэ байна гүт? – гэжэ асуугаад, удаань даруугаар хэн-хэн гэтэр энеэнэ</i> (Х. Намсараев)	– А вы сильно удивлены тем, что эта женщина плачет? – спросив, скромно засмеялся грудным смехом
Пас-пас	<i>Тиигээд гэнтэ тон һанаа амараар пас-пас энеэбэ: – Аа, ойлгооб, ойлгооб!</i> (Б. Мунгонов)	Вдруг спокойно приглушенно засмеялся: – Аа, понял, понял!

Слово	Пример	Перевод
Паас-паас	– <i>Зай, би түрүүн ошожо, даал-габаршиетнай дүүргэжэ байһуулби даа, – гэжэ тэрэмнай шүдээ ирзайлган паас-паас эне-эгээд... ябашаба</i> (Б. Мунгонов)	– Ладно, я поеду вперед, чтобы выполнить ваше задание, – сказал он, обнажая зубы, раскатисто засмеялся и уехал
Лаас-лаас	<i>Очирой Бадмын хонид соо, хаа-хаа! – гэжэ тэрэ лаас-лаас эне-эн ойртобо</i> (Б. Мунгонов)	Среди овец Очирова Бадмы, ха-ха! – сказав, гулко смеясь, он приблизился
Хас-хас	<i>Тишхэдээ гулваагай хугшэн та хоёрой ханал бодол нэгдэнхэй юм байна гэжэ мэдэбэб, – гээд, амаа ехээр ангайжа, өөдөө хараад хас-хас энеэжэ... нууба</i> (Х. Намсараев)	Так я понял, что вы заодно со старухой главы рода, – сказав, сидел, громко смеясь, широко открывая рот и запрокинув голову
Хос-хос	<i>Агын зон та хоёрые хараад лэ байна гэшэбди! – гээд, хос-хос энеэбэ</i> (Д. Батожабай)	Мы, агинцы, на вас равняемся, – сказав, звучно рассмеялся
Хүс-хүс	<i>Хайн, сагаан зантай хүбүүн тэрэшни, – гээд, Гончик хүс-хүс энеэбэ</i> (С. Цырендоржиев)	Хороший, добрый парень он, – сказал Гончик и глухо засмеялся

Как видно из таблицы, из 13 слов шесть оканчиваются на согласный *с*, по два на *г*, *р*, *н* и одно слово – на согласный *л*. В словах *нэг-нэг* и *хяг-хяг* согласный *г*, благодаря подъему задней части спинки языка к мягкому небу, указывает на прерывистость действия, в связи с чем уместен перевод ‘отрывисто (смеяться)’. Слова *хүр-хүр* и *хэр-хэр* переведены как ‘хрипло’, поскольку корень *хэр* образует такие антропофоны, как бур. *хэршэгэнэ*-, монг. *хэржигнэ*- ‘хрипеть (о мокроте в груди)’, монг. *хэр хэр гэ*- ‘кашлять’. При артикуляции переднеязычного дрожащего сонанта *р* кончик языка пассивно колеблется в струе проходящего воздуха, образуя одну или несколько кратковременных смычек или щелей с задним скатом альвеол, что способствует вербализации в монгольских языках таких рефлекторных движений человека, как фыркание, храп, дыхание с присвистом, всасывание ртом жидкости и др.

Слово *һул*, переведенное нами как ‘звучно’, сопоставимо с *гүлд* – звукоподражанием иканию, глотанию, погружению твердого предмета в воду: *гүлд гэтэр залгиха* ‘громко глотать’ [БРС, I, с. 231]. Слово *хон* имеет значение ‘звонко’ [БРС, II, с. 441], ему близки такие производные, как бур. *хонгёо* ‘звонкий’, *хонгирхо* ‘звучать; звенеть’, *хонхинохо* ‘звенеть’, *хонхо* ‘звонок; колокол’. Слово *хэн* также представлено в «Бурятско-русском словаре»: *хэн-хэн (гэтэр) энеэхэ* ‘смеяться грудным смехом’ [Там же, с. 520]. Слова, оканчивающиеся на согласный *с*, в целом имеют значение ‘громко’.

Долгий гласный в *паас-паас*, *лаас-лаас* передает продолжительность действия. Выявленные значения звукоподражаний подтверждают наблюдения Л. Д. Шагдарова, согласно которым «гласный *а* обычно встречается в словах, подражающих сильным, громким звучаниям больших предметов, *о* – четким, ясным звучаниям маленьких предметов, *у* – выражает глухое звучание... *и*, *я* – сильные и высокие по тону звучания» [Шагдаров, 1962, с. 53, 55].

Как свидетельствуют примеры, кинемоподражательные слова (табл. 2) характеризуют движения губ и мышц лица и тела человека во время смеха. От основы *мэхэр* образован глагол *мэхэрхэ* ‘двигать челюстями; беззвучно смеяться’ [БРС, I, с. 578]. Также привлекает внимание пример: *Мэтэр эдир дунда наһанай, ялалзаһан нюдэтэй, зоримгой янзын нэгэ хүн угтан гаража, эелдэг найртайгаар мэхэс гэжэ амар мэндые хэлэлсэн сасуу...* (Х. Намсараев) ‘Навстречу вышел решительный молодой человек с сияющими глазами и, приветливо улыбнувшись, поздоровался...’ Здесь слово *мэхэс* передает кратковременную улыбку. Если отбросить конечные согласные *r* и *s* (*tek-e-r* и *tek-e-s*) и поменять местами согласные *m* и *k*, то получится междометие *хм* (*хмм*), представляющее собой подражание выдоху с сомкнутыми губами. Рус. *хм*, англ. *hmm* выражают сомнение, недоверие, нерешительность. В бурятском языке подражание *һэм* функционирует в качестве междометия ‘гм...’ и образует аналитическую конструкцию *һэм гэжэ баярлаха* ‘внутренне злорадствовать’ [БРС, II, с. 585].

Таблица 2

Непроизводные кинемоподражательные слова
Underived figurative words

Слово	Пример	Перевод
Мэхэр-мэхэр	<i>Галиша... хуурайгаар мэхэр-мэхэр гэжэ дутуу энэгээд, тамхьяа носоожо, татана</i> (Х. Намсараев)	Галиша... издав беззвучный смешок, закурил
Мийһэд-мийһэд	<i>Түрүүлэгшэ дарууханаар мийһэд-мийһэд энэгэжэ... гэнэ</i> (Х. Намсараев)	Председатель, скромно улыбаясь ... сказал
Муршаг-муршаг	<i>...Тэрээниешни хубаалдаха һэн хабди, юун гэхэ байнаш? – гээд, муршаг-муршаг энэгэнэ һэн</i> (Х. Намсараев)	...Надо бы поделиться, что скажешь? – сказав, засмеялся, гримасничая
Үбхэр-үбхэр	<i>Дабаа-Жалсанайдаа хүрэнөөшье мэдэнгүй хүрэнэн байхалии даа, – гэжэ үбгэн Бүдэжаб үбхэр-үбхэр энэгбэ</i> (Б. Мунгонов)	И не поймешь, как добрался до Даба-Жалсана, – засмеялся старик Будэжаб, содрокаясь всем телом
Обо-обо	<i>Тобшой хүгшэн баһал иигэжэ обо-обо энэгдэг юм һэн</i> (Ч. Цыдендамбаев)	Старушка Тобшой тоже так смеялась, вздрагивая всем телом
Һэлхэр-һэлхэр	<i>Зүүгээрнь баһал торгон магнал дэгэлтэй тарган тэлхэгэр һамгад... һуужа... һэлхэр-һэлхэр энэгдэнэ</i> (Х. Намсараев)	На восточной стороне сидят полные женщины и... смеются, колыхаясь всем телом

Иными словами, в *мэх* согласный *м*, образуемый смыканием губ при одновременном опускании небной занавески, обозначает сомкнутые в улыбке губы, а согласный *х* – выдох. Данное предположение позволяет выявить мимикоподражательное происхождение лексемы п.-монг. *teke* ‘обман, лукавство, коварство, хитрость, лицемерие’ [Kowalewski, 1849, vol. 3, p. 2016], бур. *мэхэ* ‘обман, надувательство; хитрость, лукавство’ [БРС, I, с. 577]. Лукавство, хитрость и лицемерие ассоциируются с улыбкой, значение же ‘обман’ на их основе развилось позже.

В халха-монгольском языке прилагательное *мэхий* имеет значения ‘стыдливый, застенчивый, робкий’ и ‘хитрый, себе на уме’ [БАМРС, II, с. 376]. Семантика робости, возможно, обусловлена тем, что в филогенетическом плане улыбка возникла на базе мимики страха и подчиненности [Бутовская, 2002, с. 55].

Фонетически близкое слово *миһэд* также представляет собой подражание улыбке (*миһ-э-д* ← *миһ* ← *һим*), где *һ* передает выдох, *м* – сомкнутые в улыбке губы, а гласный *и* – более высокий подъем уголков губ. Также представлены глаголы бур. *миһэрхэ* ‘улыбаться’, *миһэлзэхэ* ‘улыбаться’, *миһалзалга* ‘диал. улыбка’ [БРС, I, с. 551], п.-монг. *misigelčeki* ‘улыбаться’ [Kowalewski, 1849, vol. 3, p. 2024], бур. *мэиэзэхэ* ‘улыбаться’ [БРС, I, с. 578], монг. *мишвэлзэх*, *мишгэлзэх* ‘слегка улыбаться’, *мишилзэх* ‘улыбаться’, *мишээх* ‘смеяться, улыбаться’ [БАМРС, II, с. 333].

Согласный *м* в инициальной позиции, благодаря такому артикуляционному признаку, как сжатие губ, может передавать смыкание, мигание глаз, например бур. *мишэд гэхэ* ‘давать знак глазами, подмигивать’ [БРС, I, с. 551]. В связи с этим можно выделить номинативный признак ‘мигающий, подмигивающий’ в слове бур. *мүшэн* ‘звезды, звезда’ [Там же, с. 571], функционирующем в качестве космонима: монг. *Мичид* ‘Плеяды, Стожары’ [БАМРС, II, с. 333].

Слово *муршаг* передает образ морщинок на лице, возникающих во время смеха: монг. *мурчгар* ‘морщинистый, сморщенный’, *мурчийх* ‘сморщиваться’ [Там же, с. 358]. По наблюдениям Т. Г. Борджановой, в выражении *марзагад инээх* вырисовываются черты простодушного человека, а насмешливого, ироничного человека характеризует *мусг-мусг инээх*, что означает ‘киво усмехаться’ [Борджанова, 2002, с. 119]. Значение слова *убхэр*, характеризующего движение тела во время смеха, выводимо из семантики однокоренного изобразительного глагола *убхыхэ* ‘сидеть неустойчиво, приподнявшись, например на коне’ [БРС, II, с. 318], монг. *өвхөг өвхөг хийх*, *өвхөс өвхөс хийх* ‘подскакивать в седле’ [БАМРС, III, с. 5]. В образном корне *убх* согласный *б*, образуемый смычкой губ, передает прерывистость, кратность действия, так же как и в *обо-обо*. Слово *обо* представлено в «Бурятско-русском словаре»: *обо-собо энеэхэ* ‘хохотать, колыхаясь жирным телом’ [БРС, II, с. 9]. Внезапная задержка дыхания ярко выражена с помощью согласного *б* в корне *об*, давшем глагол *обогод гэхэ* ‘вздрогнуть, испугаться’. Что касается слова *һэлхэр*, то здесь согласный *л* передает идею мягкого, пухлого: *һэлхэгэр* ‘расплывшийся; опухший, отечный’, *һэлхэлзэхэ* ‘сотрясаться, колыхаться’ [Там же, с. 584].

Как видно, производные звукоподражательные наречия (табл. 3), сочетающиеся с глаголом *энеэхэ* ‘смеяться’, образованы с помощью форманта *-са*. Относительно его статуса имеется две точки зрения. В «Грамматике бурятского языка» *-са* (*-со*, *-сэ*) указан как суффикс деепричастия степени действия [ГБЯ, 1962, с. 292]. В таком случае наречия *ханхинаса*, *ханхинасар* следует рассматривать как результат конверсии. Как, например, наречия *садатараа* ‘досыта’, *хахартарнь* ‘до дыр’, *хуушатарынь* ‘до прихода в негодность’, подвергнувшиеся процессу адвербиализации предельного деепричастия. Л. Д. Шагдаров относит *-са* к словообразовательным суффиксам, образующим наречия от глагольных основ [Шагдаров, 2013, с. 148].

Звуки смеха поэтически описаны Д. Улзытуевым: *Гоёор энеэнэб гээд, гоншионо нэгэ зариман, / Горьёсын уһандал гоожуулна нүгөө зариман. / Хадааһа хадаһандал хас-хас энеэнэ үшөө нэгэн, / Хашарһа шэдэһэндэл ханхинаса үүрһэнэ нүгөөдэнь* [Улзытуев, 2015, с. 353] ‘Думая, что красиво смеются, гнусавят одни, / Смех других журчит как ручеек. / Еще один смеется так, будто гвозди забивает, / Другой звонко ржет, будто монеты кидает’.

Из представленных кинемоподражательных слов (табл. 4) первые пять отсылают к образу зубов, обнажаемых во время улыбки или смеха, деепричастная

форма *амишитар*аа, напротив, к образу беззубого рта. Образ обнажаемых зубов, в свою очередь, развился на основе образа торчащих зубов диких животных, большое количество корней с согласным *r* семантически связано с референтом ‘клыки; зубы’: п.-монг. *arjayı-* ‘оскалывать зубы’ [Kowalewski, 1849, vol. 1, p. 163], монг. *арзгар*, бур. *арзагар*, калм. *арзһр* ‘оскаленный’, п.-монг. *orsuγur*, монг. *орсгор* ‘выдающийся вперед, торчащий; кривой (о зубах)’, п.-монг. *irtayı-* ‘разинуть, полурастворить рот’ [Kowalewski, 1849, vol. 1, p. 324], монг. *яртгар* ‘высокомерный, надменный, с кислой миной’, калм. *иртң* ‘несмыкающийся (о рта, губах)’.

Таблица 3

Производные звукоподражательные слова
Derivative onomatopoeic words

Производящая основа	Пример	Перевод
<i>Ханхина-</i> ‘издавать звон, дребезжать’	<i>Басаганинь гэнтэ ханхи́наса энеэгээд, гэр тээшээ гүйишэбэ</i> (А. Ангархаев)	Девочка внезапно заливи-сто рассмеялась и побежала в сторону дома
<i>Хүнхинэ-</i> ‘гудеть, издавать гул’	<i>Огторгой өөдөө хинсайн, Хүнхинэсэ энеэнэ</i> (Д. Улзытуев)	Запрокинув голову к небу, гулко смеется
<i>Шэнхинэ-</i> ‘звенеть, гудеть’	<i>Ханхинама хонгёо хоолойтой, хонхын абяандал шэнхинэсэ энеэдэг Дэжэдын мүнөө үгы</i> (В. Гармаев)	Нет теперь Дэжэд со звенящим голосом, смеющейся звонко , как колокольчик
<i>Хэршэгэнэ-</i> ‘хрипеть’	<i>Дэлэгэй Ши́раб гараа дэлгэн, гайхаһан гэлыһэн хэбэр үзүүлэн, шал худалаар хэршэгэнэсэ энеэбэ</i> (С. Цырендоржиев)	Дэлэгэй Ши́раб, разведя руки в стороны, сделал удивленный вид и фальшиво засмеялся хриплым голосом
<i>Дарья-</i> ‘шуметь, галдеть’	<i>Архи уухада нүгэл юм, – гэжэ Дагбын тэрээндэ харюусахадань, тэндэ һуугшад дарьяса энеэлдэбэ</i> (Ц. Шагжин)	Когда Дагба ответил: «Водку пить – грех», сидевшие там оглушительно засмеялись
<i>Бажагана-</i> ‘кричать, горланить’	<i>Ти́хэдэнь лэ мэдэхэ даа! – гэ-эд, тайшаа бажаганаса энеэбэ</i> (Б. Санжин)	Вот тогда и узнает! – сказал тайша и громко засмеялся
<i>Пашагана-</i> о действиях, протекающих с сильным шумом	– Тон зүб, Бизьяа баабай, – гэжэ Банзаракцаев <i>пашаганаса энеэн дэмжэбэ</i> (С. Цырендоржиев)	– Совершенно верно, Бизьяа баабай, – поддержал Банзаракцаев, раскатисто смеясь
<i>Пишагана-</i> ‘пищать’	<i>Хаа-яа тарган Намсалмаагайнь һабяһагүйгөөр «һи-һи, һа-һаа» гэжэ пишаганаса энеэхэ... дуулдаха</i> (С. Цырендоржиев)	Изредка доносился легкомысленный визгливый смех толстой Намсалмы
<i>Лажагана-</i> ‘шуметь’	<i>Хэлэхэмни гү? – гэжэ Дабаа-Жалсан лажаганаса энеэбэ</i> (Б. Мунгонов)	Скажу? – спросил Даба-Жалсан и зычно засмеялся

Производящая основа	Пример	Перевод
Ташагана- 'гремять, шуметь'	Раднын түүхэ иймэ байгаал- тай? – гээд ташаганаса эне- эгээ <i>hэн</i> (Х. Намсараев)	Разве такой была история Радны? – сказав, оглуши- тельно расхохотался
Хиигана- 'сипеть, хрипеть'	Гаржил онигор нюдээ зэртыл- гэн, мэхэтэйхэнээр хииганаса энеэнэ (Ж. Тумунов)	Гаржил, тараща свои узкие глазки, с хитрецей хрипло засмеялся
Һиина- 'жужжать, гудеть'	Һии-һии-һии гээд, һиинаса нэ- гэн энеэхэ (Д. Улзытуев)	Кто-то тоненько смеется: «Хи-хи-хи»
Хүүе- 'шуметь', нэрье- 'гремять'	...Олон хүнэй хүүесэ нэрьесэ энеэлдэхэ... элихэнээр дуулдана (Х. Намсараев)	...Отчетливо слышится громогласный смех боль- шого количества людей

Таблица 4

Производные кинемоподражательные слова
Derivative figurative words

Производящая основа	Пример	Перевод
Арзай- 'быть оскаленным, ос- каливаться'	Хаа... хаа... хаа... – гээд, Петрүүхэ арзайтараа энеэбэ (Ц.-Ж. Жимбиев)	Ха-ха-ха, – засмеялся Пет- руха, оскаливая зубы
Ирзай- 'быть оскаленным, ос- каливаться'	Абаһии иигэжэ ирзайса эне- эгээд... шанга шангаар дуугар- ба (С. Ангабаев)	Отец твой, улыбнувшись, оскалив зубы ... громко сказал
Ирбай- 'недовольно морщиться'	Тиэхэдэнь Дугар ирбайн эне- эгээд, альганай шэнээхэн саарһан дээрэ Байгал далайе зуражархиба (Б. Мунгонов)	Тогда Дугар, grimасничая , засмеялся и нарисовал озе- ро Байкал на бумаге разме- ром с ладонь
Жарбай- 'щериться, оскаливаться'	...Жарбагар аманайнгаа жар- байтар энеэгээд лэ (З. Гомбожа- бай)	...Смеется так, что боль- шой рот ее оскаливается
Зарбай- 'разевать, раскрывать рот'	Тээд тэрэнээ хүсэлдүүлээ хүн гүш? – гээд, Табдан зарбайта- раа энеэнэ (С. Ангабаев)	Исполнил ты это? – сказав, Табдан рассмеялся, обна- жая зубы
Амишы- 'иметь беззубый рот'	Баяр... эсэгынгээ гараар үргүүлэн мориной оройдо гара- хадаа, тэнгэридэ хүрэхэн юу- мэдэл, амишитар энеэнэ һууна (Ц.-Ж. Жимбиев)	Баяр, поднятый отцовскими руками на коня... сидит, смеясь беззубым ртом , будто взобрался на небо
Ангай- 'раскрываться, открываться'	Абьягуй болол даа, – гэхэдэм, Гарма ангайса энеэжэ, улам хорымни малтажа оробо (Ц.-Д. Хамаев)	Когда я сказал: «Замолчи», Гарма расхохотался, ши- роко открывая рот , тем самым еще больше выводил меня из себя

Производящая основа	Пример	Перевод
<i>Haamay-</i> 'ротозейничать'	...Хажуудахи <i>хамгад тээшээ хаража</i> , – <i>ha-ha</i> , – <i>гэжэ хаамайтараа энеэбэ</i> (Ж. Тумунов)	...Глядя на стоящих рядом женщин, рассмеялся, широко открывая рот
<i>Заанай-</i> 'быть широко раскрытым (о рте)'	<i>Лёнхобо аягатай архиень, ямар нэгэ шухаг юумэ тогтооһон юумэдэл, хоёр гараараа барин, амсаһан хойноо заанайтараа энеэбэ</i> (Ц.-Ж. Жимбиев)	Лёнхобо, взяв водку как нечто ценное обеими руками, пригубил и засмеялся с широко раскрытым ртом
<i>Маһай-</i> 'расплываться в улыбке, улыбаться во весь рот'	<i>Үнөөхи летчигнай буржагар шара үһээ гэдэргэнь эльбэсэ-гээн, маһайса энеэн манда эмнижэ байба</i> (С. Цырендоржиев)	Тот наш летчик, заглаживая назад свои светлые волосы, улыбаясь во весь рот , подмигивал нам
<i>Хүбхы-</i> 'подскакивать'	<i>Бүтэдмаа Базарсадаевна ханьяажа байжа хүбхысэ энеэбэ</i> (Б. Мунгонов)	Бүтэдма Базарсадаевна, кашляя, засмеялась, колыхаясь всем телом

Следующие четыре слова, содержащие гласные *a*, *aa*, передают образ рта, широко открываемого во время смеха. И наконец, последнее слово *хүбхысэ* указывает на движения тела. Кинемоподражательные глаголы представлены в формах предельного и слитного деепричастий, что позволяет отнести форму на *-са* также к деепричастным формам.

Из знаменательных слов, сочетающихся с глаголом *энеэхэ* 'смеяться', наиболее часто встречаются слова *шангаар* 'громко', *хүхюунээр* 'весело', *хүйтөөр* 'холодно', *худалаар* 'фальшиво' и др. Безусловный интерес представляют фразеологизмы, обозначающие продолжительный смех: *хүхэ модон (болотороо) энеэхэ* 'букв.: смеяться, пока не превратишься в синее дерево', *эльгээ хатан энеэхэ* 'букв.: смеяться, пока печень не засохнет', *эльгээ эгшэтэрээ энеэхэ* 'букв.: смеяться, пока печень не задохнется'. Также используется выражение *эгшэтэрээ энеэхэ* 'закатываться от смеха' [БРС, II, с. 646]. В «Бурятско-русском словаре» глагол *эгшэхэ* приведен лишь в данном сочетании, хотя он используется также в сочетании *эгшэтэрээ уйлаха* 'закатываться от плача'. В баргузинском говоре он сохранился в качестве реликта в значении 'останавливаться (о дыхании во время плача)': *эгшэдэг хүбүүн* 'ребенок, который закатывается от плача'.

Таким образом, в бурятской художественной литературе представлен богатейший пласт изобразительных слов, характеризующих как звучание смеха, так и образы смеющегося человека. Выявлены следующие звукоподражательные корни: *һэг, хяг, дар, хүр, хэр, нэр, һүл, хан, хон, хүн, хэн, шэн, нас/наш, наас, лаас, хас, таиш, пиш, хос, хүс, баж, лаж, хиш, хүү*. Исходя из акустико-артикуляционных характеристик, корни, оканчивающиеся на согласный *p*, передают хриплый смех, на согласный *g* – отрывистый, на согласный *n* – звонкий, на согласный *s* – громкий. Что касается кинемоподражательных слов, то непроизводные передают движения губ, мышц лица и тела, большинство же производных слов отсылает к образу обнаженных зубов и широко раскрытого во время смеха рта. Зоркость,

наблюдательность народа породила эти меткие, яркие, острые слова, до сих пор активно функционирующие в бурятском языке.

Список литературы

Борджанова Т. Г. Смеховая культура калмыков (предварительные заметки) // Смех: истоки и функции. СПб.: Наука, 2002. С. 119–126.

Бутовская М. Л., Козинцев А. Г. Этологическое исследование смеха и улыбки у младших школьников: роль пола и социального статуса в невербальной коммуникации // Смех: истоки и функции. СПб.: Наука, 2002. С. 43–61.

ГБЯ – Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. М.: Изд-во вост. лит., 1962. 340 с.

Улзытуев Д. Зохёолнуудай суглуулбари (III боти) = Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1. Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. 528 с.

Шагдаров Л. Д. Изобразительные слова в современном бурятском языке. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1962. 149 с.

Шагдаров Л. Д. Проблемы новой академической грамматики бурятского языка (имя существительное, имя прилагательное, наречие, послелог, модальные слова, слова категории состояния, изобразительные слова). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2013. 192 с.

Список словарей

БАМРС, II – Большой академический монгольско-русский словарь / Отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2001. Т. 2: Д–О. 536 с.

БАМРС, III – Большой академический монгольско-русский словарь / Отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2001. Т. 3: О–Ф. 440 с.

БРС, I – *Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М.* Бурятско-русский словарь: В 2 т. Улан-Удэ: Республиканская тип., 2006. Т. 1: А–Н. 636 с.

БРС, II – *Шагдаров Л. Д., Черемисов К. М.* Бурятско-русский словарь: В 2 т. Улан-Удэ: Республиканская тип., 2008. Т. 2: О–Я. 708 с.

Kowalewski J. E. Dictionnaire mongol-russe-français: In 3 vols. Kasan: Imprimerie de l'Univ., 1849. 2690 p.

Список использованных языков

Англ. – английский; **бур.** – бурятский; **калм.** – калмыцкий; **монг.** – монгольский; **п.-монг.** – старописьменный монгольский; **рус.** – русский.

E. V. Sundueva

*Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude, sundueva@mail.ru*

Acoustic and mimic characteristics of laughter in the Buryat language

The paper deals with the Buryat ideophones which are used with a verb *enēxe* “to laugh.” They are divided on underived and derivative words which are also subdivided into onomatopoeic and sound-symbolic words. The aim of this research is to reveal the connection between acoustic-articulatory features of consonants of the stem and semantics of the considered words. The author puts forward the idea that mimic and body movements could be directly reflected by phonetic-

articulatory means of language. On the basis of acoustic-articulatory characteristics, it is revealed that the stems ending on the consonant *r* designate throaty laugh, ending by the consonant *g* designate keckle and ending by the consonant *n* designate loud laugh. Vowel *a* is presented in the words imitating the strong, loud soundings; vowel *o* – in words, imitating distinct, clear soundings, vowel *ü* expresses deaf sounding. The long vowel refers to continuous action. Underived sound-symbolic words characterize movements of lips, face, and body muscles appearing while somebody laughs. The derivative onomatopoeic words which are used with a verb *enēxe* “to laugh” are formed by means of a suffix *-sa*. The description of the ideophonic lexis made it possible to expose semiotic, psychophysiological and linguistic foundations of the sound symbolic essence of the language.

Keywords: Buryat language, ideophones, onomatopoeias, sound-symbolic words, phonetic-articulatory means of language.

DOI 10.17223/18137083/67/16

References

Bordzhanova T. G. Smekhovaya kul'tura kalmykov (predvaritel'nye zametki) [Laughter culture of Kalmyks (preliminary notes)]. In: *Smekh: istoki i funktsii* [Laughter: sources and functions]. St. Petersburg, Nauka, 2002, pp. 119–126.

Butovskaya M. L., Kozintsev A. G. Etologicheskoe issledovanie smekha i ulybki u mladshikh shkol'nikov: rol' pola i sotsial'nogo statusa v neverbal'noy kommunikatsii [Ethological research of laughter and smile of primary school-aged children: role of gender and social class in nonverbal communication]. In: *Smekh: istoki i funktsii* [Laughter: sources and functions]. St. Petersburg, Nauka, 2002, pp. 43–61.

Grammatika buryatskogo yazyka. Fonetika i morfologiya [Grammar of the Buryat language. Phonetics and morphology]. Moscow, Izd. vost. lit., 1962, 340 p.

Shagdarov L. D. *Izobrazitel'nye slova v sovremennom buryatskom yazyke* [Ideophonic words in the Buryat language]. Ulan-Ude, Buryat. kn. izd., 1962, 149 p.

Shagdarov L. D. *Problemy novoy akademicheskoy grammatiki buryatskogo yazyka (imya sushchestvitel'noye, imya prilagatel'noye, narechiye, poslelogi, modal'nyye slova, slova kategorii sostoyaniya, izobrazitel'nyye slova)* [Issues of the new academic grammar of the Buryat language (noun, adjective, adverb, postlogs, modal words, categories of condition words, pictorial words)]. Ulan-Ude, BSC SB RAS Publ., 2013, 192 p.

Ulzytuev D. *Zokheolnuuday sugluulbari* (III boti) – *Sobranie sochineniy*: v 3 t. [Collected edition: in 3 vols]. Ulan-Ude, NovaPrint, 215, 528 p.

List of dictionaries

Bol'shoy akademicheskii mongol'sko-russkii slovar' [Unabridged Academic Mongolian-Russian Dictionary]. G. C. Pyurbeev (Ed.). Moscow, Academia, 2001, vol. 2, 536 p.

Bol'shoy akademicheskii mongol'sko-russkii slovar' [Unabridged Academic Mongolian-Russian Dictionary]. G. C. Pyurbeev (Ed.). Moscow, Academia, 2001, vol. 3, 440 p.

Buryatsko-russkii slovar': V 2 t. [Buryat-Russian dictionary: in 2 vols]. L. D. Shagdarov, K. M. Cheremisov (Comp.). Ulan-Ude, Respublikanskaya tip., 2006, vol. 1: A–H, 636 p.

Buryatsko-russkii slovar': V 2 t. [Buryat-Russian dictionary: in 2 vols]. L. D. Shagdarov, K. M. Cheremisov (Comp.). Ulan-Ude, Respublikanskaya tip., 2008, vol. 2: O–Я, 708 p.

Kowalewski J. E. *Dictionnaire mongol-russe-français: in 3 vols.* Kasan, Imprimerie de l'Univ., 1849, 2690 p.

УДК 81: 23, 811.161.1, 81'36
DOI 10.17223/18137083/67/17

Ю. М. Кувшинская

Высшая школа экономики, Москва

**Предикативное согласование
со словами «ряд», «половина», «часть», «множество»
в современном русском языке***

Статья посвящена сопоставлению стратегий согласования сказуемого в предложениях с квантифицированными именными группами, возглавляемыми существительными *ряд, половина, часть, множество*. Исследование на базе Национального корпуса русского языка позволило уточнить частотность того или иного типа согласования в предложениях с каждым из кванторных существительных и показало, что стратегии предикативного согласования с квантификаторами-существительными неодинаковы. В связи с этим в статье рассматриваются семантические и грамматические свойства кванторных существительных, обуславливающие различия в согласовании. В процессе статистического исследования уточняются сведения о влиянии на выбор формы сказуемого факторов контекста, прежде всего одушевленности, порядка слов, типа сказуемого, наличия однородных подлежащих или сказуемых, согласованного определения к именной группе или приложения.

Ключевые слова: русский язык, предикативное согласование, квантифицированные именные группы, кванторы, грамматика.

Введение

В работе рассматриваются особенности предикативного согласования с именными группами (ИГ), возглавляемыми кванторными существительными.

При согласовании с квантифицированными сочетаниями сказуемое может принимать форму как единственного, так и множественного числа. Закономерностям выбора стратегии согласования сказуемого с квантифицированными подлежащими посвящена обширная литература ([Супрун, 1965а; Граудина и др., 1976; Скобликова, 2005; Crockett, 1976; Corbett, 1979; 1998] и др.).

Однако согласованию с квантификаторами-существительными уделялось немного внимания. О согласовании сказуемого со словами *ряд* и *часть* упоминает

* Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 г.

Кувшинская Юлия Михайловна – кандидат филологических наук, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (Старая Басманная ул., 21/4, Москва, 105066, Россия; kjulia4@yandex.ru)

Корбетт [Corbett, 1979]; статистические данные о согласовании с *ряд* и *большинство* приводятся в [Граудина и др., 1976, с. 25–28]. Наиболее детально этот вопрос разбирается в справочниках по стилистике ([Голуб, 2008, с. 371–372; Розенталь, 2010, с. 257–259; Бельчиков, 2012, с. 237–240] и др.), авторы которых исходят из тождественности правил согласования со всеми квантификаторами-существительными (последнее, как будет показано в работе, не подтверждается корпусными материалами).

В данной статье мы рассмотрим предикативное согласование с существительными *ряд*, *половина*, *часть*, *множество* в современной русской речи (начала XXI в.) с целью описания и сопоставления распределения стратегий согласования с каждым из существительных, а также уточнения степени влияния различных факторов контекста на согласование с каждым из этих слов на основе корпусных данных.

Выбор существительных *ряд*, *половина*, *часть*, *множество* продиктован стремлением описать предикативное согласование с существительными, различающимися семантическими свойствами и грамматическими показателями рода. За рамками исследования остались многие другие квантификаторы-существительные, в том числе слово *большинство*, проблеме согласования сказуемого с которым посвящен целый ряд работ [Граудина и др., 1976, с. 27–28; Богуславский, 2005; Кувшинская, 2013]. Тем не менее морфосинтаксическое поведение этого слова требует дальнейшего изучения, поскольку в предложениях с *большинство* преобладает нетипичное для квантификаторов-существительных семантическое согласование, что мы склонны объяснять целым комплексом причин, которые здесь рассматриваться не будут.

Исследование проводилось на материале Основного и Газетного подкорпусов НКРЯ¹ за 2000–2016 гг. Рассматривалось в общей сложности 2 325 примеров, среди которых предложений со словом *ряд* – 899, со словом *половина* – 414, со словом *часть* – 471, со словом *множество* – 541.

Кроме того, для анализа влияния препозитивного определения контекста были дополнительно включены 1 300 примеров из НКРЯ.

В исследовании нами были использованы тест χ -квадрат с поправкой Йейтса и точный тест Фишера².

1. Соотношение стратегий предикативного согласования в предложениях с именными группами, возглавляемыми существительными *ряд*, *половина*, *часть*, *множество*

1.1. Возможные стратегии согласования с именными группами, возглавляемыми существительными *ряд*, *половина*, *часть*, *множество*. Как правило, сказуемое согласуется с ИГ, возглавляемой словами *ряд*, *половина*, *часть*, *множество*, грамматически, принимает форму ед. ч. ж. или м. р., ориентируясь на грамматические признаки существительного [Corbett, 1979, р. 37–38; 1998, р. 3; Скобликова, 2005, с. 175–179; Розенталь, 2010, с. 257] (1).

¹ Национальный корпус русского языка. URL: <http://ruscorpora.ru/>

² Как известно, тест χ -квадрат используется для проверки значимости статистических результатов. Тест позволяет установить степень отклонения полученных результатов от средних ожидаемых, чем и определяется значимость статистических данных. Тест χ -квадрат дает надежный эффект при достаточно большом количестве данных, поэтому в случаях небольшого количества примеров нам приходилось использовать точный тест Фишера, который подобен тесту χ -квадрат, однако позволяет оценить достоверность результатов при малом количестве данных. Расчеты производились с помощью онлайн-калькулятора, доступного по адресу <http://graphpad.com/quickcalcs/contingency2>

(1) *В этом году половина детей посещала кружки и секции (НКРЯ).*

Значительно реже сказуемое согласуется семантически, во множественном числе (2), ориентируясь на семантику множественности, которой обладает именная группа в целом и которую формально выражает форма мн. ч. зависимого существительного [Corbett, 1979, p. 37–38; Corbett, 1998, p. 3; Скобликова, 2005, с. 175–179; Розенталь, 2010, с. 257].

(2) *Не случайно **половина московских школьников имеют** диагноз «ВСД»...* (Семейный доктор, 2002.03.15)

Но возможны и редкие употребления, в которых сказуемое принимает форму единственного числа среднего рода (3).

(3) *После апреля как правительством СССР, так и союзных республик **принято ряд дополнительных решений** по увеличению компенсационных выплат населению...* (Е. Гайдар. Гибель империи, 2006)

Такой тип согласования Е. С. Скобликова называет условно-грамматическим – имея в виду согласование, при котором «своеобразно приспосабливаясь к слову, не выражающему рода и числа, зависимый компонент часто приобретает в русском языке наиболее “нейтральную” форму – единственного числа среднего рода» [Скобликова, 2005, с. 176]. Об этой же нейтрализации грамматических значений у сказуемого при согласовании с числительным из-за отсутствия у последнего грамматических признаков числа и рода писал А. Е. Супрун [Супрун, 1965б, с. 12–13]. В современных исследованиях такой тип согласования называется дефолтным [Corbett, 1979, p. 78; Тестелец, 2001, с. 395].

В рассматриваемых нами примерах дефолтное согласование представляет собой нестандартную, синтаксически неоправданную стратегию (об этом: [Граудина и др., 1976, с. 26]), так как вершина ИГ обладает признаками числа и рода. В то же время для понимания специфики предикативного согласования с существительными важно учитывать возможность полной нейтрализации грамматических признаков [Corbett, 1979, p. 78]³.

Распределение стратегий предикативного согласования с квантификаторами-существительными показано в табл. 1.

Необходимо сделать несколько замечаний о дефолтном согласовании. Можно было бы предположить, что формы настоящего времени ед. ч. сказуемого в предложениях со всеми рассматриваемыми квантификаторами, а также формы прошедшего времени ед. ч. в предложениях со словом *множество* тоже отражают дефолт в согласовании, который не идентифицируется нами из-за отсутствия показателей рода в настоящем времени или из-за омонимии дефолтного и грамматического согласования в предложениях со словом *множество*. Однако такое решение представляется неверным. Если сказуемое имеет все необходимые для грамматического согласования признаки, то оно неизбежно идентифицируется адресатом как грамматически согласованная форма (напомним, что термин Е. С. Скобликовой «условно-грамматическое согласование» как раз отражает это стремление к грамматическому согласованию и у дефолтных форм). У нас нет достаточных оснований считать, что формы настоящего времени сказуемого, грамматически согласованного с подлежащим по числу, а также формы прошедшего времени, согласованные в числе и роде со словом *множество*, в действи-

³ По мнению Е. А. Лютиковой, формы среднего рода отражают грамматическую координацию на другом уровне синтаксической структуры [Лютикова, 2015] – видимо, предложение при этом понимается говорящим как односоставное безличное. Как бы то ни было, эта стратегия остается аномальной и противоречивой, поскольку вершина ИГ сохраняет именительный падеж как признак подлежащего.

тельности выражают дефолт. Дефолтное согласование представляет собой специальную и редкую при согласовании с кванторными существительными стратегию, которая может быть идентифицирована только в случае очевидных формальных различий с другими стратегиями. Поэтому обсуждаемые случаи мы рассматриваем как примеры грамматического согласования.

Таблица 1

Колебания в выборе формы сказуемого
при согласовании с квантификаторами-существительными по данным НКРЯ
Fluctuations of the forms of predicate agreed with quantifiers-nouns according to RNC

Форма сказуемого	Квантификатор			
	<i>Ряд</i>	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Множество</i>
Единственное число женского / мужского рода	82 % (737)	87,7 % (363)	88,5 % (417)	—
Единственное число среднего рода	0,3 % (2)	1,7 % (7)	2,5 % (11)	87,5 % (473)
Множественное число	17,7 % (160)	10,6 % (44)	9 % (43)	12,5 % (68)
Всего	100 % (899)	100 % (414)	100 % (471)	100 % (541)

Примечание. В таблицах указано процентное (верхняя цифра) и абсолютное (нижняя) соотношение примеров из выборки на основе НКРЯ.

Как показывает табл. 1, в предложениях с кванторными существительными преобладает грамматическое согласование. Оно особенно вероятно со словами *половина*, *часть*, *множество* (около 90 %) и чуть менее вероятно со словом *ряд* (82 %). Обратное мы видим в отношении семантического согласования: его частотность в предложениях со словами *половина*, *часть*, *множество* низка (около 10 %), а в предложениях со словом *ряд* более вероятна (приближается к 20 %).

Означает ли это, что вероятность того или иного типа согласования зависит от свойств квантификатора?

Тест χ^2 -квадрат подтвердил наличие связи между квантификатором (вершиной ИГ) и распределением стратегий согласования при сопоставлении выборок со словами *ряд*, с одной стороны, и *половина*, *часть*, *множество* – с другой. Сопоставление происходило попарно, зависимость распределения стратегий согласования от того или иного количественного слова оценивалась как статистически высоко значимая при сравнении выборок *половина* – *ряд*, *часть* – *ряд* и значимая при сравнении *ряд* – *множество*.

В то же время тест показал отсутствие подобной связи при сопоставлении выборок с существительными *половина* – *часть*, *половина* – *множество*; а в паре *часть* – *множество* – статистически несущественную зависимость. Иначе говоря, в предложениях с этими словами вероятность выбора того или иного типа согласования примерно одинакова, в отличие от предложений со словом *ряд* (табл. 2).

Далее будут описаны различия в свойствах квантификаторов-существительных с целью объяснения причин неодинакового распределения стратегий предикативного согласования.

Таблица 2

Зависимость распределения стратегий согласования от вершины именной группы.
 Результаты теста χ -квадрат
 Dependence of the distribution of agreement strategies on the head of noun phrase.
 Chi-square test results

Показатель	Сопоставляемые выборки					
	<i>Ряд – половина</i>	<i>Ряд – часть</i>	<i>Ряд – множество</i>	<i>Половина – часть</i>	<i>Половина – множество</i>	<i>Часть – множество</i>
χ -квадрат	10.564	17.718	6.541	0.402	0.677	2.709
P-value	0.0012	Менее 0.0001	0.0105	0.5261	0.4108	0.0998

Кроме того, мы рассмотрим влияние контекстных факторов на выбор формы сказуемого с двумя целями:

- 1) уточнить, какие факторы в современной русской речи и в какой мере способствуют грамматическому / семантическому согласованию;
- 2) определить, одинаково ли влияние контекстных факторов на согласование сказуемого со словом *ряд* и со словами *половина*, *часть*, *множество*.

Мы исходим из многократно аргументированной гипотезы о том, что возможность колебаний в выборе формы сказуемого определяется во многом свойствами вершины ИГ [Скобликова, 2005; Krasovitsky et al., 2010] и в первую очередь степенью контроля, т. е. влияния вершины ИГ на грамматическую форму сказуемого (ср.: [Corbett, 1993, p. 32]: «we still need to recognize that headedness is a gradient notion» («нам еще нужно осознать, что быть вершиной – это градуированное понятие»)). Мы полагаем, что в ситуации «более слабой» вершины факторы контекста особенно существенно влияют на выбор стратегии согласования и предполагаем, что наиболее «слабой» вершиной среди рассматриваемых слов окажется слово *ряд*.

1.2. Выбор формы сказуемого и свойства квантификатора. В [Граудина и др., 1976; Corbett, 1979, p. 80; Скобликова, 2005; Голуб, 2008, с. 371–372; Krasovitsky et al., 2010, p. 117–118; Розенталь, 2010, с. 257–259; Бельчиков, 2012, с. 237–240] показано, что разные квантификаторы обуславливают различную вероятность той или иной согласовательной стратегии. Корбетт, опираясь на диахронические исследования А. Е. Супруна, связывавшего морфологические и синтаксические особенности числительных с их происхождением от разных частей речи, пишет о возможности у количественного слова adjective-like behavior (поведение прилагательного) или noun-like behavior (поведение существительного). По мысли Корбетта, квантификаторы распределяются по шкале от adjective-like behavior до noun-like behavior [Corbett, 1979, p. 80; Krasovitsky et al., 2010]. Квантификатор, проявляющий морфосинтаксические свойства прилагательного, будет обуславливать преимущественно семантическое согласование сказуемого, по мере проявления свойств существительного усиливается вероятность грамматического или дефолтного согласования. Способность быть полноценной вершиной именной группы и диктовать форму сказуемого определяется близостью квантификатора к существительным: «depends on the degree of “nouniness”» [Corbett, 1979, p. 80].

Слова типа *часть*, *ряд* в классификации Корбетта ведут себя как существительные, но допускают иногда семантическое и даже дефолтное согласование [Ibid., p. 77–79], отличаясь этим от предметных существительных. Поскольку, по данным НКРЯ (см. табл. 1), эти квантификаторы по-разному влияют на выбор

формы сказуемого, можно предположить, что они обнаруживают неодинаковую степень «degree of “nouniness”».

Рассмотрим лексико-семантические и грамматические особенности слова *ряд* в сопоставлении со словами *половина*, *часть*, *множество*.

У большинства рассматриваемых слов количественное значение является первичным, за исключением слова *ряд*. Кванторное значение *ряд* в МАС дано третьим: «3. *только* ед. ч. ...Некоторое, обычно немалое количество чего-л.». Это значение, очевидно, производно от первого («Совокупность предметов, лиц, расположенных один к одному, друг за другом, в одну линию» [МАС]), но лишено пространственно-геометрической семантики.

Согласно [Плунгян, Рахилина, 2014, с. 543], в древнерусском языке слово *ряд* имело множество предметных значений, основанных на пространственной и временной семантике и впоследствии утраченных. При этом *ряд* «расширило зону своего собственного применения – за счет общих, абстрактных и квазиграмматических употреблений со значением большого количества» [Плунгян, Рахилина, 2014, с. 547]. В современном языке в кванторном значении слова *ряд* может частично сохраняться пространственная семантика, в этом случае сказуемое всегда согласуется грамматически [Граудина и др., 1976, с. 26], – очевидно, потому, что пространственное значение *ряд* ближе к предметному, чем количественное.

В итоге семантически квантификатор *ряд* отличается неопределенностью, абстрактностью, а также дискретностью количественного значения, поскольку *ряд* означает не столько целостную совокупность предметов, сколько множество отдельных предметов, объединенных общим признаком (4).

(4) *Ряд ученых поддерживает эту точку зрения.*

В то же время некоторая «собираемость» значения и связь с исходным пространственным значением проявляются в метатекстовом аспекте: ряд как последовательность соотносится скорее со способом структурирования информации. Употребление слова *ряд* предполагает готовность говорящего перечислить референтов в случае необходимости. Неслучайно для предложений со словом *ряд* характерны однородные члены в группе подлежащего, при которых *ряд* является обобщающим словом, а также разного рода пояснительные, выделительные обороты (5):

(5) *Ряд компаний в нынешнем году уже перешли из «Шереметьево» в «Домодедово»: Swissair, Air Malta, «Трансаэро», «КрасЭйр», «Белавиа» и другие* (Известия, 2001.12.21).

Таким образом, пространственный образ ряда отсылает не столько к последовательности референтов ИГ в действительности, сколько к возможности последовательного их перечисления в тексте.

В отличие от *ряд*, количественное значение слов *половина*, *часть*, *множество* более определено (особенно у слова *половина*, обозначающего конкретную долю), значение слов *половина* и *часть* может быть предметным в сочетании с существительным в ед. ч. (*половина / часть дома, моя половина яблока*). На этом основаны значения типа *жилая половина избы; вторая часть романа* и др. (о способности слова *половина* обозначать целый предмет см.: [Яковенко, 2014, с. 83]).

Как и предметные существительные, *половина* и *часть* могут сочетаться с определениями, уточняющими квантитативную или качественную характеристику подмножества: *меньшая / незначительная часть, лучшая / большая половина*. Слово *множество*, по данным НКРЯ, допускает только количественную

оценку: *великое множество народа, бесчисленное множество примеров* – но не **лучшее множество*⁴.

Очевидно, ограничения в сочетании с определениями связаны с тем, что *множество*, в отличие от *половина*, *часть*, в строгом смысле не является кванторным словом, поскольку не выделяет совокупность объектов, объединенных общим свойством, из объемлющего множества (о признаках кванторного слова [Богуславский, 2005, с. 140–141]), а скорее, оценивает количество по сравнению с некоторым стереотипом (прагматическая квантификация по [Булыгина, Шмелев, 1988]). Именно поэтому определение при слове *множество* дает оценку количества, но не выражает признака, на котором могло бы быть основано выделение этого количества из множества объектов.

Что касается слова *ряд*, то оно не допускает при себе определений, за исключением *целый ряд причин*, но: **значительный ряд причин, *длинный ряд причин*. Слово *целый* не выражает оценки количества, но, согласно МАС, указывает на значимость и на соответствие референта понятию, выражаемому существительным («Похожий на что-л. по своей важности; настоящий» [МАС]). Как справедливо указывают Т. В. Булыгина и А. Д. Шмелев, «функции слова *целый* – указать, что обозначаемое количество превышает то, которое могло бы ожидаться в данной ситуации» [Булыгина, Шмелев, 1988]. Сочетание *ряд* с любым другим определением, кроме *целый*, вызывает пространственную, а не собственно количественную интерпретацию значения слова. Ср.: *длинный ряд имен* (последовательность) – *целый ряд имен* (неопределенное множество). Таким образом, слово *ряд* в количественном значении не допускает конкретизации или качественной оценки количества.

Исходя из сказанного мы можем утверждать, что семантически слово *ряд* отличается от слов *половина* и *часть*, а также и от *множество*. *Половина* и *часть* семантически ближе к существительным, чем *ряд*, в силу значения совокупности и отчасти даже предметности (о предметной семантике как важнейшем признаке существительного [ТФГ, 1996, с. 185]).

Что же касается слова *ряд*, то оно по некоторым признакам (неопределенность семантики, несочетаемость с определениями) оказывается ближе к неопределенно-количественным числительным и наречиям (*несколько, много* и др.).

Слово *множество*, видимо, в силу ряда причин, среди которых и тип квантификации, и неопределенность значения, занимает промежуточное положение между *ряд* и *половина, часть*, обозначая, как и слово *ряд*, неопределенное количество, не давая наглядного, предметного представления, а с другой стороны, как *половина, часть*, отчасти конкретизируя количество (много), обозначая совокупность и допуская определение, выражающее оценку количества.

Грамматические свойства квантификаторов:

1. В кванторном значении слово *ряд* употребляется только в ед. ч. Слова *половина, часть, множество* могут употребляться во мн. ч., хотя такие употребления редки (6), (7):

(6) *Обе половины* коалиции по-детски обижались на незнание заслуг и потерь друг друга (Знание – сила, 2005).

(7) *Группа делится на две части* – половину возят на надувных лодках вокруг острова... (Зеркало мира, 2012)

2. Слова *половина, часть*, в отличие от *ряд*, легко употребляются без зависимого существительного (при эллипсисе именной группы), поскольку их количест-

⁴ Много примеров с определениями к слову *множество* в терминологическом употреблении (*имеется бесконечное множество вселенных*).

венное значение более определено, отчасти предметно, в отличие от значения слова *ряд* (8), (9):

(8) *Зато мы побурели, три дня ходили прихрамывая, а через неделю половина переишла на кроссовки* (Новый мир, 2002).

(9) *Где все эти материалы? <...> После закрытия института часть была передана в Музей народного и декоративно-прикладного искусства на Делегатской, часть бесследно исчезла...* (Народное творчество, 2004)

Слова *ряд* и *множество*, напротив, не могут употребляться без зависимого существительного. Ср. (10а)–(10в):

(10а) *Ряд ученых считает* донских и кубанских казаков потомками тюркских племен Великой Степи... (Жизнь национальностей, 2001.12.28)

(10б) **Ряд / множество считает* донских казаков потомками тюркских племен Великой Степи.

(10в) *Половина / Часть считает* донских казаков потомками тюркских племен Великой Степи.

Если в (10в) эллиптическое употребление возможно, несмотря на стилистический эффект разговорности, то в (10б) эллипсис зависимого слова делает предложение бессмысленным, так как значение слов *ряд* или *множество* в данном контексте установить трудно. Мы не обнаружили в НКРЯ примеров эллипсисом ИГ, возглавляемой словами *множество* и *ряд*.

Таким образом, слова *ряд* и *множество* ограничены в некоторых грамматических свойствах в большей степени, чем слова *половина*, *часть* (табл. 3).

Таблица 3

Семантические и грамматические различия квантификаторов
Semantic and grammatical differences of quantitative nouns

Свойство квантификатора	Квантификатор			
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
Семантические свойства				
Определенность семантики	+	+	–	+ / –
Значение совокупности	+	+	+ / –	+
Предметность значения	+	+	–	–
Возможность конкретизации или оценки количества с помощью определения	+	+	–	+
Грамматические свойства				
Возможность употребления во множественном числе	+	+	–	+ / –
Возможность употребления при эллипсисе ИГ	+	+	–	–

В результате можно говорить о том, что среди рассматриваемых существительных наименьшую близость к существительным (наименьший «degree of “nouniness”», по Корбетту) и некоторую близость к числительным проявляет слово *ряд*. Наиболее схожи с предметными существительными слова *половина*, *часть*.

Промежуточную позицию занимает слово *множество*. Несомненно, это оказывает влияние на предикативное согласование, что и демонстрируют данные НКРЯ (см. табл. 1).

1.3. Влияние рода кванторного существительного на предикативное согласование. Существительные *ряд*, *половина*, *часть*, *множество* различаются родом. Можно ли говорить о том, что различия в стратегии предикативного согласования обусловлены в том числе и родовыми различиями?

Влияние рода на предикативное согласование отмечается в некоторых работах по смежным темам. В частности, в [Янович, Фёдорова, 2006] обсуждаются результаты психолингвистических экспериментов, показавших, что при согласовании с ИГ м. и ж. р. ошибки распределяются неравномерно (их больше в контекстах с вершиной ИГ ж. р.). В [Трубицина, 2017] показано, что в предложениях с названиями, родовое слово которых – женского рода, преобладает грамматическое согласование, в то время как с родовым словом мужского рода сказуемое более вероятно согласуется семантически или дефолтно.

В рамках данного исследования нам не удалось подобрать такие контексты, где влияние рода было бы отделено от влияния одушевленности и семантических особенностей каждого конкретного слова. Опрос, проведенный нами среди 54 взрослых носителей языка разного возраста и образования, показал скорее роль одушевленности, чем рода, при выборе формы сказуемого.

В то же время теоретически есть основания полагать, что выбор типа согласования связан в том числе и с родом кванторного существительного: мужской род в большей степени допускает семантическое согласование, в то время как женский род поддерживает грамматическое согласование.

В русском языке мужской род выступает как немаркированный член противопоставления по роду [Якобсон, 1985, с. 210; Мельчук, 1998, с. 15–19]. Сказуемое единственного числа мужского рода обладает двумя немаркированными признаками (род и число), в отличие от сказуемого женского рода, где род маркирован. В то же время форма единственного числа мужского рода не является нейтральной: нейтрализация выражается формой единственного числа среднего рода, дефолтной. В результате форма единственного числа мужского рода оказывается собственно формой единственного числа, противопоставленной множественному. В предложениях со словом *ряд* форма единственного числа мужского рода сказуемого противоречит семантической множественности, выражаемой ИГ (11).

(11) *Ряд студентов пропустил/и собрание.*

В результате оказываются грамматически приемлемы и желательны семантическое или даже дефолтное согласование, которое устраняет противоречие между грамматической единичностью и семантической множественностью.

В предложениях со словами *половина* или *часть* грамматически маркированная форма сказуемого ориентирована прежде всего на квантификатор. В силу маркированности женский род оказывается заметным признаком, и противоречие между грамматическим числом и семантической множественностью ИГ, поддерживаемой грамматическими показателями множественности у зависимого существительного, не актуализируется так, как в предложениях со словом мужского рода *ряд*.

Однако, несомненно, вопрос о влиянии грамматического рода на предикативное согласование с квантифицированными ИГ требует дальнейшего корпусного и экспериментального исследования.

2. Факторы контекста, определяющие выбор формы сказуемого

Исследователи выделяют целый набор факторов, влияющих на выбор стратегии согласования. Семантическому согласованию с квантифицированными ИГ,

в том числе возглавляемыми кванторными существительными, способствуют одушевленность референтов ИГ [Граудина и др., 1976, с. 26; Corbett, 1983, р. 139; Голуб, 2008, с. 371; Бельчиков, 2012, с. 238], прямой порядок слов [Скобликова, 1969, с. 472; Corbett, 1983, р. 139], акциональные глаголы в роли сказуемого [Горбачевич, 1989; Robblee, 1993b; Бельчиков, 2012, с. 239], а также наличие однородных (сочиненных) сказуемых ([Граудина, 1976, с. 25; Горбачевич, 1989, с. 193; Розенталь, 2010, с. 259] и др.), однородных ИГ в роли подлежащего или однородных членов внутри ИГ [Граудина, 1976, с. 25; Горбачевич, 1989, с. 193; Голуб, 2008, с. 372; Розенталь, 2010, с. 259].

Грамматическому или дефолтному согласованию способствуют неодушевленность референтов ИГ [Граудина и др., 1976, с. 26; Corbett, 1983, р. 139; Голуб, 2008, с. 371; Бельчиков, 2012, с. 238], инверсия главных членов [Скобликова, 1969, с. 472; Corbett, 1983, р. 139], неакциональные, в первую очередь бытийные, глаголы в роли сказуемого [Горбачевич, 1989; Robblee, 1993b; Бельчиков, 2012, с. 243].

Ниже будет рассмотрена зависимость выбора формы сказуемого от следующих факторов контекста: одушевленность, порядок слов, наличие однородных подлежащих и сказуемых, тип сказуемого, наличие согласованного определения.

В исследовании использовались статистические методы: анализ процентного соотношения форм сказуемого, тест χ -квадрат с поправкой Йейтса и точный тест Фишера.

Оговорим условия, при которых нет колебаний в выборе формы сказуемого.

Сказуемое ставится только в ед. ч., если зависимое существительное стоит в ед. ч. и при этом нет других факторов, которые обуславливают выбор мн. ч. сказуемого (12):

(12) *Его фабрика имела около двух тысяч станков и шесть тысяч рабочих, **половина её продукции шла** на экспорт* (Наука и жизнь, 2009).

Сказуемое ставится во мн. ч., если именная часть составного именного сказуемого представлена существительным (13) (так называемое обратное согласование [Розенталь, 2010, с. 259]) или полным прилагательным (14):

(13) *Для выполнения этой задачи были призваны граждане страны на так называемые двухмесячные военные сборы, **добрая половина** из них **были добровольцами*** (Встреча (Дубна), 2003.04.23).

(14) *Стоимость «черного золота» так упала, что **ряд** новых и дорогих проектов по добыче «трудной» нефти **становятся невыгодными**...* (<http://www.rbcdaily.ru/2008/09/15/tek/379373.shtml>, 2008)

В этих случаях возможно грамматическое согласование глагола с кванторным существительным (15).

(15) *...Причем некоторая (малая) **часть** этих армян **была** людьми русской культуры* (Знание – сила, 2010).

Однако корпусные данные показывают, что тенденция к грамматическому согласованию с количественным словом иногда оказывается сильнее и даже сказуемое – полное прилагательное может ставиться в ед. ч. (16).

(16) *Спирт с него цистернами по железной дороге отгружали. И **половина солдат** каждый день **пьяная*** (В. Мясников. Водка, 2000).

2.1. Одушевленность. Исходя из данных табл. 4, можно было бы думать, что одушевленность практически не оказывает влияния на согласование сказуемого с квантификаторами женского рода (сказуемое согласуется грамматически), отчасти влияет на согласование со словом *множество* и лишь для согласования

со словом *ряд* одушевленность по-настоящему значима: в зависимости от одушевленности или неодушевленности референта ИГ вероятность выбора соответственно семантического или грамматического (а также дефолтного) типа согласования становится ниже 50 % или приближается к 100 %.

Однако тест χ -квадрат с поправкой Йейтса и точный тест Фишера показывают, что одушевленность значима для выбора стратегии согласования со всеми рассматриваемыми существительными, особенно со словом *ряд* (табл. 5). Показатели взаимосвязи здесь практически такие же высокие, как в предложениях с определено-количественными числительными (о влиянии одушевленности на согласование с числительными см.: [Corbett, 1998]; данные о согласовании с числительными взяты из [Кувшинская, 2013]).

Таблица 4

Влияние одушевленности на выбор числа сказуемого
The influence of animacy on the choice of the number of the predicate

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	О	Н	О	Н	О	Н	О	Н
Ед. ч. ж. / м. р.	84 % (164)	91 % (199)	85 % (144)	90,7 % (273)	42 % (64)	90 % (673)	0	0
Ед. ч. ср. р.	1 % (1)	3 % (6)	0	3,7 % (11)	0	0,4 % (2)	68 % (71)	92 % (402)
Мн. ч.	15 % (30)	6 % (14)	15 % (26)	5,6 % (17)	58 % (88)	9,6 % (72)	32 % (33)	8 % (35)
Всего	100 % (195)	100 % (219)	100 % (170)	100 % (301)	100 % (152)	100 % (747)	100 % (104)	100 % (437)

Примечание. О – одушевленное, Н – неодушевленное.

Таблица 5

Зависимость выбора формы сказуемого от одушевленности.
Данные теста χ -квадрат и точного теста Фишера
Dependence of the choice of the form of the predicate from animacy.
Chi-square test data. Fisher exact test data

Показатель	Квантификатор				
	Половина	Часть	Ряд	Множество	Числительные
Тест χ -квадрат					
χ -квадрат	7,860	11,050	197,747	40,885	192,938
P-value	0,0051	0,0009	Менее 0,0001	Менее 0,0001	0,0001
Тест Фишера					
P-value	0,0038	0,0007	Менее 0,0001	Менее 0,0001	Менее 0,0001

Семантическое согласование (17)–(19):

(17) **Большая часть современных итальянских фотографов снимают без идей** (<http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/lifestyle/562949979916483.shtml>, 2011).

(18) ...Нас просто насторожила информация о том, что **ряд издателей приостановили** отгрузку «Паблик Пресс» своих тиражей (Витрина читающей России, 2002.06.28).

(19) **Множество людей считают** математику сухой и скучной наукой... (Наука и жизнь, 2009)

Грамматическое согласование (20), (21):

(20) **Часть осадков формируется** над самой сушей за счёт испарения с её поверхности... (Наука и жизнь, 2008)

(21) **Ряд документов требовал** особого контроля, в частности... (А. Михайлов. Капкан для одинокого волка)

При этом в выборке из НКРЯ есть достаточно примеров семантического согласования с ИГ, соотносимой с неодушевленным предметом. Среди них заметную долю составляют примеры, в которых зависимое существительное в ИГ употреблено метонимически, при этом поведение неодушевленного референта ИГ подается как поведение одушевленного, что вызывает семантическое согласование (22):

(22) **Только половина стран Содружества применяют** принцип резидентства... (Вопросы статистики, 2004.08.26)

Таким образом, в предложениях с квантификаторами-существительными мы видим взаимодействие двух разнонаправленных тенденций: 1) недостаточной морфосинтаксической определенности поведения вершины ИГ и влияния одушевленности референта ИГ на это поведение; 2) стремления к грамматическому согласованию с вершиной ИГ в силу признаков существительного у вершины. В предложениях с существительными женского рода (*половина, часть*) обычно побеждает грамматическое согласование, в предложениях со словами среднего и особенно мужского рода (*множество, ряд*) колебания в выборе стратегии согласования более заметны.

2.2. Порядок слов. Корбетт говорит о взаимодействии одушевленности и порядка слов как о наиболее важном условии выбора числовой формы сказуемого [Corbett, 1983, p. 139].

Для предложений с кванторными существительными прямой порядок слов в целом более характерен, чем инверсия (очевидно, это связано с «тематичностью» слов *ряд, половина, часть*), что должно способствовать семантическому согласованию (во мн. ч.). Однако по данным НКРЯ при любом порядке слов сказуемое преимущественно согласуется грамматически, при прямом порядке слов вероятность выбора формы мн. ч. не доходит до 50 % даже в предложениях со словом *ряд* (табл. 6).

Тем не менее тест χ -квадрат и точный тест Фишера показывают, что порядок слов оказывает влияние на предикативное согласование со всеми кванторными существительными, кроме слова *половина* (табл. 7). Особенно высока зависимость согласования от порядка слов в предложениях со словом *ряд*. Судя по данным теста, зависимость здесь даже выше, чем в предложениях с количественными числительными (данные о согласовании с числительными взяты из [Кувшинская, 2013]; см. также: [Corbett, 1998]).

Таблица 6

Влияние порядка слов на выбор числа сказуемого
The influence of word order on the choice of the number of the predicate

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	П	И	П	И	П	И	П	И
Ед. ч. ж. / м. р.	87 % (28)	90 % (82)	87 % (360)	100 % (57)	60 % (205)	95,8 % (532)	53 % (57)	96 % (416)
Ед. ч. ср. р.	1,3 % (4)	3,3 % (3)	2,7 % (11)	0	0	0,36 % (2)	0	0
Мн. ч.	11,7 % (38)	6,6 % (6)	10,3 % (43)	0	40 % (139)	3,78 % (21)	47 % (52)	4 % (16)
Всего	100 % (323)	100 % (91)	100 % (414)	100 % (57)	100 % (344)	100 % (555)	100 % (108)	100 % (432)

Примечание. П – прямой порядок слов, И – инверсия.

Таблица 7

Зависимость выбора формы сказуемого от порядка слов.
Данные теста χ^2 -квадрат и теста Фишера
Dependence of the choice of the form of the predicate on the order of words.
Chi-square test data. Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор				
	Половина	Часть	Ряд	Множество	Числительные
Тест χ^2 -квадрат					
χ^2 -квадрат	1,492	5,323	192,202	149,377	126,904
P-value	0,2220	0,0210	Менее 0,0001	Менее 0,0001	Менее 0,0001
Тест Фишера					
P-value	0,1814	0,0054	Менее 0,0001	Менее 0,0001	0

Семантическое согласование при прямом порядке слов (23), (24):

(23) ...Оказывается, **множество браков распадается** именно спустя год-два после рождения малыша (100 % здоровья, 2003.01.15).

(24) Через год, когда университет получил свой главный корпус, **часть классов вернулись** в прежнее здание... (Наука в Сибири, 2001.03.07)

Грамматическое согласование при инверсии (25), (26):

(25) На результаты работы отрасли **оказал влияние ряд факторов**, в частности, рост цен на алюминий... (Металлы Евразии, 2004.04.23)

(26) Среди сподвижников «Яблока» за продолжение реформ **выступала половина**, но возражала – четверть (Неприкосновенный запас, 2002.05.15).

Очевидно, действие порядка слов в пользу семантического согласования, как и действие фактора одушевленности, ограничено общей тенденцией к грамматическому согласованию, продиктованной морфосинтаксическими свойствами кванторных существительных.

2.3. Однородные подлежащие. Корпусные данные позволяют уточнить установившееся представление о влиянии однородных подлежащих и однородных членов в составе подлежащего на предикативное согласование с квантификаторами-существительными. По данным НКРЯ наличие сочиненных именных групп в роли подлежащего действительно обуславливает постановку сказуемого во мн. ч. Что же касается наличия однородных членов в составе ИГ (сочиненных зависимых существительных), то, как показал статистический анализ, они практически не влияют на выбор формы сказуемого, за исключением предложений со словом *ряд*.

2.3.1. Влияние однородных ИГ на выбор формы сказуемого. При наличии в предложении именных групп, сочиненных с квантифицированной ИГ, сказуемое преимущественно ставится во множественном числе. В целом здесь действуют правила, определяющие выбор числа сказуемого для однородных подлежащих ([Граудина и др., 1976, с. 31; Corbett, 1998; Розенталь, 2010, с. 271] и др.). При этом определяющее значение имеет порядок слов [Граудина и др., 1976, с. 31; Розенталь, 2010, с. 271; Бельчиков, 2012, с. 246–251].

При прямом порядке слов форма множественного числа сказуемого является единственно возможной, если вершина сочиненной ИГ стоит во мн. ч. (27), и преобладающей, если сочиненные ИГ имеют вершину в форме ед. ч. (28а). При этом порядок следования ИГ (сначала квантифицированная ИГ, затем ИГ с вершиной во мн. ч. или наоборот) не имеет заметного значения для выбора формы сказуемого, ср. (28а)–(28в):

(27) *Половина ученых трудов, даже записи некоторых лекций были отписаны* на ротапринте. (А. Архангельский. Послание к Тимофею, 2006).

(28а) *Основная часть активов «Комстар-Директ», необходимая для оказания мультимедийных услуг, а также вся абонентская база будут полностью переданы в управление «Комстара»...* (<http://www.rbcdaily.ru/2009/01/21/media/398181.shtml>, 2009)

(28б) *Основная часть активов «Комстар-Директ», необходимая для оказания мультимедийных услуг, а также вся абонентская база будет полностью передана в управление «Комстара»...*

(28в) *Вся абонентская база, а также основная часть активов «Комстар-Директ», необходимая для оказания мультимедийных услуг, будет полностью передана в управление «Комстара».*

При инверсии возможны обе формы сказуемого – и единственное, и множественное число, – очевидно, препозиция сказуемого по отношению к подлежащему делает сказуемое менее зависимым от формы подлежащего (29):

(29) *Но главное, ликвидирован (ср.: ликвидированы) ряд полевых командиров движения и глава МВД Газы* (Русский репортер, 2009, № 1-2).

Точный тест Фишера и тест χ^2 -квадрат не проводились из-за недостаточного количества примеров. Низкая частотность предложений с однородными квантифицированными подлежащими в выборке из НКРЯ за начало XXI в. не позволяет также описать детальнее влияние рода вершин сочиненных ИГ [Corbett, 1998], влияние типа союзов на вероятность согласования по множественному или единственному числу [Розенталь, 2010, с. 271; Бельчиков, 2012, с. 247–248] (табл. 8).

Таблица 8

Влияние однородных подлежащих на выбор сказуемого
Influence of conjoined NP on the choice of the form of the predicate

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	ОП	БОП	ОП	БОП	ОП	БОП	ОП	БОП
Ед. ч. ж. / м. р.	9 % (1)	89,6 % (362)	12,5 % (1)	90 % (416)	20 % (3)	83 % (734)	37,5 % (3)	88 % (470)
Ед. ч. ср. р.	0	2,4 % (8)	0	2,6 % (11)	0	2	0	0
Мн. ч.	91 % (10)	8 % (34)	87,5 % (7)	7,4 % (36)	80 % (12)	17 % (148)	62,5 % (5)	12 % (63)
Всего	100 % (11)	100 % (404)	100 % (8)	100 % (463)	100 % (15)	100 % (884)	100 % (8)	100 % (533)

Примечание. ОП – с однородными подлежащими, БОП – без однородных подлежащих.

2.3.2. Влияние однородных членов в составе ИГ на выбор стратегии согласования. Несмотря на то, что наличие нескольких зависимых существительных должно «усиливать представление о множественности производителей действия» [Розенталь, 2010, с. 259], простой количественный подсчет и процентное соотношение показывают, что сказуемое при таком условии преимущественно согласуется грамматически (табл. 9).

Таблица 9

Влияние однородных членов в составе именной группы
на предикативное согласование
Influence of conjoined nouns dependent on the head of NP
on the choice of the form of the predicate

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	ОП	БОП	ОП	БОП	ОП	БОП	ОП	БОП
Ед. ч. ж. / м. р.	54,5 % (6)	88,4 % (357)	85,7 % (6)	89 % (411)	63 % (34)	83,2 % (703)	0	0
Ед. ч. ср. р.	18 % (2)	1,5 % (6)	0	2 % (11)	0	0,2 % (2)	88 % (45)	87 % (428)
Мн. ч.	27 % (3)	10,1 % (41)	14,3 % (1)	9 % (42)	37 % (20)	16,6 % (140)	12 % (6)	13 % (62)
Всего	100 % (11)	100 % (404)	100 % (7)	100 % (464)	100 % (54)	100 % (845)	100 % (51)	100 % (490)

Пример грамматического согласования (30):

(30) Из Днепропетровска **приехало множество Любохинеров и их родственников**, употреблявших в разговоре фрикативное «г» (О. Зайончковский. Счастье возможно: роман нашего времени).

В то же время в НКРЯ есть и случаи семантического согласования с ИГ, включающей сочиненные существительные (31), (32):

(31) *То есть почти половина всех прибывающих в округ иностранных граждан и лиц из Северокавказского региона проживают у нас нелегально* (Независимая газета, 2003.04.28).

(32) *Многие из этих систем взяты целиком от истребителя F-22A «Рэптор», но ряд приводов, гидронасосов и элементов электрической системы требуют значительно более высокого уровня интеграции* (Вестник авиации и космонавтики, 2004.04.28).

Тест Фишера показал, что связь между наличием однородных членов в составе ИГ отсутствует в предложениях со словами *половина*, *множество*, незначительна в примерах со словом *часть*, но очень высока в предложениях со словом *ряд* (табл. 10). Таким образом, подтверждаются наблюдения В. А. Ицковича о влиянии однородных зависимых существительных на выбор формы мн. ч. сказуемого при согласовании с *ряд* [Граудина и др., 1976].

Таблица 10

Зависимость выбора формы сказуемого
от наличия однородных зависимых членов в ИГ. Данные точного теста Фишера
Dependence of the choice of the form of the predicate on conjoined dependent nouns.
Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор			
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
P-value	0,1002	0,4907	0,0007	1,0000

Очевидно, в предложениях со словом *ряд* любые факторы, так или иначе грамматически маркирующие ИГ, влияют на форму сказуемого. В данном случае сочиненные зависимые от слова *ряд* существительные подчеркивают множественность референтов и способствуют согласованию сказуемого по мн. ч.

2.4. Приложения. В предложениях с кванторными существительными *ряд*, *половина*, *часть* нередко встречаются субстантивные обороты (в терминах Русской грамматики 1980 [РГ 80, § 2111, 2112]), в том числе приложения к кванторному слову, имеющие пояснительное, конкретизирующее значение, иногда – значение включения (34) и, очевидно, восполняющие недостаточно определенное количественное значение ИГ со словами *ряд*, *половина*, *часть*:

(33) *Кроме того, на данный момент интерес к новому самолету проявили ряд других государств (Канада, Франция, Германия, Греция, Израиль, Сингапур, Испания, Швеция, Турция и Австралия)* (Зарубежное военное обозрение, 2004.08.23).

Эти обороты представляют собой либо ряд согласованных с вершиной ИГ именных групп (33, 34), либо счетный оборот (34). В любом случае они семантически и грамматически указывают на множественность подлежащего. Сказуемое в таких примерах может стоять как во множественном (33, 35), так и в единственном числе (34):

(34) *Большая часть опрошенных (74 %) считает, что нанотехнологии в России, так или иначе, развиваются, а более трети (41 %) интересуется их развитием* (Вестник РАН, 2009).

В предложениях со словом *множество* такие обороты единичны:

(35) *Да и сами картины были окнами, откуда глядели в мир множество персонажей, в том числе и сам художник, и мы, его домашние* (Д. Рубина. Окна, 2011).

Несмотря на то, что процентное соотношение дает основания думать, что наличие субстантивного оборота при вершине ИГ способствует семантическому согласованию, точный тест Фишера не обнаружил связи предикативного согласования и наличия субстантивного оборота в предложениях со словами *половина*, *часть* (табл. 11). Однако в предложениях со словом *ряд* влияние субстантивного оборота на согласование (в пользу семантического) оказалось чрезвычайно высоким (табл. 12).

Таблица 11

Влияние субстантивного оборота при вершине ИГ на согласование.
Данные точного теста Фишера
Dependence of the choice of the form of the predicate
on the substantive constructions agreed with NP. Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор		
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>
P-value	0,3410	0,1603	Менее 0,0001

Таблица 12

Влияние субстантивного оборота при вершине ИГ на предикативное согласование
The influence of the substantive constructions agreed with NP on predicative agreement

Форма сказуемого	Подлежащее					
	<i>Половина</i>		<i>Часть</i>		<i>Ряд</i>	
	С субстантивированным оборотом	Без субстантивированного оборота	С субстантивированным оборотом	Без субстантивированного оборота	С субстантивированным оборотом	Без субстантивированного оборота
Ед. ч. ж. / м. р.	87,5 % (14)	91 % (349)	75 % (6)	88,7 % (411)	43,3 % (13)	83,3 % (724)
Ед. ч. ср. р.	0	2 % (7)	0	2,3 % (11)	0	0,2 % (2)
Мн. ч.	12,5 % (2)	7 % (28)	25 % (2)	9 % (41)	66,7 % (17)	16,5 % (143)
Всего	100 % (16)	100 % (384)	100 % (8)	100 % (463)	100 % (30)	100 % (869)

2.5. Однородные сказуемые. Согласно оценке теста Фишера, наличие однородных (сочиненных) сказуемых способствует семантическому согласованию со словами *множество* и *ряд*. В предложениях со словом *половина* связь между наличием однородных сказуемых и семантическим согласованием незначительна, а в предложениях со словом *часть* такая связь не прослеживается (табл. 13).

В то же время двустороннее Р-значение показывает, что однородные сказуемые в предложениях с *ряд* и *множество* меньше влияют на согласование, чем однородные подлежащие или однородные члены в составе ИГ (см. табл. 7, 10, 11).

Таблица 13

Зависимость стратегии предикативного согласования
от наличия нескольких сочиненных сказуемых. Данные точного теста Фишера
Dependence of the strategy of predicate agreement on the several conjoined predicates.
Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор			
	Половина	Часть	Ряд	Множество
P-value	0,0790	0,7028	0,0457	0,0373

Примеры семантического согласования со словами *ряд* и *множество*:

(36) Но тогда Госкино уже был другим, **целый ряд людей**, олицетворявших прежнюю жесткую политику «государственной безопасности» в кино, **помягчели, отошли в тень** (А. Медведев. Территория кино, 1999–2001).

(37) Это могло произойти только потому, что в мозге В. Шекспира **складывались и взаимодействовали множество специфических нервных ансамблей**, воплощавших в своей структуре и динамике самые разные образы, мысли, чувства... (Вопросы психологии, 2004.04.13)

(38) На другой день **множество народа**, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, **взяли** пальмовые ветви, **вышли** навстречу Ему и **восклицали**: осанна! (Наука и жизнь, 2006)

В примерах (36)–(38), помимо однородных сказуемых, а также одушевленности референта ИГ (36), (38), прямого порядка слов (36), (37), т. е. условий семантического согласования, есть и набор факторов, способствующих выбору иной стратегии, – грамматического согласования: в (36) – препозитивное определение при слове *ряд*, неодушевленность и инверсия в (37) и даже форма ед. ч. зависимого существительного (38). Однако сказуемое стоит во мн. ч. Очевидно, окончательное решение о стратегии согласования определяется всей совокупностью контекстных условий (коммуникативных, семантических, синтаксических) (табл. 14). Кроме того, имеет значение индивидуальный выбор говорящего.

Таблица 14

Согласование однородных сказуемых с кванторами существительными
Agreement of the conjoined predicates with quantifiers-nouns

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	ОС	БОС	ОС	БОС	ОС	БОС	ОС	БОС
Ед. ч. ж./м. р.	70 % (7)	88 % (356)	90 % (18)	88,5 % (399)	58 % (7)	82,3 % (730)	0	0
Ед. ч. ср. р.	0	1,8 % (7)	0	2,5 % (11)	0	0,2 % (2)	63,6 % (7)	88 % (466)
Мн. ч.	30 % (3)	10,2 % (41)	10 % (2)	9 % (41)	42 % (5)	17,5 % (155)	36,4 % (4)	12 % (64)
Всего	100 % (10)	100 % (404)	100 % (20)	100 % (451)	100 % (12)	100 % (887)	100 % (11)	100 % (530)

Примечание. ОС – с однородными сказуемыми, БОС – без однородных сказуемых.

2.6. Тип сказуемого. Корбетт, исследуя зависимость предикативного согласования от типа, выстраивает иерархию предикатов от финитных форм глагола через пассивное причастие, полные причастия и прилагательные к существительным в соответствии с вероятностью дефолтного – семантического согласования (от финитных форм глагола к существительным частотность согласования во мн. ч. нарастает) [Corbett, 1979, p. 41, 88–92]. Однако в отношении кванторных существительных ясные закономерности ему найти не удалось, за исключением согласования предикатов-существительных по мн. ч. [Ibid., p. 92].

В российских справочниках также отмечается влияние типа сказуемого на согласование. В частности, в [Граудина, 1976, с. 25–26; Горбачевич, 1989, с. 193] указывается, что краткие страдательные причастия, как правило, согласуются со словом *ряд* в ед. ч., при этом, согласно [Граудина, 1976, с. 25–26], спрягаемые формы глагола чаще ставятся во мн. ч., что, очевидно, не совпадает с иерархией предикатов Корбетта.

Попарное сопоставление групп предложений с каждым квантификатором показало, что связь между типом и числовой формой предиката действительно наблюдается в случае финитной формы глагола, а также при кратком страдательном причастии в предложениях со словом *ряд*. Страдательное причастие чаще согласуется грамматически, финитная форма глагола имеет тенденцию к семантическому согласованию со словом *ряд* (табл. 15).

Таблица 15

Зависимость предикативного согласования от типа предиката:
финитная глагольная форма и краткое страдательное причастие.

Данные точного теста Фишера

Dependence of predicate agreement on the type of predicate: finite verb form
and passive participle. Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор			
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
P-value	0,3581	0,1362	Менее 0,0001	0,8483

В предложениях с другими кванторными существительными связь не обнаружена.

По отношению к другим типам предикатов либо тест не выявил связи (например, в предложениях со словом *ряд* и составным глагольным сказуемым в сопоставлении с простым глагольным сказуемым), либо данных недостаточно для теста. В то же время количественное и процентное соотношение (табл. 16) говорит об относительной частотности семантического согласования сказуемого, выраженного полным прилагательным, существительным (соответственно иерархии предикатов Корбетта), а также составного глагольного сказуемого.

2.7. Согласованное определение к вершине ИГ. Вопреки сложившемуся мнению, не всегда согласованное определение влияет на предикативное согласование. Согласно результатам исследования предикативного согласования с числительными, постпозитивное согласованное определение оказывает влияние на выбор формы сказуемого лишь в том случае, если стоит в именительном падеже, а не в родительном [Кувшинская, 2013]. Исходя из общности факторов, влияющих на предикативное согласование с разными квантифицированными группами, есть все основания полагать, что постпозитивное определение в родительном падеже не влияет на согласование с квантификаторами-существительными.

Таблица 16

Зависимость формы сказуемого от его типа
Dependence of the form of the predicate on its type

Число ска- зуемо- го	Сказуемое					
	простое глагольное	именное с кратким страда- тельным причастием	именное с кратким прилага- тельным	именное с полным прилага- тельным	именное с сущест- витель- ным	составное глагольное
<i>Ряд</i>						
Ед. ч.	79 % (472)	93 % (228) [ср. р. 1,3 % (2)]	52 % (12)	6,7 % (4)	50 % (2)	63 % (17)
Мн. ч.	21 % (123)	5,7 % (14)	48 % (11)	3,3 % (2)	50 % (2)	37 % (10)
Всего	100 % (595)	100 % (244)	100 % (23)	100 % (6)	100 % (4)	100 % (27)
<i>Половина</i>						
Ед. ч.	89 % (262) [ср. р. 2 % (4)]	92,9 % (68) [ср. р. 2,7 % (2)]	85 % (11) [ср. р. 7,5 % (1)]	78,6 % (11)	33 % (4)	100 % (8)
Мн. ч.	9 % (27)	4,7 % (4)	7,5 % (1)	21,4 % (3)	67 % (8)	0
Всего	100 % (293)	100 % (74)	100 % (13)	100 % (14)	100 % (12)	100 % (8)
<i>Часть</i>						
Ед. ч.	91 % (306) [ср. р. 2,5 % (8)]	87 % (75) [ср. р. 4 % (3)]	80 % (4)	82 % (9)	43 % (3)	91 % (20)
Мн. ч.	6,5 % (22)	9 % (8)	20 % (1)	18 % (3)	57 % (4)	9 % (5)
Всего	100 % (336)	100 % (86)	100 % (5)	100 % (11)	100 % (7)	100 % (25)
<i>Множество</i>						
Ед. ч.	88 % (393)	89 % (66)	87,5 % (7)	33 % (1)	67 % (2)	80 % (4)
Мн. ч.	12 % (55)	11 % (8)	12,5 % (1)	67 % (2)	33 % (1)	20 % (1)
Всего	100 % (448)	100 % (74)	100 % (8)	100 % (3)	100 % (3)	100 % (5)

Что же касается определения в именительном падеже, то конструкции с ним в предложениях с существительными оказались невозможны: *ряд студентов, участвующие в экспедиции, обследовали Вашкинский район / *половина студен-

тов, участвующие в экспедиции... / часть студентов, участвующие в экспедиции... / *множество студентов, участвующие в экспедиции... Поэтому в данной работе рассматривалось только влияние препозитивного согласованного определения. С целью повышения точности статистических результатов в НКРЯ был проведен специальный поиск примеров с препозитивным определением. Были дополнительно включены примеры с ИГ *добрая половина, большая часть, целый ряд, великое множество, бесчисленное множество*.

Препозитивное согласованное определение поддерживает грамматические признаки вершины ИГ, таким образом усиливая ее позицию, что, очевидно, должно проявляться в грамматическом согласовании сказуемого. Действительно, по данным НКРЯ, при препозитивном согласованном определении к словам *ряд, половина, часть, множество* сказуемое преимущественно согласуется грамматически⁵ (39). Однако семантическое согласование тоже возможно (40), (41):

(39) *Меньшая часть переселенцев отправилась в обратный путь, большая же решила двинуться дальше на юг...* (Наука и жизнь, 2009)

(40) *В 1922 году получили федеративное устройство целый ряд народов* (Жизнь национальностей, 2000.03.24).

(41) *Большая часть птицек этого вида обладают разноцветными яркими «эполетами» на плечах* (Наука и жизнь, 2008).

Процентное соотношение форм сказуемого показывает, что препозитивное определение отчасти способствует грамматическому или условно-грамматическому (дефолтному) согласованию со словами *ряд, половина, часть* (табл. 17). Однако точный тест Фишера (табл. 18) не выявил связи между выбором формы сказуемого и наличием согласованного определения к слову *часть*, но показал некоторую связь для предложений со словом *половина*, значимую зависимость в предложениях со словом *ряд* и чрезвычайно высокую – в предложениях со словом *множество*.

Таблица 17

Влияние препозитивного согласованного определения на выбор числа сказуемого
The influence of prepositive adjective agreed with NP
on the choice of the number of the predicate

Форма сказуемого	Подлежащее							
	Половина		Часть		Ряд		Множество	
	ПО	БПО	ПО	БПО	ПО	БПО	ПО	БПО
Ед. ч. ж./м. р.	95 % (82)	86 % (315)	91,5 % (1 072)	85 % (164)	87 % (355)	81 % (679)	0	0
Ед. ч. ср. р.	0	2 % (7)	0,5 % (4)	4 % (8)	0	0,5 % (1)	98,5 % (134)	98,6 % (425)
Мн. ч.	5 % (4)	12 % (43)	8 % (95)	11 % (21)	13 % (54)	18,5 % (154)	1,5 % (2)	1,4 % (66)
Всего	100 % (86)	100 % (365)	100 % (1 171)	100 % (193)	100 % (409)	100 % (834)	100 % (136)	100 % (431)

Примечание. ПО – с препозитивным согласованным определением, БПО – без препозитивного согласованного определения.

⁵ Похожий результат был получен и для предложений со словом *большинство* [Кувшинская, 2013].

Таблица 18

Влияние препозитивного согласованного определения на выбор числа сказуемого.
Данные точного теста Фишера
Dependence of the form of the predicate on prepositive adjective agreed with NP.
Fisher's exact test data

Показатель	Квантификатор			
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
P-value	0,0513	0,2098	0,0192	Менее 0,0001

В целом препозитивное определение обуславливает выбор формы ед. ч. сказуемого, оставляя, однако, возможность семантического согласования для контекстов, в которых мн. ч. является единственно возможной формой сказуемого, и для контекстов с одушевленным референтом ИГ (более чем в половине случаев семантического согласования со словами *часть* и *ряд* и во всех примерах со словом *половина* референт ИГ был одушевленным) (табл. 19). Примеры семантического согласования с неодушевленной ИГ немногочисленны.

Таблица 19

Факторы, влияющие на выбор семантического согласования
при препозитивном определении к ИГ
Factors influencing the choice of semantic agreement
under the prepositional adjective agreed with NP

Факторы выбора согласования		Квантификатор			
		<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
Одушевленность		100 % (4)	54 % (54)	54 % (29)	0
Неодушевленность	Однородные ИГ	0	18 % (17)	15 % (8)	50 % (1)
	Предикат – существительное или полное прилагательное	0	6 % (6)	11 % (6)	0
	Иные факторы	0	22 % (21)	20 % (11)	50 % (1)
Всего		100 % (4)	100 % (95)	100 % (54)	100 % (2)

Заключение

Таким образом, распределение стратегий предикативного согласования с кванторными существительными *ряд*, *половина*, *часть*, *множество* неодинаково, что обусловлено в первую очередь семантическими и морфосинтаксическими различиями последних. Слова с менее определенной количественной семантикой, с более абстрактным значением, ограниченные в сочетаемости, неспособные к независимому употреблению ведут себя в меньшей степени как полноценные существительные, оказываются более «слабыми» вершинами именной группы.

В результате при согласовании с этими ИГ сказуемое в большей степени проявляет колебания в числе.

На выбор формы сказуемого при таких ИГ большее влияние оказывают различные факторы контекста, поскольку они способствуют восполнению недостаточной семантической и грамматической охарактеризованности вершины ИГ.

В табл. 20 представлены сводные данные о влиянии факторов контекста на согласование сказуемого с существительными *ряд, половина, часть, множество* на основе результатов тестов.

Таблица 20

Влияние факторов контекста на предикативное согласование
с квантификаторами-существительными
Influence of context factors on predicative agreement with quantifiers-nouns

Факторы выбора согласования	Квантификатор			
	<i>Половина</i>	<i>Часть</i>	<i>Ряд</i>	<i>Множество</i>
Одушевленность	Среднее	Среднее	Очень высокое	Высокое
Порядок слов	Нет	Невысокое	Высокое	Высокое
Однородные члены в составе ИГ	Невысокое	Нет	Высокое	Нет
Однородные ИГ	Очень высокое	Очень высокое	Очень высокое	Высокое
Субстантивные обороты к ИГ	Нет	Нет	Очень высокое	Нет
Однородные сказуемые	Низкое	Нет	Высокое	Высокое
Тип предиката	Нет	Нет	Высокое	Нет
Препозитивное определение	Нет	Нет	Среднее	Среднее

Как видно из табл. 20, по степени влияния факторов контекста на предикативное согласование квантификаторы распределяются в последовательности (по убыванию влияния, слева направо): *ряд – множество – половина – часть*.

Такая последовательность находится в обратном отношении с распределением этих слов в зависимости от их способности проявлять семантические и грамматические свойства существительных (см. табл. 2), т. е. степени «nouniness» [Corbett, 1979, p. 80]. Иными словами, подтверждается тезис Корбетта о зависимости предикативного согласования от близости квантификатора к существительному.

Наконец, необходимо отметить, что среди факторов контекста наибольшее и универсальное влияние имеет наличие однородных ИГ, при прямом порядке слов диктующее форму мн. ч. сказуемого. Существенным фактором является одушевленность, хотя степень ее влияния на согласование со словами женского рода *половина, часть* меньше, чем на согласование с *ряд* и *множество*. Относительно значимым для согласования, хоть и не со всеми ИГ, оказывается порядок слов. Влияние остальных факторов распространяется на согласование не со всеми квантификаторами.

За пределами работы осталось немало вопросов, в частности вопрос о влиянии рода вершины на выбор формы сказуемого; о причинах различий в частотности грамматического / семантического согласования со словами, похожими по мор-

фосинтаксическому поведению (в частности, со словами *ряд* и *множество*). Все это требует дальнейшего исследования.

Список литературы

- Бельчиков Ю. А. Практическая стилистика современного русского языка. М.: АСТ-Пресс, 2012. 424 с.
- Богуславский И. М. Валентности кванторных слов // Логический анализ языка. Квантификативный аспект языка / Отв. ред. Н. Д. Арутюнова. М., 2005. С. 139–165.
- Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Механизмы квантификации в естественном языке и семантика количественной оценки // Референция и проблемы текстообразования. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1988. С. 5–18.
- Голуб И. Б. Новый справочник по русскому языку и практической стилистике. М.: Эксмо, 2008. 464 с.
- Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. М., 1989. 208 с.
- Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М.: Наука, 1976. 453 с.
- Кувшинская Ю. М. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именной группой с количественным значением (по данным НКРЯ за 2000–2010 гг.) // Русский язык в научном освещении. 2013. № 2(26). С. 112–150.
- МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М.: РАН, Ин-т лингвистич. исследований, 1999.
- Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 2, ч. 2. Москва; Вена: Языки русской культуры: Прогресс, 1998. 544 с.
- Плунгян В. А., Рахилина Е. В. Грамматика порядка // Тр. Ин-та лингвистических исследований РАН. 2014. Т. 10, № 3. С. 542–554. (Acta Linguistica Petropolitana).
- РГ 80 – Русская грамматика / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Наука, 1980.
- Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М.: Айрис-Пресс, 2010.
- Скобликова Е. С. Согласование и управление как способы синтаксической организации слов в русском языке: Дис. ... д-ра филол. наук. Куйбышев, 1969.
- Скобликова Е. С. Согласование и управление в русском языке. М.: URSS: Ком-Книга, 2005.
- Супрун А. Е. Славянские числительные. (Становление числительных как особой части речи): Дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1965а.
- Супрун А. Е. Славянские числительные. (Становление числительных как особой части речи): Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1965б.
- ТФГ – Теория функциональной грамматики. Качественность. Количественность / Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1996.
- Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001.
- Трубицина М. В. Согласование в конструкциях с названиями в русском языке (доклад) // Тр. Ин-та русского языка им. В. В. Виноградова. Вып. 13: Культура русской речи. М., 2017. С. 295–303.
- Якобсон Р. Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 210–221.
- Яковенко Е. Б. Взять себе в пару или найти свою половинку? (семантика деления пополам, увеличения вдвое и парности в разных языках) // Логический анализ языка. Числовой код в разных языках и культурах. М.: URSS: Ленанд, 2014. С. 80–88.
- Янович И. С., Фёдорова О. В. Анализ речевых ошибок при предикативном согласовании в русском языке: эффект рода главного имени // Компьютерная линг-

гвистика и интеллектуальные технологии: Тр. междунар. конф. «Диалог 2006», Бекасово, 31 мая – 4 июня 2006 г. М.: Изд-во РГГУ, 2006.

Corbett G. G. Predicate Agreement in Russian. Birmingham: Dept. of Russian Language & Literature, Univ. of Birmingham, 1979.

Corbett G. G. Hierarchies, Targets and Controllers: Agreement Patterns in Slavic. London: Croom Helm, 1983.

Corbett G. G. The head of Russian numeral expressions // Heads in Grammatical Theory / Ed by G. G. Corbett, N. M. Fraser, S. McGlashan. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993. P. 11–35.

Corbett G. G. Agreement in Slavic. Bloomington: Indiana Univ., 1998.

Crockett D. B. Agreement in Contemporary Standard Russian. Cambridge: Slavica Publishers, 1976.

Krasovitsky A., Baerman M., Brown D., Corbett G. G., Williams P. Predicate agreement in Russian: a corpus-based approach // Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 74. Munchen; Berlin; Wien, 2010. P. 109–121

Robblee K. E. Predicate Lexicosemantics and Case Marking under Negation in Russian // Russian Linguistics. 1993a. Vol. 17. P. 209–236.

Robblee K. E. Individuation and Russian agreement // Slavic and East European Journal. 1993b. Vol. 37. P. 423–441.

Y. M. Kuvshinskaya

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation
kjulia4@yandex.ru*

**Predicate agreement with the words “r’ad,” “polovina,” “chast’,”
“mnozhestvo” in contemporary Russian**

The work deals with the strategies for predicate agreement to quantified noun groups headed by nouns *r’ad*, *polovina*, *chast’*, *mnozhestvo*. In Russian, as in other Slavic languages, predicate agreement with quantified noun phrases allows singular or plural forms of the predicate. Three agreement strategies are probable with quantifiers *r’ad*, *polovina*, *chast’*, *mnozhestvo*: full grammatical agreement, semantic or default agreement. The study based on the National Russian Corpus enabled identifying the frequency and the ratio of the different agreement strategies and showed that the strategies of predicate agreement with quantifiers-nouns are not identical. The predicate is more likely to agree in plural with NP, headed by the word *r’ad*, than the words *polovina*, *chast’*, *mnozhestvo*.

The paper analyses the reasons for the differences in the strategies of predicate agreement. For this purpose, the semantic and grammatical properties of quantifiers and the factors of context that influence the choice of the predicate are considered. The factors of animacy, word order, conjunct subjects and predicates, the type of predicate, adjectives agreed with quantifier are considered in the paper. Some views on the influence of the factors of the context generally accepted in Russian linguistics are clarified. The study has shown that all the factors are extremely important for the predicate agreement with *r’ad* and a few factors can influence the choice of the form of the predicate agreed with the words *polovina* or *chast’* – predominantly conjunct noun phrases and animacy.

Keywords: predicate agreement, quantified noun phrases, quantifiers, collective nouns, grammar, Russian language.

DOI 10.17223/18137083/67/17

References

- Bel'chikov Yu. A. *Prakticheskaya stilistika sovremennogo russkogo yazyka* [Practical stylistics of the modern Russian language]. Moscow, AST-Press, 2012, 424 p.
- Boguslavskiy I. M. Valentnosti kvantornykh slov [Valence of quantifier words]. In: *Logicheskii analiz yazyka. Kvantifikativnyy aspekt yazyka* [Logical analysis of the language. Quantitative aspect of the language]. N. D. Arutyunova (Ed.). Moscow, 2005, pp. 139–165.
- Bulygina T. V., Shmelev A. D. Mekhanizmy kvantifikatsii v estestvennom yazyke i semantika kolichestvennoy otsenki [Mechanisms of quantification in natural language and the semantics of quantitative evaluation]. In: *Referentsiya i problemy tekstoobrazovaniya* [The reference and problems of text formation]. Moscow, Institut yazykoznaniya AN SSSR, 1988, pp. 5–18.
- Corbett G. G. *Agreement in Slavic*. Bloomington, Indiana Univ., 1998.
- Corbett G. G. *Hierarchies, Targets And Controllers: Agreement Patterns in Slavic*. London, Croom Helm, 1983.
- Corbett G. G. *Predicate agreement in Russian*. Birmingham, Dept. of Russian Language & Literature, Univ. of Birmingham, 1979.
- Corbett G. G. The head of Russian numeral expressions. In: *Heads in Grammatical Theory*. G. G. Corbett, N. M. Fraser, S. McGlashan (Eds). Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1993, pp. 11–35.
- Crockett D. B. *Agreement in Contemporary Standard Russian*. Cambridge, Slavica Publ., 1976.
- Golub I. B. *Novyy spravochnik po russkomu yazyku i prakticheskoy stilistike* [A new guide to Russian language and practical stylistics]. Moscow, 2008, 464 p.
- Gorbachevich K. S. *Normy sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka* [The standards of the modern Russian literary language]. Moscow, 1989, 208 p.
- Graudina L. K., Itskovich V. A., Katlinskaya L. P. *Grammaticheskaya pravil'nost' russkoy rechi. Opyt chastotno-stilisticheskogo slovary variantov* [Grammatical correctness of Russian speech. The experience of the frequency-stylistic dictionary of variants]. Moscow, Nauka, 1976, 453 p.
- Krasovitsky A., Baerman M., Brown D., Corbett G. G., Williams P. Predicate agreement in Russian: a corpus-based approach. *Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus. Wiener Slavistischer Almanach, Sonderband 74*. Munchen, Berlin, Wien, 2010, pp. 109–121.
- Kuvshinskaya Yu. M. Soglasovanie skazuemogo s podlezhashchim, vyrazhennym imennoy gruppoy s kolichestvennym znacheniem (po dannym NKRYa za 2000–2010 gg.) [The predicate agreement with the subject, expressed by a noun phrase with a quantitative meaning (according to the RNC data for 2000–2010)]. *Russkij yazyk v nauchnom osveshchenii (Russian Language and Linguistic Theory)*. 2013, no. 2(26), pp. 112–150.
- Slovar' russkogo yazyka: V 4 t.* [Dictionary of Russian language: in 4 vols]. A. P. Evgen'eva (Ed.). Moscow, Inst. for Linguistic Studies, RAS, 1999.
- Mel'chuk I. A. *Kurs obshchey morfologii. T. 2, ch. 2* [Course of general morphology. Vol. 2, pt 2]. Moscow, Vena, LRC Publ. House, Progress, 1998, 544 p.
- Plungyan V. A., Rakhilina E. V. Grammatika poryadka [Grammar of order]. In: *Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy RAN* [Proc. of the Inst. of Linguistic Research of the Russian Acad. of Sci.]. 2014, vol. 10, no. 3, pp. 542–554. (Acta Linguistica Petropolitana).
- Robblee K. E. Individuation and Russian agreement. *Slavic and East European Journal*. 1993, vol. 37, pp. 423–441.
- Robblee K. E. Predicate lexico semantics and case marking under negation in Russian. *Russian Linguistics*. 1993, vol. 17, pp. 209–236.
- Rozental' D. E. *Spravochnik po pravopisaniyu i literaturnoy pravke* [Reference book on spelling and literary editing]. Moscow, Ayris-Press, 2010.
- Russkaya grammatika* [Russian Grammar]. N. Yu. Shvedova (Ed.). Moscow, Nauka, 1980.
- Skoblikova E. S. *Soglasovaniye i upravleniye kak sposoby sintaksicheskoy organizatsii slov v russkom yazyke* [Agreement and coordination as ways of the syntactic organization of words in Russian]. Dr. philol. sci. diss. Kuybyshev, 1969.
- Skoblikova E. S. *Soglasovaniye i upravleniye v russkom yazyke* [Agreement and coordination in Russian language]. Moscow, URSS, KomKniga, 2005.
- Suprun A. E. *Slavyanskije chislitel'nye (Stanovlenie chislitel'nykh kak osoboy chasti rechi)* [Slavic numerals (The development of numerals as a special part of speech)]. Dr. philol. sci. diss. Leningrad, 1965.

Suprun A. E. *Slavyanskije chislitel'nye (Stanovlenie chislitel'nykh kak osoboy chasti rechi)* [Slavic numerals (The development of numerals as a special part of speech)]. Abstract of Dr. philol. sci. diss. Leningrad, 1965.

Teoriya funktsional'noy grammatiki. Kachestvennost'. Kolichestvennost' [Theory of functional grammar. Qualitativeness. Quantitativeness]. A. V. Bondarko (Ed.). St. Petersburg, Nauka, 1996.

Testeleys Ya. G. *Vvedenie v obshchiy sintaksis* [Introduction to the general syntax]. Moscow, RGGU, 2001.

Trubitsina M. V. *Soglasovaniye v konstruktsiyakh s nazvaniyami v russkom yazyke (doklad)* [Agreement in constructions with names in Russian (a report)]. In: *Tr. Instituta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova. Vyp. 13: Kul'tura russkoy rechi* [Proc. of the Inst. of the Russian Language. V. V. Vinogradov. Iss. 13: Culture of the Russian language]. Moscow, 2017, pp. 295–303.

Yakobson R. *Izbrannye raboty* [Selected Works]. Moscow, Progress, 1985, pp. 210–221.

Yakovenko E. B. *Vzyat' sebe v paru ili nayti svoyu polovinku?* (semantika deleniya popolam, uvelicheniya vdvoye i parnosti v raznykh yazykakh) [Take a couple or find your soul mate? (semantics of division in half, doubling and pairing in different languages)]. In: *Logicheskiy analiz yazyka. Chislenny kod v raznykh yazykakh i kul'turakh* [Logical analysis of the language. Numeric code in different languages and cultures]. Moscow, URSS, Lenand, 2014, pp. 80–88.

Yanovich I. S., Fedorova O. V. *Analiz rechevykh oshibok pri predikativnom soglasovanii v russkom yazyke: effekt roda glavnogo imeni* [Analysis of speech errors in the predicative agreement in the Russian language: the effect of the gender of the main name]. In: *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nyye tekhnologii: Tr. mezhdunar. konf. "Dialog 2006," Bekasovo, 31 maya – 4 iyunya 2006 g.* [Computer linguistics and intellectual technologies: Proc. of the intern. conf. "Dialogue 2006," (Bekasovo, May 31 – June 4, 2006 g.)]. Moscow, Izd. RGGU, 2006.

Л. А. Ильина

Институт филологии СО РАН, Новосибирск

Полипредикативные эвиденциальные высказывания с дублированным указанием сенсорного источника информации в языках Северной Азии

На языковом материале текстов ненецкого и селькупского традиционного фольклора выделяются, анализируются и сопоставляются полипредикативные сенсорно-эвиденциальные высказывания особого, вероятно, архаичного типа. В них слуховой (акустический) источник информации о референтной ситуации указывается дублированно – лексической семантикой сказуемого модусной части, роль которого выполняют глаголы слухового восприятия, и грамматической семантикой сказуемого диктумной части, роль которого выполняют аудитивные глагольные формы, также указывающие на слуховое восприятие той же референтной ситуации.

Ключевые слова: языки Северной Азии, сенсорные эвиденциальные лексемы и граммемы, полипредикативные сенсорно-эвиденциальные высказывания, сенсорно-эвиденциальный плеоназм.

1. Типологическая специфика исследуемых эвиденциальных высказываний

Рассматриваемый в данной статье тип (или разновидность) полипредикативных эвиденциальных высказываний с семантикой слуховой засвидетельствованности существенно своеобразен и очень редко встречается на документированных срезах языков как Северной Азии, так и Евразии в целом. В настоящее время полипредикативные сенсорно-эвиденциальные высказывания рассматриваемого типа обнаруживаются только в архаичном фольклорном языковом материале четырех самодийских языков (селькупского, ненецкого, энецкого, нганасанского) и языка колымских юкагиров. Наиболее существенная типологическая черта таких сенсорно-эвиденциальных высказываний, общая для самодийских и юкагирских языков, видится в том, что один и тот же слуховой (акустический) источник сведений о засвидетельствованной референтной ситуации указывается в них избыточно, по меньшей мере, – дублированно, причем (что особо существенно) как лексическими, так и морфологическими средствами. На слуховой (акустический) источник информации указывает, во-первых, лексическая семантика сказуемого модусной части, синтаксическую роль которого выполняют глаголы слухово-

Ильина Людмила Алексеевна – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора тунгусо-маньчжуроведения Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, Новосибирск, 630090, Россия; Ludil60@mail.ru)

го восприятия, во-вторых, грамматическая семантика сказуемого диктумной части, синтаксическую роль которого выполняют глагольные формы слуховой засвидетельствованности – аудитива со специальными морфологическими показателями.

Термином «аудитив» в самодийской традиции обозначается глагольная форма, имеющая свои суффиксальные показатели, способная выполнять роль сказуемого простого предложения и указывающая в подавляющем большинстве документированных употреблений на то, что репрезентированная в предложении референтная ситуация установлена говорящим по ее акустическим признакам посредством слухового восприятия. Эту семантику отражает и традиция перевода на русский язык морфологических показателей самодийского аудитива лексическими эквивалентами ‘слыхать’, ‘слышно’, ‘слышится’. Такой перевод в определенной мере условен, но использовался двуязычными информантами и исследователями, документировавшими тексты самодийского традиционного фольклора. Г. Н. Прокофьев, впервые описавший аудитивные формы в селькупском и ненецком языках, писал: «Аудитив (*auditivum*) выражает действия, устанавливаемые на основании их слышимости. Напр., сидя в чуме, можно заключить о приходе кого-либо по шагам, по слышимому голосу и т. д. На русск. яз. формы аудитива могут быть переводимы с помощью ‘слыхать’» [Прокофьев, 1935, с. 69].

Суффиксальные показатели аудитивных глагольных форм в самодийских языках материально сходны и, возможно, являются этимологически тождественными, т. е. восходят к прасамодийскому языку. Их основные варианты: нен. =*won(o)* =, =*mon(o)* =; энецк. =*onó* =, =*monó* =; нган. =*mini* =, =*munu* =; сельк. =*kunä* =, =*kunj* =.

Проблема происхождения показателей самодийского аудитива еще доказательно не решена. На документированных хронологических срезах самодийских языков эти показатели не имеют сколько-нибудь семантически прозрачной внутренней формы. То есть они не мотивированы в документированной синхронии какими-либо знаменательными лексемами с семантикой звучания и слухового восприятия. Но в диахронической ретроспективе такая мотивированность представляется вероятной. В языке традиционного фольклора верхнеколымских юкагиров типологический аналог самодийского аудитива – это бивербальная аналитическая форма: деепричастие на (*l*)*lä* + *mód* = (*mäd* =), восходящий к основе глагола *módi* = (*mädi* =) ‘быть слышным’, ‘звучать’.

Для наглядной иллюстрации типологической специфики исследуемых эвиденциальных высказываний приведем два показательных примера из рано документированных ненецких фольклорных текстов, записанных М. А. Кастреном в середине XIX в. (1) и Т. Лехтисало в начале XX в. (2) и опубликованных Т. Лехтисало с переводом на немецкий язык. Наш перевод этих высказываний с ненецкого языка на русский приближен к буквальному с сохранением порядка слов ненецкого первоисточника. Грамматикализованная сенсорно-эвиденциальная семантика морфологических показателей аудитива переведена приблизительным русским лексическим эквивалентом ‘слышно’.

(1) нен.

Sjundi vaäsakoh jinsilie: niernjāna jien mūnomōndo :

Der Geweihte Alte **lauscht**: In der Richtung nach vorn **hörte man die Laute** von Bogensehen. (Castren, Lehtisalo, 1940, S. 258)

Sjundi	vaäsakoh	jinsilie	niernjāna
Сюнды	старик	слушать=SUBJ:3SG	впереди
jien	mūno=mōn=do'		
тетива NOM.SG	звучать=AUD=3PL		

‘Сюнды старик **слушает**: впереди тетивы (луков) **звучат=слышно**=(они многие).’

(2) нен.

Siß ðíéé xqéŋr mākkqδ jínštlé. pŋxiññe šide xāṣaββp tō=ββqñōn=qí''.

Horcht der Siebenklafter-Ostjake vom Zelte aus: **man hört**, dass auf den Hof zwei Männer **gekommen sind**. (Lehtisalo, 1947, S. 87)

siß	ðíéé	xqéŋr	mākkqδ	jínštlé
семь	сажень	остяк=POSS.NOM.2SG	чум=ABL.SG	слушать=SUBJ:3SG
pŋxiññe	šide	xāṣaββp	tō=ββqñōn=qí''	
снаружи	два	мужчина.ненец=NOM.SG	прийти=AUD=3DU	

‘Тот семисаженный остяк из чума **слушает**: снаружи два мужчины ненца **подъехали=слышно**=(они двое).’

Эти примеры относятся не только к разным хронологическим срезам документирования тундрового наречия ненецкого языка, но и к его разным территориально-диалектным подразделениям (говорам) – западным (1) и восточным (2). Поэтому важно отметить, что приведенные сенсорно-эвиденциальные высказывания структурно и семантически идентичны. В них роль сказуемого модусной части выполняет финитный глагол слухового восприятия с основным значением ‘слушать’ в форме 3-го л. ед. ч. субъектного спряжения: *jínštlé* (в транскрипции Т. Лехтисало); *инзеле* (в литературной кириллической записи). Его лексическая семантика указывает в (1), (2) на слуховой (акустический) источник информации фольклорных персонажей о референтных ситуациях, репрезентированных в диктумных частях высказываний.

Но существенная типологическая специфика (1), (2), отличающая их от семантически сходных полипредикативных сенсорно-эвиденциальных высказываний многих других языков мира, определяется не модусным предикатом, а грамматико-семантическими особенностями диктумного предиката. Роль сказуемого диктумной части в обоих высказываниях выполняют глагольные формы аудитива с морфологическими суффиксальными показателями в вариантах *=ton=* (=мон=) в (1) и *=ββqñōn=* (=ванон=) в (2). Их грамматическая семантика указывает на слуховой (акустический) источник информации фольклорных персонажей о референтных ситуациях, репрезентированных в диктумных частях высказываний (1), (2), как и лексическая семантика их модусного предиката *инзеле* ‘слушать’.

В известной лингво-типологической модели эвиденциальных высказываний, предложенной Н. А. Козинцевой, их семантика дифференцирована на рамочную часть, содержащую модус эвиденциальности (EV), и пропозитивную часть (P), не содержащую указания на источник информации:

Говорящий (Г) сообщает, что [X – субъект модуса EV («хозяин» информации) видел/полагает/узнал, что] P [Козинцева, 1994, с. 93]

Опираясь на модель Н. А. Козинцевой, можно отобразить рассматриваемый в нашей статье тип (разновидность) сенсорно-эвиденциальных высказываний следующей схемой:

Говорящий (Г) сообщает, что [X – субъект модуса EV («хозяин» информации) слушает (слышит, услышал), что] P, услышанная X

В схеме показано, что сенсорно-эвиденциальный модус слуховой засвидетельствованности представлен не только в собственно модусных частях исследуемых полипредикативных эвиденциальных высказываний, но и органично вплетен в их диктумные части, являясь в сущности обязательным грамматико-семантическим компонентом репрезентированных в них диктумных пропозиций. Один и тот же «хозяин» информации (X) – фольклорный персонаж, эксплицитно представленный как субъект слухового восприятия в модусной части, имплицитно представлен в том же качестве и в диктумной части показателем аудитива. Вследствие

этого диктумная пропозиция (Р) предстает не только как внешняя референтная ситуация, а проецируется во внутренний мир субъекта модусной части (Х) как его мысленное толкование или интуитивная догадка, основанные на данных слухового восприятия.

На наш взгляд, сказанное аргументирует формально-структурную и содержательную целостность сенсорно-эвиденциальных высказываний рассматриваемого типа, причем независимо от транзитивности/интранзитивности их модусных предикатов.

Отмеченный феномен избыточного дублированного указания в полипредикативном эвиденциальном высказывании на один и тот же сенсорный источник информации лексическими и морфологическими средствами целесообразно выделить терминологически. Для его терминологического обозначения в данной статье используется термин «сенсорно-эвиденциальный плеоназм». Мы предполагаем, что в архаичных полипредикативных эвиденциальных высказываниях, подобных (1), (2), феномен сенсорно-эвиденциального плеоназма выполняет функцию связи их модусной и диктумной частей. Эта гипотеза верифицируется в дальнейшем изложении.

Полипредикативные сенсорно-эвиденциальные высказывания выделенного типа (разновидности) в настоящее время практически не изучены ни на уровне отдельных языков коренных этносов Северной Азии, ни тем более на уровне межъязыкового сопоставления. Мы полагаем, что они представляют значительный научный интерес для теоретической лингвистики, в частности, в аспектах типологии эвиденциальных высказываний и типологии изъяснительных полипредикативных синтаксических конструкций. В данной статье они рассматриваются преимущественно в аспектах их формально-структурной и функционально-семантической эволюции в диахронии двух сопоставляемых близкородственных языков коренных этносов Северной Азии – ненецкого и селькупского.

2. Сопоставление данных ненецкого и селькупского языков в эволюционно-типологическом аспекте

Мы полагаем, что данные текстов ненецкого и селькупского традиционного фольклора могут быть интерпретированы в аспекте диахронической типологии как отражающие разные стадии эволюции полипредикативных сенсорно-эвиденциальных высказываний (далее – ПСЭВ) рассматриваемого типа (разновидности).

Ненецкие примеры (см. (1)–(8)) интерпретируются как отражающие относительно раннюю стадию эволюции рассматриваемых ПСЭВ, на которой их главный типологический признак – дублированное указание слухового (акустического) источника информации лексическими и морфологическими средствами реализуется эксплицитно.

Селькупские примеры (см. (9)–(18)) интерпретируются как отражающие поздние стадии эволюции рассматриваемых ПСЭВ, на которых их главный типологический признак – дублированное указание слухового (акустического) источника информации лексическими и морфологическими средствами перестает быть облигаторным, становится окказиональным и в итоге полностью утрачивается.

Элиминацию в процессе эволюции рассматриваемых ПСЭВ их главного типологического признака мы интерпретируем в аспекте полипредикативного синтаксиса как смену типа полипредикативных конструкций.

Диахронически ранний и архаичный тип с сенсорно-эвиденциальным плеоназмом, выполняющим функцию связи модусной и диктумной частей, информативно представлен в текстах ненецкого традиционного фольклора. Но в текстах селькупского традиционного фольклора сенсорно-эвиденциальный плеоназм

представлен только в северных диалектах и лишь окказионально. В селькупских ПСЭВ он сменяется другими средствами синтаксической связи модусной и диктумной частей. Этот эволюционный процесс анализируется ниже.

Отметим, что существование особого типа полипредикативных сенсорно-эвиденциальных высказываний было впервые выявлено нами на селькупском языковом материале, информативность которого ограничена (см.: [Ильина, 2004, с. 49–56]). Привлеченный в данной статье информативный ненецкий языковой материал позволяет, на наш взгляд, дополнительно обосновать и положительно верифицировать существование данного типа ПСЭВ в диахронии языков Северной Азии.

2.1. Данные ненецкого языка: сенсорно-эвиденциальный плеоназм. При межъязыковом сопоставительно-типологическом анализе ненецких ПСЭВ (1)–(8) важно обратить внимание на два признака, отличающих их типологически от селькупских ПСЭВ (9)–(13) и свидетельствующих об их относительной архаичности в аспекте диахронической типологии. Во-первых, выполняющий синтаксическую роль сказуемого модусной части ненецких ПСЭВ (1)–(8) глагол *изеле(сь)* (в (3)–(5) – *изеле(сь)*) ‘слушать’ является в ненецком языке непереходным глаголом (см.: [Терещенко, 1947, с. 190]). Это исключает синтаксическую интерпретацию диктумной части таких ПСЭВ как развернутого прямого дополнения. Во-вторых, выполняющие синтаксическую роль сказуемого диктумной части ненецких ПСЭВ глагольные формы аудитива являются по формально-структурным признакам инфинитными формами – отглагольными именами в номинативе и генитиве лично-притяжательного склонения. Г. Н. Прокофьев писал: «По своей форме аудитив ненецкого языка (в отличие от аудитива селькупского языка) не является формой спряжения, а относится к отглагольным именным образованиям. Показателем действующего лица в формах аудитива являются суффиксы именительного и родительного падежа лично-притяжательного склонения» [Прокофьев, 1937, с. 44].

Подчеркнем, что эти формально-структурные признаки аудитива имеют на документированных срезах только этимологическую значимость, поэтому при глоссировании не учитываются.

Приведенные ниже примеры ненецких ПСЭВ (3)–(8) типологически близки к выше рассмотренным примерам (1), (2), но документированы значительно позже в 1950-е – 1960-е гг. Примеры (3)–(5) относятся к западным говорам тундрового наречия ненецкого языка, а примеры (6)–(8) к его восточным говорам.

(3) нен.

Мяд'хазона ти изелем'. Няр'хасава лаханаковондо'.

‘Вот **я слушаю**, [стоя] около чума. **Слышно, говорят** трое мужчин.’ (ЭПН, с. 477, 501)

мяд'	хазона	ти	изеле=м'	няр'
чум.GEN.SG	около	вот	слушать=SUBJ:1SG	три
хасава			лаханако=вон=до'	
мужчина.ненец.NOM.SG			разговаривать=AUD=3PL	

‘Чума около вот **слушаю**: три ненца-мужчины **разговаривают=слышно**=(они многие).’

(4) нен.

Мань юседам', изелем'. Небяв маманода: ...

‘А я лежу и **слушаю**. Мать, **слышно**, говорит:’ (Там же, с. 239, 251)

мань	юседа=м'	изеле=м'
я 1SG	лежать=SUBJ:1SG	слушать=SUBJ:1SG
небя=в	ма=мано=да	
мать=POSS:NOM.1SG	сказать=AUD=3SG	

‘Я лежу, **слушаю**: мать моя **сказала=слышно**=(она):’

(5) нен.

Мякан тэвван сер' изелем'. Мякнан мун' совонодо'.

‘Когда я подошел к чуму, **слушаю**. В чуме **слышны** голоса.’ (ЭПН, с. 510, 529)

мя=кан	тэв=ва=н	сер=’
чум=DAT.SG	подойти=VN=GEN.SG	дело=GEN.SG
изеле=м’	мя=кнан	мун’
слушать=SUBJ:1SG	чум=LOC.SG	голос=НОМ.PL
		слышаться=AUD=3PL

‘К чуму подошёл когда, **слушаю**: в чуме голоса **слышались=слышно**=(они многие).’

Отметим, что ПСЭВ (3)–(5) в сборнике З. Н. Куприяновой «Эпические песни ненцев» записаны на ненецком языке и переведены на русский не как две части одного полипредикативного предложения, а как два отдельных предложения, следующих в тексте непосредственно друг за другом. На такую трактовку могли ориентировать авторов ЭПН непереходность глагола *изеле(сь)* (< *инзеле(сь)*) и обусловленная этим неясность средств связи, объединяющих эти предложения в полипредикативную синтаксическую целостность. Однако формально-структурная инфинитность аудитивных форм аргументирует их исходную синтаксическую роль диктумных предикатов полипредикативных конструкций, что отражено в наших переводах ПСЭВ (3)–(5). А типологически аналогичные им ПСЭВ (1), (2) и (6)–(8) осмыслены как полипредикативные синтаксические единства не только в наших переводах, но и в источниках.

(6) нен.

Мят тэвы', инзеле: мякна пухуця небада ярмонда.

‘Он подъехал и **слушает**: в чуме **плачет** старушка-мать.’ (НФ, с. 139, 145)

мя=т	тэвы=Ø	инзеле=Ø
чум=DAT.SG	доехать=SUBJ:3SG	слушать=SUBJ:3SG
мя=кна	неба=да	яр=мон=да
чум=LOC.SG	старуха.мать=POSS:НОМ.3SG	плакать=AUD=3SG

‘К чуму подъехал он, **слушает**: в чуме старушка-мать его **плачет=слышно**=(она).’

(7) нен.

Тарем' инзелем': Тет-Нярьяна-Тын хадырмононодо'.

‘Так **слышу**: Четверка-моих- Красных-Оленей **пасется**.’ (ФН, с. 276–277)

тарем’	инзеле=м’	Тет-Нярьяна-Ты=н
так	слушать=SUBJ:1SG	четыре=красный=олень=мои (многие)
		хадыр=монон=до’
		пасться=AUD=3PL

‘Так **слушаю**: четыре красных оленя моих **пасутся=слышно**=(они многие).’

(8) нен.

Тарем' инзеледм', Тасиняңы-Ерв пыда мамонода:

‘**Слышу**, как Предводитель-Тасиняңы **говорит**:’ (Там же, с. 294, 295)

тарем’	инзеле=дм’	Тасиняңы-Ерв	пыда
так	слушать=SUBJ:1SG	Тасиняңы-Хозяин	он
		ма=моно=да	
		сказать=AUD=3SG	

‘Так **слушаю**: Тасиняңы хозяин он **сказал=слышно**=(он):’

Мы полагаем, что в ненецких ПСЭВ (1)–(8) взаимное дублирование сенсорно-эвиденциальной семантики слуховой засвидетельствованности лексической семантикой модусного предиката *инзеле(сь)* ‘*слушать*’ и грамматической семантикой диктумного предиката – формы аудитива является главным средством связи модусной и диктумной частей. Эта двусторонняя семантическая связь (взаимо-

связь), названная нами сенсорно-эвиденциальным плеоназмом, вероятно, является древней и архаичной, лишь остаточно сохранившейся на документированных срезах самодийских и юкагирских языков.

Вместе с тем есть основания полагать, что уже в архаичном языке традиционного ненецкого фольклора стали вырабатываться и другие, дополнительные средства синтаксической связи модусной и диктумной частей подобных ПСЭВ. Они требуют специального исследования, но все же обратим внимание на употребление в (7), (8) перед модусным предикатом *инзеле(сь)* ‘слушать’ наречия *тарем* ‘так’. Позиционно оно локализовано в модусной части, но семантически обозначает диктумную часть, свернуто представляет ее в модусной части и логически выделяет. Поэтому формула ‘так слушаю.’ в (7), (8) выполняет, на наш взгляд, роль скрепы модусной и диктумной частей, служит дополнительным средством их синтаксической связи.

Если руководствоваться формально-структурными критериями, то ненецкие ПСЭВ (1)–(8) должны быть определены как монофинитные полипредикативные конструкции, поскольку в них формы аудитива суть инфинитные формы – отглагольные имена в номинативе и генитиве лично-притяжательного склонения. Но если опираться на функционально-семантические критерии, то эти ПСЭВ должны быть определены как бифинитные полипредикативные конструкции, поскольку ненецкие формы аудитива на документированных срезах встречаются только в роли сказуемого и не встречаются в других синтаксических ролях, типичных для отглагольных имен действия в номинативе и генитиве.

Поэтому при определении ненецких ПСЭВ (1)–(8) в аспекте их монофинитности/бифинитности важно учитывать языковой эволюционный процесс. В диахронической ретроспективе ненецкие ПСЭВ, подобные (1)–(8), были монофинитны. Однако в процессе языковой эволюции происходила функционально-семантическая финитизация форм аудитива и такие ПСЭВ постепенно становились бифинитными.

В контексте проблемы финитности/инфинитности предикатов ненецких ПСЭВ важным представляется сказать о фактах употребления в роли сказуемого их модусных частей глаголов слухового восприятия не только в финитных, как в (1)–(8), а в инфинитных по формальной структуре, а следовательно, и по происхождению, формах. Это, например, форма аудитива от глагола *со(сь)* ‘быть слышимым’, ‘слышаться’ и условно-деепричастная форма от глагола *инзеле(сь)* ‘слушать’.

На документированных срезах эти инфинитные по происхождению формы уже, вероятно, функционально-семантически финитизированы в ненецких ПСЭВ. Но их исходная инфинитность дополнительно аргументирует доминирование в этих ПСЭВ сенсорно-эвиденциального плеоназма как средства связи их модусной и диктумной частей.

Такие ненецкие ПСЭВ нам сейчас не вполне понятны. Их аналогов нет в сопоставляемом селькупском языковом материале. Поэтому их рассмотрение не входит в задачи данной статьи.

2.2. Данные селькупского языка: становление подчинительной связи. Формы аудитива с показателем *=kunä=* (*=kunj=*) документированы только в северных диалектах селькупского языка, главным образом, в среднетазовском диалекте (говоре). В южноселькупских диалектах формы аудитива на документированных срезах доказательно не выявлены. Но данные северноселькупских диалектов, северносамодийских языков и ряд южноселькупских языковых фактов дают основание полагать, что в недавней диахронической ретроспективе формы аудитива существовали и в южноселькупских диалектах.

В отличие от ненецких ПСЭВ (1)–(8), в приведенных ниже северноселькупских ПСЭВ (9)–(13) выполняющие синтаксическую роль сказуемого модус-

ной части глаголы слухового восприятия *ünty(qo)* ‘слышать’ в (9), (11) и *üñkyltympy(qo)* ‘слушать’ в (10), (12), (13) являются, во-первых, переходными глаголами с объектной валентностью, во-вторых, употреблены в объектном спряжении, лично-числовые показатели которого кумулятивно указывают на наличие прямого объекта (слышит= это он.; слушает= это он.). Следовательно, имеются серьезные основания для трактовки диктумной части в северноселькупских ПСЭВ (9)–(13) как развернутого прямого дополнения, а самих этих ПСЭВ как изъяснительных полипредикативных конструкций с односторонней подчинительной связью. При этом в северноселькупских ПСЭВ (9)–(13) еще сохраняется и сенсорно-эвиденциальный плеоназм. Но он, вероятно, уже не является главным средством связи модусной и диктумной частей и постепенно редуцируется.

(9) сельк.

(*JomBa*) *ukkyr çonDõqyt niłçik ynDyññi=ty: qur tap paçitkuna.*

‘(Йомпа) вдруг так **слышит**: человек это **рубит** (слыхать).’ (Прокофьев, 1935,

с. 104)

ukkyrçonDõ=qyt	niłçik	ynDyññi=ty:
один середина=LOC.SG	так	слышать=OBJ:3SG
qur	tap	paçit=kuna=Ø
человек	это	рубить=AUD=SUBJ:3SG

‘(Йомпа – герой мифов) в один момент (букв.: одного в промежутке) так **слышит**: человек это **рубит**=**слышно**=(он).’

(10) сельк.

(*Ica*) *Ukkyr contõt üñkyltympty: lōs-ira tükynä sumpäptympylä.*

‘Вдруг **услышал**: черт-старик **слыхать** **пришел** напевая.’ (ОЧСЯ, с. 19, 58)

ukkyr	contõt=t	üñkyltympty=ty:	lōs-ira
один	середина=GEN.SG	слушать=OBJ:3SG	злой дух
tü=kynä=Ø	sumpäptympy=lä		
прийти=AUD=SUBJ:3SG	петь=CV		

‘(Ича – герой мифов) однажды **слушает**: черт-старик **пришел**=**слышно**=(он) напевая.’

(11) сельк.

Ukkyr contõqyt pit contyl' kotäqyt aj nił'cyk üntyññy: aj kos qaj na tükunä.

‘Вдруг в полночь опять так (=вот что) **услышал**: опять кто-то **пришел**.’ (Там же, с. 38, 83)

ukkyr	contõ=qyt	pi=t	contyl'	kotäqyt	aj	nił'cyk
один	середина=LOC.SG	ночь=GEN.SG	в	середине	опять	так
üntyññy=ty	aj	kos qaj	na	tü=kunä=Ø		
слышать=OBJ:3SG	опять	кто-то	PARTCL	прийти=AUD=SUBJ:3SG		

‘Однажды в полночь опять так **слышит**: опять кто-то вот **пришел**=**слышно**=(он).’

(12) сельк.

kañja Šil'ša Pal'ša onď üñkyl'dimpa=ty na tapan tükunä kuryl'l'e tapan tükunä. (МЭ)

каñja	Šil'ša	Pal'ša	онď	üñkyl'dimpa=ty	na
однако	Сылча.	Палча	сам	слушать=OBJ:3SG	вон
таннын	коннă	куры=л'л'е	тап	tü=kunä=Ø	
тот	вверх	бегать=CV	вот	прийти=AUD=SUBJ:3SG	
куры=л'л'е	тап	tü=kunä=Ø			
бегать=CV	вот	прийти=AUD=SUBJ:3SG			

‘Однако Сылча Палча сам **слушает**: вон тот на берег, топая, вот **пришел**=**слышно**=(он), топая, вот **пришел**=**слышно**=(он).’

(13) сельк.

Нын ш'иттал на ија тйльчикуня – иматя йжкытимпаты. (МЭ)

нын	ш'иттал	на	ија	тйльчи=куня=Ø
потом	вторично	этот	парень	дойти=AUD=SUBJ:3SG
има=тй			йжкытимпа=ты	
жена=POSS:NOM.3SG			слушать=OBJ:3SG	

‘Потом вторично этот парень **подъехал=слышно**=(он) – жена его **слышит (слушает)** это.’

В отличие от ненецких ПСЭВ (1)–(8) северноселькупские ПСЭВ (9)–(13) безусловно являются бифинитными полипредикативными конструкциями, поскольку формы аудитива, выполняющие в них роль сказуемого диктумной части, – это формы финитного глагола не только по функционально-семантическим, но и по формально-структурным признакам. В (9)–(13) аудитив представлен только формами 3-го л. ед. ч. субъектного спряжения как переходного глагола в (9), так и непереходных глаголов в (10)–(13). Но Г. Н. Прокофьевым в 1920-е гг. документировано употребление северноселькупского аудитива также и в объектном спряжении (см.: [Прокофьев, 1935, С. 69–70]). Е. А. Хелимский, работая в 1970-е гг. методом лингвистического эксперимента с информантами-селькупками старшего поколения, восстановил полную лично-числовую парадигму аудитива средне-тазовского диалекта (говора) северных селькупов (см.: [Хелимский, 1993, с. 369]).

Е. А. Хелимский считал показатели аудитива северносамодийских языков и селькупского языка «этимологически родственными» [Кузнецова и др., 1980, с. 247]. Если это так, то высоко вероятно, что в недокументированной диахронической ретроспективе селькупского языка формы аудитива тоже были инфинитными формами, подобными ненецким, т. е. отглагольными именами с лично-притяжательными показателями. Следовательно, в диахронии селькупского языка тоже происходил эволюционный процесс функционально-семантической финитизации форм аудитива. Но в отличие от ненецкого языка, в селькупском языке этот процесс получил дальнейшее развитие и привел к их формально-структурной финитизации – включению в лично-числовую парадигму финитного глагола.

В контексте эволюционно-типологических параллелей селькупских и ненецких ПСЭВ отметим употребление в (9), (11) перед модусными предикатами наречия *niłçik* ‘так’, образующего формулу ‘так слышит’. Здесь видится близкая функционально-семантическая аналогия с рассмотренным выше употреблением в ненецких ПСЭВ (7), (8) наречия *тарем* ‘так’ и формулой ‘так слушаю’. Но если в ненецких ПСЭВ наречие *тарем* ‘так’ используется перед непереходным глаголом слухового восприятия, то в селькупских ПСЭВ наречие *niłçik* ‘так’ употреблено перед переходным глаголом слухового восприятия, причем в форме объектного спряжения. Возможно, что в процессе эволюции рассматриваемых самодийских ПСЭВ типичное употребление формулы ‘так слушать (слышать)’ было одним из факторов транзитивации модусного предиката. На наш взгляд, в северноселькупских ПСЭВ (9)–(13) транзитивный модусный предикат в объектном спряжении уже стал выполнять роль главного средства связи модусной и диктумной частей.

Логично полагать, что конституирование в роли модусного предиката северноселькупских ПСЭВ, подобных (9)–(13), транзитивных глаголов слухового восприятия, особенно в объектном спряжении, сформировало в этих ПСЭВ новый способ связи модусной и диктумной частей, что закономерно обусловило редуцирование прежнего, диахронически раннего и архаичного способа их связи, доминирующего в ненецких ПСЭВ (1)–(8) и названного нами сенсорно-эвиденциальным плеоназмом.

2.3. Данные селькупского языка: редуцирование и элиминация сенсорно-эвиденциального плеоназма. В северноселькупских (тазовских) материалах 1970-х гг. (опубликованных и полевых) аудитив встречался очень редко и, как правило, только в ПСЭВ, подобных (9)–(13). Но и в них аудитив в роли диктумного предиката типично заменялся другой, более абстрактной семантически эвиденциальной формой – латентивом с показателями $= (n) t =$ в настоящем времени и $= m m j n t =$ (с вариантами) в прошедшем времени (см.: [Кузнецова и др., 1980, с. 240–243, 247]). Такую замену аудитива латентивом иллюстрируют приведенные примеры северноселькупских ПСЭВ (14), (15).

(14) сельк.

Mattympaty pōmtu, ukkyr contōt üŋkyltympaty: ijal'a cūrynty.

‘Рубит дерево, вдруг **слышит**: ребенок **плачет**.’ (ОЧСЯ, 1993, с. 42, 87)

mattympa=ty	pō=mtu	ukkyr	contō=t
рубить=OBJ:3SG	дерево=POSS: ACC3SG	один	середина=GEN.SG
üŋkyltympa=ty	ija=l'a	cūry=nt=y	
слушать=OBJ:3SG	ребёнок=DIM	плакать=LAT.Pres=	SUBJ:3SG

‘Рубит дерево, вдруг **слушает** ребёнок **плачет=кажется=(он)**.’

(15) сельк.

Ira aj mattympaty pōmtu, üŋkyltympaty: kana-ija lāqymmynty.

‘Старик опять рубит дерево, **слышит**: щенок **визжит**.’ (Там же, с. 42, 86)

ira	aj	mattympa=ty	pō=mtu
старик	опять	рубить=OBJ:3SG	дерево=POSS:ACC.3SG
üŋkyltympa=ty	kana-ija	lāqy=mmynt=y	
слушать=OBJ:3SG	собака=дитя	визжать=LAT.Past=SUBJ: 3SG	

‘Старик опять рубит дерево, **слушает**: щенок **визжал=кажется=(он)**.’

Селькупскому латентиву посвящен ряд недавних специальных работ отечественных лингвистов (см.: [Ильина, 2013; Урманчиева, 2014; 2015]). Это в высокой степени полисемичная и многофункциональная форма косвенной эвиденциальности, которая на поздних документированных срезах модализована, особенно в южноселькупских диалектах. Ее диахронически ранняя базовая семантика существенно отличалась от базовой семантики аудитива, поскольку была связана не со слуховым, а с неотчетливым зрительным восприятием ситуации (издалека, смутно, мельком, в сакральном сне). Перевод морфологических показателей латентива в (14), (15) русским словом ‘кажется’ условен. Но он в определенной мере отражает базовую эвиденциальную семантику латентива и призван показать, что она более абстрактна, чем у аудитива, и не дублирует в диктумных частях ПСЭВ (14), (15) указание их модусных предикатов на слуховой (акустический) источник информации.

В северноселькупских (тазовских) фольклорных текстах, записанных в 1970-е гг., латентив уже почти полностью вытеснил аудитив и употреблялся в роли сказуемого диктумной части полипредикативных эвиденциальных высказываний не только традиционно – с глаголами зрительного восприятия в роли сказуемого модусной части, но и вместо аудитива с глаголами слухового восприятия, как в (14), (15).

Приведенный ниже южноселькупский пример (16), взятый из архаичного текста героической песни, записанной М. А. Кастреном на Средней Оби в середине XIX в., косвенно аргументирует, что аналогичный эволюционный процесс вытеснения аудитива латентивом мог иметь место и в недокументированной диахронии южноселькупских диалектов.

(16) сельк.

üŋgalžek, sūrup čāžand, mannambad, mādur čāžand, keba kuenek čāžand.

Er **hört**, ein Vogel **kommt**, er sieht, der Held kommt, der kleine Schwager kommt.

(Castren, Lehtisalo, 1940, S. 321)

üŋgalž=ek	sūrup	čāža=nd=Ø
слушать=SUBJ:3SG	птица	идти=LAT.Pres=SUBJ:3SG
mannamba=d	mādur	čāža=nd=Ø
смотреть=OBJ:3SG	богатырь	идти=LAT.Pres=SUBJ:3SG
keba	kuenek	čāža=nd=Ø
маленький	зять	идти=LAT.Pres=SUBJ:3SG

‘Слушает он: птица **летит=кажется** (она), **смотрит** он: мадур (богатырь) **идёт=кажется** (он), младший зять **идет=кажется** (он).’

В наиболее раннем хронологически южноселькупском примере (16) представлены два полипредикативных эвиденциальных высказывания. В них один и тот же диктумный предикат *čāžand* ‘идет’, ‘движется’ употреблен в форме латентива и при глаголе слухового восприятия, и при глаголе зрительного восприятия в роли модусных предикатов. В первом случае по аналогии с северноселькупскими примерами (14), (15) логично предположить замену латентивом аудитива. Но в известном нам южноселькупском языковом материале прямых фактологических доказательств этого нет.

Отметим типологическую параллель приведенных селькупских данных с данными обско-угорского хантыйского языка, связанного с селькупским языком генетически и ареально-контактно. В ряде работ Н. Б. Кошкаревой выделены и описаны полипредикативные конструкции (дополнительные и подлежащие) с семантикой слуховой и зрительной засвидетельствованности. В них роль сказуемого модусной части выполняют финитные глаголы слухового и зрительного восприятия, а роль сказуемого диктумной части – инфинитные (причастные) по происхождению формы, которые в предикативном употреблении типично выражали семантику косвенной засвидетельствованности (см.: [Кошкарева, 1991, с. 103; 2004, с. 50–51]). По мнению М. И. Черемисиной и Н. Б. Кошкаревой, эти хантыйские формы в роли зависимых диктумных предикатов эвиденциальной семантики не выражали [Черемисина, Кошкарева, 2004, с. 783]. Но возможно, это было обусловлено их функционально-семантической эволюцией в направлении дальнейшей грамматикализации, вплоть до эвиденциальной десемантизации. На селькупском языковом материале тоже прослеживается процесс утраты диктумными предикатами эвиденциальной семантики.

В южноселькупских диалектах на их наиболее документированных хронологических срезах 1960-х – 1970-х гг. формы латентива модализованы и выражают семантику не косвенной эвиденциальности, а вероятностного предположения. Их употребление в роли сказуемого диктумной части рассматриваемых ПСЭВ окказионально. Типично в этой роли стали употребляться эвиденциально нейтральные формы индикатива, что иллюстрируется примерами (17), (18).

(17) сельк.

Печонж’от ünteldž’ulde куч’атта тук! тук! ында тѳ:шпа.

‘В полночь **слышит**: где-то тук! тук! **Слышит**: **идет** кто-то.’ (Дульзон, 1966, с. 117, 147)

пе=чонж’(о)=т	ünteldž’ul=de	куч’ат=та
ночь=середина=GEN.SG	слышать=OBJ:3SG	где=то
тук! тук!	ында	тѳ:шпа=Ø
тук! тук!	слышно	приходить=IND.Pres.SUBJ:3SG

(18) сельк.

Варг н'ен'ат ѓндъд'ет: пајага каипт авешпат.

‘Старшая сестра его **слышит**: старуха что-то (кого-то) **поедает**.’ (МЭ)

варг	н'ен'а=т	ѓндъд'е=т	пајага
большой	сестра=POSS: NOM.3SG	слышать=OBJ:3SG	старуха
каипт	авешпа=т		
что-то	съедать=IND.Pres.OBJ:3SG		

Таким образом, данные селькупского языка показывают, что вслед за утратой рассматриваемыми ПСЭВ дублированного указания на слуховой (акустический) источник информации диктумные предикаты этих ПСЭВ постепенно утратили и более абстрактную латентивную семантику косвенной эвиденциальности, стали эвиденциально нейтральными. Сенсорная эвиденциальная семантика слуховой засвидетельствованности стала выражаться только лексически – глаголами слухового восприятия, выполняющими роль сказуемого модусной части.

Выводы

Сопоставление в эволюционно-типологическом аспекте данных двух близкородственных самодийских языков – ненецкого и селькупского дает основание для выделения трех стадий эволюции полипредикативных сенсорно-эвиденциальных высказываний с семантикой слуховой засвидетельствованности.

Первая, диахронически ранняя стадия, выделяется по данным архаичного языка традиционного фольклора тундровых ненцев. На этой стадии главным средством связи модусной и диктумной частей рассматриваемых ПСЭВ служит их семантическая взаимозависимость: дублированное указание лексическими и морфологическими средствами слухового (акустического) источника информации:

а) лексической семантикой сказуемого модусной части, роль которого выполняет непереходный глагол слухового восприятия;

б) грамматической семантикой сказуемого диктумной части, роль которого выполняет сенсорно-эвиденциальная глагольная форма аудитива.

Выделенный семантический способ связи обозначен в статье термином «сенсорно-эвиденциальный плеоназм».

Вторая стадия эволюции рассматриваемых ПСЭВ выделяется по данным языка традиционного фольклора северных (тазовских) селькупов, документированного преимущественно в 1970-е гг. На этой стадии сенсорно-эвиденциальный плеоназм еще частично и остаточно сохранялся в ряде ПСЭВ, но даже в них перестал быть главным средством связи модусной и диктумной частей. Во-первых, в северноселькупских ПСЭВ, в отличие от ненецких ПСЭВ, роль сказуемого модусной части выполняли переходные глаголы слухового восприятия, причем в объектном спряжении. Это интерпретируется в статье как становление односторонней подчинительной связи модусной и диктумной частей. Во-вторых, в северноселькупских ПСЭВ, в отличие от ненецких ПСЭВ, аудитив в роли сказуемого диктумной части перестал быть облигаторным и, как правило, заменялся другой, более абстрактной семантически эвиденциальной формой – латентивом, не указывающим на слуховой (акустический) источник информации. Тем самым дублированное указание на данный источник информации утрачивалось в северноселькупских ПСЭВ. Но при этом в их диктумных частях оставалась морфологически выраженная латентивом семантика косвенной засвидетельствованности.

Третья, диахронически поздняя стадия эволюции рассматриваемых ПСЭВ выделяется по данным южноселькупских диалектов второй половины XX в. На этой стадии сенсорно-эвиденциальный плеоназм полностью утрачен и южноселькупские ПСЭВ стали типичными изъяснительными полипредикативными конструкциями с подчинительной связью. Слуховой (акустический) источник информации указывался только лексической семантикой глаголов слухового восприятия, вы-

полняющих роль сказуемого модусной части – главной предикативной единицы. А роль сказуемого диктумной части – зависимой предикативной единицы, как правило, выполняли формы индикатива, которые в южноселькупских диалектах второй половины XX в. были эвиденциально нейтральны.

Список литературы

Ильина Л. А. Язык традиционного фольклора в новом поколении учебников: архаичный тип селькупских полипредикативных изъяснительных предложений // Создание нового поколения учебников для высших учебных заведений по языкам коренных народов Сибири: Материалы Междунар. симпоз., 25–27 октября 2004 г., Новосибирск. Новосибирск, 2004. С. 46–57.

Ильина Л. А. Селькупская глагольная граммема «косвенной зрительной засвидетельствованности»: исключение или типологическая закономерность? // Сибирский филологический журнал. 2013. № 1. С. 152–159.

Козинцева Н. А. Категория эвиденциальности (проблемы типологического анализа) // Вопросы языкознания. 1994. № 3. С. 92–104.

Кошкарева Н. Б. Конструкции с инфинитивными формами глагола в хантыйском языке (на материале западных диалектов): Дис. ...канд. филол. наук. Новосибирск, 1991. 161 с.

Кошкарева Н. Б. Способы выражения модус-диктумных отношений в уральских языках Сибири (на материале хантыйского и ненецкого языков) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2004. Т. 3, вып. 1: Филология. С. 49–63.

Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В. Очерки по селькупскому языку (тазовский диалект). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. 407 с.

Прокофьев Г. Н. Селькупская грамматика. Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1935. 132 с.

Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык // Языки и письменность народов Севера. Ч. 1. М.; Л., 1937. С. 5–52.

Тереженко Н. М. Очерк грамматики ненецкого (юрако-самоедского) языка. Л.: Учпедгиз, 1947. 271 с.

Урманчиева А. Ю. Эвиденциальные показатели селькупского языка: соотношение семантики и прагматики в описании глагольных граммем // Вопросы языкознания. 2014. № 4. С. 66–86.

Урманчиева А. Ю. От имперфективности к эвиденциальности (на материале тазовского диалекта селькупского языка) // Тр. Ин-та лингвистических исследований. Изд-во Ин-та лингвистических исследований РАН. СПб., 2015. С. 199–220.

Хелимский Е. А. Селькупский язык // Языки мира: Уральские языки. М.: Наука, 1993. С. 356–372.

Черемисина М. И., Кошкарева Н. Б. Сложное и осложненное предложение в хантыйском языке // Черемисина М. И. Избр. тр. Теоретические проблемы синтаксиса и лексикологии языков разных систем. Новосибирск: Наука, 2004. С. 740–804.

Список источников

Дульзон А. П. Селькупские сказки // Языки и топонимия Сибири. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1966. С. 96–158.

МЭ – Материалы экспедиций 1960–1970 гг. под рук. А. И. Кузьминой.

НФ – Ненецкий фольклор / Сост. З. Н. Куприянова. Л.: Учпедгиз, 1960. 293 с.

ОЧСЯ – *Кузнецова А. И., Казакевич О. А., Иоффе Л. Ю., Хелимский Е. А.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 196 с.

Прокофьев Г. Н. Селькупская грамматика. Л., 1935. 132 с.

ФН – Фольклор ненцев. Новосибирск: Наука, 2001. 504 с.

ЭПН – Куприянова З. Н. Эпические песни ненцев. М.: Наука, 1965. 782 с.
Castren M. A., Lehtisalo T. Samojedische Volksdichtung. Helsinki, 1940. 350 S.
Lehtisalo T. Juraksamojedische Volksdichtung. Helsinki, 1947. 615 S.

Список условных обозначений и сокращений

1SG – личный аффикс 1-го лица единственного числа; **2SG** – личный аффикс 2-го лица единственного числа; **3DU** – личный аффикс 3-го лица двойственного числа; **3PL** – аффикс 3-го лица множественного числа; **3SG** – личный аффикс 3-го лица единственного числа; **нган.** – нганасанский язык; **нен.** – ненецкий язык; **сельк.** – селькупский язык; **энецк.** – энецкий язык; **ACC** – винительный падеж; **ABL** – отложительный падеж; **ADV** – наречие; **AUD** – форма аудитива; **CV** – деепричастие; **DAT** – дательный падеж; **DIM** – уменьшительный аффикс; **GEN** – родительный падеж; **IND** – индикатив; **LOC** – местный падеж; **NOM** – именительный падеж; **OBJ** – объектное спряжение; **Past** – прошедшее время; **PL** – множественное число; **POSS** – притяжательный аффикс; **Pres** – настоящее время; **PARTCL** – частица; **SG** – единственное число; **SUBJ** – субъектное спряжение; **VN** – глагольное имя; = – морфемный шов.

L. A. Ilyina

*Institute of Philology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Novosibirsk, Russian Federation, Ludil60@mail.ru*

Poly-predicative evidential utterances involving double marking of sensory perception source of information in North Asian languages

The paper for the first time identifies, analyzes, and comparatively studies poly-predicative sensory-evidential utterances of a specific, probably, archaic character. The research data were the traditional Nenets and Selkup folklore texts and language materials never represented earlier in the linguistic study under the question. The typologically significant feature of these sensory-evidential utterances is that the identical audio (acoustic) information source is doubly marked, with both lexical and morphological means being used. These are a modus lexical auditive verb predicate component and a grammatical dictum predicate component, involving grammaticalized and specially marked auditive morphological formants. The paper proves that mutual duplication of the audio (acoustic) information source indication using both lexical modus predicate semantics and grammatical dictum predicate semantics may appear to be a major and, probably, the only syntactic link of modus and dictum components in the diachronic retrospective.

Basing on the comparative study of the Nenets and Selkup language data in an evolutionarily typological aspect, the evolution of the sensory-evidential utterances is empirically identified, that is, their loss of the archaic syntactic linking means, denoted by the term “lexical and grammatical pleonasm,” and their transformation into poly-predicative syntactic complement subordination constructions.

Keywords: North Asian languages, sensory evidential lexemes, polypredicative sensory-evidential utterances, sensual and evidential pleonasm.

DOI 10.17223/18137083/67/18

References

Cheremisina M. I., Koshkareva N. B. Slozhnoye i oslozhnennoye predlozheniye v khandyyskom yazyke [The complex and expanded sentence in the Khanty language]. In: Cheremisina M. I. *Izbr. tr. Teoreticheskiye problemy sintaksisa i leksikologii yazykov raznykh system* [Selected works. Theoretical problems of the syntax and lexicology of languages of different systems]. Novosibirsk, Nauka, 2004, pp. 740–804.

Il'ina L. A. Yazyk traditsionnogo fol'klora v novom pokolenii uchebnikov: arkhaychnyy tip sel'kupskikh polipredikativnykh iz'yasnitel'nykh predlozheniy [Language of the traditional folklore in the new generation of manuals: archaic type of the of the Selkup poly-predicative sentences]. In: *Sozdaniye novogo pokoleniya uchebnikov dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy po yazykam korennykh narodov Sibiri: Materialy Mezhdunar. simpoz., 25–27 oktyabrya 2004 g., Novosibirsk*

[Creation of a new generation of textbooks for higher education institutions in languages Indigenous peoples of Siberia: Materials of the Intern. symposium. Oct. 25–27, 2004, Novosibirsk]. Novosibirsk, 2004, pp. 46–57.

Il'ina L. A. Sel'kupsкая glagol'naya grammema "kosvennoy zritel'noy zasvidetel'stvovannosti": isklyucheniye ili tipologicheskaya zakonomernost'? [Selkup verbal grammeme of "indirect visual evidence": an exception or typological regularity?]. *Siberian Journal of Philology*. 2013, no. 1, pp. 152–159.

Khelimskiy E. A. Sel'kupskiy yazyk [The Selkup (Ostyak Samoyed) language]. In: *Yazyki mira: Ural'skie yazyki* [Languages of the world: Uralic languages]. Moscow, Nauka, 1993, pp. 356–372.

Koshkareva N. B. *Konstruktsii s infinitivnymi formami glagola v khantyyskom yazyke (na materiale zapadnykh dialektov)* [The non-finite verbal constructions in the Khanty language (based on the Northern dialect materials)]. Cand. philol. sci. diss. Novosibirsk, 1991, 161 p.

Koshkareva N. B. Sposoby vyrazheniya modus-diktumnykh otnosheniy v ural'skikh yazykakh Sibiri (na materiale khantyyskogo i nenetskogo yazykov) [Ways of expressing modus-dictum relations in the Ural languages of Siberia (on the material of the Khanty and Nenets languages)]. *Vestnik Novosibirsk State Univ. Ser. History and Philology. Vol. 3, iss. 1, Philology*. 2004, pp. 49–63.

Kozintseva N. A. Kategoriya evidentsial'nosti (problemy tipologicheskogo analiza) [The category of evidentiality (problems of typological analysis)]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 1994, no. 3, pp. 92–104.

Kuznetsova A. I., Khelimskiy E. A., Grushkina E. V. *Ocherki po sel'kupskomu yazyku (tazovskiy dialekt)* [Essays on the Selkup language (Taz dialect)]. Moscow, MSU Publ., 1980, 407 p.

Prokof'yev G. N. *Sel'kupsкая grammatika* [The Selkup grammar]. Leningrad, Izd. Inst. narodov Severa TSIK SSSR, 1935, 132 p.

Prokof'yev G. N. Nenetskiy (yurako-samoyedskiy) yazyk [Nenets (Yurak-Samoyedic) Language]. In: *Yazyki i pis'mennost' narodov Severa. Ch. 1* [Languages and writing of the peoples of the North. Pt 1]. Moscow, Leningrad, 1937, pp. 5–52.

Tereshhenko N. M. *Ocherk grammatiki neneczkogo (yurako-samoedskogo) yazyka* [Essay on the grammar of the Nenets (Yurak-Samoyedic) language]. Leningrad, Uchpedgiz, 1947, 271 p.

Urmanchiyeva A. Yu. Ot imperfektivnosti k evidentsial'nosti (na material tazovskogo dialekta sel'kupskogo yazyka) [From imperfectivity to evidentiality (on the material of the Taz-river dialect of Selkup language)]. In: *Trudy Instituta lingvisticheskikh issledovaniy. Izd. Instituta lingvisticheskikh issledovaniy RAN* [Proceedings of the Inst. of Linguistic Studies. Publ. house of the Inst. of linguistic studies of the RAS]. St. Petersburg, 2015, pp. 199–220.

Urmanchiyeva A. Yu. Evidentsial'nyye pokazateli sel'kupskogo yazyka: sootnosheniye semantiki i pragmatiki v opisani glagol'nykh grammem [Markers of evidence in Selkup language: Correspondence of semantics and pragmatics in description of the verbal grammemes]. *Voprosy Jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 2017, no. 4, pp. 66–86.

List of sources

Castren M. A., Lehtisalo T. *Samojedische Volksdichtung*. Helsinki, 1940, 350 p.

Dul'zon A. P. Sel'kupskiye skazki [Selkup Tales]. In: *Yazyki i toponimiya Sibiri* [Languages and toponymy of Siberia]. Tomsk, TSU Publ., 1966, pp. 96–158.

Fol'klor nencev [Folklore of the Nenets]. Novosibirsk, Nauka, 2001, 504 p.

Kupriyanova Z. N. *E'picheskie pesni nencev* [Epic songs of the Nenets]. Moscow, Nauka, 1965, 782 p.

Kuznetsova A. I., Kazakevich O. A., Ioffe L. Yu., Khelimskiy E. A. *Ocherki po sel'kupskomu yazyku. Tazovskiy dialekt* [Essays on the Selkup language. Taz dialect]. Moscow, MSU Publ., 1993, 196 p.

Lehtisalo T. *Juraksamojedische Volksdichtung*. Helsinki, 1947, 615 p.

Materialy ekspeditsiy 1960–1970 gg. pod ruk. A. I. Kuz'minoy [Materials of Expeditions of 1960–1970 under the leadership of A. I. Kuzmina].

Nenetskiy fol'klor [Nenets Folklore]. Z. N. Kupriyanova (Comp.). Leningrad, Uchpedgiz, 1960, 293 p.

Prokof'yev G. N. *Sel'kupsкая grammatika* [The Selkup grammar]. Leningrad. 1935, 132 p.

УДК 81'371:512.19
DOI 10.17223/18137083/67/19

Е. Н. Афанасьева

*Политехнический институт (филиал)
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, Мирный*

Вербализация образа человека в якутском языке

Рассматриваются способы вербализации образа человека на материале якутского языка. На основе анализа лексического значения, производных форм и сочетаемости слова *киһи* 'человек' выявляются основные характеристики человека. По данным языка создается модель, основу которой составляют черты эпических персонажей и современного человека. Гендерная маркированность и национальная идентичность являются обязательными характеристиками героев эпоса-олонхо. В целом в картине мира якутского языка представлен синкретический образ, объединяющий свойства эпического (языческого) человека и современника, принявшего черты христианского мировосприятия.

Ключевые слова: якутский язык, образ человек, значение слова, сочетаемость, вербализация, концептуальный признак.

Целью настоящей работы является моделирование образа человека по данным якутского языка. Анализ ограничивается именем существительным *киһи* 'человек' (мн. ч. *дьон* 'люди') и его производными. Для создания более полного вербального образа рассматриваются этимология, лексическое значение слова, его словоизменительный и словообразовательный потенциал, парадигматические и синтагматические связи основной номинации. Материал собран из лексикографических источников, художественной литературы, республиканских газет «Кыым», «Эдэр саас», литературного журнала «Чолбон» и интернет-сайтов.

Лексическое значение слова *киһи* и его употребление

В мифологии якутов человек представлен как дитя среднего мира. В трехъярусной структуре мироздания он занимает свое место между верхним и нижним мирами. Подобные сведения о сотворении мира и человека содержат Орхонские надписи VIII в. в Монголии: «*Ўзä кöк тэңгэ асра јабыз јір кылынтукда, äкiн ара кiсi оҕлы кылынмыс*» (Большая надпись) [Малов, 1951, с. 28] 'Когда сотворено

Афанасьева Евдокия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры английской филологии Политехнического института (филиала) Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (ул. Тихонова, 5/1, Мирный, 678174, Россия; lukow@mail.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Е. Н. Афанасьева, 2019

(или возникло)верху голубое небо (и)внизу темная (букв.: бурая) земля, между (ними) обоими были сотворены (или возникли) сыны человеческие (т. е. люди)’ [Там же, с. 36]. Древнетюркская форма *kiši* имеет следующие значения: 1) человек, человеческий, 2) жена, производная форма *kišilik* человечность, ср. *kis* I, *kišilik qıl-* поступать человечно [ДТС, с. 310]. В современном якутском языке в структуре слова *киһи* произошли некоторые семантические и функциональные изменения: I. 1) человек, 2) близкий, знакомый, 3) разг. любовник, 4) разг. муж. II. 1) в значении местоимения я, он, 2) кто-то, некто [БТСЯЯ, с. 164].

В контексте слово актуализирует следующие значения:

1. Абстрактный человек, человек вообще: *Киһи барахсан кыраба да сөп буолар* [Лугинов, 2000, с. 194] ‘Человеку, бедняге, надо мало’; *Кыһалба кыһайдабына киһи туюхха бабарар үөрэнэр* [Там же, с. 211] ‘Если заставит нужда, человек научится всему’.

2. Конкретный человек. Будучи центром атрибутивного сочетания, слово *киһи* сохраняет свою семантику, а определяющий элемент конкретизирует ее. В словосочетании *эр киһи* ‘мужчина’ компонент *эр* имеет самостоятельное значение ‘муж’, ср. древнетюркский *er*: *Дьахтар айылбатынан наар эр киһиэхэ үчүгэй буоллун диэн саныыр*. Л. Попова [Чолбон, 2015, с. 18] ‘Женщина по своей природе всегда думает о том, чтобы мужчине было хорошо’. Свободные словосочетания, в которых первый компонент выполняет атрибутивную функцию, показывают возраст, пол и другие признаки человека, например: *оҕо киһи* ‘молодой человек’ (ребенок + человек), *дьахтар киһи* ‘женщина’ (женщина + человек), *оҕонньор киһи* ‘пожилой человек’ (старик + человек), *эмээхсин киһи* ‘пожилая женщина’ (старуха + человек). *Кырдыбас киһи буолан удьуора быстыбакка салҕаныан бабарар*. Попова Л. [Там же] ‘Как человек в преклонном возрасте он хочет, чтобы его род продолжался, не прерываясь’; *Бэйэтэ саастаах, оҕонньор киһи*. И. Колосов (Кыым¹, 02.05.2010) ‘Сам он в возрасте, пожилой человек’; *Аба киһи санаата туолан иһигэр үөрүүтэ сүрдээх*. Л. Попова [Чолбон, 2015, с. 20] ‘Как отец он полон тихой радости от того, что мечта его сбылась’.

Атрибутивные сочетания с причастием на *-быт* выражают действие или состояние субъекта. *Эн таһырдыаттан кирибит киһи кэпсээнин?* Л. Попова [Там же, с. 21] ‘Что ты расскажешь, человек, зашедший с улицы?’; *Туран кэнээбит киһи быһыытынан дьиэтигэр барда*. Л. Попова [Там же, с. 20] ‘Встав, как успокоившийся человек пошел домой’. В некоторых случаях употребляется форма с аффиксом *-лыы* с компаративным значением *киһилии* ‘подобно человеку, как человек’: *Аанга кэлэн, саараабыт киһилии тохтоон турар* У. Харалы [Там же, с. 12] ‘Подойдя к двери, он останавливается словно неуверенный человек’.

3. В модальных сочетаниях, обозначающих состояние человека, выполняет функцию безличного местоимения: *Киһи да кыбыстар... Хайыахпытый?* У. Харалы [Там же] ‘Стыдно... Что поделаешь?’ букв.: ‘человеку стыдно’; *Киһи дьиксиниэбэ элбэх* [Лугинов, 2000, с. 62] ‘Есть много настораживающего (человека)’.

4. В некоторых конструкциях с аффиксом принадлежности становится показателем личного местоимения: *Бу киһиң өйүн-мэйиитин! Киһиң холкутун көр!* [Амма Аччыгыйа, 1994, с. 102] ‘Смотри-ка, какой он умный! Смотри-ка, как он спокоен!’, букв.: ‘твой человек’. В форме винительного падежа также может заменить местоимение: *Хата киһини куттаата* [Там же, с. 199] ‘Ты меня напугал’, букв.: ‘человека напугало’; *Киһини кыһырдан, арааһы саңардан эрэбин...* [Там же, с. 91] ‘Разозлив меня, ты сам напрашиваешься на резкие слова’, букв.: ‘разозлив человека’.

¹ Кыым: Якутская республ. общест.-полит. еженед. газ. URL: <http://www.kuym.ru> (дата обращения 10.09.2016).

5. В сочетании с причастием на *-быт* и именными основами с аффиксом *-лаах* является средством выражения модальности желания. В данном случае лексическое значение утрачивается: *Баран көрбүт, кэпсэппит киһи...* Улдбаа Харалы [Чолбон, 2015, с. 10] ‘Хорошо бы сходить, посмотреть и поговорить...’; *Итинник балтылаах киһи барытыгар бишгэ сылдыллыа этэ, көмөлөсүһэн, ардыгар мөккүһэн...* О. Гаврильева-Айсана [Там же, с. 30] ‘Если бы у меня была такая сестра, то везде мы были бы вместе, помогали бы друг другу, иногда и спорили бы...’

Синонимы

Синонимический ряд слова состоит из фольклорных перифраз, которые встречаются в эпических поэмах и в торжественной речи: *икки атах* (*икки атахтаах*) ‘двуногий’, *орто дойду оҕото* миф. ‘дитя среднего мира’, *ураанхай саха* ‘якут урянхаец’. Наряду с основной номинацией, лексическая единица *икки атах* (*икки атахтаах*) является самой употребительной: [Үрүң Аар тойон]: *икки атах инники кэскилин бэйэтэ алдьатар* [Кондаков, 2014, с. 192] ‘[Господин Юрюнг Аар]: двуногий сам разрушает свое будущее’. Постоянным эпитетом человека в эпосе-олонхо служит формульное выражение: *Арбаһыттан тэһииннээх, иннинэн сирэй-дээх, устаты муруннаах ураанхай саха* [Ойуунускай, 2003, с. 16] ‘Якут урянхаец, имеющий поводья на спине, лицо, направленное вперед, с прямым носом’.

Значение ‘человечество, человеческий род’ передается словосочетанием *киһи аймах* (от имен существительных *киһи* ‘человек’ + *аймах* ‘род’, ‘родня’, ‘родственники’). В эпических сказаниях используются синонимы: *айыы аймаҕа* ‘племя айыы’, *үс (түөрт) саха* ‘якуты’ (от имен числительных и этнонима *үс* ‘три’, *түөрт* ‘четыре’ + *саха* ‘якут’). *Үс саханы үөскэтэргэ ыйыллыбыт, түөрт саханы төрөтөргө төлкөлөммүт Саха Саарын тойон* [Там же, с. 46] ‘Господин Саха Саарын, предопределенный для зачатия трех якутов, для рождения четырех якутов’. В фольклоре понятие человека связано с национальной идентичностью.

В разговорной речи употребляются формы с оттенками пренебрежения, уничижения и с уменьшительно-ласкательным значением: а) заимствование *дууһа* от русского «душа»: *Бу дууһа хантан өйдөөх буолуой?* [Амма Аччыгыйа, 1994, с. 132] ‘Разве этот человечешко может быть разумным?»; б) производные варианты *киси*, *дууса* с чередованием *h > c*: *Оо, дьэ киси да бөбө үөскүүр эбит!* [Там же, с. 233] ‘М-да, плодятся же разные людишки!'; в) аффиксальные образования *киһийдэх пренебр.* ‘человечешко’, *киһичээн* уменьш.-ласк. ‘человечек’; г) аналитические формы с уменьшительно-пренебрежительным значением *киһи дуома*, *киһи элээскэтэ* ‘человечешко (слабый, немощный)’ [ГСЯЛЯ, с. 113], в то же время возможен перевод ‘человечек, горе человек’. Л. Н. Харитонов объясняет происхождение частицы от слова *дуом* ‘обряд, церемония, обыкновение’, а слово *элээскэ* как производное от глагола *элэй-* ‘стачиваться, стираться, изнашиваться’ [Там же]. Э. К. Пекарский зафиксировал слово *älämä* ‘отрепье, обносок’ [Пекарский, 1958, т. 1, с. 241], т. е. *элээмэ*, а форма *элээскэ* с добавлением суффикса *-ик-* является результатом влияния русского языка. На наш взгляд, частица *дуом* по своей семантике ближе к монгольской основе *тобог* ‘труха, мелочь’, ср. якутское *тобох* ‘объедки, остаток’. Эти обозначения могут быть следствием сословного различия и выражают высокомерное отношение привилегированной части общества к представителям низших слоев.

Концептуальные признаки человека

В результате анализа лексического значения, деривационного и сочетаемостного потенциала слова *киһи* выявлены основные концептуальные признаки изу-

чаемого объекта. Человек обладает как положительными, так и отрицательными свойствами, однако он стремится к идеалу благородства и совершенства.

Благородный человек. В языке олонхо сохранилось много слов, обозначающих и характеризующих человека. По сюжету победителем выходит благородный человек *айыы киһитэ* ‘человек светлого Среднего мира, сотворенный и покровительствуемый божествами Верхнего мира; человек от бога, добрый человек’ [БТСЯЯ, с. 164]. Человек с добрыми помыслами приравнивается к святым и является образцом гуманности, добродетели и мужественности: *киһи кинээһэ* ‘самый лучший’, букв.: ‘князь среди людей’ от русского «князь». *Киһи кинээһин, килбиэннээх бэрдин, үөһээ үтүөтүн, үөрэхтээх бастыңын Сээркээн Сэһэн обонньору... орто туруу дойдуга олохтообуттара эбитэ үһү* [Ойуунускай, 2003, с. 20–21] ‘Лучшего из людей, доблестного, выдающегося из верхов, образованнейшего старика Сээркээн Сэсэн... поселили на срединную землю’. Согласно мифологии человечество (*ураанхай саха*) берет свое начало от небожителей солнечного мира: *күн улууһа, айыы аймаҕа* ‘солнечный улус, род божеств айыы’. *Күн улууһун көмүскэтэ, айыы аймаҕын араҥаччылата... Дьулуруйар Ньургун Боотур диэн... бухатыыр киһини киллэрбиттэрэ эбитэ үһү* [Там же, с. 56] ‘Для защиты солнечного улуса, для спасения племени айыы отправили богатыря по имени Стремительный Ньургун Боотур’. Такие основные характеристики благородного человека, как доброта и готовность к защите, выражены в формуле: *айыы киһитэ аһыныгас, күн киһитэ көмүскэс* ‘человек айыы жалостлив, человек солнца – заступник’: *Айыы киһитэ үтүө санаанан сирдэтинэн, амарах быһыынан арыалдьыттанан аһыныгас буолар* [Кондаков, 2014, с. 76] ‘Человек айыы, руководимый добрыми помыслами и состраданием, жалостлив’. Антиподом *айыы киһитэ* является *абааһы киһи* ‘скверный, дурной человек’, букв.: ‘человек-бес’ [БТСЯЯ, с. 164], обладающий худшими качествами. С аксиологической точки зрения оценки «хорошо» и «плохо» в современном языке выражаются нейтральными словосочетаниями-антонимами *үчүгэй киһи* ‘хороший человек’ и *куһаҕан киһи* ‘плохой человек’: *Бу кэпсэнэр Порфирий Коноваловы үчүгэй да, куһаҕан да киһи диэн быһаччы сыана быһар кыах суох.* И. Колосов (Кыым, 02.05.2010) ‘О Порфирии Коновалове, о котором рассказывают здесь, я не могу прямо сказать хороший он или плохой’. Как показывает материал, благородство, сострадание и заступничество являются важными характеристиками эпического человека, который противостоит силам зла, скверным, дурным людям-бесам.

Человек – совершенное существо. Слово *киһи* имеет ярко окрашенную гендерную маркированность; главная роль в жизни отводится к мужчине: [*Аар Тойон*] *Аан дойду айыллыабыттан, киһи-аймах сиргэ үөскүөбүттэн, айар-тутар, салайар күүһүнэн эр киһини анаабыта* [Кондаков, 2014, с. 79] ‘Со времен сотворения мира и появления человеческого рода [Аар Тойон] наделил мужчину созидательной и правящей силой’. Многие устойчивые сочетания, выражающие высшую степень похвалы, относятся к мужчине:

Киһи бэрдэ (=эр бэрдэ) ‘лучший, настоящий человек (мужчина); смельчак, удалец, добрый молодец’ [Нелунов, 2002, с. 402]; *Дабаан, эр бэрдэ, өр гыныа дуо, өтөр икки хоңор хааһы тутан кэллэ* [Лугинов, 2000, с. 160] ‘Дабан, молодец, долго не задержался, вскоре вернулся с двумя дикими гусями в руках’.

Киһи (киэнэ) киһлэ ‘человек-кремьень’ [Нелунов, 1998, с. 223]; *Биһигиттэн [хайыһардьыттартан] үүнүбэ киһи киэнэ киһлэ, ньургуна.* И. Федосеев [БТСЯЯ, с. 61] ‘Из нас [лыжников] вырастут крепкие люди, лучшие из лучших’.

Киһи кэрэмэһэ ‘человек, который выделяется среди других своими положительными качествами’ [Нелунов, 1998, с. 223], ‘прекрасный во всех отношениях человек’ [БТСЯЯ, с. 166]. По всей видимости, слово *кэрэмэс* восходит к древнетюркской основе: *kārām* ‘благородство, великодушие’, *kārim* ‘великодушный, милостивый, щедрый’ [ДТС, с. 290]. Сочетание часто встречается в заголовках ста-

тей о замечательных людях, например: И. Портнягин «Киһи кэрэмэхэ, саха саа-рына» (заголовок статьи о фольклористе И. В. Пухове в газете «Саха сирэ» – 26.06.1998); название сборника «Киһи кэрэмэхэ» (1999), посвященного памяти якутоведа М. А. Чоросова.

Человек в расцвете сил предстает как полноценное существо *сиппит-хоннут киһи* ‘зрелый человек’. *Оттон киһи быһыытынан ситэн-хотон тахсарбар улахан өңөлөөх киһинэн кылааһым салайааччыта Василий Семенович Яковлев-Далан буолар.* Е. Борисов (Эдэр саас², 21.08.2002) ‘А в моем становлении как человека большую роль сыграл мой классный руководитель Василий Семенович Яковлев-Далан’. Быть человеком – это значит состояться в жизни, при помощи служебного глагола *буол-* ‘быть’ образуется глагольная форма *киһи буол-* ‘быть, становится человеком’: *Киһи буолуох киһи буоллахпына, саха буолуох саргылаах буоллахпына... сирэм маңан аартыгым, силэлэн кулу!* ‘Если мне суждено стать человеком и состояться как якут, откройся щедрая, белая путь-дорога моя!’ [Ойуунускай, 2003, с. 37] Право быть человеком нужно заслужить, настоящий человек закаливает свою волю: *Мин даҕаны кэннибинэн кэхтибэт киһи буолубум...* ‘И я тоже стану человеком, не способным пятиться назад’ [Там же, с. 289]. В то же время существует вера в предопределенность судьбы, при помощи отглагольного имени существительного *оңоһуу* (от *оңор-* ‘делать’) ‘предопределение’ с аффиксом *-лаах* образуется сочетание *киһи буолар оңоһуулаах* ‘ему предназначено стать человеком’.

Дети – это будущее, в них следует воспитывать лучшие качества: *Киһи буолан килбэйиэ этэ, саха буолан сандаарыа этэ диэннэр* [Там же, с. 23] ‘В надежде, что он будет процветать как человек и блистать как якут’. При помощи причастия на *-ых* глагола *таҕыс-* ‘выходить’ образуется сочетание, выражающее предположение о будущем толкового ребенка: *киһи тахсыах оҕото* ‘из него получится хороший человек (о ребенке)’ [БТСЯЯ, с. 167], т. е. ‘из него выйдет толк’. Отсутствие этого значения у глагола *таҕыс-* в «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского подтверждает его более позднее появление под влиянием русского языка. Человека можно формировать и перевоспитывать: *киһи гын-* (варианты *киһи-хара гын-* (*оңор-*)) ‘вывести в люди, взрастить’ [БТСЯЯ, 2007, с. 168]. *Эн иитиэхтээн киһи гыммыт оҕолорун бүгүн кэйээр баһылыктара буоллулар* [Лугинов, 2000, с. 76] ‘Дети, которых ты взрастил, сделал из них людей, стали сегодня владыками степи’. Служебный глагол *гын-* ‘делать’ с аффиксом *-ма* (*-ыма*) образует отрицательную форму 3-го лица *гыныма-*, например: *киһи гыммат (онгорбот)* ‘легко одолевать, побеждать кого-что-л., ему он не соперник’ [БТСЯЯ, 2007, с. 165], т. е. свести соперника на нет. На состязаниях выявляются сильнейшие борцы, а побежденный в единоборстве словно перестает быть человеком: *Кини куустээх улахан тустуук, миигин киһи гыммат* [Там же] ‘Он сильный, большой борец, меня легко одолевает’.

Человеку свойственны слабые стороны. *Киһи буолан баран ким киэң көхсө кыараабатай?* [Ойуунускай, 2003, с. 197] ‘Человек есть человек, и он впадает в отчаяние’, см. фразеологизм *киэң көхсө кыараата*, букв.: ‘спина его сузилась’ [Нелунов, 1998, с. 227]. Противоречивость натуры ставит его перед выбором, он мог бы или хотел бы совершать проступки, однако в его силах сдержаться. Устойчивое сочетание *киһи эрэ буоллар* выражает противительно-уступительную оценку высказываемой мысли (‘все же, все-таки’) [БТСЯЯ, с. 173], букв.: ‘будучи человеком’: [Харсаанай] *Сири хастарары, киһи эрэ буоллар, аһыыргыыр* [Кондаков, 2014, с. 215] ‘[Карсанай] Все-таки он не берет греха на душу раскапывать землю’. Человек – *айылба оҕото* ‘дитя природы’ и разрушение окружающей сре-

² Эдэр саас: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия). URL: <http://old.sakha.gov.ru> (дата обращения, 01.10.2016).

ды считается грехом. Сочетание *айылба обото* можно считать калькой из русского языка. В словаре Пекарского нет слова *айылба* ‘природа’, оно обнаруживается в терминологическом словаре П. Ойунского [Ойуунускай, 1993, с. 313]. Очевидно, термин был создан в советское время. Примечательно и то, что основоположник якутской литературы А. Е. Кулаковский в поэме «Байанай алгыһа» («Благословение Байаная»), написанной в 1900 г., не употребил слова *айылба*, вместо него упоминаются имена существительные *тыа* ‘лес’, *хайа* ‘гора’. Казалось бы, благословение обращено к силам природы.

Нравственная деградация личности неприемлема; опустившийся человек вызывает презрение: *киһи аатыттан ааспыт* ‘стал недостойным носить имя человека’; *Кырдьык даҕаны киһи аатыттан ааһар суолга үктэнним дуо, бу?* П. Аввакумов [БТСЯЯ, с. 164] ‘Неужели, правда, я ступил на путь саморазрушения?’

Свои требования к качествам человека диктовали и суровые климатические условия. Первой необходимостью для обеспечения жизни была физическая сила; немощного, тяжелобольного человека называют с сочувствием *киһи анаара* ‘инвалид’ букв.: ‘полчеловека’: *Баламаатап кэргэнэ баралыыстаан, киһи аңаара буолан сытарын Очуурап бэркэ диэн билэрэ*. Н. Якутский [БТСЯЯ, с. 165] ‘Очуров хорошо знал, что жена Баламатова лежала парализованная, стала инвалидом’.

Человек противоречив, но у него есть выбор – остаться человеком или нет. Физический недостаток вызывает сочувствие, а нравственная распушенность – осуждение. Заимствования из русского языка свидетельствуют о роли христианизации и русской культуры на формирование представления о человеке.

Человек – эталон. В воспитании детей некоторые выражения употребляются в качестве установки: «1) “Оҕо киһи хара буолуохтаах”, т. е, ребенок должен выжить и иметь навыки самообслуживания; 2) “Киһи киһитэ буолуохтаах”, ребенок должен адаптироваться, пройти успешную социализацию в обществе; 3) “Киһилээх киһи буолуохтаах”, своими человеческими качествами должен стать лидером в обществе». А. Соловьева (сайт «Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия)», 08.11.2013)³.

Все вышеприведенные глаголы образованы при помощи причастия глагола *буол-* с аффиксом *-ыхтаах*, которое показывает будущее время должностного наклонения: *киһи хара буолуохтаах* ‘должен состояться как человек’, *киһи киһитэ буолуохтаах* ‘должен быть человеком для людей’, *киһилээх киһи буолуохтаах* ‘должен быть в окружении людей’. Значения последних двух словосочетаний представляют человека как члена общества; подчеркивают необходимость социальных связей.

Человек стремится к норме поведения, приемлемой обществом, должен соответствовать общепринятым требованиям. Семантика некоторых единиц мотивирована значениями сочетающихся слов. Форма послелога может повлиять на изменение значения словосочетания. Рассмотрим сочетания имени существительного *киһи* (мн. ч. *дьон*) с разными формами имени прилагательного *тэң* ‘равный, одинаковый’: адвербиализованной формой в орудном падеже *тэңинэн*, в дательном падеже *тэңэ* в значении ‘вровень, ровно, наравне’ и послелогом *тэңэ* ‘подобно, как, наряду с’ в форме основного падежа с притяжательным аффиксом [ГСЯЛЯ, с. 161, 349, 363, 425]. При помощи данных форм выражается компаративное отношение, например: *киһи (дьон) тэңинэн сырыт (олор)*, *дьону кытта тэңэ*, *киһи (дьон) тэңэ* ‘быть (жить) как человек (люди), наравне с людьми’: *Кини кылааспыт оҕолоро бу сааспытыгар диэри дьон тэңинэн олорон, үлэлээн, олоххо көңүл позициялаах буоларбытыгар улахан сабыдыаллаах*. Е. Борисов (Эдэр саас, 21.08.2002) ‘Он оказал большое влияние на моих одноклассников, несмотря на солидный возраст, до сих пор мы все живем и работаем

³ <http://old.sakha.gov.ru> (дата обращения 12.06.2016).

наравне с людьми, имеем собственную позицию в жизни'. Отрицательная форма *тэңэ суох* 'не ровный, не равный' в составе устойчивого сочетания *киһи* (*сах*) *тэңэ суох* (*тутун, санан*) реализует значение 'высокомерно, надменно' [Нелунов, 2002, с. 108], букв.: 'не подобающе человеку (якуту)': *Манна Дьамыыха нүкэрдэрэ киһи тэңэ суох дьон кэлэн ааспыттара* [Лугинов, 2000, с. 89] 'Здесь проезжали молодчики Джамухи, в высокомерии им нет равных'. Норма поведения основывается на потребности в равенстве. Высокомерие и надменность не являются эталонными качествами.

Сочетания с послелогоми, образованными от имени существительного *тас* 'внешняя сторона', передают значение 'сверх меры'. При помощи формы орудного падежа *таһынан* 'вне, сверх' и наречия *таһыччы* 'сверх меры' создается образ человека, выделяющегося на фоне остальных какими-либо качествами. Неодобрительное выражение *киһиттэн таһынан* употребляется, когда поступок человека выходит за рамки нормы: *Кэпсээн абыран. Эйиэнэ барыта киһиттэн таһынан...* О. Гаврильева-Айсана [Чолбон, 2015, с. 29] 'Бесполезно тебе рассказывать. У тебя все не как у людей...' Сила, ум и талант выдающейся личности вызывают восхищение и одобрение: *киһиттэн (эрэ) таһыччы* 'человек, обладающий сверхчеловеческими способностями'. Синонимы *атын, ураты* 'другой, отличный' придают сочетание и положительный, и отрицательный смыслы *киһиттэн (эрэ) ураты (атын)* 'не похоже на человека', т. е. его способности выходят за рамки обыденного представления: [*Саха Саарын тойон*] *Сахаттан эрэ саар ордуктук, киһиттэн эрэ кириэс урдуктук, урааҥхайтан эрэ ураты улаханньык сананна даҕаны, саҥарда даҕаны* [Ойуунускай, 2003, с. 46]. [Господин Саха Саарын] и почувствовал себя величественнее якута, на порядок выше человека, намного больше чем урянхаец и заговорил он так же'.

Имя существительное *киһи* является одной из самых продуктивных производящих основ. Глагол и наречие, образованные способом присоединения аффиксов *-лыы, -тый*, создают образ идеала – воплощения моральных и этических норм. Основу семантики глагола *киһитий*- составляют денотативное значение имени существительного и значение аффикса *-тый* как носителя признака уподобления: 'очеловечиваться, принимать человеческий облик; стать человеком, выйти в люди; образумиться; оправиться от тяжелой болезни': *Ойох ыллар, баҕар, өйүнтөйүн булунан киһитийиэх этэ*. П. Ойуунускай [БТСЯЯ, с. 176] 'Когда женится, может, образумится, станет человеком'.

Производное наречие *киһилии* 'подобно человеку, по-человечески, гуманно, достойно' сочетается с именем *киһи* и с глаголами, выражающими деятельность и поведение человека. С этой точки зрения человек является образцом гуманного отношения к окружающим, т. е. *киһилии киһи* 'порядочный человек' букв.: 'человечный человек': *Айылҕа сокуоннарын ким билэ сатыыр, айылҕаны харыстыыр, тупсара, байыта сатыыр, ол буолар киһилии киһи диэн* [БТСЯЯ, с. 174] 'Человечный человек – это тот, кто пытается познать законы природы, бережет окружающую среду, стремится улучшать и обогащать ее'. Сочетания с глаголами входят в состав практических наставлений: *киһилии сыһыаннас*- 'относиться гуманно к чему-либо', *киһилии кэпсэт*- 'разговаривать серьезно, с достоинством, говорить понятно', *киһилии үлэлээ*- 'работать добросовестно', *киһилии олоҕор* 'жить по-человечески', *киһилии быһыылан* 'поступать гуманно, вести себя по-человечески', *киһилии сырыт* 'вести себя хорошо'. Ясная и выразительная речь вызывает одобрение: [*Олоҕхоһут*] *Киһилии кэпсиэн кэҕийбитинэн кирирдэ, сахалыы саҥаран саймаһыппытын барда* [Ойуунускай, 2003, с. 39] '[Сказитель] начал он рассказывать по-человечески, заговорил он по-якутски протяжно'. Во взаимоотношении людей человечность – необходимое качество: *Киһилии кэпсэтэн, сүүһүттэн өйөһөн сүбэлэһэр буолара эбитэ үһү* [Ойуунускай, 2003, с. 145] 'Говорят, [он] советовался, разговаривал по-человечески душа в душу'. Наречие *киһилии* приоб-

ретаат значение нормы: *Ол барыта нус-хас, киһилии холку олобу билэ илигиттэн* [Лугинов, 2000, с. 74] ‘Это все оттого, что он еще не знает по-человечески нормальную, спокойную жизнь’. Таким образом, форма *киһилии* актуализирует следующие смыслы: ‘хорошо говорить’, ‘уметь найти общий язык с другими людьми’, т. е. проявить человечность, ‘нормально жить (как все люди)’. Достойный человек выступает в качестве эталона гуманного отношения к окружающему миру. Он становится мерилем моральных и нравственных норм.

Устойчивые изафетные сочетания дают дополнительную характеристику. Человек, утративший авторитет в глазах других людей, вызывает пренебрежительное отношение: *киһи билэр киһитэ* пренебр. ‘известный своими недостатками человек, с ним все ясно’, букв.: ‘всем известный человек’, *киһи аахсыбат киһитэ* ‘человек, с которым не считаются’: *Сараанап дабаны киһи билэр киһитэ этэ, билигин киһилдыйэлээх атыһыт буолан төһө да наһаа кизэбирбитин иһин*. Н. Якутскай [БТСЯЯ, с. 165] ‘Знали мы раньше, кто такой этот Саранов, это сейчас он ходит гоголем, став купцом гильдии’. Отрицательная форма *ким билбэт киһитэ* буолан букв.: ‘кто его не знает как человека’ также дополняет образ: *Уот Уһутаакы уһун сордоох, ким билбэт киһитэ буолаңнын үрдүк халлааны үөгүлэтэ оонньоотуң!* [Ойуунускай, 2003, с. 206] ‘Бедняга Уот Усутаакы, кто ты такой, чтобы нарушить покой высокого неба!’ Недостойный человек не заслуживает внимания: *Ити баҕайыны тытытыма, тукаам, киһи аахсыбат киһитэ* [БТСЯЯ, с. 164–165] ‘Сынок, не трогай его, окаянного, не надо с ним считаться’. Фразеология богата обозначениями непутевого человека, например: *халлаан киһитэ* разг. ‘неприспособленный к жизни человек’, букв.: ‘человек неба’: *Мойот ыттары сатаан салайбат, халлаан киһитэ*. Т. Сметанин [Нелунов, 2002, с. 324] ‘Мойот не умеет управлять собаками, непутевый человек’.

Свой. В языке определена граница между понятиями «свой» и «чужой». В тексте олонхо встречаются обозначения чужака: *омук* ‘чужестранец, иностранец’, *татаар тыллаах* ‘татароязычный’. *Оҕоң барахсаны омук курдук көрдүң...* [Ойуунускай, 2003, с. 192–193] ‘На дитё свое смотришь как на чужую...’; *Саала-ахтан самныма, оҕо сааскар охтоохтон охтума, уоттаах харахтаах утары көрбөтүн, татаар тыллаах таба эпэтин!* [Там же, с. 199] ‘Не погибай от ружья, не падай в молодости от стрелы, пусть огнеглазый не смотрит прямо в глаза и не заговорит татароязычный’. Между близкими людьми существуют доверительные отношения. Это значение передается сочетанием личного местоимения 1-го лица и имени существительного с аффиксом принадлежности *биһиги киһибит* ‘наш человек, один из нас’. Обозначение *бэйэ киһитэ* ‘свой человек’ является поздним образованием, заимствованным из русского языка, так как встречается только в современных текстах. *Семен Иванович артыал дьонугар бэйэ киһитэ буолбута ыраатта*. Н. Якутскай [БТСЯЯ, с. 164] ‘Среди артельщиков Семен Иванович давно стал своим человеком’. «Свой» противопоставляется «чужому»: *атын (туора) киһи* ‘другой, чужой человек’: *Оҕонньор үрэх ортотугар устан кэлэн иһэн, дьыэтин таһыгар туора дьон баалларын билбит уонна турбутунан эрдинэн тиийэн кэлбит*. И. Колосов (Кыым, 02.05.2010) ‘Приблизившись к середине реки, старик узнал, что возле его дома есть чужие люди, и, стоя на лодке, приплыл к ним’.

Разговорный язык содержит много лексических единиц, обозначающих категории людей, стоящих вне социума: *кэли киһи* (дьон) ‘приезжий человек’, *хаамайы киһи* ‘бродяга’, *устугас киһи* ‘временщик’, *илэчиискэ* ‘бездельник’. *Кэли дьон, омуктар булугастара-сатабыллара, ардыгар киһи дыктиргизэн да курдук эбит*. С. Алексеев (Кыым, 20.05.2011) ‘Находчивость и изворотливость приезжих людей, чужеземцев иногда действительно удивляет’; *Кини киһи хайаан этэ быста сылдьар хаамайы түөкүңнэ дылы, уонча эрэ киһилээх сылдьыай?* [Амма Аччыгыйа, 1994, с. 92] ‘Как он, собственной персоной, словно какой-то нищий бро-

дяга-разбойник может быть в окружении только десяти человек?» Имя прилагательное *устугас* ‘плавучий’ имеет переносное значение ‘часто меняющийся место работы, летун’; *устугас үлэһит* ‘летун’⁴; ‘временщик’. *Сайынны сынньаланнар кэмнэригэр оскуола оҕолоро мэнээк таһырдыа хонтуроола суох илэчиискэ сылдьыбаттарын бэрэбиэркэлиир наадалаабын Ис дьыала министириэ Рашид Нургалиев эттэ* (Кыым, 09.06.2010) ‘Министр внутренних дел Рашид Нургалиев сказал о необходимости проверки занятости детей, чтобы во время летних каникул школьники не ходили без дела и контроля’. Такие качества, как непостоянство и ненадежность, не приветствуются.

Эмоциональная личность. Эмоции, свойственные человеку, передаются модальными сочетаниями с компонентом *киһи*. При этом, как пишет Н. Е. Петров, имя существительное *киһи* выступает как название абстрактного субъекта действия: «...с причастиями будущего времени глаголов чувственного восприятия, содержащих в своей семантике абстрактную возможность, слово *киһи* образует модальные сочетания» [Петров, 1988, с. 161]. Модальные сочетания с компонентом *киһи* выражают различные эмоции: радость – *киһи үөрүүх*, умиление – *киһи таптыах* эрэ курдук, восхищение – *киһи сөгүүх*, желание – *киһи ымсыырыах*, жалость – *киһи аһыныах*, страх, ужас – *киһи этэ салаһыах*, мучение – *киһи тыына хааттарыах*, досаду – *киһи абарыах* (абаккарыах), *киһи кыһыйыах*, гнев – *киһи кыһыһыах*, стыд – *киһи саатыах*, *киһи кыбыстыах*, разочарование – *киһи кэлэйиэх*, обиду – *киһи хомойуох*, *киһи өһүргэниэх*, неприятное удивление – *киһи бэркиһиэх*, брезгливость – *киһи сиргэниэх*. Примеры употребления представлены в «Большом толковом словаре якутского языка» (2007): *Сааскы бурдук, киһи үөрүүх, дэхси үүнэн табыста*. М. Шолохов, перевод. ‘Весенний посев, к радости, взошел ровно’; *Киһи таптыах, үчүгэй да хатыңнар* ‘Как мило, какие хорошие березы’. *Киһи сөгүүх, оччоҕо ити поэт бобуулаах кэриэтэ этэ* [БТСЯЯ, 2007, с. 172] ‘Удивительно, в те времена этот поэт был почти запрещен’. Слово *киһи* придает семантике всего сочетания признак нормы, свойственной для человека. Сочетания в форме винительного падежа также характеризуют человека как эмоциональную личность: *киһини соһутта* ‘меня удивило’, *киһини куттаата* ‘меня напугали’, *киһини үөртэ* ‘меня обрадовало’, *киһини хомотто* ‘меня огорчило’ [Петров, 1988, с. 36, 194]. В некоторых случаях употребляются сравнительные сочетания: *Үлэ киһи сөбүүн курдук түргэн, тахсыылаах этэ* [Кондаков, 2014, с. 103] ‘Работа спорилась на удивление быстро и результативно’, букв.: ‘как будто человек удивится’.

Заключение

В целом внешняя форма и семантика якутского слова *киһи* сохраняют основные черты древнетюркского прототипа. Фонетические и семантические модификации связаны со спецификой дальнейшего развития системы якутского языка и с влиянием других языков. Как лексическая единица имя существительное *киһи* реализует два основных значения: ‘абстрактный человек’ и ‘конкретный человек’. Как грамматическая единица выступает в качестве субъекта в составе атрибутивных и модальных сочетаний, выражает желание и выполняет функцию личного и безличного местоимений.

Синонимический ряд представлен фольклорными единицами высокого стиля и разговорной лексикой с оттенками пренебрежения, уничижения и с уменьшительно-ласкательным значением. Антонимы подчеркивают контраст между положительным и отрицательным образом человека.

⁴ Саха тыла: электронный словарь. Якутск, 2012 URL: <http://sakhatyla.ru> (дата обращения 20.05.2016).

В вербализации образа человека используются лексические, фразеологические, морфологические и синтаксические средства: лексические единицы, фразеологизмы, аффиксальные и аналитические формы слова, парные слова, словосочетания, модальные сочетания, предложения. В торжественной и разговорной речи часто применяются эпитеты и целые конструкции из фольклорных текстов. Заимствования из русского языка свидетельствуют о влиянии русской культуры на формирование представления о человеке. Выделены следующие основные концептуальные признаки человека: «благородный», «совершенное существо», «эталон», «свой», «эмоциональная личность». Реконструированный вербальный образ имеет двойственный характер – свидетельство того, что человек может оказаться перед выбором между добром и злом. На земле человек выполняет определенную миссию, главное его назначение – совершать добрые дела и продолжать род. Совершенный человек предстает в образе зрелого мужчины, обладающего лучшими качествами. Несмотря на веру в предопределенность судьбы, человека можно воспитывать и перевоспитывать. Имея слабые стороны, он стремится к физическому и нравственному совершенству.

В эпической поэзии человек гендерно маркирован и национально идентифицирован. Доброта и заступничество являются основными характеристиками идеала благородного человека *айыы*. Его антипод – отрицательный человек *абааһы*. В современном языке это противопоставление выражается нейтральными антонимами *үчүгэй киһи* ‘хороший человек’ и *куһаҕан киһи* ‘плохой человек’.

Идеал совершенства – это зрелый, полноценный человек *сиппит-хоппут киһи*. Несмотря на слабые стороны и противоречивость характера, человек стремится к совершенству. Его противоположность – падшая личность *киһи аатыттан ааспыт* ‘стал недостойным носить имя человека’.

В качестве эталона человек является образцом соблюдения морально-нравственных норм; его поведение соответствует требованию равенства: *киһи тэңэ* ‘равный человеку’. Это гуманный, общительный человек, хорошо владеющий языком. Ему противостоят люди, поведение которых выходит за рамки человеческого *киһиттэн таһынан* ‘вне человека’.

Свой человек – это член общества по национальному признаку и по языку. В олонхо ему противопоставляется человек из чужого племени, говорящий на другом языке. В современном языке «чужой» – это непостоянный человек, пришлый временщик или бездельник. Видимо, такое отношение имеет прагматическую основу, человек должен приносить пользу обществу.

Исходя из вышесказанного, в картине мира якутского языка возникает синкретический образ эпического (языческого) и современного человека, принявшего черты христианского мировосприятия. При этом полученная модель положительного человека является идеалом, к которому следует стремиться.

Список литературы

- Амма Аччыгыйа Сааскы кэм. Якутск: Бичик, 1994. 357 с.
- БТСЯЯ – Саха тылын быһаарылаах улахан тылдыта (Большой толковый словарь якутского языка). Т. 4: К – күөлэһиннээ. Новосибирск: Наука, 2007. 671 с.
- ГСЯЛЯ – Грамматика современного якутского литературного языка. Фонетика и морфология / Отв. ред. Е. И. Убрятова. М.: Наука, 1982. 496 с.
- ДТС – Древнетюркский словарь / Ред. В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак. Л.: Наука, 1969. 715 с.
- Кондаков В. А. Айыы ойууна: Роман. = Шаман айыы. Ч. 1-2. Якутск, 2014. 424 с.
- Лугинов Н. А. Чыңыс хаан ыйаабынан: Роман. = По велению Чингисхана. Ч. 2. Якутск: Бичик, 2000. 464 с.

- Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности: Тексты и исследования / Отв. ред. А. Н. Кононов. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 92 с.
- Нелунов А. Г. Якутско-русский фразеологический словарь. Т. 1. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. 287 с.; Т. 2. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 419 с.
- Ойуунускай П. А. Талыллыбыт айымньылар. Т. 3. Якутск: Бичик, 1993. 472 с.
- Ойуунускай П. А. Дьулуруйар Ньургун Боотур: Олонхо / Саха Респ. Наукаларын акад. гуманитар. чинчийи ин-та. Якутск, 2003. 544 с.
- Пекарский Э. К. Словарь якутского языка: В 3 т. М., 1958–1959. 3858 стлб.
- Петров Н. Е. Модальные сочетания в якутском языке. М.: Наука, 1988. 279 с.
- Чолбон: Литературный и общественно-политический журн. Якутск, 2015. № 10.

E. N. Afanasyeva

*Polytechnic Institute (Branch of the North-Eastern Federal University), Mirny
Russian Federation, lukow@mail.ru*

The concept of human being in the Yakut language

The paper deals with the means of verbalization of the concept of *human being* in the Yakut language. The semantics of the word *kihi* is analyzed. The main conceptual models of the man are identified through the observation of lexical meaning, derived forms, collocations, synonyms and antonyms of the word. Language data allow creating a human model based on gender marking and national identity. The human being is represented as an ideal: “perfect being,” “standard,” “noble,” “insider,” “emotional person” with a set of positive and negative qualities. The criteria for the qualities of a human being are the equality and the norms accepted in society. A good man is opposed to the bad person whose behavior goes beyond the conventional. Therefore, the man has the following characteristics: insider, kind, respected, sociable, human and constant. Its antithesis is the image of the stranger, a poor, not respected, and despised by society. A man always has a choice between good and evil. Overall, the Yakut language represents the syncretic image of the epic (pagan) and modern man having adopted the features of the Christian worldview.

Keywords: Yakut language, human being, lexical meaning, collocation, verbalization, conceptual feature.

DOI 10.17223/18137083/67/19

References

- Amma Achchygyya Saasky kem* [Spring Time]. Yakutsk, Bichik, 1994, 357 p.
- Cholbon: literaturnyi i obshchestvenno-politicheskiy zhurnal* [Cholbon: Literary and socio-political journal]. Yakutsk, 2015, no. 10, 96 p.
- Drevnetyurkskiy slovar'* [Ancient Turkic dictionary]. V. M. Nadelyayev, D. M. Nasilov, E. R. Tenishev, A. M. Shcherbak (Eds). Leningrad, Nauka, 1969, 715 p.
- Grammatika sovremennogo yakutskogo literaturnogo yazyka. Fonetika i morfologiya* [Grammar of the modern Yakut literary language. Phonetics and morphology]. E. I. Ubryatova (Ed.). Moscow, Nauka, 1982, 496 p.
- Kondakov V. A. *Aiyy oyuuna: roman. = Shaman aiyy. Ch. 1–2* [Shaman of Aiyy. Pt 1–2]. Yakutsk, 2014, 424 p.
- Luginov N. A. *Chyys khan yiaaŷynan: roman. = Po veleniyu Chingis khana. Ch. 2* [At the behest of Genghis Khan. Pt 2]. Yakutsk, Bichik, 2000, 464 p.

Malov S. E. *Pamyatniki drevnetyurkskoy pis'mennosti: Teksty i issledovaniya* [Monuments of ancient Turkic writing: texts and studies]. A. N. Kononov (Ed.). Moscow, Leningrad, AN SSSR, 1951, 92 p.

Nelunov A. G. *Yakutsko-russkiy frazeologicheskiy slovar'* [Yakut-Russian phraseological dictionary]. Vol. 1. Novosibirsk, SO RAN, 1998, 287 p.; Vol. 2. Novosibirsk, SO RAN, 2002, 419 p.

Oyuunuskay P. A. *D'uluruyar N'urgun Bootur: olonkho* [N'urgun Bootur the Swift: olonkho]. Sakha Resp. Naukalarын akad. Gumanit. Chinchiyii instituta. Yakutsk, 2003, 544 p.

Oyuunuskay P. A. *Talylybyt айымн'ylar. T. 3* [Selected works. Vol. 3]. Yakutsk, Bichik, 1993, 472 p.

Pekarskiy E. K. *Slovar' yakutskogo yazyka: V 3 t.* [Yakut language dictionary: in 3 vols]. Moscow, 1958–1959. 3858 stlb.

Petrov N. E. *Modal'nye sochetaniya v yakutskom yazyke* [Modal combinations in the Yakut language]. Moscow, Nauka, 1988, 279 p.

Sakha tylyn byhaaryylaakh ulakhan tyld'ytat. T. 4: K – kyel-ehiir-ee. (Bol'shoy tolkovyi slovar' yakutskogo yazyka) [A large explanatory dictionary of the Yakut language. Vol. 4: K – kyel-ehiir-ee]. Novosibirsk, Nauka, 2007, 671 p.

УДК 811.161.1
DOI 10.17223/18137083/67/20

А. В. Курьянович, И. Е. Охолина

Томский государственный педагогический университет

**Концепт «флешмоб»
в современной российской лингвокультуре:
к вопросу формирования и специфики языкового воплощения**

Статья посвящена рассмотрению лингвокультурного концепта *флешмоб*, репрезентирующего определенный фрагмент национальной картины мира современных носителей русского языка. Данный концепт анализируется с точки зрения особенностей его формирования и языковых форм воплощения. Исследование основано на материале лексикографических источников и данных Национального корпуса русского языка и в целом демонстрирует возможности лингвокогнитивного и лингвокультурного анализа.

Ключевые слова: русский язык, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, лингвокультурный концепт, русская (российская) лингвокультура, лексические средства выражения концепта.

Моделирование концептов в настоящее время стало одним из наиболее активно развивающихся направлений современной лингвистики. Лингвокогнитивный подход (А. Н. Баранов, В. З. Демьянков, Д. О. Добровольский, Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, Е. В. Рахилина, И. А. Стернин, Ю. С. Степанов, Р. М. Фрумкина и др.) ориентирован на понимание концепта как ментального образования в сознании индивида, которое обеспечивает выход на осмысление концептосферы социума в целом. Исследование любого концепта представляет интерес для реконструкции языковой картины мира. Особую значимость для формирования культуры языкового сообщества имеют лингвокультурные концепты (см. работы Н. Ф. Алефиренко, С. Г. Воркачёва, Н. Гудмена, В. И. Карасика, В. А. Масловой, У. Мейерса, Г. Г. Слышкина, Ю. С. Степанова, В. Н. Телия, Х. Шиффмана и др.).

Курьянович Анна Владимировна – доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории языка и методики обучения русскому языку Томского государственного педагогического университета (ул. К. Ильмера, 15/1, корп. 8, Томск, 634057, Россия; kurjanovich.anna@rambler.ru)

Охолина Ирина Евгеньевна – аспирант кафедры теории языка и методики обучения русскому языку Томского государственного педагогического университета (ул. К. Ильмера, 15/1, корп. 8, Томск, 634057, Россия; iric@sibmail.com)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© А. В. Курьянович, И. Е. Охолина, 2019

Так, по определению Ю. С. Степанова, лингвокультурный концепт – это «условная ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [Степанов, 1997, с. 387]. Развитие лингвокультурологии обусловлено стремлением к осмыслению феномена культуры как специфической формы существования человека в мире посредством языка – «средства интерпретации человеческой культуры, ментальности народа» [Шаклеин, 2012, с. 5].

Объектом рассмотрения в настоящей статье является концепт *флешмоб*, который в последнее время приобрел особую актуальность в картине мира российского социума по причине востребованности события, лежащего в его основе (акции). Это позволяет выдвинуть предположение: данный концепт репрезентирует специфичный фрагмент национальной картины мира, изучение которого видится нам актуальным и интересным. Концепт *флешмоб* занимает определенное место в перечне лингвокультурных концептов, отражающих своеобразие мировосприятия и мировоззрения современного российского социума, а содержащиеся в нем представления и смыслы являются экзистенциально значимыми как для конкретного носителя современного русского языка, так и для всей нации и национально-го языка на текущем этапе его развития в целом.

Появление и развитие анализируемого концепта в современной русской картине мира отмечается на протяжении последних пяти-десяти лет, что позволяет говорить о нем как находящемся в процессе активного формирования. Он имеет социокультурную обусловленность, поскольку отражает специфику определенной разновидности социальной интеракции.

«Днем рождения» *flashmob* как явления можно считать июнь 2003 г., когда работники и посетители крупного магазина Манхэттена были шокированы внезапным появлением толпы количеством более сотни человек, собравшейся вокруг восточного ковра и одновременно начавшей требовать «коврик любви» [Рейнгольд, 2006, с. 339]. Появление *flashmob* на улицах Нью-Йорка связывают с выходом в свет в 2002 г. книги американского социолога Говарда Рейнгольда «Smart Mobs: The Next Social Revolution», в которой автор утверждал, что скоро для самоорганизации люди будут использовать новые коммуникационные технологии [Там же, с. 128]. Понятие «умных толп» (смартмоб) стало основополагающим в дальнейшем развитии флешмобов и других подобных акций. В июне 2003 г. Роб Зазуэта из Сан-Франциско, ознакомившись с трудами Рейнгольда, создал первый сайт для организации подобных акций flocksmart.com.

Флешмоб реализует ряд функций: «развлечения; почувствовать себя свободным от общественных стереотипов поведения; произведения впечатления на окружающих; самоутверждения (испытать себя: “Смогу ли я это сделать на людях?”); попытки получить острые ощущения; ощущения причастности к общему делу; получить эффект, как от групповой психотерапии»¹. Первый российский флешмоб был организован посредством платформы Живого Журнала (сервиса онлайн-дневников) летом 2003 г., когда в Москве и Петербурге его участники встречали на вокзалах приехавших поездом людей с непонятными табличками на груди [Там же]. Примеры флешмобов, организованных в России: танцевальные, песенные, мыльных пузырей, обливания водой и пр.

За короткий период данный вид досуга получил большую популярность в разных странах. Все исследователи отмечают, что основная цель флешмоба – развлечь окружающих, удивить прохожих чем-либо, доставить им удовольствие. В таком случае, на наш взгляд, более правильным будет определение флешмоба

¹ Большая статья о флешмобе // Флешмоб Ярославль. URL: http://flashmob.ucoz.ru/publ/bolshaja_statja_o_fleshmobe/1-1-0-2 (дата обращения 12.07.2018).

как массовой уличной игры-представления, в которой принимают участие, с одной стороны, организаторы данного мероприятия (мобберы), с другой – случайные прохожие (зрители). Флешмоб может включать выполнение синхронных движений, напоминающих детскую игру «Делай, как я», когда дети копируют движения ведущего (воспитателя, вожатого и т. д.), исполнение танца, разыгрывание конкретного сценария, рассчитанного на реакцию неподготовленных прохожих. Соответствия в русском языке: забава, развлечение, удовольствие. Самым точным соответствием, на наш взгляд, является почти забытое русское слово «потеха». В словаре С. И. Ожегова слово «потеха» дается с пометой «разг.» как «забава, развлечение». «Делу время – потехе час» (пословица), «на потеху всем», прил. потешный «доставляющий потеху», нар. потешно «копировать кого-либо» [Ожегов, 2008, с. 464]. Потеха в словаре В. И. Даля – «занятие от скуки, безделья; увеселение, зрелище, ристанье. Например: людям на потеху, потешный двор – род театра [Даль, 1982, с. 361].

В зарубежной исследовательской практике выделяются два типа досуга: *serious leisure* ‘серьезный досуг’ и *casual leisure* ‘повседневный (обычный, рутинный) досуг’ [Stebbins, 1982, p. 251; 1997, p. 17]. Эта классификация, разработанная профессором канадского университета Робертом Стеббинсом, интересна тем, что выделяемый с ее помощью серьезный досуг позволяет человеку реализовывать себя вне дома, приобретать специальные навыки и знания, иными словами, – быть важной альтернативой рабочему времени. В качестве серьезного досуга в рамках этой типологии выступают устойчивые занятия *любителя* ‘amateur’, участника общественной деятельности – *волонтера* ‘volunteer’, которые увлекают человека многочисленными возможностями и свойственной им комплексностью. При этом *любителя хобби* ‘hobbyist’ подразделяют на пять основных категорий: 1) *makers* ‘изготовители (создатели)’; 2) *collectors* ‘коллекционеры’; 3) *activity participants* ‘участники какой-либо деятельности’; 4) *competitors in sports, games, and contests* ‘участники спортивных состязаний, игр, турниров»; 5) *enthusiasts in liberal-arts fields* ‘энтузиасты в области гуманитарных знаний’. Серьезный досуг (*serious leisure*), в свою очередь, делится на домашний (*home-based leisure*) и досуг вне дома (*outdoor recreation*) [Jenkins, Pigram, 2003, p. 229, 350].

Флешмоб, на наш взгляд, относится к серьезному виду досуга, который отличается от случайного реализацией участниками своих интересов и потребностей в пределах особого социального мира, где возникает уникальный этнос; этот мир состоит из аморфных, разбросанных созвездий актеров, организаций, событий, которые объединяются по интересам и причастности [Stebbins, 1982, p. 253]. Флешмоб может проводиться как на улице, так и внутри помещения. Примечательно, что участниками флешмоба (*activity participants*) часто являются взрослые, вполне успешные и серьезные люди. Психологи объясняют это стремлением людей хоть на миг (*flash*) отвлечься от обыденной жизни, почувствовать себя свободным от своих обязанностей, ощутить причастность к общему делу. Психологический аспект флешмоба заключается в том, что мобберы создают непонятную, абсурдную ситуацию, но ведут себя в ней как будто для них это вполне нормально и естественно: серьезные лица, никто не смеется, все находится в здравом рассудке. У зрителей возникают неоднозначные чувства: полное непонимание, интерес и даже чувство собственного помешательства. Основные правила флешмоба: спонтанность, деперсонификация (флешмоб рассчитан на случайных зрителей, участниками его могут быть абсолютно незнакомые люди), отсутствие централизованного руководства (как правило, он организуется с помощью интернета и не имеет конкретного лидера).

Каковы средства языковой репрезентации концепта в современной российской лингвокультуре? Ключевым словом, номинирующим концепт, выступает заимствованная лексема *флешмоб* (ср. с англ. аналогом: *flashmob*). В русском написании отмечены следующие варианты: *флеш-моб*, *флэш-моб*, *флэшмоб*, *флешмоб*. Как было сказано выше, данная номинация коррелирует на основе родо-видовых связей со словом *смарт-моб* (Г. Рейнгольд). Последнее употребляется в значении «технология организации толпы». Лексему *смарт-моб* мы определяем в качестве гиперонима по отношению к лексеме *флешмоб*, выступающей гипонимом.

Анализ лексикографических источников показал, что в словарях русского языка лексема *флешмоб* отсутствует вплоть до 2011 г. В 2011 г. вышел в свет «Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века» Е. Н. Шагаловой. В нем около 1 500 слов, появившихся в русском языке в первом десятилетии, еще не зафиксированных толковыми словарями, но уже употребляемых носителями русского языка. Как сказано в предисловии к словарю, содержащиеся в нем лексемы постоянно встречаются в современных СМИ и без них сегодня «невозможно жить и работать, понимать и читать, смотреть и слушать» [Шагалова, 2011, с. 3]. В числе прочих неологизмов в данном словаре зафиксирована лексема *флешмоб* (*флэш-моб*, *моб*), определяемая автором как «акция, которая проходит в условленном месте в обозначенное время и неожиданно для всех, кроме посвященных» [Там же, с. 339].

Отметим, что для английского языка слово *flashmob* тоже является неологизмом. Если обратимся к толковым словарям современного английского языка, то обнаружим, что оно отсутствует почти во всех. Слово новое, хотя оба его компонента известны каждому носителю английского языка и зафиксированы всеми словарями. В Оксфордском словаре онлайн слово *flashmob* имеет следующее значение:

A large group of people who arrange (by cell phone or e-mail) to gather together in a public place at exactly the same time, spend a short time doing something there, and then quickly all leave at the same time ‘большая группа людей, которая собирается в публичном месте в одно время, заранее договорившись по телефону или электронной почте, выполняет определенные действия за короткое время и быстро расходится’. Дериваты: *flashmobber*, *flashmobbing*².

Этимология *flashmob* прозрачна: слово состоит из двух основ – *flash* ‘быстрый, внезапный’ и *mob* ‘толпа, сборище’. *Flash* в английском языке употребляется и как существительное в значении ‘очень короткий отрезок времени, миг, мгновение’ (*in a flash* ‘в один миг, в одно мгновение’), и как глагол в значении ‘быстро промелькнуть’ (*the idea flashed upon me / across my mind* ‘меня осенила мысль’). *Flash* может выступать в роли определения в значении ‘внезапный, быстро происходящий’ (*flash freezing* ‘быстрая заморозка’) [Аллен, 2007, с. 186]. Слово *mob* имеет несколько значений, основные из них: *crowd or throng* ‘толпа, сборище’, *the mass of common people; the populace* ‘народные массы, население’, *an organized gang of criminals* ‘банда’ [Soukhanov, 1994, с. 4668], *rabble, riffraff; hoi polloi* ‘сброд, шушера; простонародье’ [Morehead, 2001, с. 510]. Оба слова используются в английском языке для образования новых слов. Примеров сложных существительных с первым компонентом *flash* много: *flash art* ‘направление в современном сетевом искусстве’, *flash-back* ‘взгляд в прошлое, воспоминание’, *flash light*

² Flashmob // Oxford Learner's Dictionaries. URL: http://oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/flashmob (дата обращения 12.07.2018).

‘карманный фонарик, всякий неровный мигающий свет’, *flash man* ‘человек подозрительной внешности’, *flash-house* ‘притон воров и проституток’, *flash point* ‘температура вспышки, точка возгорания, предел’, *flash board* ‘заграждение (на гребне водослива); шандоры’ и др. По этой модели образовалось и слово *flashmob* (от англ. *flash* ‘вспышка’ и *mob* ‘толпа’ букв.: ‘мгновенная толпа’).

Наряду с лексемой *флешмоб* в практике современного употребления фигурируют другие единицы – кальки с иностранных слов, в семантике которых также актуализируется сема «массовая акция». Например, таковыми можно считать лексемы *афтерпати* / *афтенпати*, *перфоманс* / *перформанс*, *фаршинг*, *монстрация*, *хэппининг*, *паблик-арт* и пр. Однако эти слова нельзя считать абсолютными синонимами-дублетами к слову *флешмоб* в силу имеющихся различий в денотативной сфере семантики. Так, в словаре Е. Н. Шагаловой лексема *афтерпати* трактуется следующим образом:

*Афтенпати и афтерпати, неизм., род не уст. «мероприятие, которое начинается сразу после завершения основного события (выставки, концерта и т. п.) и является его логическим продолжением». Афтерпати выставки устраивали в ресторане с донельзя подходящим названием «Главивторг». В его огромных окнах, как в аквариуме, проплывали жующие люди (Известия, 13.10.2008). Ближе к ночи гости разбрелись по афтенпати (Известия, 08.06.2009). С англ. *afterparty* < *after* ‘после’ + *party* ‘вечеринка’ [Шагалова, 2011, с. 35].*

Как видно из примера, акция, именуемая *афтерпати*, не отвечает в полной мере требованиям «классического» флешмоба: необязательны ее проведение в многолюдном месте, наличие разработанного сценария и режиссуры, слаженность действий участников и эффекта неожиданности для окружающих.

С позиций понимания степени освоенности заимствованной лексемы в современном русском языке важным является фактор частотности функционирования лексемы в коммуникации между исконными носителями русского языка. В ходе исследования мы использовали контент русских текстов, представленных в национальном корпусе русского языка (НКРЯ)³, с целью изучения особенностей семантики, прагматики и функционирования, а также частотности представленности в дискурсах определенного рода слова-номинанта концепта *флешмоб*.

Лексема *флешмоб* отмечена нами как представленная в основном (5 документов, 42 вхождения) и газетном (84 документа, 107 вхождений) корпусах текстов, всего 149 примеров словоупотребления. Показательно, что преобладающее количество употреблений данного слова зафиксировано в газетном корпусе, маркирующем разнovidность современного медийного дискурса. Сообщения о флешмобах чаще всего можно встретить в новостных лентах печатных и электронных средств массовой информации, социальных сетях, чатах, форумах.

В большей части текстовых фрагментов слово *флешмоб* используется в своем прямом значении. Приведем примеры:

Флешмоб-движению скоро исполнится десять лет. В 2002 году социолог Говард Рейнгольд предсказал появление «умных толп», которые будут самоорганизовываться с помощью социальных сетей (А. Лонская. 10 летних флешмобов // Русский репортер, 2012);

³ Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата обращения 13.07.2018).

«РР» собрал лучшие сценарии «вспышек толпы» (именно так переводится слово «флешмоб»), которые ожидают Россию в ближайшее время. 01 Танцевальный флешмоб Тренд Танцевальный флешмоб сейчас на пике популярности, его сценарии не повторяются никогда (Там же);

Вскоре родился флешмоб: в каждом городе Мэтта ждут толпы людей, желающих станцевать его идиотский танец, чтобы стать немножечко счастливее (Там же);

Популярен флешмоб, когда по сигналу внезапно оголодавшие участники достают из сумок различные предметы и, к ужасу случайных свидетелей, начинают яростно их «поедать» (Там же);

Реплика – Недавно мы провели флешмоб «Ананас». Это новый сценарий, наша идея, – рассказывает «РР» Вероника Михотина, админ одной из крупнейших групп флешмоберов «ВКонтакте» «Флешмоб Москва», объединяющей девять тысяч человек (А. Лонская. 10 летних флешмобов // Русский репортер, 2012);

Еще одной фишкой фестиваля на «мастрюках» стал грандиозный флешмоб: несколько тысяч человек одновременно пели знаменитую песню «Солнышко лесное», которую написал Юрий Визбор (А. Кочетов, Е. Уханова, А. Бакулина. «Груша» собрала под Самарой почти 70 тысяч человек // Комсомольская правда, 07.07.2013);

Гости начнут собираться на бал в девять вечера, а в 22.45 организаторы планируют провести танцевальный флешмоб с участием 60 тыс. человек, который должен попасть в Книгу рекордов Гиннесса (Р. Кашаев. «Алые паруса»: гуляем до утра // РБК Дейли, 06.21.2013).

Примечательно специфику функционирования лексемы флешмоб в русских текстах, а также особенности ее семантики и прагматики передают синтагматические (сочетаемостные) свойства. В первую очередь отметим здесь отбор прилагательных / полных причастий / определительных и притяжательных местоимений, атрибутирующих в контекстах ключевое слово. Их выборка из текстовых фрагментов, осуществленная нами в количестве 48 единиц, весьма показательна. Наиболее частотным атрибутивом к слову *флешмоб* выступает прилагательное *танцевальный* (5 случаев словоупотребления). Все атрибутивы можно дифференцировать по категориям. Например: направленность и содержательность действия (*танцевальный* (5), *цветочный* (2), *поэтический*, *колокольный*, *свадебный*, *специальный лингвистический*, *спящий*, *танцевально-литературный*, *овощной*); место проведения (*московский*, *офисный*); участники (*молодежный*). Особо отметим случаи использования атрибутивов, параметризующих событие, обозначенное словом *флешмоб*, с точки зрения его соответствия/несоответствия «жанровым» признакам: *классический* (2), *настоящий* (2), *своеобразный* (2), *странный* (2), *этаким*, *обещанный*. В числе последних выделим те атрибутивы, которые характеризуют событие в плане его размаха, охвата большого числа участников: *грандиозный* (2), *масштабный* (2), *многотысячный*, *известный*. В создании прагматического фона контекста важную роль играют атрибутивы, используемые в переносном значении (*мягкий*, *победный*, «*мыльный*» (в значении «затянутый, как сериал – «мыльная опера»)). При этом коннотативные компоненты в значении данных слов могут создавать как положительный (*модный*, *яркий*, *красочный*, *радужный*, *огненный*), так и отрицательный (*клоунский*, *варварский*) образ события. Слова с положительными оценочными компонентами смысла, атрибутирую-

щие лексему *флешмоб*, численно доминируют, что свидетельствует о благоприятном впечатлении, производимом данным событием на большинство носителей русского языка. Акции подобного рода узнаваемы:

О размерах эпидемии можно судить только по одному факту – я не буду объяснять читателям, что такое «флешмоб», они и без меня это прекрасно знают (Д. Стешин. Танцы с диагнозом // Комсомольская правда, 03.26.2013);

многие окружающие готовы участвовать в них:

Флешмоб, кстати, оказался для перемиловцев одной из самых привлекательных форм времяпрепровождения (А. Певчев. Владимир Любаров отправил перемиловцев в «Дом культуры» // Известия, 10.16.2012);

Жители района решили, что это такая модная игра, возможно, флешмоб, и принялись хлопать в ладоши, чтобы хлопками расколдовать зачарованных горняков и Белоснежку, которую, точнее которого, кто-то с галерки успел нецензурно обозвать (А. Снегирев. Вера, 2015);

Есть обычная деятельность по стратегии из набора многих-разных московских стратегий: флешмоб, перформанс, парад, гулянье... Радость участников не от свободы, а от причастности (А. Иванов. Комьюнити, 2012);

люди видят пользу флешмобов:

Флешмоб идеально подходит для того, чтобы избавиться от страхов и комплексов (А. Лонская. 10 летних флешмобов // Русский репортер, 2012);

Тут нет необходимости собрать людей перед трибуной и что-то вещать, главное – донести позицию водителей через этот флешмоб (А. Ивушкина. Автомобилисты в Москве начали массово закрывать номера // Известия, 06.10.2014).

Флешмобы в русской культуре – «зрелище», удовлетворяющее потребности определенной целевой аудитории, например:

Небольшое количество фриков удовлетворяло ту потребность русского гражданина в зрелищах, для удовлетворения которой западному гражданину требовалась многотысячный гей-флешмоб с тоннами латекса, стразов и перьев (А. Ашкерев. Консервативный поворот нужно защищать от его «комиссаров» // Известия, 01.14.2014).

Примечательно, что и глаголы, которые формируют синтагматическое окружение лексемы *флешмоб* в примерах из НКРЯ, также разделяются на такие, в которых актуализируется положительная коннотация:

*Это было неожиданно и прекрасно, и поскольку БГ – мой кумир, меня этот флешмоб очень **порадовал*** (А. Певчев. Ирина Богущевская: «Моя жизнь – строительный материал для песен» // Известия, 02.18.2014),

и с негативными добавочными компонентами семантики:

Опечалил другой флешмоб, когда во время истории с телеканалом «Дождь» вроде бы хорошо знакомые мне люди вдруг заговорили так, будто мы с ними опять сидим на комсомольском собрании, а в газете «Ком-

сомольская правда» вот-вот напечатают статью «Рагу из синей птицы» (Там же).

Показательны также случаи комплексного проявления парадигматических и синтагматических отношений, в которые, как показывает анализ текстов НКРЯ, вступает на современном этапе своей адаптации в русском языке лексема *флеш-моб*. Приведем примеры, в которых ключевая лексема связана с другими (выделены жирным шрифтом) по принципу контекстуальной синонимии.

*Но флешмоб оказался **фальшивкой**, забавой для сытой молодежи* (А. Иванов. Комьюнити, 2012);

*Редакция «Афиши», кстати, находилась рядом с Пушкинской, но флешмоб, на который пошла Орли, уже считался **отстоем*** (Там же);

*Начался флешмоб – и вместе с ним в этот же миг началась **чума*** (А. Иванов. Комьюнити, 2012);

*«РР» собрал **лучшие сценарии «вспышек толпы»** (именно так переводится слово «флешмоб»), которые ожидают Россию в ближайшее время* (А. Лонская. 10 летних флешмобов // Русский репортер, 2012);

*Я не думаю, что кого-то из-за них растерзали. Флешмоб на то и флешмоб. Это **вспышка, экспромт*** (В. Ворсобиин. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Воробьев: «Вход в политику открыт. Звони своим однокурсникам и друзьям и создавай партию» // Комсомольская правда, 07.04.2012);

***Драйв!** Флешмоб! Скучно же просто у компа торчать...* (А. Овчинников. Грозит ли Белоруссии «оранжевая» революция? // Комсомольская правда, 08.04.2011);

*Все равно, что летняя – без солнца. Московский флешмоб оказался **подобен вирусу**. Сперва в Красноярске молодежь собралась в центре, активно поддерживала Деда Мороза и дарила подарки случайным прохожим* (С. Букетов. Московский флеш-моб Дед Морозов: Ванкувер продули, а Сочи не сдадим! // Комсомольская правда, 03.03.2010).

Как показывают примеры, в числе контекстуальных синонимов к слову *флеш-моб* выступают как положительно, так и отрицательно окрашенные слова.

Очень ярко и прагматически заряжены случаи, когда семантика лексемы *флешмоб* метафоризируется за счет расширения значения. Например:

Кампанию Навального можно охарактеризовать очень просто – флешмоб-кампания (Е. Теслова. Алексей Шапошников: «Волков два часа торговался и надувал щеки» // Известия, 07.26.2013);

После вынесения приговора суда – хождение от СИЗО к СИЗО или хождение вокруг СИЗО под камерами. Не флешмоб? Флешмоб. Хоть они и заявляют, что у них в штабе политтехнологов нет, используют самый простой политтехнологический ход (Там же).

В современном русском языке фиксируются словоупотребления, номинирующие разновидности флешмоба как социокультурного действия. В семантике каждой такой лексемы обязательно присутствие денотативного компонента, отражающего параметрические показатели «классического» флешмоба. Лингвистически данные слова объединяет наличие в составе сложного слова части *моб*. Раз-

личия в семантике могут быть обусловлены денотативными оттенками значения, связанными

- (1) с определенной идейной направленностью акции (*полит-моб*, *социо-моб*, *фан-моб*);
- (2) акцентом на самовыражении участников и их чувствах (*х-моб*, *L-моб*);
- (3) сферой существования и каналом трансляции (*i-моб*, т. е. интернет-флешмоб);
- (4) наличием реквизита из области искусства (*арт-моб*);
- (5) тенденцией к экстриму (*экстрим-моб*);
- (6) ориентацией на реальный / игровой повод (*моб хаус*, *моб-игра*, *Date-моб*, *Small-моб*) и пр.

Однако заметим, что такая терминологическая «пестрота» названий разновидностей флешмоба не нашла сегодня отражения в практике массового словоупотребления. Например, в НКРЯ нами не зафиксировано ни одного случая контекстуального использования перечисленных лексических единиц. Предположим, что данный факт свидетельствует, в частности, о неполной степени освоенности в русском языке лексемы *флешмоб*.

Таким образом, флешмоб в России на сегодняшний день – одна из новых форм социокультурной коммуникации, «заимствованная» из западной культуры и активно адаптируемая на российской почве. Анализ случаев употребления лексемы *флешмоб* в русских текстах, размещенных в НКРЯ, убедительно продемонстрировал уверенное вхождение этой заимствованной лексемы в узус, особенно в медийную его составляющую. Отношение носителей русского языка к флешмоб-акциям, судя по большинству языковых реакций, имеет положительный характер. Перспективы исследования связаны с выявлением специфики дальнейшего развития обозначенного концепта в национальной культуре, результаты которого, безусловно, найдут свое отражение в русском языке.

Список литературы

- Аллен Р. Толковый словарь английского языка (Oxford Primary Dictionary): Более 30 000 слов. М.: Астрель: АСТ, 2007. 568 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 3. М.: Рус. яз., 1982. 555 с.
- Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс, Мир и Образование, 2008. 736 с.
- Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция. М.: Фаир-пресс, 2006. 416 с.
- Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
- Шагалова Е. Н. Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века: Ок. 1 500 слов. М.: АСТ: Астрель, 2011. 413 с.
- Шаклеин В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации: Моногр. М.: Флинта, 2012. 301 с.
- Jenkins J. M., Pigram J. J. Encyclopedia of Leisure and Outdoor Recreation. London; New York: Routledge, 2003. 595 p.
- Morehead Ph. D. The New American Roget's College Thesaurus in Dictionary Form. New York: New American Library, a Division of Penguin Putnam Inc., 2001. 902 p.
- Soukhanov A. H. American Heritage Dictionary of the English Language. Houghton Mifflin, 1994. 8652 p.

Stebbins R. A. Serious leisure: A conceptual statement // The Pacific Sociological Rev. Univ. of California Press, 1982. Vol. 25(2). P. 251–272.

Stebbins R. A. Casual leisure: A conceptual statement // Leisure Studies. Toronto, Ontario: McGraw-Hill, 1997. Vol. 16(1). P. 17–25.

A. V. Kuryanovich¹, I. E. Oholina²

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

¹kurjanovich.anna@rambler.ru, ²iric@sibmail.com

**Concept of “flash mob” in the modern Russian cultural linguistics:
on the formation and specificity of language implementation**

The paper is devoted to the study of the linguistic-cultural concept of *flash mob* representing a certain fragment of the national picture of the world of modern Russian native speakers. The Russian *flash mob* is similar to its western variant. It is a multifunctional phenomenon, with texts reflecting the entertainment-gaming, presentation-image, communicative and other functions. The results of the empirical material analysis have demonstrated the concept of *flash mob* in the Russian world picture to be in the process of active formation. This concept is analyzed according to the peculiarities of its formation and linguistic forms of implementation. The study is based on the material of lexicographical sources and data of The national corpus of the Russian language and generally demonstrates the possibilities of linguistic-cognitive and linguistic-cultural analysis. The key lexeme-Anglicism nominating the concept is considered in the totality of its systemic relations with other words-representatives of the concept: genus-species (*смайт-моб*, etc.), paradigmatic (*афтерпати/афтенати*, *перфоманс/перформанс*, *фариинг*, *монстрация*, *хэппенинг* etc.), syntagmatic (*танцевальный*, *офисный*, *молодежный*, *странный*, *грандиозный*, *модный*, *огненный* etc.). Lexemes that nominate *flash mob* are used both in direct and figurative meaning, with their semantics having both positive and negative connotations.

In general, the analysis of the use of the lexeme *flash mob* in the Russian texts has convincingly demonstrated the confident “entry” of this borrowed lexeme into *usus*, especially in its media component. According to the language reactions, the attitude of the Russian speakers to *flash mob* actions is predominantly positive.

Keywords: Russian language, cognitive linguistics, cultural linguistics, linguistic-cultural concept, Russian cultural linguistics, lexical means of expression of the concept.

DOI 10.17223/18137083/67/20

References

Allen R. *Tolkovyy slovar' angliyskogo yazyka (Oxford Primary Dictionary): Boleye 30 000 slov* [Dictionary of the English language (Oxford Primary Dictionary): more than 30 000 words]. Moscow, Astrel', AST, 2007, 568 p.

Dal' V. I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka: V 4 t. T. 3* [Explanatory dictionary of the living great Russian language: in 4 vols. Vol. 3]. Moscow, Rus. yaz., 1982, 555 p.

Jenkins J. M., Pigram J. J. *Encyclopedia of leisure and outdoor recreation*. London, New York, Routledge, 2003, 595 p.

Morehead Ph. D. *The New American Roget's College Thesaurus in Dictionary Form*. New York, New American Library, a Division of Penguin Putnam Inc., 2001, 902 p.

Ozhegov S. I. *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moscow, Mir i Obrazovaniye, 2008, 736 p.

Reyngol'd G. *Umnaya tolpa: novaya sotsial'naya revolyutsiya* [Smartmob: new social revolution]. Moscow, Fair-press, 2006, 416 p.

- Shagalova E. N. *Samyy noveyshiyy tolkovyy slovar' russkogo yazyka XXI veka: Ok. 1 500 slov* [The newest dictionary of the Russian language of XXI century: about 1500 words]. Moscow, AST, Astrel', 2011, 413 p.
- Shaklein V. M. *Lingvokul'turologiya: traditsii i innovatsii: Monogr.* [Cultural linguistics: traditions and innovations: monogr.]. Moscow, Flinta, 2012, 301 p.
- Soukhanov A. H. *American Heritage Dictionary of the English Language*. Houghton Mifflin, 1994, 8652 p.
- Stebbins R. A. Serious leisure: A conceptual statement. In: *The Pacific Sociological Review*. Univ. of California Press, 1982, vol. 25(2), pp. 251–272.
- Stebbins R. A. Casual leisure: A conceptual statement. In: *Leisure Studies*. Toronto, Ontario, McGraw-Hill, 1997, vol. 16(1), pp. 17–25.
- Stepanov Yu. S. *Konstanty: slovar' russkoy kul'tury* [Constants: dictionary of Russian culture]. Moscow, LRC Publ. House, 1997, 824 p.

УДК 81
DOI 10.17223/18137083/67/21

О. В. Соколова

Институт языкознания РАН, Москва

**Особенности перевода авангардных окказионализмов
(на материале «Футуристической кухни» Ф. Т. Маринетти)***

Анализируются ключевые проблемы теории перевода, в частности эквивалентность языковых знаков и текстов, и возможность их преодоления при переводе такого типа текстов, как художественные авангардные. Проблема перевода окказионализмов в авангардных текстах решается с опорой на теоретический и методологический аппарат теории трансфера и концепции интерпретации У. Эко. Формулируются базовые прагматические интенции авангардного текста (на материале «Футуристической кухни» Ф. Т. Маринетти), определяющие выбор стратегии его перевода (интенция на отказ от заимствований и создание нового художественного языка с использованием итальянского как единственного языка-источника), и выявляются основные трансферные механизмы: формирование новых словообразовательных моделей; дополнение и расширение существующих словообразовательных моделей создания окказионализмов; расширение потенциальных возможностей принимающего языка.

Ключевые слова: теория перевода, эквивалентность, теория трансфера, авангардный текст, прагматическая интенция, трансферные механизмы, окказионализмы.

Сопоставление текстов на разных языках, как в историческом развитии, так и на современном этапе теории перевода, эксплицирует взаимосвязь таких базовых языковых, лингвистических и переводческих проблем, как несоизмеримость и несопоставимость языков, эквивалентность / неэквивалентность знаковых единиц и текстов, сходство означаемого и др. В соответствии с поставленными проблемами на разных этапах развития лингвистического знания были предложены соответствующие концепции, имеющие большое значение как для теории перевода в частности, так и для теории языка в целом.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.

Соколова Ольга Викторовна – доктор филологических наук, старший научный сотрудник сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН (Большой Кисловский пер., 1, стр. 1, Москва, 125009, Россия; faustus3000@gmail.com)

Центральное положение в теории перевода занимает концепция эквивалентности, которая обозначает наличие некоторой общности между текстом оригинала и перевода в условиях отсутствия их тождества и ставит перед теоретиками и практиками перевода вопрос о степени допустимости этой общности, варьируемой в зависимости от типа текста (художественного или технического) и стратегии выбранного перевода (буквального или вольного). Первые подходы к проблеме эквивалентности излагаются в исследованиях Ж.-П. Вине и Ж. Дарбельне, в которых происходит разграничение прямого и косвенного перевода, соотносимого с буквальным и свободным переводом [Vinay, Darbelnet, 1995, p. 84], и ставится вопрос о необходимости формирования эквивалентности путем создания двуязычного словаря, включающего эквивалентные выражения между языковыми парами, однако выражаются опасения по поводу утопичности такого проекта, связанной с тем, что список идиом не может быть исчерпывающим [Ibid., 255]. Дальнейшее развитие концепция эквивалентности получает в исследованиях структуралистов, прежде всего в работе Р. О. Якобсона, который выдвигает принцип «эквивалентности при существовании различия» как «кардинальной проблемы языка и центральной проблемы лингвистики» [Якобсон, 1978] и подчеркивает значимость интерпретации как базовой процедуры при любом из выделяемых им видов перевода (внутриязыковом, межъязыковом и межсемиотическом), утверждая таким образом принципиальную возможность перевода, несмотря на культурные и грамматические различия между оригинальным и переводным текстом. Значимый вклад в теорию эквивалентности вносит Ю. Найда, выделяющий формальную эквивалентность, ориентированную на оригинал, и динамическую, или функциональную, ориентированную на читателя [Nida, Taber, 1969]. Сходные исследования, направленные на развитие концепции эквивалентности посредством введения понятия переводческого «сдвига» (уровневого и категориального) [Catford, 1965, p. 80], разграничения денотативной, коннотативной, нормативной, прагматической и формальной эквивалентности [Koller, 1979, S. 186–191], замену терминов формальной и динамической эквивалентности понятиями «семантического» и «коммуникативного» перевода [Newmark, 1988], достижение эквивалентности через ориентацию на заложенные в тексте-источнике имплицитур, позволяющие воспроизвести косвенное, подразумеваемое, а не буквальное значение [Baker, 1992], обусловили возможность переосмысления эквивалентности на современном этапе и в особенности – в связи с обращением к переводу художественных текстов.

Так, У. Эко вводит понятие «интенции произведения» (*intentio operis*) в связи с проблемой интерпретации текста и в особенности – в связи с переводом художественных текстов. У. Эко выделяет три интенции, которые следует различать при интерпретации произведения: «интенцию автора» (*intentio auctoris*), «интенцию произведения» (*intentio operis*) и «интенцию читателя» (*intentio lectoris*) [Эко, 1990; Эко, 2005]. При этом У. Эко подчеркивает особую значимость «интенции произведения» в связи с теорией и практикой перевода, когда интерпретация текста позволяет выявить неэквивалентность тех или иных текстовых элементов и языковых единиц текста-перевода и текста-оригинала [Эко, 2015, с. 67]. Идеи «интенции произведения» и замены «эквивалентности означаемого» «функциональной эквивалентностью» получают развитие в работах Д. Кенни, в которых вводится понятие «равенство обмениваемых ценностей» и подчеркивается, что перевод (и прежде всего, перевод художественных текстов) «должен производить то же самое воздействие, к которому стремился оригинал» [Kenny, 1998, p. 78]; а также в обосновании Н. Дузи необходимости выдвигать гипотезу, которую должен сформулировать переводчик и которая объясняет воздействие на читателя, заложенное в оригинале [Dusi, 2000, p. 41].

Обращаясь к проблеме эквивалентности в аспекте перевода художественных текстов, актуальным также представляется альтернативный подход, сформированный в русле теории трансфера, который позволяет преодолеть проблему эквивалентности / неэквивалентности текстов, поставленную структуралистами. Теория трансфера, которая в 1980-е гг. была сформулирована в работах М. Эспаня и М. Вернера, актуализировавших понятие интеллектуального обмена и границы между разными культурами [Transferts, 1988], получила дальнейшее развитие в трудах московско-тартуской семиотической школы и тель-авивской школы И. Эвен-Зохара. Опираясь на модель коммуникации Р. Якобсона, И. Эвен-Зохар формулирует основные положения новой теории перевода, выдвигая в качестве главных параметров определенной системы «трансферные механизмы», т. е. сами процедуры, по которым осуществляется перенос культурных ценностей из одной системы в другую, и акцентируя ключевую роль выявляемых в результате такого сопоставления расхождений между оригиналом и переводом [Even-Zohar, 1981]. На современном этапе теория трансфера разрабатывается в исследованиях сектора теоретического языкознания Института языкознания РАН. Экстраполируя теорию трансфера на общегуманитарную область и выявляя методологию обмена знаниями в аспекте межнаучных, междискурсивных и межъязыковых взаимодействий, исследователи отмечают, что культурный трансфер, с одной стороны, противопоставлен «простому переносу из культуры в культуру» и, с другой — представляет собой «циркуляцию и преобразование культурных ценностей и их переосмысление или интерпретацию в новых культурах» [Фещенко, Бочавер, 2016, с. 18–19].

Обозначенный подход не только позволяет преодолеть целый ряд проблем, поставленных предшествующими теориями перевода, но и оказывается особенно релевантным при переводе такого типа текстов, как авангардные. Учитывая постулируемый авангардистами отказ от конвенционального словоупотребления, «обновление словаря во всем его объеме» и провозглашение принципа «форма больше содержания», сами понятия обратимости как возможности обратного перевода или эквивалентности как максимальной смысловой близости оригинала и перевода оказываются относительными и не всегда соответствующими критериям, заданным авторами авангардных текстов. Постулируемое авангардистами «обновление словаря» выражается в активной работе авторов на уровне словообразования, что приводит к актуализации проблемы перевода окказионализмов, при образовании которых значимой является прагматическая установка на языковой эксперимент и «остранение» с целью разрушения конвенционального словоупотребления и создания нового языка.

Анализируя особенности перевода окказионализмов, осуществленного в аспекте предлагаемой У. Эко концепции «интенции произведения» и теории трансфера, необходимо сформулировать основные прагматические интенции, характерные для отдельных авторов и направлений авангарда, среди которых выделяются «национализация» и «универсализация». Если для «универсализации», наиболее последовательно проявившейся в поиске «универсального» языка в текстах В. Хлебникова. Дж. Джойса и Ю. Джоласа, была характерна ориентация на межъязыковой синтез, позволяющий преодолеть границы между разными культурами и направлениями авангарда¹, то стратегии «национализации» сформировались на базе противоположных эстетических и прагматических интенций.

Стратегия «национализации» сформировалась в 1920–1930-е гг. в творчестве итальянских футуристов и выразилась в отказе от заимствований и создании ок-

¹ Подробнее о разных концепциях «универсального» языка см.: [Перцова, 2000; Соколова, 2015].

казиональных форм с использованием итальянского как единственного языка-источника. Текстом, в котором эта интенция проявилась наиболее развернуто и последовательно, стала книга Ф. Т. Маринетти и Филлиа «Футуристическая кухня» (1932), включающая ранее изданный «Манифест футуристической кулинарии» (1930). Вслед за провозглашенными итальянскими футуристами в 1910–1920-е гг. реформами в поэзии, живописи, скульптуре, театре и других областях искусства, «Футуристическая кухня» ознаменовала новый этап – революцию в итальянской кулинарии и языке:

Наша футуристическая кухня, предназначенная для высоких скоростей, словно двигатель гидросамолета будет казаться безумной и опасной трепещущим приверженцам прошлого; но она создаст наконец гармонию между небом людей и их сегодняшней и завтрашней жизнью (Поваренная книга..., 2018, с. 116)².

В отличие от распространенных в текстах итальянских футуристов 1910-х гг. способов словообразования по типу «parole in libertà», в основе которых лежат онomatопея, приемы фоно- и звуко-символизма, параграфемика и сочетание вербального и визуального кодов³, в 1930-е гг. прагматическим основанием словотворчества становится обусловленная влиянием политического дискурса установка на возрождение единой итальянской нации, реализовавшаяся в стремлении футуристов создать новый итальянский язык, очищенный от заимствований и освобожденный от «автоматизированных» слов. Провозглашая основные «итальянские свободы»: свободу итальянского языка от заимствований, а кухни – от европейских блюд, Маринетти соединяет в книге идеологические интенции и авангардистскую работу с языком.

Обосновывая выбор материала, важно также подчеркнуть особую форму взаимодействия теоретической метаязыковой рефлексии и ее практической реализации в текстах авангарда и, прежде всего, в авангардных манифестах. Поскольку «Футуристическая кухня» представляет собой сочетание разных разделов, включая раздел «Манифесты – Идеология – Poleмика», описания «грандиозных футуристических обедов» и сборник «футуристических формул» (рецептов), в ее жанровой направленности очевидна установка на манифестарность. Вообще, манифест как пограничный жанр, в котором пересекаются ключевые языковые функции – эстетическая, метаязыковая, прагматическая и фатическая, – оказался чрезвычайно привлекательным для авангардистов в начале XX в. Авангардные манифесты могут быть обозначены как «гибридные» тексты, сочетающие черты авангардного поэтического и политического дискурсов и относящиеся к такому типу междискурсивного взаимодействия, как «контаминация дискурсов»⁴, при котором происходит адаптация языковых элементов и коммуникативных стратегий одного дискурса другим. В случае исследуемого текста можно говорить о взаимодействии политического и авангардного дискурсов, поскольку в нем переплетаются основные черты социально-политической современности и ключевые положения нового языка и эстетики. Главными требованиями, заявляемыми футуристами, становятся отказ от заимствований и отрицание нормативного словоупотребления, выраженные в политическом авангардном манифесте «Против эстерофилии», вошедшим в «Футуристическую кухню»:

² Далее примеры цитируются по нашему переводу «Футуристической кухни» (Поваренная книга..., 2018) с указанием страниц в круглых скобках.

³ Более подробно о таком способе словообразования см.: [Orban, 1997; Импости, 2000].

⁴ Впервые понятие контаминации в философском контексте вводит Ж. Деррида, подчеркивая диалектичность этого термина, который обозначает «переплетение» внешней и внутренней формы языка, означаемого и означающего, когда тотальность дискурса «схватывается» в сети указаний (индексов, знаков, меток и т. п.) [Derrida, 1990, p. 6].

Элегантные итальянские дамы, просим вас вместо cocktail-party, происходящих во время ваших послеполуденных встреч, употреблять, если вам так будет угодно: Асти Спуманте синьоры Б, Барбареско графини Ч, Капри Бьянко принцессы Д. На этих собраниях приз будет вручен лучшему вину, подходящему для таких встреч. И хватит уже говорить слово «бар». Пора заменить его итальянским «Тутпьют» (с. 160).

Этот текст, как и ряд политических манифестов Маринетти разных лет («Программа футуристической политической партии», 1913; «По ту сторону коммунизма», 1920; «Футуризм и фашизм», 1924; и др.), выражает особую политическую оптику Маринетти, кардинально отличную от позиции официального фашистского режима. Авангардные политические манифесты отражают все большее расхождение позиции Маринетти, ориентированной на эстетическую и духовную революцию, с диктаторской идеологией фашизма. Важно подчеркнуть, что участие итальянских футуристов (как и авангардистов других стран) в политике носило радикально-анархический, утопический характер, что привело к столкновению с сугубо прагматической направленностью официальной фашистской идеологии в Италии⁵.

Окказионализмы, теоретически осмысляемые и создаваемые в книге в русле заявленной прагматической интенции, связанной с «национализацией» языка, отличаются «семантической прозрачностью», что связано с отличной от раннего авангарда, ориентированного на эпатаж, установкой на необходимость итоговой интерпретации первоначально недекодируемого сообщения. Такая установка достигалась за счет двухэтапной кодировки и интерпретации слова, когда за первичным «остранением» слова и деавтоматизацией восприятия реципиента должна была последовать «кларификация» значения отдельного языкового элемента и текста в целом. Особое внимание футуристов к созданию окказионализмов было связано с рефлексией повышенного перформативного потенциала каждого обновленного слова, обладающего особой функцией воздействия не только на уровне межличностной, но и общенациональной коммуникации, что подчеркивалось в книге:

Наш мужественный смелый динамический и драматический полуостров, предмет зависти и угроз со стороны всего мира, готов вскочить, чтобы осуществить свою великую миссию. Мы должны считать национальную гордость основным законом своей жизни (с. 161).

Таким образом, можно выделить следующие прагматические установки, характерные для выбранного текста и повлиявшие на выбора переводческой стратегии: во-первых, базовая для авангардного дискурса установка на революцию устаревшего языка, создание нового художественного языка и «обновление словаря во всем его объеме», лежащие в основе авангардного словотворчества; во-вторых, ключевая установка итальянского футуризма 1930-х гг., манифестирующего стратегию «национализации», ориентированную на создание нового итальянского языка, свободного от заимствований, за счет замены их новыми словами, образованными на базе итальянского как единственного языка-источника. Учитывая обозначенные прагматические установки, при переводе окказионализмов были использованы приемы создания новых слов, калькирования и транслитерации.

Новые слова создавались прежде всего для передачи родовых понятий, объединяющих названия конкретных блюд и напитков. В тексте «Футуристической кухни» эти слова вынесены в специальный раздел «Словарик футуристической кухни», в котором новые термины сопровождаются дефинициями. Исполь-

⁵ О политических взглядах Маринетти см.: [Berghaus, 1996; Blum, 1996].

зование приема создания собственных окказиональных слов было обусловлено предложенной У. Эко оппозицией «одомашнивание» / «остранение» [Эко, 2015, с. 159], в которой он развивает концепцию русских формалистов. При переводе была реализована установка на такое совмещение «одомашнивания» и «остранения», которое позволило бы тексту быть воспринятым русскоязычным читателем и сохранить при этом «остраняющий» эффект и иронические коннотации, заложенные в итальянских окказионализмах.

Среди примеров обозначенного приема можно назвать следующие окказиональные единицы:

Mescitore – окказионализм переведен как *смеситель* (термин из «Словарика футуристической кухни»). *Mescitore* происходит от итал. *mescita* (диал.) ‘винный бар’; *mescere* ‘наливать, разливать; мешать, смешивать’; устар., редко употр. форма, обозначающая того, кто смешивает и разливает напитки в трактире, баре, бармена⁶. Учитывая, что в контексте: *Mescitore sostituisce BARMAN* (Marinetti, Fillia, 1932, p. 172), т. е. *заменяет BARMAN*, перевод должен не только отличаться от англоязычного эквивалента, но и содержать характерное для авангардного текста «остранение». По этой причине выбрано слово *смеситель*, которое образовано от суффикса *-итель*, имеющего значение предмета, производящего действие (*двигатель, глушитель*), и деятеля или лица той или иной профессии, занимающегося какой-либо деятельностью (*учитель, спасатель*). Таким образом, выбранное для перевода слово *смеситель* в данном контексте получает дополнительное значение одушевленности, заложенное в семантике суффикса, но изначально не выраженное в значении слова, что позволяет реализовать футуристическую эстетическую концепцию синтеза человека и машины, одушевленного и неодушевленного⁷. Таким образом, концепция новой машинной чувствительности и человека-машины получает реализацию через возможность соединения категорий одушевленности и неодушевленности в этом окказионализме⁸.

Sganasciatore – переведено как *рассмешитель* (термин из «Словарика футуристической кухни»). *Sganasciatore* происходит от итал. *ganascia* ‘челюсть’; *sganasciare* ‘сворачивать, вывихивать челюсть (от смеха, зевоты)’.

Рассмешитель: выдающийся футурист, задача которого – оживлять официальные банкеты.

Рассмешитель, борясь с недопустимой бездной хмурости, сразу же вополгоса произнесет три непристойные, но не совсем вульгарные шутки (с. 213).

Decisone – переведено как *решиитель* (термин из «Словарика футуристической кухни»). Слово образовано от итал. *decisione* ‘решение’ при помощи увеличи-

⁶ В статье используются следующие сокращения: **диал.** – диалектный; **итал.** – итальянский; **употр.** – употребляемый; **устар.** – устаревший.

⁷ Ср. «машинный миф» и «механическая эстетика» Э. Крисполти, ориентированные на синтез таких базовых футуристических концептов, как скорость, движение и прогресс; концепция обновленной «машинной сенсорики» Дж. Северини; идея симбиоза человека и машины, мозга, уподобившегося металлу в романе «Футурист Мафарка» (1910) Ф. Т. Маринетти.

⁸ Важно отметить, что выбранное для перевода слово было широко распространено во время выхода книги, в том числе в русском языке (ср. стихотворение «Какой-нибудь изобразитель» (1933) О. Мандельштама):

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.

тельного суффикса *-one*. Для передачи использована выработанная при переводе модель с суффиксом *-тель / итель*.

Решитель: Общее название горячих тонизирующих полинапитков, которые способствуют принятию важных решений после недолгих, но глубоких размышлений.

Решитель

(полинапиток от аэропозта-футуриста Маринетти)

¼ вина «Кинато»

¼ рома

¼ подогретого «Бароло»

¼ мандаринового сока (с. 246).

При таком способе перевода с образованием новых слов осуществляется не прямой перевод (калькирование), но трансфер понятия из одного языка в другой, что приводит к расширению возможностей интерпретации окказионализмов языка-оригинала. В этом случае происходит переосмысление слова, что влияет на его передачу при переводе и позволяет выразить дополнительные семантические связи и сформировать новую словообразовательную модель по типу *рассмешитель*, *смеситель*, *решиитель*.

Среди примеров переводов окказионализмов с использованием приема создания новых слов также можно отметить:

Pollofiat – переведено как *куромобиль*. Образовано от сложения *pollo* ‘курица’ и *fiat* ‘марка распространенного итальянского автомобиля «Фиат»’. Учитывая, что в фоновом знании русскоязычного читателя нет необходимых коннотаций, связанных со словом «Фиат», при переводе акцент был поставлен на передачу футуристической эстетической концепции машины, движения и динамизма, а также на сохранение заложенных в оригинале иронических коннотаций.

Куromобиль... <...> Берется значительных размеров курица и готовится в два этапа: сначала тушится, затем жарится. На спине курицы вырезается просторное углубление, внутрь которого кладется горсть шариков из мягкой стали. Затем к задней части птицы пришиваются три куса сырого петушиного гребешка. Скульптура помещается в печку на десять минут. Когда мясо хорошо пропитается вкусом стальных шариков, подать с гарниром из взбитых сливок (с. 178).

Peralzarsi – переведено как *Встанька* (термин из «Словарика футуристической кухни»). *Peralzarsi* образовано с помощью сложения *per* ‘в, к, через, на; чтобы’ и глагола *alzarsi* ‘вставать, подниматься’, используется для обозначения последнего блюда, поедаемого перед тем, как встать из-за стола. Поскольку в русскоязычной среде нет традиции поедания десерта в конце обеда, для перевода было выбрано слово, передающее значение завершения обеда и энергичного перехода к другим действиям.

Встанька: заменяет «dessert».

Во время Встаньки бойцам подают блюда из спелой хурмы, гранатов и красных апельсинов. Пока эти блюда исчезают во рту, по комнате с помощью опрыскивателей распространяются сладостные ароматы розы, жасмина, жимолости и акации Фарнеза, чья ностальгическая и декадентская сладость будет жестоко отвергнута бойцами, которые молниеносно надевают маски против удушающего газа (с. 206).

Rumorismo – переведено как *смехошум*. Слово образовано за счет наложения частей слов *rumore* ‘шум’ и *umorismo* ‘юмор’, за счет чего оно наделяется ирони-

ческими коннотациями. Чтобы не утратить одно из значений, при переводе было использовано сложение двух слов.

Наконец они смогут есть, лизать, пить, утираться, поколачивать друг друга за столом, используя освещающие прилагательные и глаголы, зажатые между двух пауз, абстрактные смехошумы и животные крики, которые заворачивают всех весенних животных: жвачных, храпящих, бормочущих, шипящих, блеющих и щебечущих вокруг (с. 209).

Помимо создания новых слов при переводе окказионализмов используется калькирование. Занимая промежуточное положение между переводными и беспереvodными способами перевода окказионализмов, калькирование основано на нахождении межъязыковых соответствий между лексическими единицами оригинала и перевода и позволяет реконструировать внутреннюю форму переводимого окказионализма.

При переводе с помощью калькирования выделены два основных способа создания новых слов. Первый способ опирается на продуктивную модель образования авангардных окказионализмов, распространенную в творчестве русских футуристов. Такие гибридные образования создавались посредством сложения двух и более слов: *мирсконца*, *улыбкожабы*, *корсетебутишампаноскрипки* и т. д. Поскольку такая модель уже вошла в авангардный словарь, калькирование в этом случае позволяет соблюсти в равной мере оба принципа перевода – «одомашнивать» и «остранять», а также дополнить и расширить существующую словообразовательную модель.

Примеры перевода схожих окказионализмов:

Scoppioingola – переведено как *взрыввгорле*. Образовано сложением итал. *scoppiare* ‘взрываться’, *in* ‘в’ и *gola* ‘горло’.

Уходя, проглатывают Взрыввгорле – твердожидкость, состоящую из шарика пармезана, вымоченного в марсале (с. 206).

Guerrainletto – переведено как *войнавпостели*. Образовано сложением *guerra* ‘война’ *in* ‘в’ *letto* ‘кровать, постель’.

Война в постели (оплодотворяющий полинапиток).

Война в постели состоит из ананасового сока, яйца, какао, икры, миндальной пасты, щепотки красного перца, щепотки мускатного ореха и гвоздики: все превращается в жидкость и смешивается с ликером «Стрега» (с. 211).

Paceinletto – переведено как *мирвпостели* (*снотворный полинапиток*). Образовано сложением *pace* ‘мир’ *in* ‘в’ *letto* ‘кровать, постель’.

При переводе произошло расширение и дополнение модели, в которую также вошли слова, построенные по схожему типу: *brucioinbocca* – *горюворту*; *svegliastomaco* – *будитжелудок*; *placafame* – *успокаиваетголод*; *criticomania* – *критикомания*; *decollapalato* – *взлетонёбо*; *ortotattile* – *огородотактильное*; *carnadorata* – *обожжаемаяплоть*; *videsidero* – *васжелаю*; *viameròcosì* – *будулюбитьВастак*; *questanottedame* – *этойночьююменя*; *uomodonnatezzanotte* – *мужчинаженщинаполночь* и др. С помощью калькирования были также переведены окказионализмы, включающие параграфемные элементы (математические знаки и графические элементы): *Equatore + Polo-Nord* – *экватор + Северный полюс*; *Carota + calzoni* = *professore* – *морковь + брюки* = *профессор*.

Калькирование также использовалось при переводе окказионализмов, образованных аффиксальным способом, когда новые слова оригинального текста были образованы с помощью суффиксов, имеющих эквивалент в русском языке. Например, суффиксы, служащие для образования слов с отвлеченным значением

-ismo, или суффиксы, служащие для образования существительных со значением увеличения -issimo.

Примеры перевода калькированием таких новых слов, как *pancismo* – пузизм; *quotidianismo* – бытовизм (в зависимости от контекста может приобретать отрицательные *quotidianismo mediocrista* – посредственный бытовизм или положительные коннотации: *quotidianismo degli equivalenti nutritive* – бытовизм питательных эквивалентов); *tattilismo* – тактилизм; *metallicità* – металличность; *tangiabilissimo* – наисъедобнейшее; *biaccosita* – белильность; *antitalianita* – анти-итальянизм; *semincolori* – полуцветный; *biquotidiano* – двуежедневный; *polichiacchierò* – полигомон.

Отдельно можно рассмотреть такой случай калькирования, как *quisibever* – тутпьюм. *Quisibever* образовано от сложения наречия *qui* ‘здесь, тут’, частицы *si* ‘да’ и глагола *beve* ‘пить’. В русском языке многозначному слову *qui* соответствуют два эквивалента (‘здесь, тут’). С другой стороны, в итальянском языке наречие места *qui* также имеет синоним *qua*. Если в русском языке *здесь* и *тут* имеют стилистическое (*здесь* – нормативное, *тут* – разговорное) и контекстуальное различия, то в итальянском *qui* и *qua* обозначают большую (*qui*) и меньшую (*qua*) степень конкретности местонахождения объекта. Учитывая базовую установку Маринетти на преодоление языковых конвенций и отказ от нормативного словоупотребления, в этом случае возможен перевод *quisibever* как *тутпьюм*.

Отдельно отметим пограничную стратегию перевода с параллельным использованием способа создания новых слов и калькирования для перевода окказионализмов, образованных приставочным способом и принадлежащих к одной семантической группе. Такое сочетание двух способов опирается на прагмаэстетическую интенцию, заложенную в тексте и ставшую предметом метаязыковой рефлексии Маринетти в связи с двумя группами слов, образованных с помощью приставок *con-* и *dis-*. Опираясь на авангардные принципы «динамического контраста» и «дополнительности», основополагающие для формирования нового «гастрономического языка», Маринетти выделяет отдельные (пищевые, звуковые, визуальные и тактильные) компоненты, с которыми могут сочетаться создаваемые им блюда и напитки, разделяя их на две группы и обозначая с помощью приставок *con-* и *dis-*. При этом сложение *con-* с существительным акцентирует семантику родственности данных компонентов, желательности их совместного использования. Например, *conprofumo* – термин, который обозначает сходство какого-то аромата со вкусом определенного блюда на уровне запаха. Учитывая наличие приставки *c-* (*co-*) в русском языке, эквивалентной итальянской приставке *con-*, для перевода был выбран способ калькирования.

Примерами такого перевода являются названия блюд, образованных от этой приставки: *conprofumo* – *cozanax*; *contattile* – *сосязание*; *conrumore* – *сошум*; *contmusica* – *сомузыка*; *conluce* – *сосвет*.

СОЗАПАХ (CONPROFUMO):

термин, который обозначает обонятельное сходство определенного аромата со вкусом определенного блюда. Например: созапах кашицы из картофеля и розы.

СОШУМ (CONRUMORE):

термин, который обозначает шумовое сходство определенного звука со вкусом определенного блюда. Например: сошум риса в апельсиновом соусе и мотора мотоцикла или «Пробуждения города» Луиджи Руссола, футуриста и нарушителя спокойствия (с. 275).

К другой группе окказионализмов, при переводе которых сформировалась альтернативная словообразовательная модель, относятся слова с приставкой *dis-*.

Как отмечает Маринетти, в отличие от значения родственности, характерного для слов с приставкой *con-*, приставка *dis-* придает словам значение «комплиментарности», «взаимодополняемости» определенных запахов, шумов и тактильных ощущений с теми или иными блюдами (с. 276). Учитывая значение комплиментарности как дополнительности и «контрастности» признака, используемое в живописной теории для определения цветовой схемы, при переводе слов с приставкой *dis-*, которая не имеет прямого аналога в русском языке, использован способ создания новых слов, позволяющий сформировать альтернативную (по отношению к словам с приставкой *con-*) словообразовательную модель с использованием уменьшительных суффиксов *-оньк / еньк, -ик* и др. Такой способ позволяет передать иронические коннотации, заложенные в оригинале, и соответствует авангардной прагматической интенции на создание новых слов и нового языка.

Примерами перевода слов, относящихся к альтернативной модели, являются: *distattile* – *ощущеньице*; *disrumore* – *шумок*; *dismusica* – *музычка*; *disluce* – *светик*.

ШУМОК (DISRUMORE):

термин, обозначающий взаимодополняемость определенного шума и вкуса определенного блюда. Например: шумок «Итальянского моря» и шипение масла, гассозы и морской пены.

МУЗЫЧКА (DISMUSICA):

термин, обозначающий взаимодополняемость определенной музыки и вкуса определенного блюда. Например: музычка фиников и «Девятой симфонии» Бетховена (Там же).

Также при переводе окказионализмов, в которых намеренно акцентировалось звуковое сочетание, влияющее на восприятие значения, использовался способ транслитерации. Например: *quaccherologia* – *квакерология*; *pastonacca* – *пастонакка*.

Таким образом, передача прагматического воздействия, заложенного в тексте «Футуристической кухни», при переводе текста на русский язык была реализована с помощью использования таких «трансферных механизмов», как:

1) формирование новых словообразовательных моделей (например, с суффиксом *-тель (-итель)*), которые позволяют преодолеть существующую оппозицию грамматических категорий (одушевленности / неодушевленности) и создать дополнительные возможности интерпретации окказионализмов (*рассмешитель, смеситель, решитель*);

2) дополнение и расширение существующих словообразовательных моделей создания окказионализмов (по типу *мирсконца*), позволяющий реализовать базовую интенцию авангарда на создание нового языка и нового слова;

3) перевод базовых для одного авангардного направления языковых и эстетических стратегий, ориентированных на словотворчество и создание нового языка, на язык и культуру другого языка, приводящий к расширению потенциальных возможностей принимающего языка.

Список литературы

Импости Г. Роль звукоподражания в поэтике итальянского и русского футуризма: Маринетти, Крученых и Хлебников // Поэзия и живопись: Сб. тр. памяти Н. И. Харджиева / Под ред. М. Б. Мейлаха, Д. В. Сарабьянова. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 469–479.

Перцова Н. Н. О «звездном языке» Велимира Хлебникова // Мир Велимира Хлебникова. Статьи и исследования, 1911–1998 / Под общ. ред. А. Е. Парниса. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 359–384.

Соколова О. В. Концепции «вселенского» и «универсального» языка в русском и американском авангарде // Критика и семиотика. 2015. Вып. 1. С. 268–283.

Фещенко В. В., Бочавер С. Ю. Теория культурных трансферов: от переводоведения – через cultural studies – к теоретической лингвистике // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: Методы, принципы, технологии / Отв. ред. В. В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. С. 5–35.

Эко У. Роль читателя. СПб.: Симпозиум, 2005.

Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. М.: АСТ, 2015.

Якобсон Р. О. О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике / Отв. ред. В. Н. Комиссаров. М., 1978. С. 16–24.

Baker M. In Other Words. A Coursebook on Translation. London: Routledge, 1992.

Berghaus G. Futurism and Politics: Between Anarchist Rebellion and Fascist Reaction, 1909–1944. Oxford, 1996.

Blum C. S. The Other Modernism: F. T. Marinetti's Futurist Fiction of Power. Berkeley, 1996.

Catford J. C. A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford Univ. Press, 1965.

Derrida J. Le Problème de la genèse dans la philosophie de Husserl. Paris: Presses Univ. de France, 1990.

Dusi N. Per una ridefinizione della traduzione intersemiotica // Sulla traduzione intersemiotica / A cura di N. Dusi, S. Nergaard. Versus. 2000. No. 85-86-87. P. 3–54.

Eco U. I limiti dell'interpretazione. Milano: Bompiani, 1990.

Even-Zohar I. Translation theory today: A call for transfer theory // Poetics Today. 1981. Vol. 2, No. 4. P. 1–7.

Kenny D. Equivalence // Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Ed. by E. Baker. London: Routledge, 1998. P. 77–80.

Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg: Quelle and Meyer, 1979.

Newmark P. A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall, 1988.

Nida E., Taber C. R. The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill, 1969.

Orban C. E. Marinetti's zang tumb tumb: Exploding words as images // Orban C. E. The Culture of Fragments: Word and Images in Futurism and Surrealism. Amsterdam: Rodopi, 1997. P. 24–54.

Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand. Textes réunis et présentés par M. Espagne et M. Werner. Paris, 1988.

Vinay J. P., Darbelnet J. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins, 1995.

Список источников

Поваренная книга футуриста: Манифест Ф. Т. Маринетти и Филлиа «Футуристическая кухня». Комментированное изд. / Сост. О. В. Соколовой; пер. с итал. и коммент. О. В. Соколовой, А. Ди Санто. СПб.: Изд-во Европейского ун-та, 2018.

Marinetti F. T., Fillia. La cucina futurista. Milano: Sonzogno, 1932.

O. V. Sokolova

*Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
faustus3000@gmail.com*

**Features of the avant-garde occasionalism translation
(a case study of “Futurist Cookbook” by F. T. Marinetti)**

The paper analyzes the underlying problems of translation theory, in particular, the equivalence of linguistic signs and texts as well as the possibility of overcoming them when translating the avant-garde texts. The theoretical and methodological apparatus of the theory of transfer, U. Eco’s interpretation conception and “*intentio operis*” idea are used to solve the problem of occasionalism translation in the avant-garde texts. The paper reveals the basic pragmatic intentions characteristic of avant-garde individual authors. Moreover, the directions that include “universalization” as a way of creating a new language by means of multilingual synthesis (texts by V. Khlebnikov, J. Joyce and U. Jolas) and “nationalization” as a strategy of substituting borrowings by occasional forms, with Italian as the only source language (the texts of the Italian futurists of the 1920s–1930s) are identified. For the analysis, the Russian translation of the book of F. T. Marinetti and Fillia “Futurist Cookbook” (1932) was chosen which manifests radical linguistic and gastronomic reforms and expresses the pragmatic “nationalization” intention. The paper formulates the basic pragmatic intentions of the avant-garde text, determining the choice of translation strategy, such as the intentions to refuse borrowings and to create new words using the Italian as the only source language. Also, the primary transfer mechanisms are revealed that allow realizing the intention of the work, such as creating new word-formative models, modifying and widening the existing word-formative models of creating occasionalism, expanding the potential of the host language.

Keywords: translation theory, equivalence, transfer theory, avant-garde text, pragmatic intention, «nationalization», occasionalisms.

DOI 10.17223/18137083/67/21

References

- Baker M. *In other words. A coursebook on translation*. London, Routledge, 1992.
- Berghaus G. *Futurism and politics: between anarchist rebellion and fascist reaction, 1909–1944*. Oxford, 1996.
- Blum C. S. *The other modernism: F. T. Marinetti’s futurist fiction of power*. Berkeley, 1996.
- Catford J. C. *A linguistic theory of translation*. London, Oxford Univ. Press, 1965.
- Derrida J. *Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl*. Paris, Presses Univ. de France, 1990.
- Dusi N. Per una ridefinizione della traduzione intersemiotica. In: *Sulla traduzione intersemiotica*. A cura di N. Dusi, S. Nergaard. Versus. 2000, no. 85-86-87, pp. 3–54.
- Eco U. *I limiti dell’interpretazione*. Milano, Bompiani, 1990.
- Eco U. *Rol’ chitatelya* [The role of the reader]. St. Petersburg, Simpozium, 2005.
- Eco U. *Skazat’ pochti to zhe samoe. Opyty o perevode* [Saying almost the same thing. Experience in translation]. Moscow, AST, 2015.
- Even-Zohar I. Translation theory today: A call for transfer theory. *Poetics today*. 1981, vol. 2, no. 4, pp. 1–7.
- Feshchenko V. V., Bocharov S. Yu. Teoriya kul’turnykh transferov: ot perevodovedeniya – cherez cultural studies – k teoreticheskoy lingvistike [The theory of cultural transfers: from translation studies – through culture studies – to theoretical linguistics]. In: *Lingvistika i semiotika kul’turnykh transferov: metody, printsipy, tekhnologii* [Linguistics and semiotics of cultural transfers: methods, principles, technologies]. V. V. Feshchenko (Ed.). Moscow, Kul’turnaya revolyutsiya, 2016, pp. 5–35.
- Imposti G. Rol’ zvukopodrazhaniya v poetike ital’yanskogo i russkogo futu-rizma: Marinetti, Kruchenykh i Khlebnikov [The role of onomatopoeia in the poetics of Italian and Russian futurism: Marinetti, Kruchenykh and Khlebnikov]. In: *Poeziya i zhivopis’: Sb. tr. pamyati N. I. Khardzhieva* [Poetry and painting: Collected works in the memory of N. I. Khardzhiev]. M. B. Mey-lakha, D. V. Sarab’yanova (Eds). Moscow, LRC Publ. House, 2000, pp. 469–479.

- Kenny D. Equivalence. In: *Routledge encyclopedia of translation studies*. E. Baker (Ed.). London, Routledge, 1998, pp. 77–80.
- Koller W. *Einführung in die Übersetzungswissenschaft*. Heidelberg, Quelle and Meyer, 1979.
- Newmark P. *A textbook of translation*. New York, Prentice Hall, 1988.
- Nida E., Taber C. R. *The theory and practice of translation*. Leiden, E. J. Brill, 1969.
- Orban C. E. Marinetti's zang tumb tumb: Exploding words as images. In: Orban C. E. *The culture of fragments: word and images in futurism and surrealism*. Amsterdam, Rodopi, 1997, pp. 24–54.
- Pertsova N. N. O “zvezdnom yazyke” Velimira Khlebnikova [About Velimir Khlebnikov's “language of the stars”]. In: *Mir Velimira Khlebnikova. Stat'i i issledovaniya 1911–1998* [The world of Velimir Khlebnikov. Papers and studies (1911–1998)]. A. E. Parnis (Ed.). Moscow, LRC Publ. House, 2000, pp. 359–384.
- Sokolova O. V. Kontseptsii “vselenskogo” i “universal'nogo” yazyka v russkom i amerikanskom avangarde [Conceptions of the “global” and “universal” language in the Russian and American avant-garde]. *Critique and semiotics*. 2015, no. 1, pp. 268–283.
- Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand. Textes réunis et présentés par M. Espagne et M. Werner*. Paris, 1988.
- Vinay J. P., Darbelnet J. *Comparative stylistics of French and English: A methodology for translation*. Amsterdam, Philadelphia, J. Benjamins, 1995.
- Yakobson R. O. O lingvisticheskikh aspektakh perevoda [On linguistic aspects of translation]. In: *Voprosy teorii perevoda v zarubezhnoy lingvistike* [Issues of translation theory in foreign linguistics]. V. N. Komissarov (Ed.). Moscow, 1978, pp. 16–24.

List of sources

- Povarennaya kniga futurista: Manifest F. T. Marinetti i Fillia “Futuri-sticheskaya kukhnya” Kommentirovannoe izdanie* [Futurist cookbook. “Futurist Cuisine” by F. T. Marinetti and Fillia: Commented edition]. O. V. Sokolova (Comp.), A. Di Santo, O. V. Sokolova (Transl. from Italian, comm.). St. Petersburg, EUSP, 2018.
- Marinetti F. T., Fillia. *La cucina futurista*. Milano, Sonzogno, 1932.

УДК 811.161.1:314 743
DOI 10.17223/18137083/67/22

Е. В. Евпак

Кемеровский государственный университет

**Русский язык в письменной речи
русских эмигрантов в славянских странах
(на материале частной переписки)***

Исследуется русский язык в письменной речи русских эмигрантов первой волны и их потомков в славянских странах (Чехословакия, Чехия и Словакия) через портретирование отдельных личностей русских переселенцев на материале частной переписки. Актуализируется важность подключения естественной письменной речи для моделирования речевых портретов русских эмигрантов. Особое внимание обращается на письменную речь эмигрантов первой волны разных поколений (родители – дети). Отмечается, что речевые практики и предпочтения определяются многими факторами: семейным воспитанием и личным окружением, языком, на котором получено образование в эмиграции, профессией, индивидуальными особенностями личности эмигранта; детерминированы они также языковой политикой страны эмиграции, языковой ситуацией и т. д.

Ключевые слова: русский язык, русское зарубежье, эмиграция, языковая личность, чешский язык, словацкий язык, персонoproстранство.

Антропоцентрическая парадигма современной гуманитаристики во многом определила вектор лингвистических исследований. Пристальное внимание лингвистического сообщества направлено на изучение личности, пребывающей в инокультурном пространстве (языковой личности), в эмиграции, на исследование форм языковой и культурной адаптации эмигранта и национальных диаспор [Фиалкова, 2005; Забродская, Эхала, 2010; Все мы дети..., 2016]. В 90-е гг. XX в. сложилось направление, всесторонне актуализирующее этот социальный феномен.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 19-012-00202 «Обыденная политическая коммуникация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ».

Евпак Евгений Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Кемеровского государственного университета (ул. Красная, 6, Кемерово, 650000, Россия; jevpak.72@mail.ru)

Термин «эмигрантология» и концепция этой науки были представлены польским ученым Л. Суханеком на XII Международном съезде славистов в Кракове в 1998 г. С этого времени эмигрантология как самостоятельная область гуманитаристики стала активно распространяться в славянских странах. Об эмигрантологии как науке шла речь на съездах славистов в Любляне (1998), Македонии (2008), Минске [Суханек, 2013]. Исследования Л. Суханека в определенной степени стимулировали научный интерес к эмигрантологической проблематике в славянских странах. На этом фоне заметно активизировалась отечественная лингвистическая наука (см.: [Грановская, 1995; 1998; 2005; Григорьева, 1998; Голубева-Монаткина, 1998; Язык русского зарубежья, 2001] и др.). Появились комплексные лингвистические труды по изучению русского зарубежья в отдельных странах (см.: [Язык русского зарубежья, 2001; Протасова, 2004; Оглезнева, 2009] и др.).

Основная цель данной работы заключается в том, чтобы исследовать язык русского зарубежья чехословацкого (чешско-словацкого) периода эмиграции через портретирование отдельных личностей русских эмигрантов первого поколения и их потомков на материале, прежде всего, частной переписки и показать важность подклевания естественной письменной речи (эпистолярная) для моделирования речевых портретов русских эмигрантов. Как прозорливо отметил Ю. Н. Караулов, «Русский язык зарубежья представляет собой необозримую и сложную тему – как в силу своего жанрово-стилевого и функционального разнообразия и в силу исторического напластования в нем структурных и социально-психологических черт, характеризующих разные “волны” эмиграции, так и в силу его территориального варьирования в зависимости от того или иного инонационального окружения. Анализ этих, как и других, здесь не названных, его особенностей – дело будущего, поскольку круг письменных источников для его изучения необычайно широк...» [Караулов, 1992, с. 5–6].

В нашем исследовании изучение русского языка в зарубежье осуществляется в рамках научной методологии московской школы функциональной социолингвистики [Язык русского зарубежья, 2001] и кемеровской научной школы «Социально-когнитивное функционирование русского языка» [Голев, 2014; 2015]. Социолингвистический аспект исследования связан с речевым портретированием отдельных личностей русского зарубежья в части описания их письменной речи. Обращается внимание на ее особенности на всех уровнях языка, специфику речевого поведения с учетом личных и профессиональных свойств, особенностей биографии, условий освоения русского языка.

Методология кемеровской научной школы «Социально-когнитивное функционирование русского языка» находит применение в описании личностного коммуникативного пространства русских эмигрантов, в создании типологии языковой личности эмигрантов на основе изучения их антропотекстов с учетом особенностей межъязыкового контактирования и подключением к языковой ситуации ментального компонента.

Некоторые аспекты деятельности русской эмиграции чехословацкого периода достаточно полно освещены в работах зарубежных и отечественных эмигрантологов (см.: [Кишкин, 1995; Savický, 1999; Koprřivová, 2001; Harbul'ová, 2001; Turá, 2006; Чумаков, 2008] и др.). Между тем исследований по изучению языка русского зарубежья в славянских странах на чехословацком (чешском и словацком материале) крайне мало.

Первая волна эмиграции может быть представлена людьми разных поколений, в том числе потомками, родившимися в зарубежье. В нашем материале первая волна эмиграции в Чехословакию (Чехию и Словакию) представлена частной перепиской А. А. Любимова, А. И. Бем, Н. Г. Михайловского, Н. Андрусовой. В качестве фактологической базы исследования выступают семейные архивы до-

черей А. А. Любимова, Н. Г. Михайловского, А. Н. Глебовой-Михайловской, Н. Н. Михайловской, Андрусовых, любезно предоставленные автору настоящей статьи. Материалом исследования являются письма разных типов (родительские, дружеские, письма родственникам, письма-благодарности) (всего десять писем).

Добрую память на словацкой земле оставил о себе А. А. Любимов. В 1998 г. по случаю 100-летия со дня его рождения Министерство образования Словацкой Республики приняло предложение г. Медзилаборце о присвоении его имени художественной школе, в стенах которой размещалась музыкальная школа, основанная в свое время А. А. Любимовым, бывшим затем много лет ее директором. А. А. Любимов родился в 1898 г. в станице Казанская-на-Дону в крестьянской семье. Окончил гимназию в Таганроге, учился в военном училище. Принимал участие в освобождении Украины от польских оккупантов. С боями дошел до Варшавы, где попал в плен. В 1921 г. оказался в Чехословакии, в Праге. В 1925 г. окончил Институт торговли. Во время учебы А. А. Любимов познакомился с русинскими студентами из Закарпатья, которые рассказали ему о тяжелой жизни местного населения, о проблемах с получением образования. Дальнейшая судьба А. А. Любимова связана с преподавательской деятельностью в русинской области Словакии. Свою учительскую деятельность он начал в сельской местности: работал учителем в Олшинкове, Ольце, Калинове, Чертижном. После Второй мировой войны А. А. Любимов преподавал в Русской гимназии в г. Гуменне, а в 1950–1953 гг. – в Педагогической гимназии в г. Медзилаборце. А. А. Любимов был одним из основателей Первого профессионального украинского художественного ансамбля песни и пляски в г. Медзилаборце и художественным руководителем оркестра. В 1955 г. работал в университете им. Я. А. Коменского в г. Братиславе на кафедре русского языка и литературы. А. А. Любимов, по мнению его учеников, сумел хорошо понять потребности и интересы местного русинского и украинского населения Восточной Словакии. Всю жизнь он неутомимо работал на его благо. Во время Второй мировой войны А. А. Любимов помогал антифашистам и партизанам. Умер А. А. Любимов в 1976 г. в Словакии [Галайда, 1980; Чумаков, 2008].

Эмигрантский эпистолярный А. А. Любимова представлен личными (родительскими) письмами, написанными А. А. Любимовым своим дочерям (всего три письма).

Личное письмо, по мнению Т. Г. Рабенко, обладает рядом инвариантных признаков:

1) моноавторство. «В ситуации создания личного письма автор выступает как частное лицо, носитель социально-демографической роли (родитель, отец, мать, муж, жена и т. д.): *Дорогая Верочка!; Папа; Целуем папа и мама;*

2) эксплицированность автора. «Автор вписан в эпистолярный текст, где он репрезентирует себя, свою жизнь, свои взгляды, мнения и пр.»: *В публике не смеешь никого видеть и никаких сладких улыбок не рассылать;*

3) альтерадресация. «Доминирующим для личного письма типом адресата является частное лицо, с которым автор находится в родственных либо дружеских отношениях»: *Милая Веронька; Относительно тебя мы делали правильное предположение, а вот насчет Любы не можем найти объяснения;*

4) «диалогичность как следствие альтерадресации, реализуемая за счет контактоустанавливающих средств, прежде всего обращений, вопросов»: *Дорогая Верочка!; Поняла?;*

5) «особость» формально-композиционной структуры: трехчастность структуры, наличие этикетной рамки: *Дорогая Верочка!; Папа; Целуем папа и мама;*

6) фатическая функция как основная, функция поддержания родственных или дружеских отношений. «Описание реальных событий частной жизни, докумен-

тальность»: *Дорогая Верочка! Мы три раза ходили встречать тебя*¹ [Рабенко, 2017, с. 192].

Родительский эпистолярный А. А. Любимова реализует ряд интенций родительского совета:

По поводу твоего первого выступления мне хочется сказать тебе несколько слов, чтобы они запали тебе в душу и навсегда определили твое отношение к исполняемому и твое поведение на сцене. Музыкант-исполнитель является посредником между композитором между композитором и слушателями. Святой обязанностью исполнителя является показать образ произведения так, как его представлял себе композитор (насколько, конечно, это доступно исполнителю. Это очень почетная и весьма ответственная задача (Из письма А. А. Любимова Вере Любимовой, Межилаборцы, 22 мая 1956 г.).

Эпистолярный А. А. Любимова отличается уникальностью лексики, синтезом элементов разных функциональных стилей, графической маркированностью значимых участков текста, обозначением местных реалий. В письме от 16 ноября 1947 г. обращает на себя внимание слово *фортосьяно* (ФОРТЕ нар. итал. музык. Сильно, громко, громче, пртвпл. піано. Форте(о)піано ср. нескл. и фортопіаны мн. ч. ... фортопіанщикъ, фортопіанный мастеръ (Даль, 1955, с. 538), ср.: «*ФОРТЕПИАНО и фортепьяно*» (Толковый словарь..., 2000, с. 1105). На наш взгляд, оно отражает начальный этап адаптации слова в одном из его вариантов. Письмо от 29 ноября 1962 г. отражает современный разговорный язык. Его лексика включает значительное число разговорных слов и выражений: *возня* (Ожегов, 1961, с. 89), *черкни* (Там же, с. 866), *навострила* (Там же, с. 362) и др. С точки зрения носителя современного русского языка вызывает интерес слово *телефонировал* (Там же, с. 780). Письма А. А. Любимова представляют научный интерес в контексте эмигрантских речевых практик: употребление ласкательных форм имени: *Верочка, Веронька* (этим подчеркивается трепетное отношение к семье в эмиграции, способствует укреплению семейных уз); способ адаптации местных реалий (словацких топонимов): *Межилаборцы, Пряшев* через «я» (влияние язычия); употребление слова *эвакуация* в значении *переезд*: *Если выйдет, прибеги посмотри на нашу эвакуацию...* (Межилаборцы, 22 мая 1956 г.). Представляет интерес письмо-благодарность (черновой вариант письма) Н. А. Чорной, написанное на церемонию открытия памятной доски в г. Прешове по случаю 100-летия со дня рождения А. А. Любимова. Это письмо носит полуофициальный характер. В письме эксплицируется социальный статус адресата, определены структурно-содержательная композиция канона, средства репрезентации персональной модальности.

Уважаемые директор (школы) и все преподаватели! Позвольте и нам, потомкам А. А. Любимова, еще раз выразить нам в Ваш адрес глубокую признательность и благодарность за то, что и спустя 60-лет от/с основания школы Вы не забываете и высоко цените ту роль, которую сыграл наш отец А. А. Любимов в основании школы.

Важным сигналом русского эмигрантского эпистолярного текста является метаязыковая рефлексия Н. Чорной:

Р. S. Пишем это письмо на родном языке нашего отца и нас – на русском языке. Предполагаем, что Вы все поймете! Прешов (дата в письме не обозначена. – Е. Е.).

¹ Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация оригинала.

Следует отметить, что авторская интенция *Предполагаем, что Вы все поймете!* адресована директору и учителям словацкой школы. В ней подчеркивается доверительность в отношениях между участниками коммуникативного события, сообщается об отсутствии языкового барьера. Все это свидетельствует о непрерывности культурно-языкового взаимодействия русских и словаков. Н. А. Чорна родилась в Словакии, по линии своего отца (А. А. Любимова) она потомок русских эмигрантов в первом поколении. Ее профессиональная деятельность была связана с преподаванием русского языка в школе. В ее языковом портфолио русский язык занимает главное место.

Вызывает интерес дружеское письмо А. И. Бем А. Н. Глебовой-Михайловской (письмо написано 2 октября 1936 г.). Как отмечает Н. И. Белунова, «для дружеского письма характерны не обращения-номинации, указывающие на социальный статус адресата, профессию и т. п., а адресные обращения, которые не только называют, квалифицируют адресата (что реализуется обычно именем собственным), но и выражают личное отношение адресанта к адресату и ориентированы на интенсификацию общения» [Белунова, 2000, с. 63]. *Дорогая Анна Николаевна!.. Я Вам еще напишу, а пока целую крепко. А. Бем.* В этом письме мы обратили внимание на способ передачи иноязычных вкраплений на языке страны проживания (падежные окончания чешских слов фиксируются в русской кириллице):

К сожалению, я не могу сейчас его проведать, м. б. на следующей неделе, если он не придет в воскресенье Альф. Людв. просил г. Křičku похлопотать об Ники перед начальством, от которого это зависит. Кажется, и Ваш муж обращался к Křičke.

По словам Е. А. Земской, «самые первые инновации в языке эмигрантов – лексические заимствования из языка окружения. Буквально через 3-4 года после появления в Европе первых русских послереволюционных беженцев С. Карцевский писал: «Беженецкий быт способствует формированию особого argot, в который входит значительное количество заимствований из языка той страны, где обосновалась данная категория эмигрантов. Было бы интересно и поучительно обследовать язык русских беженцев в разных странах» [Язык русского зарубежья, 2001, с. 1437]; «Для эмигрантов всех волн характерно включение в русскую речь иноязычных слов, прежде всего, когда соответствующее русское название отсутствует, не известно говорящему или иноязычное является более привычным» [Там же, с. 119]. Большой интерес в этом письме вызывает рефлексия А. И. Бем над чужой речью: *Он русский уже знает настолько, что его не забудет, а если он год потеряет, то это не страшно.* Как отмечает Л. М. Грановская, «в условиях эмиграции формирование личностного отношения к языку, рефлексия над своей и чужой речью – качества присущие духовно одаренным личностям, представляют несомненный интерес» [Грановская, 1998, с. 97]. В поле нашего зрения попали авторские сокращения *м. б., Альф. Людв., Г. Ник.*; краткие формы имен собственных: *Ника* (семейные имена обращения, определяющие дружескую модальность письма). В письме А. И. Бем речь идет о Н. Г. Михайловском, внуке известного русского писателя Н. Г. Гарина-Михайловского и сыне дипломата-эмигранта Г. Н. Гарина-Михайловского. Бесценным свидетельством эмигрантской эпохи чехословацкого (чешско-словацкого) периода является его эпистолярный. Н. Г. Михайловский родился в 1922 г. в г. Праге. Свои первые уроки русского языка получил в русской семье литературоведа А. Л. Бема. В 1932–1935 гг. учился в лучшей по тем временам русской гимназии в г. Моравска Тршебова, потом до 1937 г. в Праге. В 1941 г. окончил Словацкую реальную гимназию в Братиславе, в 1949 г. – химический факультет Высшей технической школы. В 1946 г. инженер Михайловский становится гражданином Чехословакии. До 1953 г. Н. Г. Михайловский работал в Научно-исследовательском институте пищевой промышленно-

сти, а до увольнения на пенсию – в Институте экспериментальной эндокринологии Словацкой академии наук. В 1960 г. ему была присуждена ученая степень кандидата наук. В последние годы жизни Н. Г. Михайловский выступал на «русских вечерах» перед соотечественниками с лекциями по истории эмиграции своей семьи, участвовал в конференциях, консультировал по эмигрантологии начинающих исследователей. Умер Н. Г. Михайловский в словацкой Братиславе в 2012 г. в возрасте 89 лет [Евпак, 2015]. В его письмах затрагиваются актуальные вопросы эмигрантской жизни: русская орфография в зарубежье, история русского языка, роль Церкви и церковнославянского языка в жизни русской диаспоры. В этом контексте обратим внимание на письмо автору данной статьи:

Дорогой Евгений Владимирович! Ваши статьи одни из первых Новой – Постсоветской России, с хвалебным отзывом о Русской белой эмиграции, сохранившей и свой язык, нравы, способы жизни и главным образом Веру и Православие. Посещение Церкви всех русских сильно объединяло и сыграло главную роль при сохранении руссизма. Вы пишете, что новую орфографию разрабатывала Академия наук много лет до революции, но советское правительство ее обнародовало сразу в 1918 г. При этом надо уточнить, что в новой орфографии были изъяты письмена: «ять», твердый знак, двойное латинское «i» и кроме этого было введено во всей литературе писание имени «бог» с маленькой буквой, которое, при чтении классической и современной литературы, издаваемой в СССР, всегда возмущало мою маму и вызывало сильное негодование, а я считаю это даже кощунством. В эмигрантской литературе конечно слово «Бог» пишется с большой буквой (Из письма Н. Г. Михайловского Е. В. Евпаку, 9 января 2012 г., Братислава).

М. Раев писал: «Как и все эмигранты, русские за границей были консервативны в том смысле, что они стремились сохранить прошлое таким, каким они его понимали; они опасались, что всякое *aggiornamento* может изменить русское самосознание их детей. Этим объясняются жаркие споры о старой орфографии, будоражившие Русское Зарубежье...» [Раев, 1994, с. 68]. В письмах Н. Г. Михайловского можно увидеть небольшое количество заимствований из чешского и словацкого языков, которые используются для передачи местных реалий, а также вкрапления на немецком языке, которые уточняют исторические названия чехословацких (моравских) населенных пунктов (иногда иноязычные вкрапления передаются русской графикой):

Мор. Тржебова (когда-то *Mährisch Trübau*) небольшой (11 000 ж.) старинный городок, но хорошо сохранившийся – во времена I Чесл. Респ. Там жило 90 % немцев (Из письма Н. Г. Михайловского Н. Н. Михайловской, 20 декабря 2012 г.).

В этом видится отличие языка эмигрантов первой волны и их потомков от языка других волн, которое состоит в том, что им свойственно употребление иноязычных слов не только страны проживания, но и слов других языков. Это объясняется тем, что значительная часть старой эмиграции сохраняет многоязычие, в том числе в зависимости от образования, специфики контактного окружения и языковой ситуации. На малое количество заимствований в языке учеников русской гимназии в Моравская Тршебова указал в своем социолингвистическом исследовании «Из жизни языка социальных групп» известный чешский лингвист Л. В. Копецкий. Он описал язык учеников этого русского учебного заведения, отметив, что «в этом жаргоне было мало иноязычных заимствований» (см.: [Грановская, 1995, с. 45–46]). В письме от 16 августа 2000 г. мы обратили внимание на языковой оборот «недостаток сердца»: *Кроме этого наш Юрка заболел (не-*

достаток сердца и язва желудка) и три недели пролежал в больнице. По мнению лингвистов-эмигрантологов, подобные речевые обороты довольно часто встречаются в речевых практиках эмигрантов, что свидетельствует об утрате носителями знания таких оборотов. Эмигрантский дискурс Н. Г. Михайловского отличается высокой степенью политематичности, обращением к прецедентным текстам:

За это время мне удалось издать две статьи в нашем журнале «ВМЕСТЕ» – Общества союза русских в Словакии: 1/ «Кривань на словацких монетах ЕВРО и в повести Н. В. Гоголя» – ВМЕСТЕ, № 4/2008, стр. 28–29. Но это только короткое сообщение, как Гоголь величает в повести «Страшная месть» Словацкий символ – гору Кривань. Поэтому я решил переписать в компютер для моих родственников и знакомых весь эпилог этой повести из советской книги. Но мне пришлось всюду писать Бог с большим Б. /С маленьким б эпилог теряет смысл./... (Из письма Н. Г. Михайловского Е. В. Евпаку, 9 января 2012 г., Братислава).

Как языковая личность, Н. Г. Михайловский сформировался под воздействием семейной среды и естественно-культурного иноязычного окружения страны проживания (Чехословакия). Он в совершенстве владел чешским, словацким, немецким языками, изучал итальянский язык. Как было отмечено выше, свои первые уроки русского языка получил в русской семье литературоведа А. Л. Бема, учился в русской гимназии в г. Моравска Тршебова. Его мать, Анна Николаевна Глебова-Михайловская родилась в Петербурге, где окончила женскую гимназию Стоюнина и до революции два года училась на историко-филологическом факультете Петербургского университета. В эмиграции подрабатывала частными уроками иностранных языков (преподавала русский и французский языки, до ухода на пенсию преподавала русский язык в средних учебных заведениях Братиславы). А. Н. Глебова-Михайловская была незаурядной творческой личностью: писала стихи, прозу (роман «Сестры Горбовы»), занималась рисованием. Семья Михайловских поддерживала дружеские контакты с творческой и технической интеллигенцией русского зарубежья: Н. О. Лосским, А. Л. и А. И. Бем, В. И. Вернадским, Н. Николиным, Н. Н. Карлинским и др. (см.: [Гарбульова, 2008]). Как вспоминает в одном из своих писем Н. Н. Михайловская, двоюродная сестра Н. Г. Михайловского:

Уважаемый Евгений, мы с моим двоюродным братом Никой встречались, когда он приезжал в Москву по служебным делам или с замечательной женой Анжелой, которую мы все полюбили. По их приглашению я гостила у них в Братиславе в 1987 году. Мы с Никой ездили в Прагу в гости, встречались с родными Анжелы и друзьями, ездили в Ружомберок, в Татры. Эта поездка оставила неизгладимые впечатления. Мы получали много красочных открыток от Анжелы, когда они ездили отдыхать, она хорошо владела русским языком, хотя была родом из Словении. Николай Георгиевич трудился до последнего дня и не терял интерес к этим делам. Он был светлым человеком и таким останется в памяти тех, кто его знал (Из письма Н. Н. Михайловской Е. В. Евпаку, 24 марта 2017 г.).

Николай Георгиевич был очень родственным и добрым ко всем нам, что было большим сюрпризом, тем более, что он родился и вырос вне России, но не потерял интерес к своей родине и России» (Из письма Н. Н. Михайловской Е. В. Евпаку, 25 марта 2017 г.).

Важные сведения о повседневной жизни русской диаспоры в Чехословакии содержит семейный эпистолярный Н. Андрусовой. Так, в письме Н. Андрусовой от 8 апреля 1980 г. нам удалось найти важный «сигнал», маркирующий авторскую

языковую рефлексии по поводу восприятия русскими чешских и словацких слов: ...в каталоге... я видела «прачки»... (словац. *práčka*, -у, в рус. яз. – ‘стиральная машина’) [Veľký slovensko-ruský slovník, 1986, s. 461]. В этой связи стоит обратить внимание на то, что «знание языков зарубежных славянских народов не получило столь широкого распространения. Вполне закономерно, что столкновение с чешским языком вызвало не мало трудностей среди эмигрантов. Историк С. Г. Пушкарёв, приехавший в Чехословакию в 1921 г., вспоминал, как его поразили носильщики на пражском Вильсоновском вокзале, которые катили тележки с багажом и кричали: *Позор! Позор!* (рус. ‘осторожно, внимание’ (примеч. автора. – Е. Е.)). Вскоре С. Г. Пушкарёв составил длинный список таких слов под заглавием “Словарь русско-чешских недоумений”. Эти же языковые парадоксы отметил Б. Н. Лосский: “Вспоминаются тоже и наши первые впечатления от чешского языка, поначалу показавшиеся нам смешным из-за расхождения смысла слов, построенных на общеславянских корнях, вроде *позор* ‘внимание’, *черствы* ‘свежий’, *рыхлы* ‘быстрый’, *запах* ‘вонь’, *вунь* ‘запах’, от нее *вонявки* ‘духи’ и т. п.”» [Ковалев, 2014, с. 104]. Еще один эпизод, на который мы обратили внимание в этом письме, – это мотив ностальгии. Надо сказать, что это явление в той или иной степени присутствует в сознании всех поколений эмигрантов и вербализуется в естественной письменной речи. Показательно в этом отношении письмо из личного архива Н. Андрусовой от 31 января 1961 г.:

Поездка в Сов. союз. может быть, если бы я очень наперла, меня бы пригласили, но вас вряд ли. Душевно я страстно стремлюсь повидать родину, но думаю мне это не по силам.

В заключение хотелось бы отметить, что «русская эмиграция в изгнании сформировала личностное отношение к языку, высказанное в тезисе: эмиграция не живет на родине, но она живет в родном языке, что важнее, чем все другое» [Грановская, 2005, с. 383]. По нашим наблюдениям, личностное отношение к языку у эмигрантов первой волны и их потомков особенно ярко проявляется в естественной письменной речи. Естественная письменная речь эмигрантов, представленная в письменном материале, показывает степень сохранности русского языка, равнодушное отношение эмигрантов к русскому языку, которое проявляется в рефлексиях над своей и чужой речью, культурный фон языковой личности (элитарность), уникальность эмигрантских речевых практик.

Результаты исследования позволяют сделать выводы: сохранению русского языка в зарубежье способствуют образованность, семейное воспитание, интерес к России, ее культуре, истории, национальным традициям, обучение на русском языке, наличие русского окружения, интенсивность и продолжительность языковых контактов на русском языке, связь с Россией, тип языковой личности, языковая политика страны проживания.

Список литературы

Бедунова Н. И. Дружеские письма творческой интеллигенции конца XIX – начала XX в. (Жанр и текст писем). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. 140 с.

Все мы дети своего времени: истории жизни русских в Латвии / Visi esamšava laikmeta bērni: krievu dzīvesstāsti Latvijā / Сост. М. Зирните, М. Ассерецкова. Рига: Ин-т философии и социологии Латв. ун-та; Латв. ассоциация исследователей устной истории; Dzīvesstāsts, 2016. 411 с.

Галайда І. Олександр Андрійович Любимов. Пряшів: Дуклянські друк., 1980.

Гарбульова Л. Жизнь русского дипломата Георгия Николаевича Гарина-Михайловского в Словакии // Проблемы истории Русского зарубежья. 2008. Вып. 2. С. 177–189.

- Голев Н. Д. Ментально-психологические аспекты типологии языковой личности (к проблеме взаимоотношения языкового и персонного пространства) // Языковая личность: Моделирование, типология, портретирование. Сибирская лингвоперсонология. Ч. 1. М.: Ленанд, 2014. 640 с.
- Голев Н. Д. Лингвоперсонологическое измерение речи русских переселенцев в зарубежье (методологические заметки) // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2015. № 4. С. 62–45.
- Голубева-Монаткина Н. И. О староэмигрантской речи (к типологии современной русской речи Дальнего Зарубежья) // Русистика сегодня. 1998. № 1-2. С. 88–97.
- Грановская Л. М. Русский язык в «рассеянии». Очерки по языку русской эмиграции первой волны. М.: ИРЯЗ, 1995. 176 с.
- Грановская Л. М. Сергей Михайлович Волконский (1860–1937) // Русистика сегодня. 1998. № 1-2. С. 97–112.
- Грановская Л. М. Русский литературный язык в конце XIX – начале XX в.: Очерки. М.: Элпис, 2005. 448 с.
- Григорьева Т. М. Русская орфография в эмиграции // Русистика сегодня. 1998. № 1-2. С. 53–62.
- Евпак Е. В. Значимые места в семейной летописи Гариных-Михайловских: Россия, эмиграция // Вестн. Кемер. гос. ун-та. 2015. № 2(62). С. 256–259.
- Забродская А., Эхала М. Что для меня Эстония? Об этнолингвистической vitality русскоязычных // Диаспоры: Независимый науч. журн. 2010. № 1. С. 8–26.
- Караулов Ю. Н. О русском языке зарубежья // Вопросы языкознания. 1992. № 6. С. 5–19.
- Кишкин Л. С. Русская эмиграция в Праге: культурная жизнь (1920–1930-е годы) // Славяноведение. 1995. № 4. С. 17–27.
- Ковалев М. В. Повседневная жизнь российской эмиграции в Праге в 1920–1930-е годы: Исторические очерки. Саратов: Изд-во Саратов. гос. техн. ун-та, 2014. 154 с.
- Оглезнева Е. А. Русский язык в восточном зарубежье. Благовещенск: Амур. гос. ун-т, 2009.
- Протасова Е. Ю. Феннороссы: жизнь и употребление языка. СПб.: Златоуст, 2004. 308 с.
- Рабенко Т. Г. Речевой жанр с позиций лингвистической вариантологии (на материале речевого жанра «личное письмо») // Научный диалог. 2017. № 12. С. 189–199.
- Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919–1939. М.: Прогресс-Академия, 1994. 296 с.
- Суханек Л. Место антропологии в эмигрантологических исследованиях // Русское зарубежье и славянский мир. Белград, 2013. С. 12–22.
- Фиалкова Л. Опыт адаптации в устных рассказах «русских» израильтянок // Диаспоры: Независимый науч. журн. 2005. № 1. С. 19–48.
- Чумаков А. В. Россияне в Словакии. Stredná odborná škola polygrafická: Братислава, 2008. 172 с.
- Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты / Отв. ред. Е. А. Земская. Москва; Вена: Языки славянской культуры: Венский славистический альманах, 2001. 496 с.
- Harbuľová E. Ruská migrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2001. 235 s.
- Kopřivová A. Střediska ruského emigrantského života v Praze (1921–1952). Praha: Slovanská knihovna, 2001. 113 s.

Savický I. Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách 1914–1938. Praha: Akademia, 1999.

Tupá L. Russische Literatur und Geisteswissenschaft in Bratislava (1920–1939). Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung Russisch eingereicht an der Universität Wien: Wien, 2006. 153 S.

Список словарей

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1955.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. 4-е изд., испр. и доп. М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961.

Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. М.: АСТ, 2000. Т. 4. 757 с.

Veľký slovensko-ruský slovník. T. III: diel P–Q. VEDA. Bratislava: Vydavat. Slovenskej akad. vied., 1986.

E. V. Evpak

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation, jevpak.72@mail.ru

The Russian language in written speech of Russian emigrants in Slavic countries (based on private correspondence)

The paper studies the Russian language in the written speech of Russian emigrants of the first wave of emigration and their descendants in the Slavic countries (Czechoslovakia, Czech Republic, and Slovakia). The primary goal is to study the language of the Russian Diaspora of the Czechoslovak (Czech and Slovak) period of emigration by portraying the Russian emigrant individuals of the first generation and their descendants, mainly as exemplified in their private correspondence. Also, the work is to show the importance of involving the natural written speech for modeling speech portraits of Russian emigrants. Particular attention is drawn to the written speech of the first wave of emigrants of different generations (parents – children). Natural written speech of the first wave emigrants of Russian emigration shows the functioning of the Russian language outside its natural conditions for the century. It is noted that the representatives of the Russian Diaspora of the first wave of emigration and their descendants living in Czechoslovakia (the Czech Republic and Slovakia) over the course of the emigrant period (lifetime), sought to preserve the Russian language, national traditions, faith. Some of the emigrants are multilingual, including the languages acquired in the exile, with the dominance of the Russian language. Speech practices and preferences are determined by many factors: family upbringing and personal environment, the language in which the education was received in exile, profession, personal characteristics of the individual emigrant. They are also determined by the language policy of the country of emigration, linguistic situation, etc.

Keywords: Russian language, the Russian diaspora, emigration, linguistic personality, Czech, Slovak, personoprostranstvo.

DOI 10.17223/18137083/67/22

References

Belunova N. I. *Druzheshkiye pis'ma tvorcheskoy intelligentsii kontsa XIX – nachala XX v. (Zhanr i tekst pisem)* [Friendly letters of creative intelligentsia of the late 19th – beginning of 20th century. (Genre and text of letters)]. St. Petersburg, SPbU Publ., 2000, 140 p.

Chumakov A. V. *Rossiyan v Slovakií* [Russians in Slovakia]. Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, 2008, 172 p.

- Fialkova L. Opyt adaptatsii v ustnykh rasskazakh "russkikh" izrail'tyanok [Experience of adaptation in oral tales of "Russian" Israeli women]. *Diaspory: Nezavisimyy nauch. Zhurn.* 2005, no. 1, pp. 19–48.
- Galayda I. *Oleksandr Andriyovich Lyubimov*. Pryashiv, Duklyans'ki druk., 1980.
- Garbul'ova L. Zhizn' russkogo diplomata Georgiya Nikolayevicha Garina-Mikhaylovskogo v Slovaki [Life of the Russian diplomat Georgy Nikolaevich Garin Mikhailovsky in Slovakia]. In: *Problemy istorii Russkogo zarubezh'ya* [Problems of the History of Russian Abroad]. 2008, iss. 2, pp. 177–189.
- Golev N. D. Mental'no-psikhologicheskiye aspekty tipologii yazykovoy lichnosti (k probleme vzaimootnosheniya yazykovogo i personnogo prostranstva) [Mental-psychological aspects of the typology of linguistic personality (on the problem of the relationship between linguistic and personal space)]. In: *Yazykovaya lichnost': Modelirovaniye, tipologiya, portretirovaniye. Sibirskaya lingvopersonologiya. Ch. 1* [Linguistic personality: Modeling, typology, portraying. Siberian linguistics. Pt 1]. Moscow, Lenand, 2014, 640 p.
- Golev N. D. Lingvopersonologicheskoye izmereniye rechi russkikh pereselentsev v zarubezh'ye (metodologicheskiye zametki) [Linguopersonological measurement of speech of Russian immigrants in foreign countries (methodological notes)]. *Bulletin of Kemerovo State Univ.* 2015, no. 4, pp. 62–45.
- Golubeva-Monatkina N. I. O staroemigrantskoy rechi (k tipologii sovremennoy russkoy rechi Dal'nego Zarubezh'ya) [On old-emigrant speech (on the typology of modern Russian speech of the Far Abroad)]. *Rusistika segodnya*. 1998, no. 1-2, pp. 88–97.
- Granovskaya L. M. *Russkiy yazyk v "rasseyanii"*. *Ocherki po yazyku russkoy emigratsii pervoy volny* [The Russian language in "the far-away". Essays on the language of the first wave of Russian emigration]. Moscow, IRYAZ, 1995, 176 p.
- Granovskaya L. M. Sergey Mikhaylovich Volkonskiy (1860–1937). *Rusistika segodnya*. 1998, no. 1-2, pp. 97–112.
- Granovskaya L. M. *Russkiy literaturnyy yazyk v kontse XIX – nachale XX v.: Ocherki* [The Russian literary language in the late 19th – early 20th century: Essays]. Moscow, Elpis, 2005, 448 p.
- Grigor'yeva T. M. Russkaya orfografiya v emigratsii [Russian orthography in emigration]. *Rusistika segodnya*. 1998, no. 1-2, pp. 53–62.
- Evpak E. V. Znachimyye mesta v semeynoy letopisi Garinykh-Mikhaylovskikh: Rossiya, emigratsiya [Significant places in the family chronicle of the Garin-Mikhailovskys: Russia, emigration]. *Bulletin of Kemerovo State Univ.* 2015, no. 2(62), pp. 256–259.
- Harbul'ová Ľ. *Ruská migrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939)*. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2001, 235 p.
- Karaulov Yu. N. O russkom yazyke zarubezh'ya [On the Russian language abroad]. *Voprosy jazykoznanija (Topics in the study of language)*. 1992, no. 6, pp. 5–19.
- Kishkin L. S. Russkaya emigratsiya v Prage: kul'turnaya zhizn' (1920–1930-e gody) [Russian Emigration in Prague: Cultural Life (1920–1930s)]. *Slavyanovedeniye*. 1995, no. 4, pp. 17–27.
- Kovalev M. V. *Povsednevnyaya zhizn' rossiyskoy emigratsii v Prage v 1920–1930-e gody: Istoricheskiye ocherki* [The daily life of the Russian emigration in Prague in the 1920–1930s: Historical essays]. Saratov, SSTU Publ., 2014, 154 p.
- Oglezneva E. A. *Russkiy yazyk v vostochnom zarubezh'ye* [Russian language in the eastern countries]. Blagoveshchensk, AmSU Publ., 2009.
- Protasova E. Yu. *Fennorossy: zhizn' i upotrebleniye yazyka* [Fennorossy: life and language use]. St. Petersburg, Zlatoust, 2004, 308 p.
- Rabenko T. G. Rechevoy zhanr s poztsiy lingvisticheskoy variantologii (na materiale rechevogo zhanra "lichnoye pis'mo") [The speech genre from the position of linguistic variantology (on the material of the speech genre "personal letter")]. *Nauchnyy Dialog (Scientific Dialogue)*. 2017, no. 12, pp. 189–199.
- Rayev M. *Rossiya za rubezhom: Istoriya kul'tury russkoy emigratsii. 1919–1939* [Russia abroad: a history of Russian emigration culture]. Moscow, Progress-Akademiya, 1994, 296 p.
- Sukhanek L. Mesto antropologii v emigrantologicheskikh issledovaniyakh [The place of anthropology in emigrant studies]. In: *Russkoye zarubezh'ye i slavyanskiy mir* [Russian foreign countries and the Slavic world]. Belgrad, 2013, pp. 12–22.
- Kopřivová A. *Střediska ruského emigrantského života v Praze (1921–1952)*. Praha, Slovanská knihovna, 2001, 113 p.
- Savický I. *Osudová setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách 1914–1938*. Praha, Akademia, 1999.

Tupá L. *Russische Literatur und Geisteswissenschaft in Bratislava (1920–1939)*. Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung Russisch eingereicht an der Universität Wien. Wien, 2006, 153 p.

Vse my deti svoyego vremeni: istorii zhizni russkikh v Latvii [We are all children of our time: Russian life stories in Latvia]. M. Zirnite, M. Asseretskova (Comps). Riga, Inst. of Philosophy and Sociology of the Univ. of Latvia, Latvian association of oral history researchers, Dzīvesstāsts, 2016, 411 p.

Yazyk russkogo zarubezh'ya: Obshchiye protsessy i rechevyye portrety [Russian language abroad: General processes and speech portraits]. E. A. Zemskaya (Ed.). In: *Yazyki slavyanskoy kul'tury: Venskiy slavisticheskiy al'manakh* [Languages of Slavic culture: Vienna Slavonic Almanac]. Moscow, Vena, 2001, 496 p.

Zabrodskaya A., Ekhala M. Chto dlya menya Estoniya? Ob etnolingvisticheskoy vital'nosti russkoyazychnykh [What is Estonia for me? On the ethno-linguistic vitality of the Russian-speaking]. In: *Diaspory: Nezavisimyy nauch. Zhurn.* 2010, no. 1, pp. 8–26.

List of dictionaries

Dal' V. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikoruskogo yazyka: V 4 t. T. 4* [Explanatory Dictionary of the Live Great Russian Language: in 4 vols, Vol. 4]. Moscow, Gos. izd. inostr. i nats. slovary, 1955.

Ozhegov S. I. *Slovar' russkogo yazyka. 4-e izd., ispr. i dop.* [Dictionary of the Russian language. 4th ed., rev. and enl.]. Moscow, Gos. izd. inostr. i nats. slovary, 1961.

Tolkovyy slovar' russkogo yazyka [Explanatory dictionary of the Russian language]. D. N. Ushakov (Ed.). Moscow, AST, 2000, vol. 4, 757 p.

Veľký slovensko-ruský slovník. Vol. 3: diel P–Q. VEDA. Bratislava, Vydavat. Slovenskej akad. vied., 1986.

УДК 82-311.1
DOI 10.17223/18137083/67/23

Е. В. Швагрукова

Томский политехнический университет

**Экзистенциальный опыт эшафота
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»**

Рецензия на книгу:

**Новикова Е. Г. «Nous serons avec le Christ».
Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: Моногр.
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 244 с.**

Рецензируемое издание представляет современное актуальное исследование романа Ф. М. Достоевского «Идиот», в котором предложена оригинальная концепция прочтения классического художественного произведения. Текст романа анализируется сквозь призму автобиографического опыта писателя, пережившего ситуацию смертной казни. История реальной, но не сбывшейся казни и последующей ссылки актуализирует категорию возвращения, понимаемую как христианское воскресение для новой жизни. Используя метод дискурсивного анализа текста, Е. Г. Новикова детально изучает явление экфрасиса, а также выявляет интертекстуальные литературные связи в романе.

Ключевые слова: достоевсковедение, Ф. Достоевский, роман «Идиот», экфрасис.

В современном достоевсковедении роман «Идиот» остается на лидирующих позициях по степени интенсивности его изучения, являясь одним из наиболее сложных текстов с точки зрения герменевтики. Широкое поле для интерпретаций позволяет филологам применять различные литературоведческие подходы в попытках приблизиться к истине, однако при наличии огромного массива работ, посвященных данному произведению, чрезвычайно трудно сформировать свою собственную оригинальную, авторскую концепцию прочтения и понимания романа. Е. Г. Новиковой, это, безусловно, удалось.

Смысловой доминантой в монографии Е. Новиковой становится реальная ситуация смертной казни, которую пришлось пережить писателю: «“Идиот” уникален тем, что в него введена автобиографическая история смертной казни Достоевского и экзистенциальный опыт эшафота является “пра-мыслью”, “прообразом” этого произведения» (с. 6). Именно тематика смертного приговора, казни, потенциальной близкой смерти и внезапного воскресения позволяет сблизить роман

Швагрукова Екатерина Васильевна – кандидат филологических наук, доцент отделения иностранных языков Томского политехнического университета (просп. Ленина, 30, Томск, 634050, Россия; shvagrucova@tpu.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© Е. В. Швагрукова, 2019

с христианской проблематикой земных страданий и пути Иисуса Христа, хотя количество евангельских текстов, непосредственно присутствующих в произведении в виде реминисценций, прямых и скрытых цитат, мало по сравнению с другими романами Пятикнижия.

В монографии изначально задается широкий культурологический контекст, причем используется не только литературный материал (эпистолярный и воспоминания), но и внелитературные факты. Так, приводятся воспоминания актера И. М. Смоктуновского, филолога А. С. Янушкевича, священника Николая (Епишева) о спектакле «Идиот», поставленном Г. А. Товстоноговым в БДТ, и непосредственно о роли князя Мышкина. Творческая задача была решена актером лишь после знакомства с человеком, вернувшимся после сталинских репрессий из лагеря. В романе князь Мышкин возвращается из-за границы на родину, как сам писатель возвращается из Сибири после долгих каторжных лет – возвращается к новой жизни, с новыми идеалами и новым пониманием собственного предназначения. «*Nous serons avec le Christ*», – говорит Достоевский на эшафоте, готовясь к смертной казни, мысленно уже пережив ее, как рассказывал он Е. П. Летковой (Летковой-Султановой) (с. 9). Это позволяет Е. Г. Новиковой сопоставить путь писателя, по аналогии с его героем, князем Мышкиным, с земным путем Иисуса Христа, проследить реализацию замысла романа, начиная с его зарождения и стремления «нарисовать лицо приговоренного» (с. 24) и заканчивая образом «Христос и ребенок».

В основе создания романа «Идиот» исследователь обнаруживает следующий художественный принцип: «копия – вариация», причем «все земные «копии» «смирненно восходят к высшей реальности мучений и казни Иисуса Христа» (с. 50), в связи с чем подробно обсуждается мотив двойничества и зеркала как его порождения.

В качестве наиболее адекватного способа чтения произведения исследователь использует метод дискурсивного анализа, опираясь на труды таких структуралистов и постструктуралистов, как Ю. М. Лотман, Р. Барт и Ж. Деррида. Особое внимание уделяется конструкции «текста в тексте», что позволяет автору сделать следующее утверждение: на смысловом уровне роман «Идиот» гораздо шире своего сюжета, благодаря так называемым лирическим отступлениям писателя, традиция которых восходит к роману в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

Чрезвычайно интересен раздел монографии, посвященный экфрасису, его месту и функционированию в тексте романа. Исследователь, выявляя специально организованный экфрасистический живописный дискурс, указывает, что данный экфрасис в романе не случаен – он обладает зеркальной сущностью и функцией удвоения либо отражения реальности. Разноуровневая классификация Е. В. Яценко позволяет обнаружить многочисленные примеры экфрасиса, однако наиболее важными становятся лишь пять эпизодов – пять значимых примеров живописного экфрасиса. Это – картина о «лице приговоренного» (в словесном описании князя Мышкина), фотографический портрет Настасьи Филипповны, портрет отца Парфена Рогожина, копия картины Ганса Гольбейна-мл. «Мертвый Христос» и картина, изображающая Иисуса Христа и ребенка (в словесном описании Настасьи Филипповны). Анализируя бытование экфрасиса в романе, Е. Г. Новикова тонко отмечает его эволюцию. Так, несмотря на очевидное различие и в материалах, и в композиции, первые четыре картины в авторском восприятии Достоевского являются портретами, отражающими страдание человека. Причем известную картину Ганса Гольбейна-мл. писатель интерпретирует по-своему, в парадигме казни и снятия с креста после мученической смерти, а не в традиционном понимании тотального одиночества и физической смерти. Далее живописный дискурс смертной казни и страдания сменяется финальной картиной, дающей человечеству надежду, где Христа сопровождает ребенок – будущий продолжатель его учения.

Здесь, по мысли исследователя, Достоевский стремится к разрушению живописного канона и создает собственный образ Христа.

Помимо смерти, личный опыт Достоевского, реализованный им в романе, включает в себя и вариацию воскресения, причем двойного: первое произошло, когда было объявлено об отмене смертной казни, а второе свершилось с возвращением писателя из ссылки. Важную роль в судьбе Достоевского играет духовное сближение с кругом декабристов, возвращение из Сибири которых почти совпадает с жизненными обстоятельствами самого писателя.

Е. Г. Новикова прослеживает дальнейшую реализацию мотива возвращения в литературе русской эмиграции первой волны XX в., в чем, безусловно, проявляется новизна исследования. Работы Д. С. Мережковского и А. М. Ремизова указывают на следующий факт: русские писатели-эмигранты XX столетия воспринимали вынужденное четырехлетнее пребывание Достоевского в Европе как своего рода эмиграцию, что, с их точки зрения, отразилось в тексте «Идиота», где весь сюжет романа – лишь сон князя Мышкина.

Особого внимания заслуживает фрагмент монографии, представляющий анализ драмы в стихах В. В. Набокова «Дедушка» (1923). Е. Г. Новикова актуализирует малоизученное произведение Набокова на основании тематической близости драмы и романа, которая становится очевидной в контексте размышлений о смертной казни. В драме «Дедушка», как и в романе «Идиот», представлен рассказ персонажа о казни на эшафоте и неожиданном спасении: «Фактически этот текст Набокова – копия и вариация дискурса смертной казни Достоевского в “Идиоте”» (с. 135) – наблюдение, безусловно, очень меткое, тем более что обращение к поэзии Набокова вводит тему расстрела как «несбывшейся казни». Также здесь реализован мотив двойничества, поскольку, по мнению Е. Г. Новиковой, название набоковской драмы непосредственно отсылает читателя к поэме Некрасова «Дедушка» (1870), посвященной вернувшемуся из ссылки декабристу. Литературный диалог Набокова с произведениями XIX в., во-первых, указывает на вектор чтения романа «Идиот» в русской эмиграции первой волны XX в., а во-вторых, отсылает к теме возвращения как началу абсолютно новой жизни.

Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» предстает в исследовании Е. Г. Новиковой в широкой культурно-исторической парадигме, в контексте многочисленных интереснейших, подчас неожиданных литературных связей и вместе с тем прочитывается в наиболее важной для писателя экзистенциальной логике – логике преодоления смерти и приближения к пониманию личности Иисуса Христа.

E. V. Shvagrukova

Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation, shvagrukova@tpu.ru

Existential experience of scaffold in the novel “The Idiot” by F. M. Dostoevsky

Novikova E. G. “Nous serons avec le Christ.” Roman F. M. Dostoevskogo “Idiot.” Monogr. Tomsk, TSU Publ. 2016, 244 p.

The publication under review presents a current study of the novel “The Idiot” by F. Dostoevsky, where an original interpretation concept of classic fictional work is introduced. The text of the novel is analyzed in terms of the autobiographical experience of the writer, having overcome the situation of capital punishment. The story of a real, but not accomplished execution brings up to date the category of return, which is understood as Christian resurrection for a new life. Using the method of discourse analysis, E. Novikova studies the phenomenon of ecphrasis in detail as well as reveals intertextual literary links in the novel.

Keywords: Dostoevsky studies, F. Dostoevsky, novel “The Idiot,” ecphrasis.

DOI 10.17223/18137083/67/23

УДК 82.09
DOI 10.17223/18137083/67/24

С. А. Дубровская

Мордовский государственный университет, Саранск

**«Изучать значит сравнивать»:
юбилей как повод к разговору о проблемах
современного литературоведения и литературной критики**

Рецензия на книгу:

Noscere est comparare:

**Компаративистика в контексте исторической поэтики:
К юбилею Игоря Шайтанова: Сб. ст. / Отв. ред.
и авт. вступ. ст. О. И. Половинкина. М.: РГГУ, 2017. 496 с.**

Статья посвящена анализу сборника статей, вышедшего к юбилею российского литературоведа и литературного критика, главного редактора журнала «Вопросы литературы» и многолетнего заведующего кафедрой сравнительной истории литератур Института филологии и истории РГГУ Игоря Олеговича Шайтанова. В книге представлено два больших сюжета. Первый складывается из вводных статей к каждому из трех разделов и представляет собой последовательное описание проблемных полей современной филологии, оказывавшихся в центре исследовательского внимания И. О. Шайтанова. Второй сюжет является проекцией идей главного героя сборника на контекст конкретных научных проблем. При этом спектр предлагаемых вопросов чрезвычайно широк: от исторической поэтики и компаративистики до современного состояния отечественной поэзии, от риторических формул Средневековья и шекспировских аллюзий до архивной истории советского шекспироведения 1930-х гг. и характеристики сегодняшнего состояния «ЖЗЛ».

Ключевые слова: И. О. Шайтанов, историческая поэтика, компаративистика, шекспироведение, современный литературный процесс.

Издание юбилейных сборников – явление традиционное для научной жизни. Появление сборника статей, приуроченного к юбилею известного отечественного литературоведа и литературного критика, главного редактора журнала «Вопросы литературы» и многолетнего заведующего кафедрой сравнительной истории литератур Института филологии и истории Российского государственного гума-

Дубровская Светлана Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва (ул. Большевикская, 68, Саранск, 430005, Россия; s.dubrovskaya@bk.ru)

ISSN 1813-7083. Сибирский филологический журнал. 2019. № 2
© С. А. Дубровская, 2019

нитарного университета Игоря Олеговича Шайтанова, закономерно. И дело не только в желании учеников и коллег отдать должное вкладу юбиляра в науку о литературе последних десятилетий. Конечно, нельзя не согласиться с тем, как характеризует эту книгу ее ответственный редактор О. И. Половинкина: «Этот коллективный труд создавался как дань уважения и восхищения исследовательским талантам Игоря Олеговича Шайтанова, выдающегося ученого-англиста, шекспироведа, авторитетного литературного критика, видного специалиста по русской поэзии, автора важнейших работ по исторической поэтике и компаративистике, разработчика русского варианта “биографии идей”» (с. 9). Однако, если бы все ограничивалось только констатацией уже сделанного ученым, вряд ли этот сборник заслуживал бы специального разговора. Именно его определение как комментария «к высказанному им (юбиларом. – С. Д.) за десятилетия научной деятельности» (Там же) проясняет значение этого издания для заинтересованного читателя.

В книге представлено два больших сюжета. Первый складывается из вводных статей к каждому из трех разделов и представляет собой последовательное описание проблемных полей современной филологии, оказывавшихся в центре исследовательского внимания И. О. Шайтанова за почти полвека его научной деятельности. Второй сюжет, связанный с первым, представляет собой проекцию идей главного героя сборника на контекст конкретных научных проблем. При этом спектр предлагаемых авторами статей вопросов чрезвычайно широк: от исторической поэтики и компаративистики до современного состояния отечественной поэзии, от риторических формул Средневековья и шекспировских аллюзий до архивной истории советского шекспироведения 1930-х гг. и характеристики сегодняшнего состояния «ЖЗЛ». Эта многогранность не выглядит эклектичной: в ней видятся продуманная реакция «современности» (как ее понимает и описывает в соответствующей статье сборника В. Л. Махлин) на кризис гуманитарной науки и отчасти пути преодоления последнего, по крайней мере, для литературоведения или литературной критики.

Можно выделить и третий сюжет – это своего рода фотолетопись деятельности И. О. Шайтанова прежде всего как одного из организаторов «Русского Букера» и в целом его роли в общественно-литературном процессе России. На черно-белых и цветных фотографиях запечатлены эпизоды общения Шайтанова с исследователями (Н. П. Михальской, Н. П. Гринцером, И. Б. Роднянской), поэтами (Алексеем Парщиковым, Алленом Гинзбергом, Ильей Кутиковым, Олегом Чухонцевым), деятелями культуры (Карен Хьюитт).

Значительное число входящих в сборник статей можно определить как «внутренний диалог» авторов с самим И. О. Шайтановым. В первую очередь этот касается вводных статей к разделам. Главное, что удалось О. Е. Осовскому, Е. М. Луценко, О. И. Половинкиной, В. И. Козлову, А. Д. Алехину, – не сбиться, не перейти на юбилейное славословие и сохранить исследовательскую объективность, даже в том вполне естественном для фештшифта желании опереться на собственные воспоминания о роли юбиляра в жизни авторов. И. О. Шайтанов здесь последовательно представлен как реконструктор «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского и деятельный продолжатель его идей, исследователь, предпринявший успешную попытку соединить историческую поэтику с современной компаративистикой и во многом обосновать ее методологию в новых условиях. Поразительная способность юбиляра «размыкать» границы тех или иных научных сфер реализует себя в его масштабных разысканиях в различных областях англистики. Очевидно, что без Шайтанова-компаративиста и ведущего специалиста в области исторической поэтики не было бы ни его примечательных работ об английской и русской поэзии, ни всего круга шекспироведческих публикаций, ни многого другого.

Цельность исследовательского подхода не становится, однако, препятствием для «многоликости» самого исследователя. В примечательных попытках В. Козлова и А. Алехина определить роль Шайтанова в формировании сегодняшних представлений о состоянии и путях развития отечественной поэзии последних десятилетий разворачивается неожиданная дискуссия. Если для первого автора его герой – «хранитель ценностей» (с. 391), «классик по призванию» (с. 395), отказывающийся от статуса критика, то для второго принципиально важна именно литературно-критическая практика Шайтанова, «деятельного участника и организатора живого литературного процесса» (с. 397). При этом каждый из авторов прав по-своему и читатель опосредованно сделает заключение о том, что любая из сфер приложения исследовательских усилий Шайтанова содержит не только конкретный результат, но и выводит самого исследователя на новый уровень или, скорее, «метауровень».

Среди наиболее примечательных статей, имеющих методологический характер, прежде всего следует назвать работы, посвященные компаративистике и исторической поэтике. Авторы демонстрируют, какими путями и в каких направлениях совершается «переосмысление целей и методов сравнительного, наднационального и не ограниченного одним языком изучения литературы» (с. 48) (Д. М. Соболев), предлагают новый – «метакомпаративный» – подход к исследованию дискурсов в эпоху глобализации (Н. Э. Гронская, В. Г. Зусман), актуализируют проблемы «интерпретации иностранной литературы в русском смысловом пространстве» (с. 66) (А. И. Жеребин), размышляют о соотношении космополитической и национальной идей, об идее культуры-посредника (Е. Е. Дмитриева).

Исследовательские сюжеты связаны с рассмотрением разнообразного и широкого круга проблем: от историко-поэтологических изучений аргументативного приема «*e multis in unum*» (А. Е. Махов), раскрытия авторских стратегий прециозников (А. В. Голубков), анализа жанровой природы стихотворений Ф. И. Тютчева (А. В. Соломатин) и выявления роли «чужого слова» в «оркестровке» идей, конфликтов, сюжетных поворотов (Е. В. Егорова, С. В. Сапожков, Ю. Ю. Данилкова, Е. Д. Гальцова, Е. Ю. Виноградова) до интерпретации шекспировских текстов (Н. А. Шаталова, М. Б. Смирнова, И. В. Ершова, Е. А. Шевченко, Л. В. Егорова) и исследования «биографии идей» (Б. М. Проскурин, О. И. Половинкина).

Специального внимания заслуживают разделы, реконструирующие интеллектуальную историю шекспироведения. Статья Е. Луценко, основанная на текстологическом анализе ранних редакций «Ромео и Джульетты» и изучении переписки Б. Пастернака, объясняет природу редакторской правки при работе над шекспировской пьесой. Статьи И. Лагутиной и О. Пановой вводят в научный оборот практически неизвестные архивные материалы, позволяющие объемнее и живее представить советское шекспироведение 1930-х гг. через судьбы руководителя кабинета Шекспира и западноевропейской классики при Всесоюзном театральном обществе М. М. Морозова и «красного шекспироведа» С. С. Динамова. Новые переводы из истории шекспирианы (материалы лекции Г. Н. Хадсона и реакция на них М. Фуллер; эссе «Шейлок» Ортеги-и-Гассета) позволяют понять специфику рецепции творчества Шекспира в первой половине XIX (И. В. Морозова) и в начале XX в. (Н. А. Пастушкова).

Материалы сборника вносят значительный вклад в развитие отечественной науки о литературе, доказательно свидетельствуют о необходимости сочетания традиций исторической поэтики и сравнительно-исторического литературоведения в целом с новыми подходами. Издание будет полезно не только аспирантам и молодым исследователям, но и литературоведам-профессионалам, получающим возможность еще раз задуматься о перспективах развития российской науки о литературе.

S. A. Dubrovskaya

*National Research Mordovia State University, Saransk, Russian Federation
s.dubrovskaya@bk.ru*

**“Studying is comparing”: an anniversary as a reason for discussing the problems
of contemporary literary studies and literary criticism**

Book review:

Noscere est comparare: Comparative studies in the context of historical poetics:

For the anniversary of Igor Shaytanov. Coll. works. editor-in-chief

and author of the introductory word O. I. Polovinkina. Moscow,

Russian State University for the Humanities, 2017, 496 p.

The paper analyses the collection of works published for the anniversary of Russian literary scholar, Editor-in-Chief of “Voprosy literatury” and Head of the Comparative Literature Department at Russian State University for the Humanities Igor Olegovich Shaytanov. The book presents two large subjects. The first one includes the introductory articles for each of the sections (“Historical Poetics and Comparative Approach,” “English Studies: Shakespeare and Company,” “Literary Today”) and is a consistent description of problem areas of contemporary philology that attracted I. O. Shaytanov’s attention during his scholarly career. The second subject is a projection of Shaytanov’s ideas on particular scientific problems, with the range of the issues involved being rather wide. They include historical poetics and comparative studies, the contemporary state of Russian poetry, the rhetorical formulas of the Middle Ages and Shakespearian allusions to the archive history of Soviet Shakespeare studies of the 1930s and characteristics of the current state of “Life of Outstanding People.” Among the most remarkable papers of methodological nature are the works on comparative and historical poetics. Also, attention should be paid to the sections introducing archival documents and original Russian-language publications on the reception of Shakespeare’s work in Russia, the USA and Spain. The collected works present a significant contribution to the development of Russian literature study and suggest the necessity to combine the traditional historical poetics and comparative historical literary studies in general with new approaches.

Keywords: I. O. Shaytanov, historical poetics, comparative studies, Shakespeare studies, contemporary literary process.

DOI 10.17223/18137083/67/24